

Н.Е. АНДРЕЕВ

ТО, ЧТО ВСПОМИНАЕТСЯ

I

ТО, ЧТО ВСПОМИНАЕТСЯ

Из семейных воспоминаний Николая Ефремовича Андреева (1908 - 1982)

Том I

Под редакцией Е.Н. и Д.Г. Андреевых



Таллинн
"АВЕНАРИУС"

Н.Е.Андреев

То, что вспоминается

Том I

Ответственный редактор И.Белобровцева
Технический редактор О.Костанди

Фотографии из архива Екатерины Андреевой

P.O.Box 3027, Tallinn EE0090

ISBN 9985-834-11-9

Printed in Estonia

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Николай Ефремович Андреев (13.3.1908-25.2.1982) - историк, литературовед и искусствовед - покинул Россию в 1919 году. Хотя он туда не вернулся, но как ученый и педагог посвятил жизнь русской культуре. Мой отец начал записывать свои воспоминания на магнитофон после неудачной глазной операции в 1978 г. Операция стала для него трагедией, ибо он всегда надеялся, что выйдя на пенсию, наконец напишет те научные работы, на которые раньше не хватало времени. Увы, не суждено было.

После его смерти моя мать (Джилл Андреева, 12.7.1931-30.5.1993) отдала пленки на распечатку, и начался мучительный процесс перевода машинописи на компьютер. Технически это было не легко: русских компьютеров было мало, к тому же все стоило очень дорого. В конце концов наша английская знакомая, Катерин Коок, любезно одолжила моей матери компьютер, приспособленный для кириллицы. Позднее, к нашему великому счастью, мама встретила молодого эксперта из СССР, который помог ей одолеть все технические сложности. Вся семья Андреевых чрезвычайно благодарна ему за помощь, поддержку и дружбу. Моя мать проделала колоссальную работу: при редактировании она убрала все явно разговорные обороты типа "Ну вот" или "так сказать". Она старалась подать материал логично. Мой отец был великолепным рассказчиком, но, увы, иногда повторялся! Она корила себя за то, что не отдала пленки на перепечатку еще при жизни Николая Ефремовича, но я полагаю, что даже если бы это было сделано, то весьма возможно, что отец не закончил бы переработку воспоминаний до самой смерти. Его разговорная речь была яркой, он всегда говорил с большим юмором. По контрасту его научные статьи написаны в совершенно другом стиле: сжато, серьезно, сугубо академично и как ученый он в стилистическом плане многое осудил бы в своих воспоминаниях.

Его воспоминания безусловно важный вклад в наше понимание русской эмигрантской жизни в Эстонии и Чехословакии между двумя мировыми войнами. У Н.Е.Андреева была отличная память. Он очень многим интересовался и многих знал, у него была обширная переписка. Он был историк и литературовед не только XVI века, но и эмигрантской жизни. Это означало, что он многое выяснил за свою жизнь. Ему удалось передать в мемуарах подвиг и трагедию русской эмиграции и осветить разные вопросы, волновавшие ее в то время. Отец часто говорил, что не был представителем первой эмиграции, для этого он был слишком молод. Не был он и представителем второй эмиграции, которая покинула СССР во время второй мировой войны. Он, выехавший из России ребенком и получивший образование за границей, причислял себя, как он выражался, к "полуторной" русской эмиграции. Сначала казалось, что появится возможность вернуться в свободную Россию и служить ей. Когда это оказалось эфемерной иллюзией, они, тем не менее, продолжали считать себя русскими.

Это было отнюдь не легко. Экономические и политические обстоятельства все время препятствовали этому. Если эта верность России и преодоление множества проблем - бытовых, культурных, политических и т.д. - можно считать подвигом, то непонимание окружающей среды и огульная дискредитация эмигрантов Советским Союзом были трагедией не только для них, но и для России. Я очень рада, что наступило время, когда в России заинтересовались историей и судьбой русской эмиграции, и жалею, что мой отец не дожил до этого.

Многим я признательна за помощь, советы и дружбу, проявившимся при оформлении этих воспомианий, и хотела бы их поблагодарить, хотя простые слова плохо выражают мои чувства. Во-первых, всех, кто распечатывал магнитофонные пленки, кто помогал с компьютерной техникой, особенно Алешу, который выручал нас во время технических кризисов. Милица Эдуардовна Грин неизменно, со свойственным ей пониманием, широкой эрудицией и тактом помогала моей матери и впоследствии мне. Вся семья Андреевых хотела бы ее сердечно поблагодарить. Приезд Ирины Захаровны Белобровцевой в Осфорд и наше знакомство решили последнюю задачу: где и как опубликовать воспоминания. Ей и Виталию Ивановичу Белобровцеву я хотела бы выразить мою искреннюю благодарность и восхищение за всю их работу по опубликованию этого текста. Особенно приятно, что появилась возможность издать эти воспоминания в Таллине, в городе, который мой отец очень любил и где он опубликовал свои первые статьи.

Екатерина АНДРЕЕВА,
Оксфорд

ВВЕДЕНИЕ

"Многих лет свидетелем Господь меня поставил, И книжному искусству вразумил"

А.С.Пушкин. "Борис Годунов"

"Мысль изреченная есть ложь"

Ф.И.Тютчев

Я, наговаривающий эту кассету, Николай Ефремович Андреев, родился 13 марта 1908 г. под Санкт-Петербургом вблизи станции Ржевка. Сейчас я уже на 71-м году жизни, нахожусь в Англии, в городе Кембридже, где жил последние 3О лет преподавал в университете, начав со звания "лектора" русского языка и дойдя до "ридера". "Ридер" - это эквивалент того, что мы могли бы назвать по-русски экстраординарный профессор, это не профессор, несущий административную ответственность за отдел, но тот старший преподавательский член коллектива, который выделился, благодаря своей исследовательской работе. Хочу заранее определить это, потому что, может быть, я до этой темы не дойду в своем изложении, но хотел бы представиться, если кто-то когда-нибудь будет слушать эти ленты. Теперь кому я хочу их адресовать и о чем хочу в них говорить. Адресую я эти ленты прежде всего моим детям. У меня замечательная и очень любимая жена, англичанка, моя бывшая студентка, зовут ее Джилл Губертовна, урожденная Хаддлестон, и с ней я нахожусь в браке уже 24 года. Женились мы по взаимной большой любви и это, конечно, самый удачный лотерейный билет, который я вытащил в жизни. В нашем браке возникла полная гармония отношений и мы создали, как нам кажется, в меру наших возможностей, семью, более или менее свободную от внутренних конфликтов. По-моему, все члены моей семьи живут в ладу и со своими родителями и между собой.

У нас трое детей: старшая, Катенька, Катя, Екатерина Николаевна, как ее можно называть, ей только что стукнуло 23 года. Затем два сына: один носит тройное имя Хуберт-Джарвис-Николас, по-русски мы его величаем часто Николай Николаевич, а по-английски он в большинстве случаев зовется Джарвис. И младший сын: Мишук, Михаил, Михаил Николаевич. Старшему в марте этого года стукнуло 19 лет, младшему в октябре 16. Все наши наследники родились в Англии, жили в английской среде, учились в английской школе, и их единственная связь с миром предков со стороны отца - это русский язык, отличный, очень богатый у Катеньки, очень хорошо развитый у Николая Николаевича и развивающийся у Мишука.

Кто знает условия современной семейной жизни, ее темпы - все скорее, скорее, скорее, техника идет, время не ждет - тот понимает, что не так много

остается времени для бесед родителей с детьми. Очень часто эти беседы происходят случайно, в отрывках, и я никогда не сумел систематически и хронологически рассказать никому из детей о моей жизни, и теперь, когда мне уже 70, я невольно думаю, что уже достиг зенита жизни, и мне хотелось бы зафиксировать ту обстановку и тех людей, которые так или иначе встретились в моей жизни, часто помогали, а иногда, наоборот, мешали жить. Но рассказать это физически невозможно, поэтому я пользуюсь странным обстоятельством моей биографии: 6 июня сего года мне сделали операцию правого глаза, в силу этого я пока что лишен очков, потому что глаз "не устоялся", как говорят врачи, я не могу ни читать, ни писать и потому выключен из привычной психологической и умственной обстановки. Поэтому я решил начать записывать на пленку то, что я помню, главнейшие факты моей биографии, в надежде, что когда-нибудь мои дети в дождливую погоду прослушают некоторые из рассказов своего отца.

Теперь об эпиграфах - один из Пушкина, второй - мысль Тютчева. Первый довольно подходящий, из монолога старца Пимена, пишущего русскую летопись. В какой-то степени человек, проживший длинную жизнь, как я, видевший столько исторических катастроф и в них так или иначе замешанный, даже обязан поделиться своими впечатлениями, пусть очень узкими, без тенденций к обобщениям, о том, что он видел. Это первая задача, как будто вытекающая из слов летописца. Второй эпиграф вызывает некоторые мысли, которые необходимо прокомментировать прежде, чем я начну свой рассказ. Я стараюсь рассказать о своих личных впечатлениях, стараюсь удержаться в плоскости фактов только своей собственной жизни. Невольно вспоминается довольно-таки правильная мысль Тютчева, и смысл его суждения заключается не в том, что вы хотите солгать: ничего подобного! Но несовершенство человеческого языка, человеческой психологии приводят к тому, что каждая мысль, высказанная вслух, не является точным отражением того, что вы на самом деле думаете или на самом деле чувствуете. Я постараюсь сохранить простоту изложения и точность в том, что я видел и запомнил, но при этом сознаю, что все, что я говорю - условно. Даже то, что я уже наговорил и прослушал, меня удивило: я многого не сказал или многое забыл, начал говорить - забыл сказать дальнейшее, а многое сказал, может быть, неточно. Все эти оговорки нужно иметь в виду, когда вы вникаете в суть моего повествования.

Парадоксальной и, может быть, основной чертой моей жизни явилось как бы невольное раздвоение моей сущности и форм моей жизни. Я происхожу из сугубо русских этнических источников: со стороны матери это новгородское племя, новгородские славяне. Мои предки были купцами, фамилия их была, или звали их общим прозвищем "Квашня". Вопреки тому, что много позднее утверждал филолог Борис Унбегаун, русские фамилии начали формироваться не в XVII веке. Мы знаем целый ряд фамилий, относящихся к XV веку, например, Андрей Рублев и мои

новгородские предки - Квашня. Интересно, что они попадаются даже в списках подозреваемых в религиозных исканиях XV века, то есть были замешаны в так называемой "ереси жидовствующих". Они были живые люди той поры, живые по настроению, умозрению, косности в них было мало. И эти Квашни в XVII веке попали в старообрядцы и как старообрядцы много терпели в течение XVIII века. Когда при императоре Павле иерархи российской церкви организовали так называемую "единоверческую церковь", то есть, сохраняя формы старообрядчества, посадили священников, которые назначались русскими епископами, это стало мостиком от старообрядчества к православию, ибо совершенно ненормально было, что огромное количество русских людей, чисто русских, из-за православия или старообрядчества оказывались гражданами второго сорта. Мои предки перешли в единоверчество, а потом в православие, моя мать уже совершенно спокойно стала просто православной. Такой переход в XIX веке сопровождался изменением фамилии: "Квашня" превратилась в "Квашенинниковы". Квашенинниковы были купцами первой гильдии и занимались извозом хлеба, зерна и мукомольным делом. Это было большое мукомольное дело, сплав зерна и муки по Волге и по другим рекам, вплоть до моего деда, Александра Ефимовича Квашенинникова, который разорился по доброте, потому что все выручал братьев-купцов в трудную минуту. Сам купец 1-ой гильдии, с хорошим капиталом, с большим оборотом, он подписывал векселя за друзей, а кто-то скупил все эти векселя и нарочно предъявил к единовременному платежу, устроил так называемое злостное банкротство. И дедушка вылетел в трубу со всеми своими баржами с зерном и мукомольными мельницами. Тогда двоюродные и родные сестры выкупили его дом, участок земли, двор и сад и подарили его жене. Семья смогла остаться в этом доме, но, обанкротившись, дедушка уже не мог вести дела. Это случилось, когда родилась моя мать, в ее детстве, в 80-ых годах прошлого века. С этой стороны предки были несомненно новгородцами. Что касается отцовской стороны, то здесь сведения гораздо более смутные. Якобы один из младших братьев отца, Василий Николаевич Андреев, филолог по образованию, учась у профессора Платонова в Санкт-Петербургском университете, пытался составить наше семейное древо, но составил ли, не знаю. Андреевы были смешанных кровей, можно насчитать много этнических источников, но все они объединились в главном, русском, тоже новгородского происхождения. Советские историки в 1965 г. на международном съезде в Вене даже говорили мне в частных беседах, что, по их мнению, я происхожу из новгородских "боярских детей"[1]. Боярские дети не то же, что дети бояр, это служилые сословия, просто чиновничество

[1] Это, по-видимому, выдумка, ибо семейная традиция в 1991г. указывает на то, что в день Святого Андрея в 1790г., священник нашел мальчика, подкидыш, крестил его Андрей Андреевич Андреев и воспитывал его. Этот Андреев пошел в солдаты и был в Париже с армией Александра I. Семья Андреевых его потомки.

определенной группы. Сведения эти восходят к концу XV - началу XVI веков, когда Новгород уже попал под Москву. Будто бы мои Андреевы происходят оттуда. Верно это или нет, не знаю, но это мне понравилось.

Последний известный мне предок отца, мой дедушка Николай Ефремович Андреев, в честь которого назвали меня, был довольно известным земским деятелем, другом радикальных земцев Петрункевичей и секретарем новоторжского земства. В Торжке у него был домик, и сад, и "база" Андреевых была как бы связана с Торжком. Он был потомственным почетным гражданином, у моего отца было в паспорте написано: "потомственный почетный гражданин", и он сказал, что я тоже буду потомственным почетным гражданином. Но откуда это пошло? Может быть, мы были из служилого сословия и попали в купечество - тогда из купцов часто выходили потомственные почетные граждане. По рассказу отца была у нас всякая кровь: и шведская, и немецкая, но, к моему стыду, я не знаю фамилии бабушки со стороны отца, а фамилия бабушки со стороны матери была Повощикова. При Гитлере, когда нужно было заполнять разные анкеты, немцы требовали сведения и о бабушках, а я не помнил и писал вымышленную фамилию. Когда я встретился с матерью при Гитлере и потом, когда она приехала к нам в Англию, нам было о чем поговорить, и я грешным делом этот промах не восстановил, о чем теперь очень сожалею.

Как бы то ни было, обе линии были русскими, так что я великоросс чистой пробы, но и великороссы всегда имели примеси. Интересно, что меня всегда считали сугубо русским, и в детстве, и в отрочестве, и в студенческие годы, и позже, когда я уже был ученым, а в отзыве на мою книгу 1970 года "Студиес ин Москова"[2] известный критик и историк Владимир Васильевич Вейдле написал в "Новом Журнале", что трудно себе представить более русского человека, чем я. Это была одна моя сторона, другая же была в конфликте с этим: сугубо русский человек все время принужден был жить вне России. Я выехал во время гражданской войны, на гребне событий, мне было тогда всего 11 лет, и с тех пор я все время жил по заграницам. Сначала в Эстонии, это была почти Россия, потом в Чехословакии, потом эта почти Россия была в советском плену, где я сидел некоторое время в разных тюрьмах, но не был увезен в Советский Союз, затем я жил в Германии и оттуда попал в Англию. Будучи ультрарусским по своему происхождению, я оказался оторванным от России, заграничным россиянином. Но я, само собой разумеется, хорошо ориентировался в европейских делах, Европа оказала на меня сильное воздействие (Уже в 1928 г., когда после первого года в Чехословакии я вернулся в Ревель, Кира Петровна Андрезен, урожденная Марисева, очень

[2]N.Andreyev Studies in Muscovy: Western Influence & Byzantine Inheritance. Variorum Reprints, 1970.

умная женщина из дружеской нам семьи, встретила меня и передала свои впечатления кому-то в краткой формуле: "Видела Коку, он очень объевропеился".) Я объевропеился по форме, но никогда не стал иностранцем, не отказался от своей национальности. Какой бы паспорт ни был у меня на руках, я оставался русским человеком, я хотел им остаться. Я никогда не сфальшивил ни в одной анкете по поводу своего происхождения или национальности, не выдавал себя за человека других кровей. Я был великоросс. Позднее я даже стал на этом настаивать, и последние годы подчеркивал это: например, публичные лекции я предпочитал читать по-русски. Зачем мне выступать в более слабой для меня форме? Я останусь верным моему природному русскому языку, как говорил Аввакум, который я люблю и который бесконечно мне послушен, как выражался позднее один из моих литературных кумиров, Сирин-Набоков. Этот русский язык, я полагаю, довольно-таки послушен в моих руках, в моих устах, и поэтому эпиграф из Пушкина "и книжному искусству вразумил" подходит ко мне, потому что я в данном случае опираюсь на свой собственный язык. Я стал даже гордиться этим, и это ценили. Когда, например, я был приглашен в Женеву на конференцию 1970 г. "Одна или две русские литературы?", там было очень много не только иностранных славистов, но и представителей третьей эмиграции, недавно или только что выехавших из России, я произвел на них сильное впечатление - чем? - своей русскостью и своим богатым русским языком, который хвалило множество людей. Мимоходом, не для того, чтобы похвастаться, а просто для истории, отмечу здесь, что меня за это очень хвалил писатель Алданов, Борис Константинович Зайцев, меня хвалил Василий Акимович Никифоров-Волгин и целый ряд критиков, в том числе такие требовательные, как Роман Борисович Гуль, меня хвалили многие представители советского общества, начиная с Ойстраха. Знаменитый скрипач Давид Ойстрах приехал в Кембридж получать почетную степень, в его честь я должен был экспромтом сказать приветственное слово на ужине в Кембриджском университете. Приветствие должно было занимать не больше трех минут и звучать по-русски, потому что он, как оказалось, ничего не понимал по-английски. Я сказал, и сказал с подъемом, основная идея была, что и те, кто занимается филологией, историей, литературой, и он, музыкант, служат одному и тому же: взаимопониманию между людьми и их сближению между собой, но в то же время нам гораздо труднее подойти к тем, кого мы хотим сближать, потому что языки требуют очень много времени, подготовки, чтобы их начали понимать, а музыка таинственным образом, несмотря на сложность технической стороны произведений, сразу овладевает чувствами. И так Давид Ойстрах победил нас, на несколько минут мы вдруг почувствовали полную слитность с ним, с его призывом к общему человеческому счастью. Он отвечал через некоторое время на том же ужине и сказал - это произвело впечатление на тех, кто понимал по-русски, а другим перевели - что редко

можно услышать в Москве и вообще в России такой прекрасный, чистый русский язык, на котором я его приветствовал. У меня сохранились письма от историков и разных деятелей Советского Союза, в которых меня очень одобряют за мой язык.

Какая получилась странная, раздвоенная судьба: я стопроцентный русский, живу всю жизнь вне России, но остаюсь верен русскому языку и стараюсь быть над разделяющими нас политическими или идеологическими движениями, поверх барьеров. Я стараюсь объединить и моих студентов и моих коллег в служении русской речи и в поисках истинного лица исторических событий в России.

Несмотря на русскую родословную в этническом смысле, "происхождение нашего героя темно и скромно", как выражался Гоголь в адрес Чичикова. Мой отец всегда, я бы даже сказал, с удовольствием, подчеркивал, что он за всю свою жизнь не получал ни чинов, ни орденов, он не принадлежал к той сословной или бюрократической России, которая главным образом ассоциируется с Российской Империей. Так же и моя мать, в результате того, что ее отец разорился, не принадлежала к определенному сословию и не могла считаться выразительницей русского капитализма, наоборот, она сама очень рано проявила себя совершенно иначе, вопреки тому, чего хотела бы ее среда. В этом смысле мы принадлежали к той разночинской, деклассированной России, которая, по всей вероятности, и создавала главные кадры для интеллигенции. В нашей семье самой заметной чертой русской интеллигенции было ее абсолютно органическое доброе отношение к людям, отсутствие иерархических замашек. Предполагалось, что люди все хорошие в основе. Если они совершали плохие поступки, надо было не уничтожать их за это, но пытаться исправить: такой была мораль семьи, в которой я родился. Она не вполне совпадала, вероятно, со всеми интеллигентскими семьями, но у нас была очень сильна. В этом смысле мы представляли собой ту трудовую интеллигенцию, которая служила не режимам, не системам, но тому, что мы по существу можем назвать всенародным единством. Мы стремились найти хорошее всюду. "Идеологически", в кавычках, моя мать выражала, например, такую идею: несколько раз перед окончанием гимназии и перед отъездом за границу в университет, когда я ее спрашивал: "Как ты думаешь, кем я должен стать, мама? Кем ты хочешь меня видеть?" Она отвечала неизменно просто и убедительно: "Будь человеком, в том хорошем смысле, в каком мы понимали и понимаем это высокое звание - быть человеком. А какая у тебя будет профессия, чем ты будешь зарабатывать себе на жизнь, это вопрос иной. Но ты должен стремиться быть человеком, то есть, выражать те добрые чувства, которые свойственны христианской доктрине, где говорится, что человек создан по образу и подобию Божию". При любых поправках такой широкой формулы можно было понять, что человек должен стремиться быть моральным, добрым, честным, не только

сам наслаждаться жизнью, но "живи и жить давай другим". Целый ряд таких элементарных истин и входил в материнское понятие "человек".

АНДРЕЕВЫ

Отец и мать оба происходили из города Торжка Тверской губернии. Интересно, что моя мать знала более или менее всех членов семьи Андреевых (а семья очень большая, выживших детей было 11), кроме моего отца, и как только она с ним познакомилась, решилась их взаимная судьба, и они в 1906 г. поженились.

Торжок обычно описывался как "богоспасаемый град Торжок", это была не только ирония, но, до известной степени, и описание тогдашней русской реальности. Это был древний пригород Новгорода Великого. Когда-то он был обнесен высокими валами, в XIII веке его осаждали и с трудом взяли татары Батыя. Он был расположен, этот городок, на двух сторонах не очень широкой, но быстрой и глубокой реки Тверцы, притока Волги, эта река даже в XX веке была судоходной, не для пассажирского движения, но для барж, груженных мукой, зерном, промышленными изделиями или строительными материалами. Они проходили по Тверце довольно высоко и везли в Волгу или с Волги все, что требовалось. Городок описывался в энциклопедическом словаре Павленкова как уездный центр: 15 000 жителей, 26 церквей, 2 монастыря, мужской и женский, притом центр редкой промышленности, сафьяновой. Кроме того, центр земской деятельности. В Торжке было не только среднее учебное заведение, но и учительская семинария, расположенная на знаменитом тракте из Петербурга в Москву, когда-то описанном Радищевым. Тракт так и сохранялся, на нем свободно разъезжались во весь опор две тройки. Берега Тверцы соединялись хорошим мостом, построенным в духе мостов XIX века, с большим количеством металлических креплений и аркой, будто поддерживающей мост на быках. Очень мне нравился, кстати сказать, этот мост, хотя был, конечно, стандартным явлением той эпохи. На берегу с валом была более древняя часть Торжка, там находился знаменитый мужской монастырь, где покоились мощи двух местных святых: преподобного Ефремия и ученика его, преподобного Аркадия. И на этой же стороне была огромная рыночная площадь и много солидных построек, например, гостиные ряды, правда, они были не такие уж старые, вероятно, XVIII века постройки, но очень солидные, и многие богатые граждане Торжка жили на этой стороне, часто в прекрасных каменных домах в духе той эпохи. Около домов шли высокие заборы, которые ограждали дворы и сады. Сады в Торжке были прекрасные, выращивали отличные сорта яблок. А на другой стороне был женский монастырь, более новый, и тоже было много всевозможнейшей торговли, но общий характер построек был более модерный, более как бы легкий, и железная дорога проходила с той стороны, в более молодой части Торжка.

Когда мы в последний раз были там в 1914 г., то ехали с вокзала на извозчичьих конях, в прекрасных пролетках к нашим родственникам, которые жили на разных берегах. Дедушка жил в новейшей части Торжка, как полагалось земцу, то есть, более современному явлению в Торжке, а мать моей матери, Елизавета Петровна Квашенинникова, жила в более старой части Торжка, вместе с многими именитыми купеческими родами. Например, жил там некий Уваров, последний в роду, ко всему прочему горбатый и потому тиранического характера. Мама моя возмущалась, как он обращался со своими дочерьми, не давая им выйти замуж, и проявлял, почти по Островскому, самые отрицательные стороны купеческого произвола. Эти Уваровы были очень богаты, и целый переулок был полон домов Уваровых - сплошной Уваровский переулок! В старой части большинство улиц имело булыжные мостовые: огромные булыжники, очень чисто было на улицах, но если ехали окованные железом телеги, грохот стоял невероятный, пролеток на резиновом ходу тогда было мало, главным образом только извозчичьи или очень богатых собственников. Тротуары частично были покрыты сплошными плитами, а иногда усыпаны мелким щебнем, что не очень приятно для ходьбы. Но все было благоустроено, особенно старая часть города. В новой части города, где помещалась педагогическая семинария, большинство улиц были немощеные, грунтовые дороги, которые хороши летом, в сухую погоду, и отвратительны, когда начинались дожди. Бабушка жила на Пятницкой улице, где стояла церковь Параскевы-Пятницы, а дедушка жил на Власенской, около церкви святого преподобного Власия, и, несмотря на модернизацию более новой части Торжка, дух города оставался прежним. Главенствовали церкви, главенствовал религиозный уклад. Например, в субботу в 6 часов вечера прекращались все разговоры на открытых верандах, потому что начинался звон во всех 26 церквах и в двух монастырях, ко всенощной. У дедушки дом был напротив монастыря на другом берегу, звуку было только перелететь Тверцу, и, когда ударял большой колокол, это был знак: пора идти в церковь. Все прекращалось, и радикальный мой дедушка сейчас же отправлялся в качестве скромного молитвенника в свою приходскую церковь. Ходил он в свою приходскую церковь, во Власьевскую, где нес приходские обязанности: одно время был председателем приходского совета, затем был выбран почетным старостой.

В этом городе в 1880 году родился в большой семье мой отец, у него было семеро братьев и три сестры, а еще двое детей умерло в раннем детстве. Дедушка был человек небогатый, и хотя нельзя сказать, что бедный, он всю жизнь зарабатывал для себя и для семьи службой. Ввиду многочисленности семьи он нуждался иногда в помощи со стороны, например, ему помогали определить сыновей на стипендию, и в этом смысле характерная судьба выпала на долю моего отца: он сам о себе рассказывал с большим юмором, давал сатирический портрет - он был малыш, довольно замкнутого

характера, уважал дедушку и старших братьев, потому что те были значительно старше, с другой стороны, он говорил, что не успел еще войти в науки, как уже проявил себя на вступительном или переходном экзамене в школе фразой, которая потом вызывала чрезвычайное веселье. Была диктовка, и диктовалась фраза "На море была сильная качка", но так как отец не знал, что такое качка, никогда не видел моря, то, подумав, он написал: "На море была сильная Катька". Катька была сестра, которую он немножко побаивался, очень энергичная девочка, чуть-чуть старше него. Эта шутка указывает на уровень молодого человека. Когда ему было около 10 лет, он был уже в начальной школе, и встал вопрос, что ему дальше делать в смысле получения профессионального образования. Дедушке сказали, что есть стипендия в ремесленно-техническое училище в Твери и ежели какой-либо его сын окажется на уровне, то ему эту стипендию могут дать. Дедушка говорит моему папе: "Ефрем, хочешь быть техником?" Ефрем подумал-подумал и говорит: "А что такое техник?" Дедушка тоже подумал и говорит: "Хм.. Техник... ну, будешь ездить на паровозах!" Тогда Ефрем ответил: "Хочу!" Паровозы в 90-ые годы были явлением прогрессивным, железные дороги считались последним техническим криком, и вся Россия изо всех сил строила дороги во всех направлениях. Казалось, будет интересная профессия: он будет ездить на паровозе и все будут удивляться - Ефрем едет на паровозе! Он поехал в Тверь, где проучился 8 или 9 лет. Курс он окончил благополучно, получил среднее и техническое образование. В этой школе, он много пел, у него был абсолютный музыкальный слух, замечательная музыкальная память и отличный голос, дискант. Он с 7 лет пел в хорах. Его любили все регенты и брали в хоры, он солировал, пел и пел, и говорили, что в Твери он пел гораздо больше, чем занимался техникой.

Благодаря этому усиленному пению, он, во-первых, знал огромное количество песнопений на память, без нот, мог воспроизвести любую партию. В Твери был регент, который чрезвычайно интересовался церковными напевами, и его хор блистал репертуаром. В сущности, здесь оправдывается замечание Чехова о нелепостях русской жизни этого периода: такой музыкально одаренный человек, как мой отец, не получил специальной музыкальной подготовки, между тем, если бы его учили, вероятно, из него вышел бы отличный и даже важный для русского общества музыкант. Но на это никто не обратил внимания, и он пел так много, так его эксплуатировали, что даже сорвали ему голос: вместо потенциального баса он на всю жизнь сохранил теноровый фальцет. Он знал очень большой репертуар, особенно церковный, хорошо понимал, как руководить хором, но не смог выразить себя как певец. Всю последующую жизнь он не отходил от пения, это была его стихия.

В Твери отец прошел все теоретические курсы и все практические занятия, которые требовались, и с особенной похвалой отзывался о

времени, которое провел в Брянском железнодорожном депо, где, по его словам, многому научился и многое понял. Он жалел, что не стал железнодорожником: к ним он питал всю жизнь величайшее уважение. Отец проходил стаж помощника машиниста: требовалась практика и сдача экзаменов. Он мог водить только товарные составы, до пассажирских поездов ему не удалось дойти, или это даже не входило в их программу, но практические занятия придали ему уверенности в теоретических знаниях.

Он рассказывал, что особенно трудное движение для поездов - зимнее. Они, например, двигаясь ко Ржеву, на что-то наскочили в темноте, вьюга была сильная, и они не знали, что попало под поезд. Оказалось, что на пути неизвестно каким образом попала корова. Их даже опрашивали, в чем дело, почему не остановились, а они ничего не видели, была большая, "семидесятипроцентная" вьюга, когда не видно как следует путей перед паровозом. Получив диплом в 1903 г., он попал на довольно хорошо оплачиваемый и интересный с его точки зрения пост. Это было место начальника вентиляции только что открытых огромных винных складов. В то время граф Витте проводил винную монополию, и в Петербурге были построены новые склады и по последнему слову строительной техники сделана большая вентиляционная система, управлять которой и был назначен мой отец. Все, по его словам, было так хорошо сконструировано, что, собственно, ему делать было нечего. Это была рутинная работа - после каждого праздничного дня проверить, работает ли вентиляция, и нужно было понимать всю систему, где, что, как соединяется и почему. У него за 3 года никаких, ни больших, ни малых осложнений не было, он вошел в рутину, имел хорошую репутацию, получил повышение.

В 1906 произошло событие, которое привело его опять в Торжок. Он туда приезжал и раньше, но не задерживался, потому что уже служил. А летом 1906 был убит стражниками любимый брат и большой друг отца, дядя Платон, у них было больше всего контактов, и Платон всячески помогал отцу. Другие братья были моложе или старше, а этот ближе всего к нему по возрасту и по интересам. Платон был очень музыкальный, большой поклонник прекрасного пола. Он был небольшого роста, в дедушку, да и бабушка Евдокия Платоновна была невысокой. Получалось два ряда у Андреевых: одни великанистые, другие гораздо меньше. Дядя Платон, дядя Сергей, Константин и мой отец были,в сущности, маленькие, все остальные - великаны.

В те времена были популярны так называемые маевки: с наступлением мая молодые люди и девушки ходили гулять, петь песни, устраивали пикники, носили с собой самовары. Был организован такой праздник, а кто-то донес, что молодежь пошла на политическую сходку, и, так как всюду действовало чрезвычайное полицейское положение, то полиция Торжка послала конных стражников рассеять "политическую демонстрацию" студентов. На самом деле никакой демонстрации не было,

а было настоящее гулянье, даже с танцами. Когда появились конные стражники, то вся молодежь, не желая вступать в конфликт с полицией, стала отходить к берегу реки. Нужно было перейти Тверцу, на другой стороне полиции не было, и можно было расходиться по домам. Но в том месте не было лодок, нужно было плыть через Тверцу, а река глубокая и быстрая, многие плавали плохо, плыть в одежде было трудно. Дядя Платон, отличный пловец (все Андреевы отлично плавали), помогал другим. И когда все уже переплыли, смотрят - Платона нет, где Платон? Наверное, уже пошел домой, устал и сильно промок, потому что много плавал. Зашли домой, там его тоже нет. Ждали некоторое время - не приходит, пошли искать и нашли наутро его труп в Тверце. Видимо, один из стражников ударил его прикладом по голове, у него был размозжен череп, и он утонул около берега. Никто этого не видел, это было, когда он переплывал или поплыл еще за кем-то, и какой-то дурак-стражник догадался его убить. Это убийство вызвало взрыв эмоций в Торжке и в семействе Андреевых. Во-первых, Платон был как раз умеренных политических взглядов. Во-вторых, он вообще не был демагогом и политикой специально не интересовался, он работал учителем и был взглядов учительских - что надо людей просвещать и делать более и более знающими. Когда его хоронили, получилась огромная противоправительственная демонстрация. Городская газета напечатала фотографию гроба и портрет Платона на первой странице в траурной рамке и с надписью "жертва дикого произвола". Было множество венков с антиправительственными надписями. И возможно, что его гибель способствовала нарастанию раздражения против правительства в Торжке вообще и, в частности, в семье Андреевых, где после этого возобладал радикальный, гораздо более левый курс.

Моя мать была второй дочерью у родителей. Она росла, окруженная большим вниманием матери, отца и няни, нянюшки Ольги Михайловны, которая потом перешла к нам. Брак ее родителей не был лишен, если угодно, черт романтизма: он состоялся по решению родителей невесты и жениха. Таковы были нравы той эпохи, в этих кругах мнение невесты не спрашивали, и она была очень огорчена тем, что ее выдают за какого-то купчину, хотя сама была купеческого сословия. Елизавета Петровна Повощикова была воспитана отчасти француженкой, она говорила по-французски и всю жизнь читала французские книги. Во время первой мировой войны отец даже специально для нее покупал французские издания в Петербурге, и ей посылали или, когда она приезжала к нам, дарили. Но по иронии судьбы она никогда не попала во Францию и ни разу в жизни не встретила живого француза, с которым могла бы поговорить. Это тоже странность русской жизни. Когда она выходила замуж, возможно, она уже была влюблена в кого-нибудь, во всяком случае, была очень несчастна. Мой дедушка, Александр Ефимович Квашенинников был человек тонких чувств и большой душевной внимательности и мягкости.

Он пришел к ней сразу после брака, когда их оставили наедине, и сказал: "Лизанька, Вы не плачьте, я вполне понимаю Вашу ситуацию, я не хочу быть Вам навязанным мужем и ничего не сделаю, чтобы оскорбить Вас. Вы числитесь моей законной женой, но станете ею только тогда, когда захотите и если захотите, а так не беспокойтесь, я все это покрою, устрою, никому дела нет. Вас никто не тронет". Он ушел, произведя сильное впечатление на бабушку Елизавету. И через некоторое время она начала все больше и больше ценить его и как будто стала увлекаться им, хотя они долгое время не жили в браке. А потом, когда она действительно его полюбила, брак уже состоялся без формальностей и принес им четырех дочерей и сына. И брак был очень счастливый, несмотря на то, что дедушка разорился в 80-е годы, и после этого занимался только своим садом, разводил замечательные сорта цветов, особенные розы, посадил множество плодовых кустов и выращивал замечательные яблони, груши, сливы, которых было полным-полно в огромном квашенинниковском саду.

Дедушка чрезвычайно увлекался своей семьей и боготворил свою вторую дочь, которую считал исключительно умной девушкой и восхищался ею, как няня говорила, направо и налево: "Катя у меня чудо", - и моя мать счастливо росла в такой атмосфере. Принадлежали они в то время к единоверческой церкви Параскевы-Пятницы на Пятницкой улице и к единоверческой общине и строго соблюдали все обычаи. Моя мать сохранила на всю жизнь уставные поклоны, она стояла в церкви совершенно иначе, чем мы, грешные, так сказать, православные. Она поступила в гимназию и училась замечательно легко, и специальный педагогический класс дал ей образование математички. Тут она поразила всю семью, всех родственников и отчасти даже город: окончив гимназию в 1900 г. (ей исполнилось как раз 17 лет), она объявила, что дома не останется, а будет работать народной учительницей в земской школе. Решение это было сенсационно, вне норм времени, и даже ее тетушки были шокированы. Они так и говорили: "Что ж это такое? Неужели у Александра Ефимовича нет лишней ложки и лишней чашки, чтобы прокормить дочь? Если нет, мы можем собрать ему еще помощь". Моя мать хорошо помнила времена своего детства в доме-"золотой чаше", где было полно прислуги, приказчиков, огромный двор был вымощен булыжником, как тогда полагалось, и вокруг шли конюшни и каретники, потому что было много лошадей. После банкротства все это исчезло, осталось только несколько экипажей, которые никто не хотел купить и которые так и перешли обратно вместе с выкупом этих помещений сестрами моего дедушки на аукционе. Ребенком я много играл в этих каретниках, очень мне это нравилось, чудно пахло кожей и как будто даже лошадьми пахло, хотя лошадей не было уже много лет. Я сидел там на разных облучках и играл воображаемыми парами и тройками лошадей, управлял шестерками. Моя мать все это помнила, переживала в свое время ребенком, когда все это стало исчезать и осталась только одна прислуга и

няня, а остальных как-то смело, что понятно: денег они больше не получали - для чего им оставаться?

Она обладала очень сильным характером и к своему решению пришла, еще когда была в математическом педагогическом классе. Она считала, что самое лучшее пойти в деревню и попробовать свои силы действительно в отрыве от родительского дома и гимназии, от своих руководителей, чтобы определить, на что она способна. Это решение совпало с кризисом: начитавшись соответствующей литературы, она усомнилась в существовании Бога, и ей показалось, что религия, в духе которой она была воспитана, более не действует на нее. Она решила, что должна пережить этот кризис отдельно от семьи, потому что родителям, особенно ее отцу было бы тяжело, если бы он заметил, что любимая дочь охладевает к церкви. Так что ее решение было непреклонно. Земская управа отнеслась к ней благосклонно и дала ей место, и в 1900 г. она уехала в большое село в 100 верстах от Торжка, в пределах новоторжского земства. Отец все-таки поехал с ней, но она просила только сопровождать ее и на месте ничего не делать. Он очень колебался, хотел помогать и дальше, но она настаивала и отец подчинился, сказав: “Ну, хорошо, Катенька, Бог да будет с тобой”, - перекрестил ее и уехал. А она оказалась в большом полукарельском селе, потому что в Тверской губернии было большое карельское население, говорит по-русски очень странно: по-карельски, по-фински уже не умеет, а по-русски хорошо не говорит: очень смешанный такой состав. Школа оказалась в простой крестьянской избе, одна большая комната с тремя окнами, довольно светлая, с печкой, и за перегородкой помещение, где она могла жить. Там была только деревянная кровать, стол, лавка и нечто вроде шкафа, примитивное сооружение, где можно было вешать одежду. А в школе был сторож, уже седоватый, прихрамывающий старичок, Ефимыч, который, посмотрев на нее, сказал: “Что это за учительша? Совсем девчоночка! Как же ты справляться-то будешь? Здесь у нас все были сурьезные учителя, мужики”. Моя мать сказала, что это уж не его дело, она справится, и сейчас же решила его прибрать к рукам - заставила затопить печь в ее комнате и поставить самовар, который был при школе. Выяснила, что его зовут Ефимыч, и мило с ним обращалась, в то же время не допуская панибратства. Приведя себя в порядок с дороги и выпив для храбрости чаю, она отправилась к законоучителю, местному священнику, в церковный дом, полагая, что, во-первых, как ей в земстве объяснили, он будет преподавать Закон Божий в школе, а во-вторых, он один из немногих образованных людей в селе, естественно начать знакомство с него. Священник был не старым и не молодым, у него была попадья, дети, но встретил он ее выжидательно и недружелюбно, как мать описывала. Выжидательно в том смысле, что он все время ждал, что она наделает ошибок, которые он тут же ей припомнит, а недружелюбно - потому что, как и Ефимыч, посмотрел на нее с нескрываемым удивлением и сказал:

“Как это странно! Что же это думают наши земские деятели?! В такую большую школу, в знаменитое село посылать девчоночку, даже с косой еще! Да ведь мужики-то уважать не будут, они ж привыкли к сурьезным педагогам!” Все это было страшно бестактно, но она старалась не рассердиться на священника, а установить с ним минимум человеческих отношений. Однако это плохо ей удалось за все три года. По-видимому, священник был против, во-первых, женщин-учительниц в земстве, а, во-вторых, его раздражала твердость воли, которую проявила моя мать и в самом решении пойти служить в земство, и в том, как она себя поставила в селе.

Школьная работа пошла у матери хорошо. Три группы, на которые делилась школа, работали одновременно в одном помещении, и она хорошо распределила расписание: две группы занимались письменной работой, третья с ней устно. Дети были в целом приятные, не проявляли никакой враждебности к учительнице, а наоборот, слушали ее сначала с удивлением, потом все с большим и большим восторгом, - мама всегда говорила очень ясно и умела заинтересовать. У нее были разные учебные пособия, привезенные ею из земства из Торжка. Но она еще не была уверена, как к ней относится население. Мужики при встречах с ней сумрачно смотрели, бабы, те кланялись, а мужики проходили мимо, не замечая ее на улице, впрочем у нее мало было времени прогуливаться.

В один прекрасный день, когда шли занятия, вошел Ефимыч и стал делать руками знаки. Мать на минуту прервала объяснения и спрашивает: “Ты чего?” А он говорит: “Там мужики пришли, Катярина Аляксанна, хотели бы с тобой говорить”. Она говорит: “Как же я могу говорить, когда я преподаю?” - “Очень хотят поговорить, говорят, может, ты выйдешь к ним на минутку”. В этот момент началась перемена, и мать вышла. В перемену, если была холодная погода, дети оставались в помещении, если же было тепло, то они выходили на лужок за избой, вместо двора был лужок, покрытое травой пространство. И она вышла, человек двенадцать мужиков стоят с сумрачными лицами. Она спрашивает: “Чем могу вам помочь? “ Они говорят: “Хотим вот, чтоб ты нам сказала, чему учишь наших детей”. Она говорит: “Учу тому, чему надо учить, тому, что стоит в программе для школ и чего от нас требуют к весне, когда экзамены будут, тому и учу”. - “Ну, а мы хотели бы все-таки знать, чему ты учишь”. Мать была в затруднении, а потом говорит: “Вот что: если вы хотите знать, чему я учу, входите в класс, сейчас будет урок, садитесь там, сзади, и слушайте”. Мужики вошли, и мать начала занятия: один класс писал по русской грамматике, другой считал по арифметике, а в третьем она объясняла что-то по географии. У нее были географические карты, и вдруг она видит, что мужики слушают с большим интересом, потому что на картах и полушария, и страны. Она на предыдущем уроке объясняла, как делаются карты, как наносятся страны, долготы и широты, а теперь рассказывала, какие есть

части света и стороны света. Мужики слушали с громадным интересом. Потом кончился урок, она говорит: "Ну, слышали?" Они говорят: "Пожалуйста, разреши, учительша, прийти еще раз!" - "Ну, приходите". На другой день пришло еще больше народу, восемнадцать человек. И опять они слушали с интересом, как раз был счет, начали таблицу умножения: мужиков страшно увлекало, как это вдруг маленькие мальчишки и девчонки считают, соображают что-то: "Трижды три?" - "Девять! " - это им очень понравилось. Затем последовал урок по истории, были повешены портреты царей, государственных деятелей, сражения на картинках. Всех мужиков это заинтересовало, и они ходили неделю и стали прекрасно относиться к учительнице, потому что убедились, что она преподает очень хорошо, деловито и целеустремленно. На их глазах за неделю дети улучшили счет, писали при них на доске, и учительница все поправляла, и ее уроки восхищали их. Они ее очень благодарили и говорили: "Ты уж нас прости, мы ведь пришли к тебе сначала, потому думали, что какая-то молодая приехала, чему она может научить? Сама небось ничего не знает! А тут видим, что очень хорошо знаешь! Ну, спасибо!" Таким образом она выиграла сражение и поставила себя на селе. Во время этих посещений был один неприятный эпизод, который, к счастью, кончился благополучно. Рассказав о чем-то по истории, мать начала задавать вопросы, чтобы убедиться, как поняли материал. Она спрашивает, а один мальчик не слышит вопроса, она опять к нему обращается, он ничего не понимает, смотрит на нее, она ему в третий раз говорит, а он: "Чаво?"- только теперь сообразил, что к нему обращаются. Она говорит: "Я тебя спрашиваю уже в третий раз" - и повторяет вопрос, а он не знает, как ответить. Тут один мужик вдруг вскочил, подбежал к мальчишке, схватил его за волосы и ударил головой о парту, мать прямо обомлела, бросилась к нему: "Что Вы делаете?" Оказалось, что это отец мальчика и он страшно рассердился, он даже бранные слова употреблял: "Как же он, сидит и не слушает!" Мать его остановила и говорит: "Так нельзя, здесь я начальник, я отвечаю за детей, Вы не можете войти сюда и самоуправничать. Во-вторых, - говорит - Вы понимаете, он же сидит с утра, уже свыше трех часов, было много уроков, он устал, у него внимание устало, это ничего, если он не слышит, главное, чтобы он сообразил и потом ответил. А теперь я так и не знаю, сумеет ли он ответить". Папаша удивился, потом говорит: "Ну, ты меня прости, я просто немножко, как отец, рассердился: что ж такое, ты говоришь, а он не слушает". Все три года у нее все улучшались и улучшались отношения с крестьянами, и когда она, ее провожали всей деревней, отслужили напутственный молебен как раз у того священника, с которым она не ладила. Очень нравились ее мероприятия вне школы: она привезла с собой из земства и меняла время от времени - ей присылали новые - серии туманных картин. Одни были разные географические описания страны, например, Крым или Москва: ряд снимков и тексты.

Также были иллюстрированные литературные рассказы, например, "Капитанская дочка" в сокращенном виде или "Полтава" Пушкина. Это тоже производило впечатление на публику, и на такие чтения народу приходило очень много. Это было уже после школы и как бы заменяло кино и театр. Туда ходили взрослые люди, и ученики приходили или задерживались в школе, чтобы посмотреть туманные картины. И это все было очень хорошо, но не нравилось священнику, который написал на нее два доноса. Один в земство, но в земстве ее уже предупредили, что могут быть глупые доносы и чтобы она не беспокоилась, это в порядке вещей. Всегда находится такой упрямый консерватор, который всякое новшество принимает в штыки и старается охаять. А второй донос он написал становому приставу, который в один прекрасный день приехал и как раз попал на чтение с туманными картинами. Он был очень вежлив, оказался довольно интеллигентным человеком, щелкал каблуками и просил у моей матери разрешения послушать. Вечер был о Кавказе: и картины гор, и что на Кавказе производится, и типы населения, и были вставлены стихи Пушкина и Лермонтова, получилось очень интересно и приставу, видно, понравилось. Он подошел и познакомился с ней, потом говорит: "Я ведь Вашего батюшку, Александра Ефимовича встречал", - и рассказал, как встречал его в Торжке,- "и очень рад, что его дочь так подвизается, желаю Вам всего хорошего". Потом, говорят, он был у священника, и злые языки рассказывали, что он священнику сказал: "Ты, батя, донос-то пиши, но когда пишешь, думай! " По слухам становой был недоволен тем, что тот как бы натравлял народ на учительницу, но учительница оказалась вполне на уровне. Некоторых из способных учеников моя мать старалась протолкнуть дальше, кое-кто поехал в высше-начальное училище в Лихославль, один или двое даже дошли до учительской семинарии и тоже стали педагогами.

РОССИЯ

ДЕТСТВО

Позднее я спрашивал мать, чем объяснялось их решение, отца и матери, соединить свои судьбы, она ответила: "Ты такие странные вопросы задаешь! Ну любовь была, вот и все. Большая любовь, которая, видишь, так и осталась на многие годы". Но я продолжал спрашивать: "Ну, все-таки, у тебя было много образованных знакомых, мой отец был только техник, любой из его братьев был более образован, более начитан, более осведомлен в литературе, в истории, в чем хочешь. Тогда мать объяснила, что ее поразили в моем отце две черты. Во-первых, душевная мягкость, которая напомнила ей отца, Александра Ефимовича. Ефрем Николаевич никому не желал зла. Она прибавила, что это было очень заметно на фоне многих ее молодых знакомых, потому что другие были как-то более эгоистичны, более преданы собственным целям. А отец был просто хороший человек, с настоящей человеческой душой. Второе, что ее поразило, - его правдивость и скромность. Ее потряс рассказ отца о его участии в так называемом кровавом воскресенье 9 января 1905 г. Отец не был политиканом или политиком, но жил среди людей, которые интересовались политикой и тем, как пойдет жизнь России. И когда началось движение священника Гапона, оно нашло отклик в рабочих кругах. Отец отрицал, поскольку знал это движение, что в нем были какие-то провокационно-политические замыслы. Он считал, что действительно Гапон полагал организовать рабочих для того, чтобы они обратили внимание правительственных кругов и в частности бюрократов, на то, что некоторые нужды рабочих следует удовлетворять: социальные проблемы, вопросы образования их детей, повышение материального положения,- все это должно входить в задачи любого правительства. Причем Гапон думал, что так как этого не удается достичь путем петиций к министрам, то, может быть, следует попробовать путь всенародного прошения к Императору - тогда это попадет в прессу и правительство обратит на это внимание.

Они устраивали разные собрания, и отца дважды выбирали председателем больших собраний рабочих. Отец говорил, что выбирали его именно за политическую невинность: он был просто молодой человек с симпатичным лицом, и видно было, что он ничего не понимает в текущих делах, поэтому он председательствовал, а рядом сидевшие товарищи подсказывали, что надо говорить и делать. Постановили, что надо идти с прошением, кто и какое прошение писал, не ясно, но они пошли, и им были даны инструкции. Было сказано, что это мирная демонстрация, но нужно постараться выйти к Дворцу и что с пением "Спаси, Господи, люди Твоя" и "Боже, Царя храни" все пройдут передать петицию Государю Императору, кто-то примет ее и потом все мирно разойдутся по домам. Но этого не

произошло. Императора в этот момент даже не было. Как мы теперь знаем из разных воспоминаний, он был в Царском Селе и вообще ничего не знал о том, что предполагается шествие рабочих. Но градоначальник Петербурга перетрусил, почему, неизвестно, так же как неизвестно, какую информацию ему давало охранное отделение. Он не просто испугался, он вызвал войска, а войска вызываются с определенной целью: если призывы начальника войск не будут услышаны толпой, в ход идет огнестрельное оружие. Отец рассказывал, что он шел с большой колонной, шли с разных сторон, с островов к Зимнему Дворцу. Шли по мостовой, 7-9 человек в ряд, и несли царский портрет, очень стройно шли, без всяких инцидентов, и настроение было самое мирное. Когда проходили мимо одного из министерских зданий, которое имело отношение к графу Витте, уже вблизи Дворцовой площади, на крыльце стоял толстый швейцар. (Швейцары в России были в большинстве случаев из низших командных офицерских должностей, бывшие вахмистры, унтер-офицеры, старшины из флота.) Этот швейцар в министерском доме держал себя агрессивно, бранил демонстрантов, упрекал, что вместо того, чтобы молиться Богу в воскресенье, они шатаются по улицам, и грозил: “Подождите, вот вам покажут, ужо будет вам!” Но участники шествия, согласно инструкциям, никак не реагировали и шли дальше. Очень скоро, однако, колонна остановилась, потому что открылось начало площади, перегороженное цепями солдат, и слева и справа стояли эскадроны казаков. Офицер прокричал толпе расходиться, но все продолжали идти вперед, причем была дана инструкция: “Товарищи, возьмитесь под руки”, - все взяли друг друга под руки, и получилась плотная колонна. Тогда раздался сигнал тревоги, офицер опять что-то прокричал, но колонна очень медленно шла вперед. Солдаты взяли наизготовку, и, когда офицер скомандовал “пли!”, колонна легла - была дана такая директива.

Конечно, солдаты стреляли поверх голов и по иронии судьбы швейцар в подъезде министерского дома, был наповал убит. Второй залп был пущен по ногам, появились раненые, и толпа побежала. Отец тоже побежал и перепрыгнул через ограду какой-то церкви, мимо пролетели казаки, которые старались нагайками ударить тех, кто не успел увернуться. В этот момент отец заметил, что потерял калошу, а калоши были новенькие, ему жалко! Можете себе представить его безумие: он вылез из-за ограды и пошел разыскивать свою калошу, нашел ее, надел и отправился домой. С ним лично ничего не случилось, но убитых или умерших от ран было чуть ли не 70 человек, раненых было человек 150. З а ч е м это было сделано: только накаляло страсти и ничего не решало! Какой административный идиот командовал всем этим, трудно себе представить. И вся Россия, вся Европа, весь мир испытали отвращение к царскому режиму как стреляющему по собственным мирным гражданам, а отец, рассказывая, все время подчеркивал, что это было мирное шествие, не имевшее ни малейшего

намерения политической или иной агрессии. И прибавлял, что он считал себя, и тогда и позднее, политически незрелым человеком и жалел, что когда он председательствовал на собраниях, то не понимал, что это может грозить людям такой опасностью со стороны обалдевшей от страха полиции. Он и себя осуждал и критиковал. И именно эта критика, весь его рассказ, отсутствие самолюбования понравились моей будущей матери, и она оценила замечательную чистоту его души. Отец был человек и правда большой духовной чистоты и абсолютной душевной ясности и честности, у него начисто отсутствовал эгоизм, и он себе никогда не позволял никого обидеть, а его обижали очень сильно. В результате уговоров моей матери отец согласился, что, может быть, им стоило бы найти общую работу. Единственное, в чем они могли бы объединиться, была педагогическая работа. К этому решению обоих подталкивал еще один фактор. Так как отец жил в винных складах и получал алкоголь по низкой цене, волей-неволей получалось, что он пьет, особенно в субботу, когда рабочим платили деньги и они приглашали: “Ефрем Николаевич, пойдемте с нами рюмочку выпить”, и по целому ряду соображений нельзя было отказываться от этих рюмочек. Получалось, что каждую субботу он напивается. После обсуждений и совещаний с друзьями они пришли к заключению, что отец должен сдать экзамены на звание учителя экстерном при Петербургском учебном округе. Это заняло целый год. Моя мать и даже кто-то из братьев, приехавших в Петербург, все старались его натаскать, и натаскали: он сдал экзамен и получил диплом учителя. Но найти общее занятие оказалось труднее, чем они думали. Петербургские школы уже были укомплектованы учителями, многие из них получили отличное образование в учительских семинариях и даже в учительских институтах, так что пробиться экстерну и провинциальной учительнице было очень трудно. Тогда они решили пойти на новое дело, которое им предложили: вступить в борьбу с детской преступностью.

Был 1906 год, Россия во многих отношениях вступала на новые пути развития, шел творческий период конституционной Российской монархии. Естественно, всплыли вопросы, связанные с детской преступностью. До первой мировой войны без всяких революций и дореволюционных движений, в связи с ростом городов и пролетариата, каждый год от 10 до 12 тысяч детей, главным образом в городах Российской Империи, оказывались беспризорными юными правонарушителями. С этим старались бороться, и русская правовая система имела продуманный свод законоположений о малолетних преступниках. В основе всех этих дел была тенденция не сразу подвергать малолетних преступников карам общеполицейского характера, но пытаться, при помощи судей по детским делам, выделить эти дела и найти какие-то способы влияния на малолетних, нравственно дефектных детей в надежде, что их можно будет удержать или отвлечь от преступных деяний - такой был замысел. К тому времени

существовало довольно много различных институций, куда собирали таких малолетних преступников и старались, оторвав их от общества и от взрослых преступников, как-то на них влиять, образовывать и превращать в нормальных детей. В прошлом веке борьба с этим социальном злом велась в рамках уголовного права и частной инициативы (например, в Москве создали знаменитый Рукавишниковский приют), а в начале нашего века в связи с возраставшей склонностью русских юристов к "гуманным решениям" при разборе судебных дел (в духе замечательного русского теоретика права Петражицкого с его формулой "Нет в мире виноватых") возникла группа деятелей, поставивших целью борьбу с детской преступностью "методами трудового воспитания". Это означало не только школьное образование (по курсу высше-начальных училищ), но и развитие у детей профессиональных навыков в области сельского хозяйства или ремесел (литейное дело, столярное, портняжное и сапожное мастерство).

Патронами этого начинания стали выдающиеся юристы: сенаторы Николай Степанович Каганцев, Николай Эдуардович Шмеман (кстати сказать, дед прославившегося в эмиграции священника А.Шмемана) и знаменитый мировой судья по детским делам в Санкт-Петербурге Николай Иванович Окунев. Эти "три Николая" опирались на выдающихся психиатров, специалистов по детской психологии, начиная со знаменитых, гремевших тогда профессоров Бехтерева и Лесгафта. Для решения этих проблем особое внимание обратили на Санкт-Петербургскую земледельческую колонию и ремесленный приют под Петербургом, в котором было сосредоточено свыше 300 таких правонарушителей. Во главе этой колонии был поставлен Михаил Павлович Беклешов, происходивший из знаменитой псковской дворянской семьи, в которой были даже декабристы. Он счастливо сочетал в себе отличного организатора, идеалиста, веровавшего в успех "трудовых методов", и барина в осанке и манерах, что было небесполезно в империи, где ценилась "порода и знатность". Он принял директорство и позднее сделал себе имя в этой области. Беклешов решил подобрать молодых помощников, среди которых оказались и мои воодушевленные родители, и отказаться от старых воспитателей или свести их к минимуму, потому что они были склонны к рутинному, а ля тюремному обращению с юными правонарушителями. А здесь строилась другая система. Психологи показали, что большинство преступлений происходило не потому, что это были плохие дети, а потому, что этим детям некуда было направить свою энергию, и в условиях нужды и скверных влияний в городе они иногда начинали красть с чисто спортивными целями. Было молодечеством обокрасть, допустим, пожилую торговку на рынке: несколько человек отвлекали ее, а в это время один крал, скажем, пять яблок, с этого все начиналось. Кроме того, их использовали взрослые преступники. В России были очень распространены из-за холодов двойные рамы и форточки, в которые взрослый вор не мог влезть, но они

использовали малышей: те залезали через форточку в пустую квартиру, открывали входную дверь, вор подымался и очищал квартиру. Все это нужно было искоренять. Прежде всего была составлена новая программа обучения: если судье не удастся в течение года-двух покончить с преступными деяниями мальчугана, его, по решению детского суда, отправляют в такой приют, в такую колонию, где он будет, во-первых, обучаться в объеме программы высше-начальной школы, а, кроме того, получит какое-нибудь ремесло, лишь бы был интерес. А если мальчик обнаружит способности, их будут развивать. При этом будет как можно меньше тюремщины, мальчики должны жить группами, каждая примерно в 30 человек. Они одевались не как тюремные, а как школа, в определенную форму: милые синие блузки, напоминающие матроски, длинные брюки, высокие сапожки, шапка со значком. И никаких решеток, никаких сторожевых собак. С группой обычно в той же спальне спал "дядька". Он был обычно из солдат, прошедших действительную службу. Его должность была пассивная, он главным образом следил, чтобы не было эксцессов. А во главе каждой такой группы А, Б, и так далее стоял педагог, воспитатель.

Утро начиналось с подъема, потом молитва, чай, школьные занятия, в определенные дни или после обеда спортивный час, непременно вводился спорт, много играли в городки, в рюхи или в лапту, и затем после этого работали в мастерских по несколько часов в день. Принцип был - ни в коем случае не давать мальчику времени предаваться мечтам и строить планы преступления, он был все время занят, разнообразно и интересно: вечером были хоровые спевки, разучивали пьесы, занимались ручным трудом, показывали туманные картины, все было тщательно разработано. Для колонии были построены новые дома, почва еще не была хорошо разработана, и для передвижения пешеходов были построены удобные мостки, во время дождя и снега их легко было чистить. Мостки помогали общаться ребятам из разных домов. Мальчики все время двигались: была общая столовая для ужина и для обеда, но чай накрывали в своих домах, а церковь, мастерские, ферма и больница - все это были отдельные корпуса. Когда по мосткам шла целая группа молодых людей, топоча ногами, получался определенный ритм, как бы эхо: пошли пить чай, пошли ужинать.

Устраивались гимнастические игры, для чего имелся большой плац, очень хороший, травяной, отчасти битая земля, посреди колонии. Позднее, когда в России появились сокольские группы, приезжали русские сокола с показательными выступлениями. Им даже стали подражать на уроках гимнастики в школе. Потом появились скауты, тоже с различными упражнениями. На плацу устраивали состязания между домами, например, бег (давали призы), играли в городки или в лапту и таким образом все время поддерживался спортивный азарт. В эту реформированную школу для малолетних преступников Михаил Павлович Беклешов и пригласил моих родителей, и оба они согласились. В тот момент отец еще не получил

учительского звания, но Беклешов оказал ему доверие, и в конце февраля 1907 г. они начали службу в этой замечательной земледельческой колонии и ремесленном приюте около станции Ржевка под Петербургом, по Ильинской железной дороге.

Их деятельность протекала, в общем, удачно. Отец обладал замечательным даром влиять на молодежь, они ценили чистоту его души и искренне хорошее к ним отношение. Он увлекался организацией хоров, постановками пьес, и мама изо всех сил ему помогала: они были энтузиасты своего дела. Это было мужское учебное заведение, и отец получил полную нагрузку как учитель и воспитатель. У матери тогда не могло быть нагрузки воспитательницы, но ей дали, во-первых, отдельные уроки, во-вторых, назначили библиотекаршей и, в-третьих, она писала “кондуиты”. Это была специальная папка на каждого мальчика, в которую воспитатель вписывал все, что было экстраординарного, общую характеристику и сведения о положительных и отрицательных качествах. По желанию профессоров Бехтерева и Лесгафта она составляла для них характеристики особо сложных случаев на основе подробных данных, которые всегда содержались в кондуитах. Видимо, характеристики были высокого уровня, потому что профессора их ценили, отдельно платили за них и даже возбудили вопрос, не хочет ли она перейти к ним, чтобы заняться более систематически этими проблемами. Но мать отказалась: это опять разлучило бы ее с мужем и, кроме того, уже появился я, потом второй сын, и она решила, что не стоит переходить в иную область, чем та, где ее положение уже сложилось.

Началась их деятельность забавно: у отца гладко, а у матери первый же урок - с замечательного скандала. Дело в том, что преподаватель-женщина была тогда редкостью, и для мальчиков тоже, и когда она пришла в класс, все встали, и она сказала: “Здравствуйте”. Директор отрекомендовал ее: “Екатерина Александровна, наша новая учительница” - и ушел. И когда она начала объяснять урок и повернулась к доске, все мальчики бросили в нее свои фуражки, одни попали, другие нет, в классе было 30 человек, и вот 30 фуражек швыряли по всем направлениям перед доской и учительским столом. Моя мать спокойно посмотрела на все это и сказала: “Все бросили?” Мальчики страшно удивились. Она сказала: “А бросаете вы плохо: вы же хотели попасть в меня, но не попали, мало кто попал, так что дежурный - кто дежурный? Возьмите эти шапки и раздайте владельцам”. Все получили обратно шапки и были поражены, что мама не закричала, не заплакала, как они рассчитывали, не позвала директора или кого-то из учителей. После этого у них установились прекрасные отношения, она стала очень популярной, потому что у нее были прекрасные преподавательские данные. Она всегда была очень справедлива: если мальчики не сделали урока или сделали его плохо, а были такие случаи, что мальчики нарочно не хотели делать уроки, то она совершенно

хладнокровно говорила: “Прекрасно! не хотите работать? После обеда (а тогда начинается спортивный час) ты придешь ко мне на квартиру, понял? С тетрадкой”. Мальчик приходит, и, сидя за столом, волей-неволей, должен писать урок. Они очень быстро поняли, что игра не стоит свеч, лучше уж сделать уроки, чем связываться с Екатериной Александровной, она все равно настоит на своем и заставит прийти к ней, а там сидеть нужно очень скромно, чинно и нужно писать. Да еще она посмотрит и скажет: “Неразборчиво, грязно написано! Перепиши!”

Такой чисто деловой подход победил и создал им в школе в кратчайшее время высокую репутацию. Отец оказался даровитым педагогом. Он очень импонировал мальчикам, может быть, потому что они чувствовали в нем живую и вполне юношескую душу. Он принимал горячее участие во всех видах спорта, заботился, чтобы хор пел с чувством, с пониманием того, что поет, не позволял просто “орать”, как он выражался, песни. Он был сторонником либерального обращения с маленькими правонарушителями и старался, чтобы они чувствовали себя, как дома. Группы были возрастные: самая младшая - от 10 до 12 лет, новициат, затем были группы 13-14 и 15-16 лет. У него была эта последняя группа, где мальчики оставались иногда до 17 и даже до 18 лет, но не больше, к этому времени они заканчивали школьный курс и получали профессиональное образование. Отец быстро понял, что в каждой группе есть так называемый “горлопан”, тот, кто берет голосом, они как бы атаманы, они перекрикивают других и командуют, и отец понял, что надо взять под контроль именно этих горлопанов. Потому что, если они будут против воспитателя, то класс, или “семья”, как называлась группа, попадет в трудное положение. Если же горлопаны проникнутся идеологией воспитателя, поймут его цели, будут помогать, то можно добиться положительных результатов.

На еженедельных заседаниях педагогического совета, где будни школы обсуждались в подробностях, очень скоро оказалось, что мой отец занимает самые либеральные позиции и отрицает методы притеснения свободы, которые практиковали некоторые старые педагоги. Таким воплощением консервативной мудрости, по словам отца, был помощник директора Меркурьев. Он был кривой на один глаз и производил, особенно на меня, устрашающее впечатление, и взгляды у него были устрашающие, он не верил в доброту мальчиков. Либерализм отца подвергся сильному испытанию через год с небольшим после того, как он стал работать в школе. В одно печальное утро выяснилось, что все отделение “А”, 24 мальчика, бежало, притом дядьке из бывших военных, который спал в той же спальне, связали руки, чтобы он не мог освободиться, и положили подушку так, чтобы его мытье-вытье не было слышно. Когда он в конце концов освободился, то пришел к моему отцу доложить о случившимся. Отец сейчас же пошел к директору и они вместе поехали в Петербург: сначала к детскому мировому судье Окуневу, затем на совещание с полицией,

которая имела опыт таких побегов. Обсудили вопрос, и отец говорит: “Я хочу, чтобы представитель группы явился куда-нибудь, чтобы я мог с ним поговорить”. Через полицию удалось связаться с убежавшими, и один из них согласился появиться в определенном кабачке. Был май, хорошая погода, Петербург казался чистым и парадным городом. Они встретились в условном месте, мальчика звали Сысоев, он стоял за прилавком, так что между ним и отцом было большое пространство, и сзади была дверь, в которую он мог убежать - меры предосторожности были смехотворны, хотя и понятны. Отец спросил: “Почему вы убежали?”- а он ответил: “Знаете, Ефрем Николаевич, весна, и такой дух, хочется путешествовать”. - “А, путешествовать хочется, - сказал отец,- почему же вы мне не сказали, мы могли бы организовать поездку в Петербург, если вам хотелось”. - “Не догадались”. - “И напрасно. Теперь, если вы не вернетесь, то ударите по всей школе, потому что вы знаете, некоторые преподаватели не хотят такого “вольного” отношения к вам, а хотят строгостей. Если вы не вернетесь, они окажутся правы и будут введены другие порядки, это раз. И, во-вторых, конечно, мне придется уйти”. Сысоев очень удивился: “Почему?” - “Не могу же я остаться, если не сумел удержать целую семью отделения “А”, раз они убежали, значит, наши методы плохи. Так что подумайте: вы ударите по школе и по мне лично, но решать вам”. Сысоев говорит: “А если мы вернемся, Вы нас накажете?” - “Если вы вернетесь все, - сказал отец,- то никаких наказаний не будет, будем считать это днем прогулок. И я вернусь вместе с вами”. Сысоев сказал: “Я поговорю и через два часа приду опять, скажу, как ребята думают”.

Они расстались, отец опять связался с Н.И.Окуневым, они позвонили директору и выработали план дальнейшего разговора и степень уступок, на которые можно пойти. Но ребята были хорошие, они поразились тому, какие могут быть результаты, их беспокоила не столько судьба школы, сколько судьба Ефрема Николаевича, которому они очень симпатизировали: вдруг они ему наносят удар! Сысоев явился через два часа, была уже вторая половина дня, и с теми же мерами предосторожности сказал, что виделся с ребятами, и они вернутся сегодня, в 6.30-7 часов вечера, встретятся с Ефремом Николаевичем около этого кабачка на улице, но они надеются, что не будут наказаны. Двое, может, не вернутся, не хотят. Это было отцом предусмотрено, он сказал: “Ну, хорошо, если они не вернутся и если их поймают, тогда они будут наказаны, а вы нет”. И действительно, в половине седьмого вся группа собралась с несколько виноватым и удивленным видом. Некоторые уже успели кое-что из своих вещей продать, даже значки, но на это не обратили внимания, и отец вернулся с 24 из 26 бежавших. Они ехали в поезде, заняли почти целый вагон и очень хорошо пели под управлением отца, даже железнодорожники были довольны: “Ишь, как ребята поют здорово!” Приехали в Ржевку и построились попарно, как на обед, отец сзади, а они впереди длинной вереницей, во

главе с Сысоевым прошли в свое отделение. Только вот не ели: был вечер и ужин уже кончился, поэтому им просто раздали порции хлеба и чай.

На педсовете отец подвергся нападкам, но он хорошо защитился и сказал, что вина была, очевидно, отчасти его: в том смысле, что он не предусмотрел ситуации, когда они захотят проявить инициативу. Во-вторых, по его мнению, неправильно действовал дядька: когда эта акция начала развертываться, он вместо того, чтобы вступить с ними в переговоры, стал их всячески ругать и не дал им объясниться. Отец уже был начитан в педагогической литературе, как и моя мать, они получали много журналов, и в школьной библиотеке было множество книг по специальности. Этот эпизод кончился для отца хорошо, Сысоев и другие мальчики стали его большими друзьями и сохранили эти отношения, даже уйдя в большой мир, исправившись. А некоторые были просто замечательные. Один, некий Николаев, удивительно талантливый человек, был горлопаном, хулиганил, а потом обучился и во время первой мировой войны попал в офицерскую школу, которую хорошо окончил.

28 февраля по старому, 13 марта по новому стилю 1908 года, в 12 часов дня, когда отделение шло на обед, родился я. Роды проходили в нашей квартире в доме колонии. Мальчики были со мной милы и внимательны, им нравилось, что у любимого воспитателя и учителя родился сынок. Сынок был маленький, ничего не понимал, и у него был любимый друг, огромный сенбернар Полкан, который вообще-то принадлежал директору, но Полкану я очень нравился, и он приходил, лежал около меня, а я играл на коврике, развернутом на траве. Полкан был громадной и умной собакой. Когда его оставляли со мной, ему показали, чтобы он не давал мне уползать с коврика, и когда я достигал края и готовился ползти дальше, Полкан подходил, ухватывал край пуловерчика, который был на мне, и очень осторожно тянул меня обратно. Это было изумительно, мои родители говорили, что можно было в цирке показывать: Полкан в роли гувернера! Однажды, когда родители уехали на день в Петербург, по соседству случился пожар - в столярной мастерской что-то загорелось. Так как дома были деревянные, то всегда была опасность быстрого распространения огня, поэтому пожарные велели вынести из квартиры все вещи: а кто будет выносить? Вынесли мальчики из отделения “А”, и меня тоже, и самое трогательное, что даже мои детские сладкие сухарики, и те вынесли, и ни один сухарик не пропал. Няня была особенно этим растрогана: “Мальчонки же, им тоже ведь хочется сладкий сухарик съесть”. Она потом испекла им особенно вкусный пирог. Этим я хочу показать, какие там были хорошие человеческие отношения.

Более или менее связно я помню себя с того дня рождения, когда мне исполнилось 4 года. Именно в тот праздничный день я получил давно желаемую игрушечную гусарскую форму (когда подрос, я приспособил ее моему плюшевому медведю, а потом сестрице Танечке): замечательная

шапка, картонная гусарская грудь, которая завязывается на шее, и блестящая сабелька в ножнах. Я счастлив. Это морозный, но солнечный день, конец февраля по старому стилю, я сижу у окна вблизи отцовского письменного стола, и вся комната, как всегда начищена, все блестит. На улице холодно, хотя и солнечно, а здесь благодатное тепло от кафельной печи, согревающей все 4 комнаты. Я смотрю в окно, вижу залитые солнцем сугробы и воробьев, порхающих и галдящих: на подвешенной с окон доске все съедено, но в стеклянных баночках блестит вода и какой-то воробышек вдруг пьет, задирая головку и немедленно озираясь. Сад заметен снегом, но главная дорожка вычищена, и деревянный тротуар к дому усыпан песком.

Я не помню своего брата, который умер летом 1910 года вскоре после рождения в ноябре 1909 г. Не помню, в сущности, и дедушку, Александра Ефимовича Квашенинникова, хотя помню на своей щеке и губах его щекочущую бороду, когда смотрю на его портрет. Он умер в 1910 г., когда мне было два года, еще нет сестры, она родится позже, в мае того же года. Я чувствую, что я один у родителей. И я очень люблю их и няню и очень хотел бы, чтобы всесильный Бог сделал их бессмертными и навсегда оставил со мной. Как ни странно, первое же мое внятное воспоминание связано с "метафизической проблемой" - бессмертием. Только теперь, наговаривая эти пленки, рассказывая об этой ранней молитве, я сообразил, что Бог ее услышал и так и поступил, но в несколько ином смысле. Я просил о бессмертии, но Он дал мне бессмертие воспоминаний о них. Я вижу их такими же молодыми, моих родителей, улыбающимися, полными забот обо мне, их первенце, и мою дорогую няню, которая рассказывала мне чудесные сказки, которая так заботилась обо мне. Все это я сохраняю в незыблемости всю свою долгую жизнь, они всегда со мной. Конечно, скептики скажут, что это выдумки, но это и есть реальное ощущение бессмертия. Я никогда не бываю один в мире, потому что мои родители и няня меня не оставляют - моя детская молитва была услышана.

Я помню отрывочные эпизоды из того же периода, в том числе поездку в Санкт-Петербург. Особенно мне нравится зоологический сад, и не потому, что он прельщал меня зверьми - к ним я был равнодушен - меня там интересовало совсем другое: там можно было ездить верхом на пони, и к этому я стремился всей своей мальчишеской душой. Я ездил и на слоне, и на верблюдах нас катали, это было интересно, но не реально, это было странностью. Все понимали, что никто не ездит в России на слоне. Рядом ходил индус, разговаривал со слоном на непонятном языке, и это было неинтересно. Интересней было, когда вас сажали на осликов, и ослики или пони возили шарабаны, куда иногда сажали нескольких детей. Но это тоже не так меня интересовало. Важен был момент, когда можно было ехать верхом. Это было нечасто, меня начали сажать верхом, только когда мне исполнилось 4 года. Кажется, до 4 лет детей даже нельзя было сажать на пони. Скользкое замечательное седло, ты едешь куда-то направо, налево,

стремена, уздечка - и ты чувствуешь себя великим наездником. Это было ощущение, которое врезалось в мою детскую память! Мы приезжали на Охту - конечную станцию Ильинской железной дороги, там же была пристань, можно было на пароходике пересечь Неву почти по прямой и оказаться в центре. Но мы иногда ездили иначе: садились на другой пароходик, финской компании, и ехали по Неве, а потом приставали на другом берегу к зоологическому саду. Интересно было и само путешествие на моторном судне, но главное - пони в зоологическом саду. Когда мы ездили в Петербург, меня всегда водили меня в булочную-кондитерскую. Одна из них была знаменитого Филиппова, другая - не менее знаменитого Андреева, ничего общего с нами не имевшего, просто однофамильца.

Мой отец жил всегда очень скромно и, как я теперь вижу, мы были немножко пуритане в еде и в образе жизни. Но иногда он любил хорошо поесть, и любил сладкое. Эта черта сохранилась у него на всю жизнь. Поэтому во время петербургских поездок мы непременно шли или к Филиппову, или к Андрееву. Отец брал себе кофе по-варшавски со сливками и какой-то невероятный торт. Мать тоже брала кофе и торт. А меня спрашивали: “А ты что хочешь?” И я всегда очень сурьезным и густым голосом говорил: “Мне что-нибудь посущественнее”. - Все начинали хохотать, и продавщицы, и публика. Я хмурился, но выяснялось, что я хочу пирожок с мясом или с капустой, эти пирожки мне казались умопомрачительного вкуса. Они и правда были первоклассные.

Обычно я сопровождал родителей, если им нужно было ходить по магазинам. Они не всюду меня брали, но часто нужно было купить мне одежду. На фотографиях того времени, а сохранилось их очень немного, я очень серьезный молодой человек, со строгим выражением лица, видно, не легко было вогнать меня в улыбку. Этому серьезному молодому человеку очень нравилось ездить в поезде. Отец объяснял всякие подробности, ехали мы обычно третьим классом, чтобы сэкономить, от Ржевки рукой подать было до Охты, и бросать деньги на ветер - садиться в желтый второй класс, или в синий первый - было бы излишеством. Мне было интересно, например, что на Охте, перед тем, как подъехать к вокзалу, поезд шел прямо по улице. И звонок на паровозе все время звонил “динь-динь-динь”. Шлагбаумы закрыты, но публика по улице движется, детишки бегают. И часто в вагоны подсаживались малыши-оборванцы и начинали петь песни, чтобы выцарапать у пассажиров деньги. Особенно популярна была “Маруся отравилась”:

Маруся ты, Маруся,
Открой свои глаза,
А если не откроешь,
Помру с тобой и я.

Публика приходила в ужас, кричали: "Довольно, довольно, уходи!" Давали им копейку-две, чтобы они прекратили свое пение, а им это и нужно было. Проскочив 4-5 вагонов, они набирали по десять копеек, на эти деньги в те времена можно было купить прекрасные вещи: орехи, мороженое, фрукты. Это был спорт местных ребят, который мне очень нравился. Однажды произошел несчастный случай. Что-то было на рельсах, паровоз зацепился, остановился, и один вагон, как раз наш, он был первый, страшно накренился. Оказалось, что предмет, который попал на рельсы - камень, или булыжник, или ящик, подломил колесо и нужно было высадиться за несколько десятков метров до центральной станции. Это было единственное происшествие на этой железнодорожной линии за много лет.

Моя сестра родилась не дома, а в больнице на Охте, мы ездили ее смотреть. Танечка родилась темноволосой, пошла в папину сестру Катю и очень ее напоминала. Ее крестным отцом должен был стать дядя Вася, в то время, кажется, студент Санкт-Петербургского Императорского Университета. Я очень скучал без мамы и волновался, что с ней. И мы с папой ездили вместе с дядей Васей навещать маму, возили ей шоколад и особый мармелад, который она любила. А когда Танечка приехала из больницы, черные волосы вдруг исчезли, стали рыжими. Когда дядя Вася приехал, он с хохотом предположил, что мои родители подменили крестницу - была брюнеткой, а стала огненно-рыжей. Потом и огненно-рыжие волосы посветлели, и она в конце концов превратилась в очень милую блондинку.

1914 год запечатлелся в памяти, я хорошо помню, как мы собирались ехать в большой двухмесячный отпуск в Торжок. Родители при мне долго рассуждали, каким классом железной дороги ехать. И решили, что поедем третьим классом, потому что разница между третьим и вторым классом была ощутима, а папа предпочитал иметь больше денег, считая, что при наличии няни, его, мамы и двух детей все обойдется, и действительно обошлось. Железная дорога, тогда она называлась Николаевская, шла с Николаевского вокзала, была великолепна: чистые вагоны, просторные, все блестит, и служащие очень обходительные. Оттого, что в нашей компании были дети, публика была очень внимательна, и в нашем распоряжении оказалось целое отделение. Ехали мы отлично. Нянечка приготовила в дорогу разные вкусные вещи, и все это с энтузиазмом елось и пилось. Мы выехали ранним поездом и приехали в Лихославль через часов 5-6, это был довольно быстрый поезд. Совсем близко, рукой подать от Лихославля - шла линия на Торжок, и мы прекрасно пересели, я с восхищением внимал отцу, который отвечал на все мои вопросы, он тоже был воодушевлен - вспоминал молодость: по всем этим линиям он ездил, когда стажировался как помощник машиниста. Меня поразило, что начиная от Лихославля по этой сравнительно новой ветке на Торжок и на Ржев шла очень высокая насыпь, как всегда в России, чтобы скатывалась вода

или снег и легко было сохранять рельсовую линию, а слева и справа и на другой стороне этих рвов - густая-густая сеть кустов, сплошь кусты и часто ельник. Я страшно удивился - почему? А отец объяснил, что здесь бывают сильные вьюги и это мера предосторожности, чтобы снег не очень наметался в тракты, где проложены железнодорожные пути, его должны задерживать эти кусты. Зато из поездов плохо были видны окрестности, но тут поезд повернул, кусты кончились, и отец сказал: "А вот и Торжок!" И действительно, на повороте к станции мы увидели множество крыш, и, главное, куполов и церквей. Белые церкви, маячат колокольни, всюду золотые купола. Вот он, богоспасаемый град Торжок! Поезд быстро, отец мой всегда смеялся и говорил - "лихо", подкатил к платформам. Подошел, дал пару - "пффф", и махина остановилась. Всюду были построенные по удачному образцу вокзалы, очень красивые, как мне, и не одному мне, тогда казалось. И большими буквами написано "ТОРЖОК".

Я уже умел читать. Родители смеялись и рассказывали, что страсть к чтению обнаружилась у меня, еще когда я сидел в коляске. Оказалось, что лучшее для меня занятие - брать газету и рвать ее на мелкие клочки. Этим пользовались все няни, чтобы занять меня. Но мама очень сердилась, потому что я покрывался типографской краской. Мне было интересно, как это - мама, папа, няня, все дяди, которые приезжают, - все читают, а я нет? Я очень хотел читать и начал читать в 5 лет, а к 6 годам уже был начетчик: читал газеты, может, не все понимал, но заголовки все прочитывал и разбирался, где какой отдел газеты. Отец всегда говорил: "Ох! Будет он редактором". Это не вполне исполнилось. За свою жизнь я был редактором всего несколько раз, хотя я хотел им быть, но по условиям моей жизни мне не удалось проявить себя на этом поприще. И вот Торжок. Нас встречали тетя Маня и один из братьев отца, Сережа. Уже были заготовлены два любезных извозчика, коляски на резиновом ходу, отличные кони. Любезность была свойственна извозчикам, которые понимали, что лишь дворянин или человек привилегированного положения может позволить себе роскошь поехать на извозчике и что любезностью можно их приманить - и они всегда любезно относились к своим потенциальным пассажирам. Все вокруг производило на меня колоссальное впечатление. День был чудесный, все залито солнцем, сухо, приятные домики, много зелени вокруг домиков и за ними, всюду садики. Не то что в больших городах, где всюду только камень. Вот мы едем уже по замечательному мосту, и справа и слева вьется Тверца, видны паромы: не обязательно ехать на мост, чтобы сократить дорогу, можно переправиться на паромах. И ялики, маленькие лодки, которые за одну или две копейки с человека перевозили вас на другой берег. Все это мне нравилось. Затем шел высокий вал, в два-три дома высоты, там гуляли девушки с модными тогда легкими летними зонтиками, в белых платьях. А мы уже на той стороне, где грунтовые дороги или мостовые мелкого щебня. Хотя сразу за мостом была рыночная площадь с

булыгами. Но нам это все равно, у нас коляска на резиновом ходу, и мы булыг не ощущаем. Наконец, мы вкатываем на Пятницкую улицу, и тут мама уже начинает волноваться.

ТОРЖОК

Сначала мы остановимся у бабушки Лизы. Подъезжаем к ее домам, и бабушка в слезах и в восторге выбегает, за ней прислуга и все целуются, нас вводят и сейчас же начинают мыть, скрести с дороги, а потом великолепный чай с баранками, с тверскими пряниками и всякими невероятными вещами, которых обычно я в Петербурге и дома не получал. Мне было очень интересно, вкусно, приятно. Выяснилось, что мы будем жить в каменном доме, который нам отвела бабушка. Его иногда снимали, вот и в этом году нижний этаж был снят, но жилец уехал, так что дом пустовал. На чаи и вообще на прием пищи решили ходить к бабушке в ее деревянный дом, у нее есть прислуга, да и няня, которая раньше служила у бабушки, конечно, сейчас же приняла во всем участие.

Я быстро пошел по дворам, проверил каретники, всюду пахло кожей, и такая солидность была во всем дворе и постройках, первой гильдии были постройки! Но все пустовало. Между конюшнями проход, через него вы попадали в сад. Сад был великолепнейший, огромный, длинный, обнесенный высоким забором слева и справа. А сзади забора не было - лишь крутой обрыв, которым кончалась территория Квашенинниковых. И чего только не было в саду! Беседка, баня, непременная постройка в этих уездных городках: при каждом доме была своя баня. Замечательные кусты, когда-то посаженные дедушкой Александром Ефимовичем, теперь были выше меня: смородина, малина, крыжовник, великолепные огурцы, много парников. Два-три раза в неделю приходил человек, который помогал бабушке поддерживать парники на надлежащем уровне.

Затем мы отправились к дедушке Николаю Ефремовичу и бабушке Евдокии Платоновне. Поехали мы туда уже на другой день, выспавшись, утром навели порядок, вымылись. У бабушки были ванные, все было цивилизованно, богатые были дома. Отец опять заказал извозчика, на этот раз уже одного, туда сели он, мама и я, а Танечку мы не брали, ей не было и двух лет, она осталась с няней: решено было, что потом покажем.

К дедушке на Власьевскую улицу ехали опять через мост. Там были домики уже другого вида, не такие огромные каменные дома, никаких булыжных мостовых, и заборы гораздо меньше, иногда просто символические палисадники. У дедушки был, как намекая на рассказ Чехова, смеялись ученые дедушкины сыновья, "дом с мезонином", то есть полуподвал, затем большой этаж и мезонин. Как и у бабушки Лизы, все блестело. Удивительно, какая чистота была в этих домах, несмотря на то, что не было дорогих паркетов и обходились крашеными деревянными

полами. Кроме того, всюду лежали половички, они менялись очень быстро, появлялись новые, а старые часто мыли или выбивали. У них бесконечное количество лет жила старушка Марина, их главная помощница. Летом приходили и другие - чистить дом, так как приезжало много гостей. В гостиной, как и у бабушки, непременно стояли цветы, такая была мода. Но у дедушки все было гораздо скромнее. Зато меня поразило огромное количество книг и газет, в его кабинете были просто груды газет: кадетская “Речь”, “Московские ведомости” и “Русское слово”. Дедушка читал много и интересовался политикой, погружался в нее глубоко. Он уже вышел в отставку в 1914 г., но, тем не менее, все время консультировал в земстве, так что продолжал быть в курсе всех дел.

Дедушка меня тоже поразил. Во-первых, он слыл человеком умным, острым и бесцеремонным. Делал замечания не в бровь, а в глаз. Надо сказать, что он чрезвычайно уважал мою мать. Он сразу оценил ее ум, восхищался ее стойкостью, и весь эпизод ее учительства в земской школе ему был точно известен, и вся ее дальнейшая карьера. Он считал ее выдающейся женщиной и не скрывал этого, доходя даже до бестактности. Евдокия Платоновна делала большие глаза, но он притворялся, что не замечает, и сказал, что из всех его сыновей “самую хорошую жену выбрал Ефрем”. Он терпеть не мог Ольгу Андреевну, жену дяди Миши, и с большим сомнением относился к жене дяди Коли, Елене Владимировне. У Кости жена была далеко, в Вятке, так что он ее очень редко видел и не мог к ней придираться. А тех видел часто и был ими недоволен! Дальше произошло следующее: я приехал одетый по-петербургски, то есть, в очень популярную тогда матросскую шапочку с белым верхом и надписью “Россия” на ленточке и, как полагалось, в курточку, вернее, рубашечку, тоже очень модную, с отложным матросским воротником и короткие штанишки до колен. На ногах последний крик петербургской моды того времени, носочки: так что была открыта почти вся нога, и сандалии. Дедушка расцеловался со всеми, и мы сели обедать. Обед прошел благополучно: всякие новости, рассказы, туда-сюда, пятое-десятое. Дедушка произнес громовую речь, потому что член Думы выступил не так, как ему хотелось. После обеда мы пошли на веранду. Туда подали кофе, и дедушка начал вдруг рассматривать меня. Он уже раньше посмотрел на меня, но только поцеловал и сказал: “Здорово, тезка!” Я был назван в его честь, тоже Николай Ефремович, и ему нравилось: уважают старика! А тут посмотрел и говорит: “Евдокия Платоновна, не думаешь ли ты, что экономическое положение Ефрема плохо?” Все страшно удивились. Не было никаких оснований так говорить, явно все было не так уж плохо, если мы приехали всей семьей в Торжок на каникулы. Евдокия Платоновна с беспокойством смотрит на него, она уже знала, что у него такие вещи всегда кончаются какой-то выходкой. Она говорит: “Николай Ефремович”, - они на людях всегда называли друг друга по имени-отчеству, это архаический

русский обычай, который, надо признаться, мне очень нравился. И вот она говорит: "Николай Ефремович, что тебе считать деньги у своих сыновей. Почем ты знаешь? Оставь их в покое!" Он говорит: "Я их оставляю в покое, но посмотри на их сына, что ж такое? Туфли с дырками /сандалии/ , и на чулки денег не хватило. Смотри: обрезанные какие-то носочки!" Тут все страшно смутились. Мой отец решил промолчать, а моя мать сказала: "Это, Николай Ефремович, последний крик петербургской моды, и мы хотели Вам ее показать. Он сказал: "Глупости это все! Или вы ходите босиком, или, если уж покупаете туфли, то без дырок. И носите чулки, чтобы защищать ногу, или вообще не носите". Больше он ничего не сказал, но теперь, когда мы приезжали к дедушке, я всегда был в чулках. И больше туда в сандалиях не появился! Это, кажется, дедушка заметил и оценил. Ему понравилось, что его критика была услышана.

Летом 1914 года нас нарасхват приглашали в гости. Родители едва успевали откликнуться на приглашения и в городе, и за городом. Начали мы, конечно, с городских визитов. Первым был визит к тетушке, сестре покойного дедушки, Александра Ефимовича Квашенинникова, так называемой бабушке Ане. Она жила в отдельном доме, носила глубокий траур и оказалась чрезвычайно милой старушкой, которая с любовью отнеслась к моей матери, с большим уважением к моему отцу и с дружеским поощрением ко мне. У нее не было внука, а были внучки, и, по-видимому, я ей нравился именно как мальчик и как "сурьезный молодой человек". Она спрашивала мое мнение по всем вопросам, и мне это нравилось. У нее, как и у бабушки Лизы, в комнатах было много икон, некоторые, по-видимому, старинные, изображавшие святых во весь рост и темные от времени. К сожалению, я тогда, конечно, ничего в иконах не понимал, а теперь дорого бы дал, чтобы посмотреть на них. Они были из староверческих кругов. Бабушка сделала мне большой подарок: дала мне запечатанный конверт и сказала: "Это тебе, дорогой, смотри не потеряй". Я сказал, как мне всегда велели говорить: "Спасибо, бабушка Аня!" Она меня поцеловала и сказала: "Расти большим и умным! Когда приедешь в следующий раз к бабушке Ане, будешь уже большой мальчик". Я повторил: "Спасибо, бабушка Аня". И она опять меня поцеловала. Когда я вернулся домой, то отдал конверт маме. Внутри оказались 300 рублей, три "катеньки", как тогда говорили, потому что на сторублевке был портрет императрицы Екатерины II. Это была громадная сумма по тем временам, и моя мать сказала, что это невозможно, и пошла к бабушке, но та сказала: "Все возможно, моя дорогая, все возможно, я уже старая, долго не проживу, а у тебя чудный сын, пусть это будет ему для начала его жизни. Если так не хочешь, то положи на сберегательную книжку. Пусть накапливаются деньги". Мать с отцом были очень тронуты. В нашем бюджете эти деньги сыграли большую роль. Не все пошли на сберегательную книжку, но какая-то сумма на мое имя была положена.

Другой визит в городе был к брату дедушки Николая Ефремовича, Василию Ефремовичу. Он был вдовцом, жил неподалеку от брата, но был совершенно другого типа, чем Николай Ефремович. Если мой дедушка тоже любил выпивать, то делал это как-то очень благородно, а вот Василий Ефремович шумел. Нос у него был багровых тонов, издалека было видно. Он даже жаловался: "Пью я не больше других, а нос производит такое впечатление, будто я запойный пьяница". Он нас долго звал и, наконец, уговорились идти на обед. Опять Танечку не взяли, пришли мама, отец и я. Он был доволен: очень любил моего отца. Сейчас же закричал громовым голосом - он вообще часто кричал: "Маланья!" Это была его кухарка, подслеповатая старушка, но большая искусница. "Что есть в печи, все на стол мечи!" Оказалось, что все страшно вкусно, начиная с необычайных каких-то маринованных грибков. Даже мама, которая терпеть не могла, когда пьют - а отцу пришлось выпить пару больших рюмок со своим дядей - даже она смягчилась и признала, что у него большой шарм. Его своеобразие особенно забавно сказывалось в политике, потому что если Николай Ефремович был радикал, то Василий Ефремович страшный консерватор. Он это всячески подчеркивал. Громовым голосом говорил: "Газетчиков не терплю! Врут все! За это им платят! Читаю только "Новое время"! Суворин - голова! Понимает, о чем пишет!". Так как мой отец терпеть не мог "Новое Время" и Суворина, то тема была щекотливая. Но, помня, что это его милый дядя, он терпел и не спорил. Так как шло уже лето 1914 года, обсуждались вопросы о войне и о мире. И дядя стоял за то, что министерство иностранных дел понимает, что делает и надо слушаться его советов. Рычал: "За что мы иначе деньги им платим?" На меня он произвел глубочайшее впечатление. Я единственный раз видел его, но запомнил на всю жизнь. Держался он со мной очаровательно, все хотел подарить отцу золотые часы, у него было много часов. Отец отказывался, и он сказал: "Вот, что, Ефрем, выйди из комнаты и постой в коридоре". Отец, недоумевая, вышел, тот быстро взял часы и сунул мне в карман: "А ты не говори папе, я тебе дарю!" Так я оказался вдруг владельцем хороших золотых часов, которые были у меня много лет, до самой гражданской войны. Это был тоже забавный визит, я увидел интересного родственника, совсем иного, чем я знавал в Петербурге: там все была высокая интеллигенция, а это был "человек дела", как он говорил. Очень хорошо он относился к моей матери и элегантно целовал ей руку. Мать сказала, что это в самом деле удивительно: такой вроде бы мужлан, крикун, а сам очень элегантен. И вообще он был человек чрезвычайно добрый, поддерживал сирот, давал из своей пенсии деньги вдовам, которых несправедливо, по его мнению, не обеспечили. В этом отношении он был широкий человек. Но в политике любил прикинуться читателем одного только "Нового Времени", что было не совсем правдой, потому что он получал, кажется, несколько газет. А все для того, чтобы поддразнить своего брата, Николая Ефремовича,

которому, он, когда приходил на обед, всегда говорил: "Будь моя власть, ты бы у меня в Петропавловке сидел!" А Николай Ефремович в ответ поддразнивал: "Фараонам на Руси власти не дают". Это очень меня веселило.

Затем меня самого отправили в гости. У меня был в Торжке двоюродный брат Сережа, сын тети Ксении, сестры моего отца, и ее первого мужа, уже скончавшегося, она вышла замуж вторично, и второй муж преподавал в учительской семинарии в Торжке. Одним словом, она сказала, что Сережа, который раз приезжал к нам дня на два в Петербург, на Ржевку, очень хотел бы, чтобы и я приехал к ним и провел у них денек. Уговорились, что родители привезут меня вечером, я там останусь на ночь, и через день меня заберут. Мама потом рассказывала, что я был самый несчастный человек. Оказалось, что я страшно тоскую без дома. Мне было всего 6 лет, и я лишился аппетита, не мог ничего есть, не мог спать, и все смотрел на часы и на дорогу: когда же за мной приедет мама или папа? Тетя Ксения пришла в ужас. Сережа, правда, был очень мил, и мы с ним старались играть в индейцев, но меня хватало на час, на два, а потом я опять начинал чуть не плача говорить, что хочу домой. Тетя Ксения потом сказала моим родителям, что это ненормальная любовь. Но родители, начитанные в педагогических теориях, считали, что это совершенно естественно, и раз это мне не нравится, не нужно повторять этот опыт, а дать мне возможность вернуться домой, иначе я получу комплекс и в будущем не захочу нигде бывать. Этот опыт неожиданно вскрыл мою глубочайшую привязанность к семье, черту, которая осталась у меня на всю жизнь. Я всегда с большим трудом отрывался от своей семьи, даже на день или на полдня.

Из других событий этого лета запомнилось мне путешествие под Вязьму. Сначала всей семьей ехали по железной дороге с няней к ее дочери Маше. У моей нянюшки была красавица дочь, которая вышла замуж по любви и была довольно зажиточной крестьянкой. Они очень хотели, чтобы няня осталась с ними, но моя нянечка не хотела. Возможно, она не любила крестьянского образа жизни, отвыкла от него и предполагала, что зятю нужно только, чтобы она возилась с внучатами, готовила пищу и немного разгрузила Машу. Няня говорила, что у них достаточно денег, могут нанять девчонок из деревни в помощь - "а я не желаю там быть". И ни на какие компромиссы не шла. Однако навестить Машу мы все-таки поехали. К вечеру поезд пришел, и на станцию приехала Маша на паре лошадей, у них была хорошая рессорная телега, полная душистого сена, покрытая ковром, что было редкостью и говорило о зажиточности крестьянина. Путешествие было очень интересное. Нянечка и мама разговаривали, отец наслаждался видом деревни, была хорошая погода, уже темнело, не то, что темно, но были летние сумерки. Приехали в большую деревню, подъехали к избе. Изба была огромная, нам отвели "белую" половину, на которой никто не жил и которая была обставлена по-городскому. Кушали мы вместе с ними

в средней избе, где была большая печка и всегда пахло чудно пищей и свежеиспеченным хлебом. А в их, третью часть избы мы только раз зашли. Мы пробыли там примерно 36 часов и вернулись. При этом отец настоял, чтобы Маша не теряла опять полдня на поездку туда и обратно на своих лошадях, а нанял тройку: деревня была богатая, и были тройки, которые занимались извозом, и я впервые ехал на настоящей тройке. Это были чудные лошади! Коренник, две пристяжные, настоящий тарантас, не рессорная телега - мы быстро и весело проехали эти 12 верст до станции. Сели в поезд и поехали в Торжок, причем нянюшка повторила, что предпочитает остаться в городе. Потому что моя мать серьезно говорила: "Может быть, действительно к Маше хочешь вернуться? Ты не беспокойся, няня, мы деньги тебе дадим, и все".- "Нет, - сказала няня, - нет, не хочу, я чувствую себя здесь дома". И действительно, няня осталась с нами.

Забегая вперед, когда в 1916 году исполнялось 10 лет ее службы у нас, отец сказал: "Надо поговорить с няней, не может же она оставаться у нас все время. Надо ее отпустить, я готов дать ей пенсию, которая будет идти каждый месяц, и пусть она едет к дочери". Когда он ей это сказал, няня ничего не ответила, ушла, а через некоторое время прибегает мама и говорит: "Няня плачет навзрыд в кухне и говорит - Ефрем Николаевич меня выгоняет. Что я ему сделала плохого, что он меня хочет отправить вон?". Тут все принялись ее утешать, мой отец прибежал в изумлении и в испуге, потому что он менее всего собирался "ее выгонять". Он объяснил это, она все выслушала и сказала: "Не поеду я туда, останусь с вами". Тогда отец говорит: "Ну, хорошо, но что можно сделать, чтобы отметить юбилей Ваш, Ольга Михайловна, Вы же 10 лет у нас работаете, а прежде еще работали у Квашенинниковых!" И няня сказала: "Знаете, я бы хотела переменить фамилию на "Андреева". Так и сделали, отец предпринял нужные шаги, и действительно она стала "Ольгой Михайловной Андреевой". Она хотела слиться с нами, быть одной семьей. Такой была моя дорогая нянечка.

Она была человеком старого закала. Всю жизнь она провела вне своей семьи. Родилась она в 1849 году, крепостной, и очень рано попала в господский дом, играла с господской девочкой, и вместе с ней получила образование: научилась читать, писать, считать. Когда крепостное право было отменено, она еще некоторое время жила при господах. Потом на короткое время вернулась в деревню, и деревня ей не понравилась. Поэтому, когда появилась возможность, она быстро ушла служить в город и попала к Квашенинниковым, где и прижилась. Она вышла замуж, родилась Маша, но муж ее быстро умер, а Маша подросла и вышла замуж, не особенно спрашиваясь у матери, так что та вернулась к Квашенинниковым, где нянчила мою мать, а потом, так как я был первый внук у бабушки по материнской линии, нянюшка перешла к нам и сжилась с нами, считаясь полноправным членом семьи. К крестьянству она относилась

сурово, считала, что при крепостном праве оно выигрывало, мужики тогда побаивались: не помещика, помещик не жил в селе или в имении, а его приказчика. Поэтому пьянствовали только четыре раза в году: на Рождество, Пасху, Троицу и на престольный праздник. А как стала воля, начали праздновать и пить, все учащая, каждое воскресенье, а потом уж и в будние дни. Эта ее теория многим крайне не нравилась, и не только моим дядюшкам, но даже когда я рассказывал историкам, например, Марку Июлевичу Шефтелю, он рассердился и говорит: "Это совершенно невозможное объяснение социальных процессов". Я согласен, что это не исчерпывающее объяснение, но оно объясняет мою няню. Она всегда так парировала возражения, скажем, дяди Васи или дяди Коли: "Вы, дорогие мои, все по книжкам судите, а я по жизни знаю, по жизни."

Одевалась нянюшка всегда удивительно опрятно, с подчеркнутой чистотой и, надо отдать ей справедливость, с большим вкусом. На голове всегда носила повойник. Когда я ее спросил, почему, она сказала, потому что была замужняя, а теперь стала вдовой, и в таких случаях нужно всегда прикрывать волосы. При чтении она надевала очки, а в кухне работала без очков и не любила, когда в кухню приходили. Она была мастерица и готовила удивительнейшие блюда, особенно пироги и так называемые "пирожоны", то есть, маленькие пирожки. Для этого изготовлялось особое тесто, чуть ли не одним Квашенинниковым известны были тайны начинки и обработки этих пирожков. Я с восторгом вспоминал всю жизнь это нянино "царство". Она действительно управляла кухней, и моя мать давала ей полную свободу, единственно, няня всегда требовала, чтобы ей за два дня дали сведения, сколько человек будет обедать или ужинать, чтобы она могла рассчитать количество продуктов.

Она с особенным вниманием и с большим уважением относилась к моему отцу и считала его, как она сама говорила, "человеком настоящей души". Когда я спросил, что это значит, она сказала: "А это, милый мой, такой человек, у которого душа с Богом разговаривает". Я был озадачен: как это душа моего отца разговаривает с Богом? Позднее я понял смысл этого выражения: она считала отца очень справедливым человеком, старающимся жить по Божьему закону, что может быть, не всегда удается, и все-таки он старается так жить. Всю жизнь она относилась к моей маме, выдающейся, образованной женщине, педагогу, замечательному оратору, как к маленькой девочке, нуждавшейся в указаниях своей любящей нянюшки. Чуть ли не с материнской внимательностью относилась к младшим братьям отца. Одно время его младшие братья учились в Петербурге: дядя Сережа и дядя Ваня в Политехническом институте, дядя Вася, кажется, на историко-филологическом факультете университета. Они обычно приезжали к нам в субботу, иногда с товарищами и подругами, с курсистками, бывало, человек 9-10 нагрянет. Они даже пытались привозить вино, которое мать с большим неудовольствием разрешала пить

только в субботу за ужином, а водки у нас тогда вообще в доме не было. И нянюшка очень о них заботилась: как они придут, она незаметно их осмотрит. Особенно ее огорчал дядя Сережа, он жил всегда как-то неприкаянно. Дядя Вася хорошо зарабатывал и хорошо проводил каникулы. Например, несколько лет подряд ездил на все каникулы к князьям Волконским, в имение Фаль под Ревелем, где преподавал мальчикам разные предметы, катался верхом на лошади, рисовал эскизы и занимался музыкой. Как потом мне рассказывали, им даже увлеклась княгиня, и это заставило его уйти оттуда, потому что он совершенно не собирался выступать в качестве молодого человека, соблазняющего главу дома. Много позднее мы были в имении Фаль, когда, к сожалению, княгини уже не было в живых, и познакомились с князем и с бывшими воспитанниками дяди Васи. Это был большой барский дом, который и в Эстонской Республике остался в распоряжении князя Волконского. Князь, между прочим, служил одно время в Министерстве иностранных дел Эстонии и, говорят, должен учить чиновников, как надо держаться на дипломатических совещаниях и приемах, потому что молодые демократические эстонцы едва ли хорошо знали дипломатический мир. В прекрасной передней этого дома мы с большим удовольствием вдруг увидели, что над одним из крючков на вешалке была по-прежнему прикреплена карточка с надписью: "Василий Николаевич Андреев". Это было трогательно.

Дяде Сереже меньше везло, он постоянно нуждался и часто не имел даже комнаты в Петербурге, а только углы в рабочих квартирах. Держал он себя скромно, много денег, которые он получал или зарабатывал, отдавал или своим нуждающимся товарищам, у которых были уже семьи, или тем, кто политически пострадали и были высланы из Петербурга. Он всегда считал своим долгом их поддерживать, потому что когда их ссылали, скажем, на Север, у них, конечно, не было никаких перспектив заработать в глухой деревне. И он часто приезжал к нам с продранным локтем или даже продранной коленкой на форменных брюках студента Политехникума. А няня даст ему чаю попить, потом скажет: "Сергей Николаевич, пожалуйте-ка сюда, я тут принесла пару от Ефрема Николаевича, вы ее наденьте, а я ваш костюмчик, знаете, немножко приведу в христианский вид. Его надо подзаштопать да почистить". И действительно заштопает, и почистит разными спиртами, и выгладит. И смотришь, дядя Сережа уезжает в воскресенье вечером от нас уже в человеческом виде, как студент. Это она делала с интересом и с удовольствием.

Ее, конечно, все знали, начиная с нашего директора, и все уважали. А она держалась с большим достоинством и с подчеркнутой вежливостью к начальству, к гостям. Это была такая учтивость, которая у позднейших поколений редко встречалась. Ее часто хвалили за прекрасно приготовленную еду. Она бывала очень довольна, кланялась в ответ: "Спасибо на добром слове!", а потом говорила: "Да что-ж хвалите-то! Ведь

коровушка да курочка, состряпает и дурочка", то есть, если есть продукты - масло, молоко, мясо и куриные яйца, то не так уж сложно вкусно готовить. Такая была наша дорогая, в особенности моя дорогая нянюшка, потому что она очень любила меня, а я ее.

Во время пребывания в Торжке летом 1914 года мы еще съездили в район Лихославля, узловой станции на Николаевской железной дороге. В нескольких верстах оттуда, в селе учительствовала младшая и любимая сестра моей матери, тетя Сима. Серафима Александровна была голубиной кротости человек, полностью пошла в своего отца. Интеллигентная, начитанная, тонкой души была человечек и очень хорошая учительница. В нее влюбился и женился на ней тоже учитель, который кончил курс в Новоторжской учительской семинарии, на Ямской улице. Он был огромный, сильный, а тетя Сима маленькая, нежная, блондинистая, очень хрупкая, в больших очках - она была близорука. Ее муж, дядя Вася, Василий Лебедев, с сильным голосом, с резкими манерами, мог быть очень неприятен в обществе, особенно если выпивал и начинал дерзить. Но Сима быстро его утихомиривала. Говорила ему всего одно слово или касалась его руки, и дядя Вася на наших глазах превращался в кроткую овечку. Моя мать и отец относились к ним обоим с большой нежностью и считали их замечательной парой. У них потом родился еще ребенок, а в то время был Женя, мой двоюродный брат, тоже очень болезненный, как его мама. Он сидел на каких-то диетах, очень слабый мальчик. Потом он развился и все это прошло. Мы впервые с ним тогда встретились, и он заобожал меня. Я был старше и физически гораздо крупней. Ему было 3 или 4 года, а мне 6. И он все угощал, и смотрел на меня, и говорил тоненьким голоском - сам-то он сидел на страшной диете: "Кокочка, кушай!" И все время подвигал тарелки с разными яствами, которые я, его двоюродный брат, ел, так как у меня аппетит был хороший.

Были большие споры между нашими отцами, потому что дядя Вася занимал довольно левые позиции и, по-видимому, начитался эсеровской, может быть, даже социал-демократической литературы. Он был мобилизован в 1915 году и без вести пропал, но отец всегда говорил, что если бы он дожил до большевистского периода, то несомненно стал бы местным большевиком, тут и Сима бы его не удержала. Как народные учителя в земской школе они оба зарабатывали не так уж густо и из своих скудных заработков все-таки покупали книги и интересовались ими. Пьянства у них не было совсем, тетя Сима, как и моя мать, ненавидела водку.

Между тем приближалось роковое время начала мобилизации и вхождения России в войну. Газеты были полны рассуждений на эту тему. У дедушки бушевали страсти, он за каждым обедом и чаем произносил минимум одну речь о текущей политике. Общее мнение, насколько я понимал, было решительно против войны, все земцы, в том числе и мой дедушка, Николай Ефремович, и все педагоги, как мои родители, хорошо

понимали, какой ужасный удар это нанесет нормализации жизни, которая, казалось, в России шла хорошим темпом. Военный надрыв может вызвать конвульсии всего русского общества. И, конечно, меньше всего они хотели, чтобы проливалась кровь великолепных молодых людей, которые поражали здоровьем, силой. Все надежды возлагали на разум Министерства иностранных дел. При этом вдруг всплыла тема Императора Николая II. Конечно, абсолютного монархизма в нашей семье уже не было. Монархизм стопроцентно выражался у няни. Она всегда со слезами рассказывала об убийстве Александра II, о смерти Александра III, о крушении поезда в Борках при Александре III, всегда горячо отзывалась на царские дни и с благоговением смотрела на портреты Августейшей Семьи. Весьма монархичной была и бабушка Лиза, которая воспитывалась в той же среде безусловного признания монаршей власти. Но мои родители, сами уже, в сущности, являвшиеся либеральной интеллигенцией, едва ли могли испытывать монархическую преданность. Отец всегда открыто поддерживал взгляды кадетов, которых считал лучшими умственными силами России. Мать ставила выше всего не форму политической жизни, но суть нравственных догм, и как женщина умная, принципиальная, необыкновенно сильной нравственной основы (это мои ретроспективные выводы, тогда мы это не обсуждали) она с большим сомнением относилась к тому, что происходило вокруг царской семьи, и считала, что, хотя, конечно, болезнь Цесаревича многое оправдывает в деятельности или в поведении Императора, тем не менее, нельзя только на этом сосредотачиваться. Что же касается меня лично, то, с одной стороны, я, конечно, был предан той России, которую видел, у которой такая прекрасная армия, о которой я уже много читал, знал о ее победах. К 1914 году, то есть к моим 6 годам я уже много знал по русской истории, хотя, может быть, очень по-детски. И поскольку в русской истории всегда доминировал император, то для меня Николай II был воплощением России. С другой стороны, я слышал много критики его министров, его политики, особенно в Торжке, в окружении моего деда, где на эту тему говорилось при мне совершенно открыто. У меня возникло чувство, что Империя очень хороша, я горд, что я - русский, но Император мог бы быть лучше. Незадолго до мобилизации о ней ходили слухи, которые к бабушке приносили ее ближайшие друзья, один из них был помощник военачальника, он довольно много знал, потому что ему предстояло производить мобилизацию. Впечатление было, что Царь страшно колеблется. Тут я отличился: кто-то сказал при мне, почему, мол, так колеблется Император, почему он не возьмет и не объявит мир, или, уж если нельзя этого, тогда надо начинать войну. Я тогда сказал: "А я знаю, почему!" Все с интересом посмотрели на меня, человек 5-6 там сидело, и бабушка Лиза спросила удивленно: "Что же ты можешь знать?" И я сказал: "Я знаю, почему, у него дырка в голове..." - это был отголосок истории о том, что самурай напал на него и ранил. Все были потрясены моей детской

прямотой, и бабушка сказала: "Что ты, милый мой, плетешь, какая дырка? Если у него была бы дырка, он был бы больной, а он здоровый: ездит на лошади, видишь, улыбается на всех портретах". Бабушка Лиза очень хорошо сдвинула это в сторону, но в сущности это было выражение моих детских впечатлений.

В Торжке стоял драгунский полк и усиленно упражнялся, был полковой праздник, мы с папой и с кем-то из дядьев пошли смотреть. Были скачки с препятствиями и всякая военно-верховая акробатика. Народу было множество, аплодировали, радовались, что у нас такие бравые солдаты, такие великолепные лошади и так замечательно все выходит: идут карьером, берут атакой, прыгают через барьеры, замечательно! Всем это очень нравилось. Вдруг в одно прекрасное утро я проснулся от невероятного грохота телег, который непрерывно возрастал. Я побежал к окну и увидел, что по Пятницкой одна за другой движутся вереницы подвод, на которых сидят мужики и бабы, и все это плачет и кричит, и ужасный шум стоит от огромного количества людей. Оказалось, что на той же Пятницкой, наискосок, было воинское присутствие и началась мобилизация. Мгновенно весь стиль города изменился, крестьяне понаехали тысячами и старались держаться бодрячками, хотя их забирали на военную службу, а бабы выли, это и нарушило покой богоспасаемого города Торжка. Спустя несколько часов отец получил телеграмму, в которой его просили прервать отпуск и вернуться в Петербург. Мы с ним в последний раз пошли в монастырь на службу. Мы ходили туда часто, ему там нравились песнопения. Там был очень любезный монах и служка, которые заведовали просфорами, когда я приходил, они мне всегда давали просфорку. И в тот день тоже дали, монах сказал: "Уезжаете? В Петербург уезжаете, - ну, дай Господи, дай Господи, что опять приедете к нам, что ненадолго эта война, и кончится скоро. Не надо нам войны, не надо, взявший меч от меча погибнет... " Он подарил мне просфорочку, и я не знал, что она символизирует мое прощанье навсегда с Торжком, с этим городом моих предков, с той жизнью, которая так счастливо, разнообразно и мирно развивалась вокруг меня.

Все забеспокоились, дядья, и вообще все, разъезжались, каникулы кончились, начиналась военная страда. Мы тоже поехали, и ехали в совершенно других условиях: поезда были набиты до отказа. Мы поехали третьим классом, и оказалось, что третий класс переполнен. Отец хотел переменить билеты на второй класс, но и там места не было. Мы доехали до Лихославля, где пришлось пропустить два или три поезда, потому что они были набиты московской публикой или теми, кто ехал через Москву в Петербург. Благодаря тому, что отец когда-то был специалистом по железнодорожным делам, он снесся с кем-то, и в конце концов нам гарантировали купе в следующем поезде. Сколько отец за это заплатил, я уж не знаю, но мы туда погрузились. Перед этим я вместе с ним наблюдал интересное и, можно сказать, устрашающее зрелище: несколько скорых

поездов прошли, не останавливаясь в Лихославле, платформу очищали от публики, и дежурный по станции держался за кожаную петлю, и протягивал жезл машинисту, который успевал его подхватить. Это была практика русских железных дорог: если поезд не останавливался на станции, машинист должен был брать жезл, что означало свободу прохода по дальнейшему этапу пути. Поезд казался огнедышащим чудовищем, драконом, появлялся гигантский паровоз, как бы задыхающийся, разрывающийся в клубах пара: БР-БР-БР, и проносился вихрем, а за ним пассажирские вагоны, один за другим, все летит...

Мы вернулись через Петербург на нашу станцию Ржевка. Я лично был вовлечен в войну: появилось множество военных изданий, мы получали "Огонек", отец покупал журнал "Солнце России", специальные брошюры, посвященные России и ее союзникам, со множеством портретов разных царствующих особ, генералов и командующих. Стало известно, что Верховным Главнокомандующим назначен Николай Николаевич, и этому все радовались, потому что у него была репутация полукоронованного демократа, о нем рассказывали разные истории, я их позднее слышал бесконечное количество, думаю, что большинство было выдумано. Но он был "слуга царю, отец солдатам" и гроза офицерству, считалось, что очень хорошо, если он будет Главнокомандующим. Я был занят по горло, в этот момент стало приходить "Задушевное слово", оно появилось в 1915 году, и там описывалось, как дети играют в войну, меня это увлекло.

Что касается отца, то оказалось, что на военную службу его пока брать не будут. Во-первых, он был ратник второго ополчения, это означало "полуфабрикат", отчасти забракованные кадры. В свое время, по окончании технического училища, он отбывал сбор - два с половиной месяца, тогда и определили, что у него есть дефекты зрения - для работы он должен был носить пенсне, а это означало, что он не годится в стрелки. Нам, конечно, было приятно, что отца не оторвали от нас. В то же время Санкт-петербургская земледельческая колония и ремесленный приют были взяты под охрану главным тюремным управлением. Это был ход директора, Михаила Павловича Беклешова, который боялся, что возьмут всех учителей - многие из них были призывного возраста - и он останется один с массой шалунов и правонарушителей, которые все убегут, вот он и стремился сохранить статус кво. И это ему удалось. Школа действительно попала под охрану, и учителя не подлежали общей мобилизации, пока не объявлялось чрезвычайное положение.

Война набирала силу. Отец старался купить свежие газеты и всегда за обедом, за ужином что-то читал и комментировал, что-то сообщал маме, что-то няне, рассказывал мне, если я просил. И каждый раз делал сводки. Сводки были печальные, хотя сначала были победы, но потом - поражение в Восточной Пруссии, говорили о чьей-то измене, что какой-то генерал от стыда даже застрелился, потому что ему дали хорошие войска, а он их

погубил. Тут же стали ругать генералитет. Однако последовали колоссальные успехи в Галиции, которые всех обрадовали, а потом начались крупные неудачи около Варшавы. Раз сидим за обедом - отец, мать и я - вдруг быстро входит Сергей Васильевич Пирожников, женатый на тете Мане, маминой старшей сестре, его тоже взяли сюда учителем, так как некоторых учителей все-таки мобилизовали, прежде чем их успели забронировать. Он вошел очень нервно, не звоня и не стучась, просто открыл дверь, вошел, увидел нас, остановился и сказал только два слова: "Варшава пала... " Наступило тягостное молчание, отец встал и ушел из-за стола, настолько он был расстроен. Я должен подчеркнуть, что критика царской политики утихла, когда началась война, все жаждали победоносного и быстрого окончания военных действий. Но события производили жуткое впечатление: катастрофа Самсонова, потом неудача на польском театре военных действий.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Летом 1915 года у отца был короткий отпуск, 2 недели, и они с матерью решили поехать посмотреть монастыри на Ладожском озере: Коневецкий, где была рака преподобного Арсения, местного чудотворца, и Валаамскую обитель, построенную преподобными Сергием и Германом, чудотворцами Валаамскими, которая была расположена на целом архипелаге в 40 островов. Танечка оставалась с няней, а меня решили взять. По Неве плыл большой пароход, человек на 400, довольно высокий, новейшие пароходы делали ниже, у него были даже боковые колеса для движения. Вся команда была из монахов. Народу набралось много, все места были заняты, плыло изысканное петербургское общество, блистающее нарядами и зонтиками. Мы вошли в истоки (Нева вытекает из Ладожского озера и идет в Финский залив) и плыли в Ладожское озеро, мимо Шлиссельбурга, который вблизи я видел впервые. Я давно о нем слыхал и читал, но впервые видел низкие бастионы, низкие стены над водой, мрачное место, где, как я знал, держали опасных государственных преступников. Потом мы вышли в Ладогу. Ладога меня поразила: громадное озеро, без конца и края, впечатление такое, что вы в море. Мы шли, вероятно, три с половиной-четыре часа, до Коневецкого монастыря. И к вечеру выяснилось, что у меня началась очередная ангина. Я был подвержен ангинам, и тогда не было средств, которые могли бы затушить эту болезнь в корне, поэтому я очень часто от этого страдал. Несколько раз была почти дифтеритообразная ангина, и я задыхался. Каждый раз это означало, по крайней мере, 3 недели болезни. Родители ужаснулись: у меня была высокая температура и я был очень болен. В Коневецком монастыре меня снесли в нижнее помещение парохода, отдельных кают не было, был уголочек внизу, где я мог лежать, мама сидела рядом, отец побежал в монастырь, узнать, нет ли там врача. Врача не было, но был монах, ученый аптекарь. Он меня осмотрел, подтвердил, что да, ангина, дал разные медикаменты, мама уже наизусть знала лекарства,

которые надо было принимать. Потом он подумал и говорит: "Вам следует остаться на пароходе, завтра рано утром он уходит на Валаам, и вы поедете туда, здесь ничего никому не скажем, ночевать будете на пароходе, другие ночуют в гостинице, а вам туда идти незачем, это мальчика растревожит. Вы останетесь здесь, а на Валааме есть врач, монах, и он вам поможет. Если понадобится, и больница есть. Мы так и поступили. Ночью я уже горел, температура была бешеная, я задыхался. Мы поплыли дальше. Капитан был предупрежден, так что сначала сошли все остальные, а потом мы. Нам отвели -вопреки правилам - отдельный номер для всех троих, потому что обычно мужчин отделяли от женщин. Отец побежал за врачом-монахом, тот пришел, осмотрел меня и дал еще лекарства. Я лежу, страдаю, а мама думает: "Господи, только бы выжил, потому что обычно нужен определенный режим, а тут чужая гостиница",- и винила себя, что взяла меня с собой, может быть, не надо было вообще ехать. Отец мой был человек очень религиозный, не только его душа беседовала с Богом (как няня говорила), но он всегда славил Бога в церковных песнопениях. Он пошел и очень горячо помолился у раки Сергия и Германа. Отец сам потом рассказывал, как горячо молился и просил со слезами помолиться за меня, чтобы я выздоровел. Когда он был там, а мать в ужасе сидела возле меня, вдруг она заметила, что мне делается легче, она измерила температуру - температура падает. Это было чудо, потому что прошло меньше 48 часов с момента, когда я заболел: никогда этого раньше не случалось. Когда отец вернулся, мать встретила его словами: "Подумай, какая штука случилась с мальчиком!" Отец утверждал, что улучшение произошло благодаря заступничеству преподобных Сергия и Германа. Родители горячо помолились, благодарили Бога у моей постели. А я спал. На следующий день, когда пришел врач-монах, он тоже удивился, но сказал: "Это Валаамские чудотворцы помогли мальчику! Значит, он хороший мальчик, и Бог хочет, чтобы он остался на свете, значит, он должен еще что-то сделать..." Мы пробыли там еще три дня, когда можно стало меня везти. Пароходы ходили через день, и нам пришлось пропустить очередь и вернуться на другом пароходе, и когда я возвращался, то уже гулял по палубе, как будто ничего не случилось. На обратном пути с нами ехал о.Григорий Петров, знаменитый священник и в то время модный проповедник. Он увидел меня и расположился ко мне, а потом мама ему рассказала историю моего исцеления, и о.Григорий очень обрадовался: "Как приятно слышать такую историю! Ну, ты будешь еще, вероятно, полезен людям, раз Господь Бог тебя исцелил на Валаамских островах..."

Осенью мой отец решил поехать посмотреть Финляндию. Много шло разговоров о Финляндии - отец всегда занимал либеральную позицию, сердился на русификацию, которую проводил генерал-губернатор Бобриков, и удивлялся действиям правительства. Поехали мы и еще какие-то учителя, человек шесть, взяли и меня, мне было тогда 7 лет. Поехали мы с

Финляндского вокзала на Выборгской стороне, поразились, что на финских железных дорогах 4 класса, и взяли 4-ый, самый дешевый. В Белоострове вдруг пришел контроль: финские пограничники держались чрезвычайно резко и неприятно. Во-первых, делали вид, что не понимают по-русски, во-вторых, хотя явно было, что мы едем в Выборг только на один день посмотреть город, они держались с таким видом, как будто мы едем туда навсегда, обыскивали наши вещи и чуть ли не рассматривали бумажники. Отец вдруг вскипел и исполнился отвращения к финнам, сказал, что это возмутительно! Россия так много помогала Финляндии, освободила ее, в сущности, от Швеции, дала возможность самостоятельного культурного развития, а пограничники так хамят, и неприязненно ведут себя с русскими интеллигентными гражданами, не чиновниками, не жандармами, а просто учителями. Это был ему первый урок. Второй он получил, приехав в Выборг: пошли гулять, и оказалось, что в половине магазинов не говорят по-русски. Так что прогулялись там, почти ничего не купив, хотя все говорили, что в Финляндии все гораздо дешевле и очень хорошие товары. Но там все было крайне неприятно, на вас смотрели как на проклятого иностранца. Для отца это был сильный удар. Приехав обратно, отец на эту тему много разговаривал со всеми, и с братьями, и с коллегами, и сказал, что это глупейшая вещь: как же так - Русская Империя, владея с 1809 года, свыше ста лет, этой территорией, не научила население, хотя бы служащих на железной дороге и таможеников говорить по-русски, и теперь он понимает действия тех, кого называли "русификаторами".

Ему не понравился даже знаменитый "шведский стол" в ресторанах, когда центральные столы заняты всевозможными блюдами, а вы ходите и выбираете, что хотите и сколько хотите. Он считал, что это сделано очень неудачно, потому что люди стесняются, это не принято в других странах, в частности в России, вы чувствуете себя неловко, берете случайные вещи, и как-то стыдно подойти к столу и взять во второй раз. Это он тоже счел формой тонкого издевательства над русскими туристами. Тут даже мама возмутилась и сказала, что он перегибает, ей, наоборот, очень даже понравилось, потому что она смогла выбрать разные рыбные блюда, рыба была консервированная, соленая, маринованная и всякая. Но отец стоял на своем и считал, что это неудачно. Вот так в отношении Финляндии у него возник комплекс, и единственное, что он прощал ей, - что у них есть гениальный композитор Сибелиус, музыку которого он несколько раз слышал и который ему очень нравился. Таким был наш опыт знакомства с "окраинами", тогда мы еще не знали, что нам скоро придется попасть в другие районы, где с русским языком будет почти аналогичное положение.

В конце 1915 года Земледельческую колонию и ремесленный приют решили перевести из-под Петербурга, оттого, что здесь рядом были пороховые заводы, которые все увеличивали производство, да и на Путиловских заводах повышалось производство тяжелых орудий.

Стрельбища около пороховых заводов стали тесны для новых типов орудий, поэтому нас хотели увезти. Сделать это было нелегко, потому что увезти надо было целую организацию, в полном составе, но куда? Вопрос рассматривался, работала специальная комиссия, и в конце концов нашлось имение Изварыоколо станции Волосово, по ту сторону Гатчины, в направлении к Ямбургу. Это тоже недалеко от Петербурга.

Там началось строительство. В этот момент выяснилось, что отец получает повышение: директор, Михаил Павлович, сделал его своим помощником, а Меркурьев, который занимал этот пост, уходил в отставку. Это очень понравилось и отцу и матери: во-первых, признание, во-вторых, значительно больше денег. И самое интересное, что когда стали планировать постройки, архитектор проводил совещания с будущим помощником директора, с моим отцом, и мать могла высказать все пожелания, чтобы кваритры запланировали так, как ей хотелось. Это было принято во внимание. Сначала был лишь проект, который казался не очень реальным, слишком велики были бы расходы, если построить целый городок для школы на новом месте, но на переезд подтолкнул огромный взрыв на пороховых заводах, который случился летом 1915 года. Это было между 6-7 часами вечера, мы с сестрой еще не ложились спать, когда вдруг со стороны пороховых заводов поднялся огненный шар, который вдруг рассыпался и повалил дикий пороховой столб дыма. Оказалось, что произошел колоссальный взрыв. Сколько людей погибло, не знаю, говорят, сотни, чуть ли не тысячи, но этого мы никогда не узнали, потому что из-за войны это уже было засекречено. В этот самый вечер мы встретили совершенно обезумевших рабочих: все еще в шоковом состоянии, часов в 10 они все еще продолжали куда-то бежать и прятаться. Этот взрыв, с одной стороны, подтолкнул план скорее перевезти нас и, во-вторых, чрезвычайно приблизил к нам проблемы войны. Это было совсем иное дело, чем читать обо всем в газетах, в то время как у нас самих все оставалось на прежнем уровне: пища была очень хорошая, няня по-прежнему покупала только черкасское мясо, которое считалось лучшим, его везли из Новороссийска, то есть с Украины, и из Новочеркасска, то есть с Дона, там был очень хороший скот.

Питание было бесперебойное, и первоклассное, как и прежде, единственное, чего больше не было в продаже, это водки, но зато были вина. Мои родители приветствовали сухой закон, который прекратил спаивание широких масс. Показательный эпизод был в Торжке, как раз перед нашим отъездом. Уходил на войну гусарский полк, и мы с отцом пошли, как и многие другие, провожать их на вокзал. Делалось это с большой церемонией. Во-первых, уезжавшие эшелоны стояли перед поездом строем, сначала шло молебствие, потом напутствие, затем играли и пели "Боже, Царя храни", потом начали играть разные марши, пока погружались в поезд. Частично поезд состоял из классных вагонов, лошади были в

специально подготовленных красных товарных вагонах, при них, конечно, солдаты, ответственные за лошадей, получился большой состав, с двумя паровозами. Когда он тронулся, солдаты стали кричать “Ура ура ура!”, публика им вторила, чувствовалось большое напряжение. И в этот момент кто-то из публики подбежал и подал в уже двинувшийся вагон четверть водки. По всей платформе стояли унтер-офицеры, и один из них быстро вырвал эту четверть у солдата из рук и, отбросив, разбил ее о рельсы, водка пролилась, и поезд грохоча пошел дальше. Публика даже ахнула, некоторые считали, что это уж слишком: не давать солдатикам напиться перед смертью... Но благодаря этому сухому закону Россия во многом оказалась более серьезной в момент начала войны, чем могла бы быть. Постоянные загулы новобранцев, которые происходили каждый год, были ужасны, напивались, орали неистовыми голосами песни, а в этот раз ничего подобного не было. Женщины плакали, а мужчины, наоборот, старались держаться молодцами, чтобы показать, что они вовсе не трусят и, конечно, победят немцев очень быстро.

В 1915 году появился у нас на довольно долгий срок Коля Квашенинников, мамин брат. Он был последним из детей в семье: тетя Маня, моя мама, тетя Валя, которая умерла еще девочкой, затем тетя Сима, моя крестная, и Николай. Назван он был, по-видимому, в честь Государя Императора. Он оказался избалованным мальчишкой и страшным лентяем, поэтому никакого училища не кончал и главным образом бил баклуши. Но теперь ему было уже 16 лет, и надо было принять решительные меры, потому что иначе при очередном наборе он мог попасть в армию как простой солдат, к тому же нужно было получить какое-нибудь профессиональное образование получить. Моя мать сговорилась с бабушкой Елизаветой Петровной, что Коля приедет к нам и мама возьмет его в ежовые рукавицы и заставит подготовиться к сдаче экзаменов за высше-начальное училище. Он приехал, и действительно за него взялись, я очень хорошо помню, как он сидел по 8-10 часов в день за учебниками. Мама его шпыняла изо всех сил, настраивала, проверяла, занималась с ним по математике и по географии, и отец тоже принимал участие в его муках. В результате их совместных усилий он сдал экзамен, и как только сдал, выяснилось, что он может поступить на военные курсы фельдшерского состава. Наладили скороспелые курсы, и года полтора они должны были учиться, после чего их выпускали фельдшерами. У него оказался талант к этому делу, и через полтора года он сделался фельдшером и даже не попал на войну, потому что когда он приехал в Новоторжское земство, он еще не подходил по возрасту для мобилизации, а так как местных врачей и фельдшеров уже забрали в армию, его сейчас же взяли в земство на службу, и он там остался. Погиб он уже во вторую мировую войну: бесследно пропали и он, и бабушка Елизавета, и тетя Сима. Фронт прошел там дважды: в направлении к Москве, и от Москвы, и что с ними случилось, никто установить не мог.

В 1914, 1915 и 1916 годах к нам все время приезжали дядюшки, они были студентами, и им всегда было приятно в конце недели выехать на сутки из Петербурга и побыть в нашем гостеприимном доме. Дядя Вася имел большой успех у женщин, и у него был сокрушительный роман с дочерью директора, Верой Михайловной. Она страшно влюбилась в Васю и не давала ему жить, выделывала разные номера, вроде того, что когда он приходил к ним, она ложилась на пороге и говорила, что не выпустит его, покуда он ее не возьмет на руки. Ему пришлось очень серьезно с ней поговорить, сказать, что он не может жениться, он еще не обеспечен, и хотя она ему очень нравится, он не может взять на себя ответственность, тем более во время войны: он совершенно не знает, что будет, вероятно, ему придется пойти в действующую армию. Это живо обсуждалось моими родителями, которым нравился этот роман. Люди симпатизировали Вере Михайловне Беклешевой, интеллигентной девушке, но она ездила в свое время в Париж и усвоила самые вызывающие методы раскраски лица, крашения волос, это было вызовом обществу, тем более в такой спокойной педагогической среде. Директор души в своей дочери не чаял, но ничего не знал о романе с дядей Васей. Все кончилось тем, что она вдруг вышла замуж за офицера. Муж у нее был очень красивый, и она сама была хороша в подвенечном платье, мы все пришли в церковь, народу было множество, хор пел отлично, и сама церковь была очаровательна: вся деревянная, резная.

В этой церкви часто пели мои дяди и отец, все они обладали хорошими голосами, были музыкальны и удачно пели трио или квартетом, особенно на Страстной неделе, например, знаменитого "Разбойника благоразумного" в Великий Четверг. И другие концерты им очень удавались. Любопытно, что с одной стороны, они все были либералы, а с другой, в них очень глубоко была укоренена церковная традиция, в частности мой отец с наслаждением занимался распевами со своими братьями. Обычно он дирижировал, но когда дважды к нам приезжал дядя Миша, то он и управлял, он был наиболее музыкально образованным, играл на разных инструментах и прошел специальные дирижерские, или регентские курсы. Отец сейчас же уступал ему пальму первенства. Мальчики очень ценили, что не только обожаемый их воспитатель, но и его дорогие гости, которые всегда принимали участие в их играх в лапту, в городки и вместе с ними разучивали хоровые песни, выступают так замечательно в церкви. Священник, отец Стефан, всегда бывал чрезвычайно, что они украшают будни Божиего храма и всегда их хвалил.

Постепенно все стали готовиться к переезду. Это позволило маме многое изменить в мебели: к новым квартирам были специально сделаны столы и куплено много дополнительных стульев. У нас почти не было кресел, это не было принято в России. У отца в кабинете, кроме его собственного рабочего кресла, было только одно мягкое, в котором иногда

сидела мать, а отец очень редко, ибо говорил, что если он садится в мягкое кресло, то немедленно засыпает. Он обладал замечательной способностью быстро засыпать, всегда после обеда - обедал он обычно дома - он быстро бежал к кушетке, ложился и мгновенно засыпал. Спал он ровно 10 минут, через 10 минут просыпался, как новорожденный: полный энергии, свежести, отчетливости мысли, как будто проспал всю ночь. Мне позднее знакомые врачи говорили, что это и есть сила сна: важна не продолжительность, а интенсивность. Если вы интенсивно спите, то освежаетесь гораздо больше, чем если вы будете спать долгое время, видеть сны и не сосредотачиваться на отдыхе. Мама мне рассказывала, что когда она вышла замуж, у него была та же самая манера: в свадебном путешествии она хотела поцеловать его, когда он ложился, но когда она подбегала, он уже глубоко спал. И так же через 10 минут он вставал полон энергии.

Удивительно, как много я, мальчик, запомнил о той нашей жизни. Вероятно, я очень интересовался всем и, может быть, у меня особый склад памяти: я многое запоминал походя. И не только запоминал, но мог позднее припомнить в деталях. Целый ряд эпизодов времен гражданской войны я потом рассказывал родителям, и они поражались, потому что они их не помнили, а в моем рассказе все всплывало и у них в памяти. Я ничего здесь не идеализирую, но и не обостряю, жизнь у нас была трудовая, мы все работали, и я это понимал и по-своему работал: много читал, рисовал, правда, плохо, считал, математика мне давалась легко. Писать я очень долго не хотел, и мать заставляла меня писать письма дедушкам, бабушкам, крестным, моим друзьям, двоюродным братьям, но я делал это с большим надрывом.

В Петербурге я знал единственного двоюродного брата (своего ровесника) - Вову, сына дяди Коли и тети Лены. Жили они на Каменноостровском, позднее, после революции это называлось “улица Красных Зорь”. У них была довольно симпатичная квартира, я их там посещал. Но в эти годы я был у них дважды, и мы с Вовой очень дружили. У него была отличная лошадь-качалка, у меня тоже была, по-моему, даже красивее. Были ружья, формы: мы, мальчики, играли во все это. Разница была только в том, что он был на полтора года старше и уже учился в школе, а я долгое время обучался дома. Это меня немножко пугало: Вова мне казался более совершенным - я ведь еще не имел школьного опыта! Были у нас и другие родственники: генерал медицинской службы Алексей Иванович Андреев, сын брата Николая Ефремовича. Он был, говорят, хороший врач, и у него была очаровательная жена, Ариадна Николаевна, и две милых дочери, к которым я относился с большой симпатией. Но общались мы не очень часто, хотя бывали у них несколько раз и тогда, и позднее, когда мы уже жили под Гатчиной. У других дядей, которые к нам приезжали, я никогда не бывал, потому что они ютились в разных комнатках, жили очень скромно, и мы к ним не ездили. Ездили к моему крестному, дяде Сереже,

который вдруг женился в 1915 году, его жену звали Дора Августовна: русская немка, очень милая, он встретился с ней в Прибалтике. Они жили в Лесном, и мы ездили со Ржевки - бесконечно шел трамвай. У них родилась дочка Дунечка, которая названа была в честь бабушки Евдокии Платоновны. Дунечку я тогда видел в первый и единственный раз в жизни, держал ее на коленях и очень этим гордился: ей было 3 или 4 месяца. Меня тогда поразило, как они жили: во-первых, страшно далеко, а во-вторых, скромно: снимали маленькую квартиру в маленьком домике: наверху жили хозяева, а они снимали низ - комнату, кухню и всякие хозяйственные помещения. Дядя Сережа очень любил свою жену. Он вообще был хороший человек, хотя довольно резкий.

Два слова о внешности моих родителей. Моя мать, по общему мнению, была очень интересной женщиной и, что любопытно, с греческим профилем. Одевалась она всегда с большим вкусом и очень просто, принципиально отрицала ношение драгоценностей. Драгоценности у нее были, в свое время ей многое подарили, но она их не носила и считала, что учительница не должна показывать другим склонность к этой мишуре. Она была прямо помешана на чистоте и нас тоже держала в замечательном виде. Каждый день детей мыли, и она сама принимала ванну дважды в день и считала, что женщины должны бы и трижды в день мыться. Была чрезвычайно в этом отношении требовательной и к своей семье и ко всем, кто у нас жил. Что касается ее внешнего вида, мне не очень нравились ее ранние фотографии, потому что тогда были странные моды, но моды менялись, и, по-моему, она стала значительно интереснее в 3О-ые, в 40-ые годы. Когда перед концом второй мировой войны она приехала в Прагу, то поразила всех своей скромностью и в то же время элегантностью костюма и прически.

Отец тоже был довольно интересный внешне и в какой-то период жизни напоминал Леонида Андреева. Отчасти дело было в том, что оба носили примерно одинаковые костюмы - тогда очень модными были летние мужские накидки и светлые соломенные шляпы, иногда очень элегантной формы. Отец постоянно был так одет, по-моему, всегда очень элегантно. Особенно это было заметно летом, он любил легкие чесучовые пиджаки, чесуча - это китайская материя, страшно легкая, он в ней всегда щеголял и производил на всех окрыляющее впечатлениех. Все удивлялись: кто это, наверное, представитель прессы, он так остроумно и интересно говорит, и так элегантно одет! Эти качества родителей, к сожалению, не перешли ко мне, потому что боюсь, что я элегантно одеваться не умел. Я одевался хорошо, по-моему, но не элегантно.

Что касается сходства с Леонидом Андреевым, то с моим отцом разыгралась однажды довольно забавная история, еще до женитьбы. Он пошел в театр, и когда вышел оттуда и отправился пешком, его вдруг нагоняет целая группа курсисток, то есть студенток Высших женских

курсов. Подбегают и спрашивают: "Вы Андреев?" Он говорит: "Да, Андреев..." - "Ах, Леонид Николаевич, пожалуйста, подпишите Вашу фотографию!" Леонид Андреев был тогда кумиром, литературным божком того времени, всюду продавались его снимки, и эти девчата, увидев похожего человека, сразу купили эти снимки, или у них уже были, и подбежали. Отец говорит: "Я Андреев, но не Леонид! " - "Очень остроумно, пожалуйста, пишите!" И он всюду стал писать: "Андреев, но не Леонид". Девчата были в восторге: ах, как остроумно!.. Отец говорил, что он был совершенно честен, но никто ему не хотел верить, настолько девушки хотели встретить именно Леонида Андреева!

Я обязан моим родителям отличным физическим здоровьем. За исключением ангины, которая иногда посещала меня в детстве, а потом прошла, я всю свою жизнь не знал никаких болезней и считался исключительно здоровым человеком. По внешнему виду я скорее пошел в дедушку Александра Ефимовича Квашенинникова, чем в Андреевых, таким же обещал быть мой второй брат, Шурик, но сестра моя Танечка и младший брат Аркадик, явно были в отца.

Хочу написать о детских играх. К нам приходило все детское население колонии (дети служащих), и мы с жаром играли в палочку-выручалочку, в казаки-разбойники со множеством вариантов. Дочь начальника столярной мастерской, Зина Кушакова, шустрая девочка, немного старше нас, выдумывала всякие игры и быстро подхватывала любую инициативу, которую ей подсказывали Валя, дочь фельдшера, и сестры Степановы. Из них особенно выделялась Тамара, которая пыталась, как Ева, соблазнить меня поцелуями, но я относился к ней совершенно хладнокровно. Из событий 1913 года помню свое нашествие на лук в огороде Кушаковых. Я очень любил зеленый лук, вошел в огород и, не сознавая, что уничтожаю чужую собственность, съел целую грядку лука. Когда меня заметили и вытащили оттуда, от меня так несло луком, что пришлось тут же засунуть меня в ванну. А отец пришел в ужас, потому что я подорвал луковое хозяйство бедных Кушаковых, так что он заставил их взять, хотя они и отказывались, 5 рублей, что по тем временам было громадной суммой. Отец не мог остаться в долгу и не заплатить, потому что Кушаков был младший служащий колонии, прямо подчиненный отцу.

В июне 1916 года все мы навсегда покинули Ржевку.

РОЖДЕСТВО 1916

Рождество 1916 года было снежным. Помню огромные сугробы и как мы, дети, играли в путешествие жюльверновского капитана Гаттераса, ходили на лыжах довольно далеко по полям и строили форты из снега. Но самое Рождество 1916 г. было ознаменовано целым рядом интересных, с точки зрения детей, событий. Первое было то, что мы впервые оказались на рождественские праздники на новом месте: в имении "Извары" под

Гатчиной, в 10 верстах от большой станции Волосово. Это имение было куплено военным министерством, чтобы перевести туда школу.

Имение представляло собой прекрасный помещичий дом из двух этажей с множеством надстроек и даже с башней, откуда открывался замечательный вид на окрестности. Извары включали до 1200 десятин земли, из них пахотных земель было свыше 250 десятин. Барский дом был окружен громадным садом, который переходил в парк, а парк якобы переходил прямо в лес, во что я не очень верил, но так никогда и не установил границу... Имение было связано с местными пожалованиями Петра Великого особенно отличившимся генералам, но затем несколько раз передавалось из рук в руки. Помещичий дом был овеян легендами: якобы как раз в башне местные крепостные убили злую помещицу, что давало повод датировать постройку серединой XIX века. Неизвестно, было это правдой или только легендой, но в осенние ночи, когда ветер завывал и облака неслись, будто цепляясь за верхушку башни, это придавало рассказу правдоподобие.

В саду были прекрасные цветники, а в громадном парке с широкими аллеями позже часто объезжали молодых коней. Мой любимец, кучер Абрам тайком от родителей брал меня в шарабан, объезжая еще только начинавших ходить в упряжке коней. Этот парк в осенние или зимние вечера гудел таинственно и страшно, в нем было много прудов, берега которых соединяли элегантные мостики. Пруды были большие, почти озерного типа, и во всех них и в принадлежавших к ним канавах выводили форель, которую имение продавало. Одним из главных заказчиков был знаменитый гастрономический магазин Елисеева в Петербурге.

Было там и огромное молочное хозяйство, с великолепными помещениями для рогатого скота, подтверждающими мои соображения о том, что это были постройки XIX века. Коров было много, вероятно, больше 120 голов. Выделывалось масло, которое тоже отвозили в Петербург. Были большие конюшни, отличные рабочие лошади, тоже исчислявшиеся десятками, и великолепная барская конюшня, где стояли купленные вместе с имением орловские рысаки. Я просто обожал этих коней. Одного звали Орлик, умная лошадь, если мы ездили с ним в пролетке или в шарабане, кучер мне даже позволял управлять, давал вожжи, и я был на верху блаженства. Другой - Ветерок, как показывает имя, очень быстрый жеребец орловской породы, третий -тяжелый мерин Копчик. Все эти три рысака были великолепны, они ходили попарно, а иногда в одноконной упряжи. Были и две так называемые "шведки": шведские лошади, которых, кажется, никогда не встретишь в Швеции, по-видимому, финского происхождения. Одну звали Рарка - гнедая, с вороным отливом лошадка, быстрая, темпераментная кобылка, которая носилась как стрела, и очень нервная, на ней ездили дочери директора и его сыновья и всегда побаивались, что Рарка понесет. Другой конь той же породы назывался Кавалер, гораздо

более ленивый, чуть более крупный, чем Рарка, так что в паре они никогда не ходили, тем более что Абрам утверждал, что нельзя запрягать кобылу и жеребца в пару, иначе, как он выражался, не будет никакого сладу.

Для нашей школы на полях вблизи парка начала строиться, после долгих и грандиозных дискуссий, целая система корпусов, где должна была разместиться вся школа, увеличившаяся в размерах. Частично нужны были каменные, кирпичные постройки, а частично, для быстроты и уюта, для тепла зимой и свежести летом -деревянные дома. Но строиться они должны были по тогдашней передовой технике. Частично они были готовы к осени 1916 г., и осенью или поздним летом 1916 г. вся школа переехала.

Я впервые тогда попал в товарный поезд, были поданы красные вагоны, очень удобные, внутри были устроены сиденья, а чтобы спать, были построены нары - от Петербурга до нашей станции ехать было почти двое суток. Была только военная ветка, которая строилась от станции Волосово на линию под Лугу, то есть военно-стратегическая ветка соединяла Балтийскую железную дорогу с Варшавской. Позднее построили станцию Извары, но, когда мы переезжали, наши поезда останавливались в поле и нас разгружали на поле, а оттуда на лошадях перевозили в уже готовые дома. Наш дом был уже более или менее готов. Дом этот был ближе всего к шоссе, за треть километра от него, а шоссе шло к имению и уходило дальше, тоже по направлению к Луге. В центре нового корпуса и находилась квартира помощника директора, то есть наша. Директор с семьей, естественно, въехал в главный помещичий дом, там же разместились канцелярии, ведавшие всем учреждением, там поселился и главный бухгалтер. Наша квартира была создана по плану моих родителей: имела четыре входа, во-первых, парадный, очень красивый - облицованная под дуб или действительно дубовая дверь, четыре полустолба, которые образовывали как бы навес, так что на крыше парадного подъезда получался балкон. Из парадного вы попадали в прекрасную переднюю с большим количеством вешалок. Считалось, что некоторые заседания педагогов будут проходить в квартире помощника директора, у отца. Первая дверь налево вела в отцовский кабинет, большую комнату с великолепным столом, который отец очень любил, всю обставленную книжными шкафами. Там были главным образом педагогические журналы и много исторических книг. Пространства между шкафами были увешаны музыкальными струнными инструментами. Я нарочно описываю кабинет отца подробно - именно здесь произошло осмысление некоторых исторических событий. Наша квартира поражала кубатурой комнат - больших, просторных, светлых, с высокими окнами. Большинство комнат было построено так, чтобы часть дня они непременно освещались солнцем.

Из общих комнат нужно упомянуть большую столовую, в которую можно было попасть через кабинет или пройдя по коридору из кухни. Это

была большая комната с огромным столом, очень многих из тех, кто появлялся в момент обеда в доме, тоже сажали есть. Но в будние дни, когда мы знали, что приходящих не будет, мы обедали обычно в комнате няни, около кухни. Кухня заслуживает особого упоминания, она была построена с полного согласия нашей няни, замечательной хозяйки, Ольги Михайловны. За кухней была нянина комната, а из кухни - выход на так называемый "черный ход", на заднюю лестницу, там же рядом были отличные кладовки для продуктов. В няниной комнате было все ей необходимое, и комната была отдельная, но обладала одним свойством: через нее шел третий вход в нашу квартиру, и если отцу или матери нужно было, то из этой комнаты, не выходя из дома, они могли открыть дверь, которая была на французском замке, и войти в отделение "Б", где помещалось 45 мальчиков и всевозможные залы. На том же этаже, что и наша квартира, были помещения учебного или рекреационного характера, а спальни находились на втором этаже.

Если не было гостей мы, по настоянию няни, часто обедали у нее, так как там был удобный стол и тут же, с пылу с жару, как нянюшка выражалась, все, что требовалось для насыщения семейства, сразу подавалось на стол. Подобная же комната была по другую сторону столовой - это была моя комната. Там я работал, там была моя парта-стол, мои книги, большая грифельная доска, на которой можно было производить математические вычисления, там же висели таблицы, например, слова с корнем на букву "ять". Тогда была еще старая орфография, и один из признаков вашей грамотности заключался в том, что вы не путали "е" и " ": "б лый, б дный, бл дный б с уб жал в сос дний л с"... Такие поговорки со словами с "ять" были в ходу и, кроме того, были целые группы слов, чтобы учащийся мог с детства их запомнить и чисто механически потом воспроизводить в своих писаниях. Там же была большая -мне ее однажды подарили - картина назидательно-педагогического характера: царевич учится. Изображен был Петр Великий 8-9-летним мальчиком, вместе с Никитой Зотовым, его первым учителем, Петр имел вдохновенный и благообразный вид, и оба они с большим интересом что-то изучали. Педагогическое влияние картины было довольно сильным, потому что невольно получался толчок к соревнованию: если царевич учится, почему же не учиться мне? Учился я очень немного, потому что мать считала, что дело не в длине урока и не в количестве уроков, а в интенсивности. Поэтому она сначала объясняла правило, а потом задавала целый ряд все более и более сложных упражнений на пройденную тему, и все зависело от того, насколько быстро я понимал это и насколько быстро мог дать ответы. Чем скорее я писал ответы, тем более я был в выигрыше, после этого я мог считать уроки законченными и заниматься чтением или играми. Читать я очень любил, и у меня была библиотечка, которая состояла из бесконечного количества подаренных книг.

У меня были сочинения Пушкина в одном томе, все художественные произведения, подарок моего крестного, дяди Сережи, который купил их баснословно дешево: чуть ли не за 80 или 90 копеек. Без твердого переплета и на не очень хорошей бумаге, это издание было предназначено для широкого читателя. Но был очень четкий шрифт. На этой почве была дискуссия: подарок был на мое семилетие, и мама считала, что, может быть, слишком рано мне читать всего Пушкина. Дядя Сергей и дядя Вася слушали лекции профессора Лесгафта по психологии и имели свои точки зрения на это. Дядю Сережу поддержали два брата отца: дядя Вася и самый младший, дядя Ваня. Они горячо отстаивали модную тогда теорию, что ребенок может и даже должен читать все и он сам произведет отбор того, что ему нужно, а то, что не поймет, он отбросит. Моя мать уступила. И их точка зрения оправдалась. Благодаря этому я очень рано и хорошо познакомился с Пушкиным, и много раз потом, возвращаясь к нему, всегда находил в нем все новое и новое - то, что приходило с возрастом, с пониманием. У меня было много отличных изданий, так называемой “Золотой библиотеки”. Это была полная противоположность дешевому, массовому изданию и предназначалась обычно для подарков к Рождеству или ко дню рождения - на отличной мелованой или веленевой бумаге, с множеством иллюстраций и массивными тиснеными переплетами. Кто издавал эту “Золотую Библиотеку”, я не помню, вероятно, тот же изобретательный Вольф, который издавал многие русские детские книги. Меня поразил “Дон Кихот”, он был в сокращении, но произвел на меня глубочайшее впечатление на всю жизнь и, по-моему, вселил целый ряд донкихотских черт в мой характер. Я читал “Путешествия Гулливера”, тоже сокращенное, с замечательными гравюрами из английского издания, и повесть “Маленький барабанщик великой армии”, о немецком мальчике, который служил в армии Наполеона, шедшей походом на Россию: с ним происходили всякие приключения, но он выжил, несмотря на дикие русские холода, морозы, голод и отсутствие снабжения у отступавшей, когда-то грандиозной военной силы, превратившейся в сборище усталых и голодных людей. Было также много стихотворений, и я с детства довольно хорошо знал портреты русских поэтов - к таким изданиям всегда прилагались портреты. Одна из самых моих любимых книг, одно из ранних моих чтений -”Наполеон Буонапарте” пера генерала Носкова - стояла на самом видном месте и была взята с собой, когда нам пришлось сделаться беженцами. Я очень увлекался историей, и в 7 лет получил эту замечательную книгу в подарок от родителей. Потом я выяснил, что генерал Носков был известный военный писатель-популяризатор из Генерального штаба. Я дорого бы дал, чтобы снова найти эту книгу, я ею наслаждался, она ввела меня в курс всех событий Французской революции и приблизила ко мне личность Наполеона. По моим детским воспоминаниям, издание было великолепное: в книге было множество гравюр, в первую

очередь французских, были также русские и английские. Текст был ярким, выразительным и общедоступным. Биографию Наполеона я так полюбил, что даже разыгрывал ряд его походов и военные кампании по книге Носкова, устраивал в столовой Альпы и переход через Альпы, Мантуа, сражение на Аркольском мосту, более или менее подражая тексту. Еще до нашего переезда в Извары родители вернулись однажды поздно с какого-то заседания и увидели, к своему удивлению, что в кабинете, или в столовой, еще горит свет и я не сплю: сижу за столом и горько плачу. На вопрос, что случилось, я ответил сквозь рыданья: "Они... они поступили с ним несправедливо..." - "Кто - они?" "Они" оказались англичане, а кто "он"? Наполеон Бонапарт. Он верил в благородство англичан, а те отправили его на остров святой Елены. Родители были поражены таким страстным отношением к истории, но, кажется, прониклись ко мне уважением. Подобным же образом позднее я переживал всю русскую историю. Отец потом с гордостью говорил: "Мой сын начал заниматься историей еще в те времена, когда с трудом мог написать собственное имя". Это была невольная предпосылка к моей будущей профессии... Культ Наполеона забавным образом держался, вопреки всякой логике, в России, и я встретился с таким же культом в Англии, много позднее: моя жена, стопроцентная англичанка, тоже, оказывается, переживала увлечение Наполеоном, у нее даже была статуэтка Наполеона. Восхищение его гением было повсеместным, и чем оно объяснялось, это уже не вопрос детских воспоминаний, а скорее проблема психологических раздумий.

Итак, Рождество 1916 года было для нас, детей, прежде всего ознаменовано тем, что мы впервые его встречали на новом месте, в новой квартире в имении Извары. Елку устроили в отцовском кабинете. По русскому обычаю, елка открывалась только в первый день Рождества, а сочельник проходил под знаком религиозных впечатлений. Пост до звезды, например, уже охватывал и меня, я ни за что не хотел есть до звезды, хотя чем ближе подходили сумерки, тем мучительнее становилось добровольное воздержание. Тем не менее, я выдерживал, и потом первый кричал: "Звезда появилась!" - и бежал к няне, которая давала мне (сестра, на 4 года младше, в этих самоистязаниях поста и воздержания еще не принимала участия) разговенье: рисовую кашу с изюмом, очень вкусную. В кабинет отца, где была елка, меня не пускали, хотя я твердо знал, что никакого "чудесного" явления елки нет, а устраивают ее мама и папа, развешивая всякие украшения, в подготовке которых мы сами принимали участие: клеили цепочки, звездочки и т. д. Но Танечка попадалась на эту удочку, и вся "мистерия" приближающегося праздника ей становилась окончательно ясна только в первый день Рождества, когда якобы Дед Мороз приезжал и приносил подарки в чулке. Праздничная атмосфера заполняла нас полностью. Кроме того, ведь готовились к праздникам все мальчики в интернатах, которыми заведовал мой отец. У них тоже

устраивались огромные елки. И необычайная большая программа, рождественский вечер, потому что мои родители, как и многие другие педагоги, считали, что Рождество Христово надо встречать особым образом.

Это, по мнению моих родителей, заключалось прежде всего в подготовке к празднику. Мальчики делились по возрастным группам, по отдельным "семьям": "А", "Б", "В", "Г"... Группы были от 10 до 14 лет, от 14 до 16, от 16 до 18. Им старались показать, что наступает большой православный праздник Рождества Христова, очень важный для тех, кто называет себя христианами, ибо с Рождества начинается христианская эра цивилизации. Человечество от темноты языческого материализма поднимается к высотам идеализма, вместе с христианством появляется понятие греховности, стремление быть лучше, утончается мораль. Эти ценности преподавались в школе на уроках Закона Божия и составляли фон всей педагогической работы, но к Рождеству Христову все старались пояснить, что это прежде всего праздник радости, детской радости, что дети должны быть счастливы, и прежде всего пытались создать праздничную обстановку.

Символ Рождества Христова - елка, с ней связано много стихотворений, много преданий, что будто бы скромная эта елка была залита небесными звездами - даром небес новорожденному Иисусу... Отсюда возникал культ елочных украшений, попытки установить большие праздничные елки, как можно более удачно, фантастически их украсить, не только поставить готовые свечки или провести шнуры для фантастических намеков на фейерверки, - все было так рассчитано, что не должен был возникнуть пожар, - елки должны были означать праздничные символы Рождества Христова. Это была первая задача. К Рождеству готовились уже за много недель. В свободное время делали прекрасные вещи, начиная с так называемых вертепов. Внутренность вертепов сами украшали картинками и потом освещали маленькими свечами, огарками: хлев, Богородицу, новорожденного Младенца в яслях, волхвов, приносящих Ему дары. Или же делали изображения птиц, животных, цепи и все, что могло, по мнению детей (все мальчики были, в конце концов, детьми), украсить елку и придать праздничный вид всему помещению. Конечно, это делалось не в спальнях, те сохраняли прежнюю пуританскую скромность и чистоту, но огромный рекреационный зал превращался в праздничный. Из разноцветных бумажек клеили специальные картины, часто по мотивам русских сказок, и развешивали по стенам. Отделения старались друг друга перещеголять в изобретательности.

Кроме того, в 1916 году было решено устроить объединенный рождественский вечер, на который должны были пустить не только учащихся школы и педагогов, но и всех, кто захочет прийти. Это были рабочие с мызы или электротехники. В Изварах была собственная электростанция, которая увеличилась с постройкой новых корпусов, все ведь было электрифицировано, так что на станции было много рабочих.

Военные тоже должны были прийти на елку. Во-первых, вблизи помещался военный госпиталь для выздоравливающих, заведовал им врач, полковник медицинской службы, поляк по национальности, милый, интеллигентный человек, впоследствии большой мой друг. Из госпиталя выздоравливающие, которые уже могли ходить на прогулки, хотели прийти на этот вечер. Рядом - барак, недалеко от уже открывшейся зимой станции Извары, где стояла рота "самокатчиков" - велосипедистов, которых тренировали для военной разведки и даже для боя на велосипедах. Но так как была глубокая зима и снежные заносы, они тренировались в беге на лыжах. Они тоже рвались прийти. Оттуда даже явился заранее командир роты, штабс-капитан, очень симпатичный человек, который просил отца непременно пустить их - было чуть ли не 85 человек самокатчиков, которые хотели непременно посмотреть нашу программу. Ясно было, что из окрестных деревень придет молодежь. Так что решили устроить два рождественских вечера, первый - 23 декабря, до сочельника, чтобы не мешать религиозной части праздника, то есть торжественному всенощному бдению в сочельник вечером, когда нельзя устраивать театральные зрелища. Второй вечер на второй день Рождества, когда религиозный праздник уже кончился и наступил день веселья.

Подготовка страшно увлекала и мальчиков и учителей. Было поставлено много сцен, разучены драматические диалоги, стихи, хоровые номера, инсценированы басни, была даже пантомима на сюжет из сказок: рассказ о замерзающем в лесу мальчике, которого спасает добрый Дед Мороз... Все было мило, наивно и выразительно, потому что делалось с энтузиазмом, все артисты и учителя хотели блеснуть один перед другим: кто может лучше овладеть артистическим материалом... Надо добавить, что у школы был очень хороший хор. Это была в значительной степени заслуга моего отца, но не только его - было еще несколько музыкально одаренных педагогов. Я с восхищением вспоминаю Константина Григорьевича Вережникова, который был виртуозом на струнных инструментах, когда-то играл в знаменитом оркестре Андреева, нашего однофамильца, развивал те же традиции в эмиграции и прославился как хранитель этого великолепного искусства, по-моему, известного только в России, где ансамбли балалаечников, домбристов и других исполнителей на струнных совершенно артистически представляли самые разные номера, начиная с народных песен, как "Светит месяц...", до сложных оперных номеров.

Все, что делалось в школе, делалось совершенно сознательно, как противовес тем военным настроениям, которые в декабре 1916 г. уже сильно сказывались. Уже доносилось эхо странных событий в Петрограде, как тогда официально назывался Петербург. Шел слух об убийстве Распутина, но я об этом тогда знал мало, а позже, когда спрашивал отца, почему меня не посвятили, он сказал, что, хотя он обычно был со мной откровенен, но история, связанная с Распутиным, настолько грязная, вокруг него столько было пакости, что он просто считал, что малышу

лучше узнать об этом позднее. Как раз в декабре 1916 г. пришло окончательное подтверждение главного управления Красного Креста, что один из моих дядьев, Василий Лебедев, муж маминой любимой младшей сестры и моей крестной, тети Симы, действительно пропал без вести. Его мобилизовали в армию (он был по профессии народным учителем), и не то в южной Польше, не то на склонах Карпат он погиб в 1915 г. Его не было в списках пленных, в списке убитых, раненых - он оказался в этой зловещей графе: "без вести пропавший". И два младших папиных брата были причастны к военным действиям: дядя Вася, как большинство Андреевых, музыкально одаренный человек, пошел вольноопределяющимся в 1916 г., попал в артиллерию, и его сделали наблюдателем. Он писал из армии интересные письма, я до сих пор помню, с каким восхищением мы читали его бисерный почерк. Такой почерк часто встречался у русских интеллигентных людей, теперь я таких не вижу - все больше корявые идут. Он описывал маленькие эпизоды, которые наблюдал на Двинском фронте. Иногда в письмах были следы цензуры: вымарывалось название деревни, городка или точное звание упоминаемого офицера, очевидно, военная цензура считала это излишним, хотя обычно цензура была вполне разумна, и никакого дикого произвола в письмах мы не замечали.

Младший брат отца, дядя Иван, попал в Константиновское юнкерское училище и в декабре 1916 г. с гордостью сообщил, что достиг высшего званья, какое давалось в военном училище, -портупей-юнкера. Блестяще окончив курс в январе 1917 г., он мог выбрать полк и на некоторое время попал в полк, который стоял в его родном Торжке. Тогда (я забегаю вперед) была сенсация: он шел во главе роты и новоторжские красавицы выбегали из подворотен и кричали: "Смотрите, Ванечка Андреев, Ванечка Андреев марширует! Какой красивый подпоручик!.." Красивому подпоручику это очень нравилось! Война подступала к нам, несмотря на то, что фронта рядом не было.

Состоялись эти два рождественских вечера. В них принимал участие и я. В свои 8 лет я уже был в некоторой степени опытным актером, не столько, пожалуй, актером - играл я до этого очень мало, и больше в пантомимах, когда ставили русские сказки, я играл, например Ивана-царевича - но я хорошо декламировал. Это была заслуга моей матери, она считала, что победить застенчивость, которая обычна в таком "мелком" возрасте, и научиться правильно (громко, четко) владеть русской речью, можно, декламируя стихи. Она очень старалась развить во мне эту жилку. Так как я тогда уже любил историю, то стихотворения, подобранные для меня, имели исторические сюжеты, например, стихи Майкова о Петре Великом, который помогает рыбаку, бранящему порядки Петра. Петр помогает ему с ремонтом старого челна, а потом предлагает забросить сеть: "на счастье, на Петрово".

“На Петрово? Эко слово
Молвил! - думает рыбак...
Смотрит долго в ту сторонку,
где чудесный гость исчез”.

Очень рано я выучил бесконечное количество стихов и исторических баллад: “Михайло Репнин”, “Василий Шибанов” Алексея Толстого:

“Князь Курбский от царского гнева бежал,
С ним Васька Шибанов, стремянный...”

В скобках замечу, что я едва ли мог предполагать в те времена, да и позднее, что буду заниматься как ученый этой эпохой и Иван IV и Курбский станут, так сказать, моими близкими историческими друзьями...

Так как я был моложе всех выступающих, мое участие придавало храбрости другим: уж если этот малыш выступает, то чего нам, старшим бояться!.. Неглупая педагогическая затея. И в том году моя мать решила, что я опять прочту исторические стихи, и я действительно выступал и 23 и 26 декабря. 23 декабря был морозный день, праздник начинался в 5-6 часов вечера. Программа шла приблизительно два с половиной часа. Открывалась она оба раза народным гимном “Боже, Царя храни”. Энтузиазм моего отца как дирижера был огромен, его программы славились отбором песен. Он не любил псевдогородских песен, зато много было народнических:

“Средь высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село,
Горе-горькое по свету шлялося,
И на нас невзначай набрело ...”

У него был народнический уклон, очень типичный для эпохи. Отец был замечательный хорист, чувствовал динамику песни, особенно “Боже, Царя храни” его хор пел изумительно. Когда еще в старое помещение школы на Ржевке однажды внезапно приехал, начальник тюремного управления, генерал Хрусталев, очень реакционная фигура, директор испуганно предупредил: “Ефрем Николаевич, имейте в виду: потребует спеть гимн!” Хор его спел, и Хрусталев был в диком восторге, подошел к отцу и сказал: “Впервые слышу динамику нашего народного гимна, вот как надо петь нашим солдатским хорам!” Своеобразный был комплимент, но музыкально все было верно - отец хорошо понимал замысел львовского гимна. К сожалению, например, когда в Англии на телевидении ставился фильм “Война и мир”, то просто плакать можно было, как ужасно пели “Боже, Царя храни”. Я даже разразился по этому поводу письмом в “Таймс”.

Наступило 23 декабря, в рекреационном зале выстроили деревянные подмостки, все разыгрывалось как бы на сцене, с занавесом, и над занавесом наверху скрещенные национальные бело-сине-красные флаги Российской державы и, значит, хор поет. Что меня поразило тогда, воодушевленно пел не только хор, не только дирижер, но гимн пел с воодушевлением весь зал: и остальные мальчики, и самокатчики стояли

навытяжку и пели, и польский полковник-врач, сидевший в первом ряду, пели пришедшие раненые, пели деревенские парни: "Царствуй на славу нам, на страх врагам..." - впечатление было грандиозное. Я и сам пел вместе с хором, и все мы были радостно взволнованы. Программа проходила очень хорошо, мое собственное выступление имело большой успех. Я читал стихи Полонского "Казимир Великий". Замечательные исторические стихи о том, как Казимир Великий, польский король, будучи на охоте с молодой красавицей-женой, услышал в хате лесника пение, по-видимому, загулявшего человека. Он пел о великой скорби в Польском крае, о великом голоде, который косит крестьян. Казимир на пир спешит с охоты, В новом замке ждут его давно Воеводы, шляхта, краковянки, Музыка, и танцы, и вино.

Но не в духе круль: насупил брови,
На морозе дышит горячо.
Королева с ласкою склонилась
На его могучее плечо.

"Что с тобою, государь мой?! друг мой?
У тебя такой сердитый вид...
Или ты охотой недоволен?
Или мною - на меня сердит?

"Хороши мы! - молвил он с досадой,-
Хороши мы! Голодает край,
Хлопы мрут,- а мы и не слыхали,
Что у нас в краю неурожай!..

Погляди-ка, едет ли за нами
Тот гусляр, что встретили мы там...
Пусть-ка он споет магнатам нашим
То, что спьяну пел он лесникам!"
...

Ждут, - и вот на праздник королевский
Сквозь толпу идет, как на базар,
В серой свитке, в обуви ремянной
Из народа вызванный гусляр
...

Низко перед царственной четою
Преклонясь косматой головой,
На ремнях повиснувшие гусли
Поддержал он левою рукой,

Правую подобострастно к сердцу
Он прижал, отдав поклон гостям.
“Начинай!”- и дрогнувшие пальцы
Звонко побежали по струнам.

Подмигнул король своей супруге,
Гости брови подняли: гусляр
Затянул про славные походы
На соседей, немцев и татар.

Не успел он кончить этой песни -
Крики “Виват! “ огласили зал;
Только круль махнул рукой, нахмурясь:
Дескать, песни эти я слыхал!

“Пой другую!” - и потупив очи
Прославлять стал молодой певец
Молодость и чары королевы
И любовь - щедрот ее венец.

Не успел он кончить этой песни -
Крики “Виват! “ огласили зал;
Только круль сердито сдвинул брови:
Дескать, песни эти я слыхал!

“Каждый шляхтич, - молвил он,- поет их
На ухо возлюбленной своей;
Спой мне песню ту, что пел ты в хате
Лесника, - та будет поновей...
Да не бойся!”

- Но гусляр, как будто
К пытке присужденный, побледнел.
И, как пленник, дико озираясь,
Заунывным голосом запел:

“Ой, вы, хлопы, ой, вы, Божьи люди!
Не враги трубят в победный рог,
По пустым полям шагает голод,
И кого ни встретит - валит с ног.

Продает за пуд муки корову,
Продает последнего конька.
Ой, не плачь, родная, по ребенке!
Грудь твоя давно без молока...

Ой, не плачь ты, хлопец, по дивчине!
По весне авось помрешь и ты...
Уж растут, должно быть к урожаю, -
На кладбищах новые кресты.

Уж на хлеб, должно быть к урожаю,
Цены, что ни день, растут, растут.
Только паны потирают руки -
Выгодно свой хлебец продают".

Не успел он кончить этой песни:
"Правда ли?!"- вдруг вскрикнул Казимир
И привстал, и в гневе, весь багровый,
Озирает онемевший пир.

Поднялись, дрожат, бледнеют гости.
Что же вы не славите певца?!
Божья правда шла с ним из народа
И дошла до нашего лица...

Завтра же, в подрыв корысти вашей,
Я мои амбары отопру...
Вы... лжецы! глядите: я, король ваш,
Кланяюсь, за правду гусляру...

И певцу поклон отвесив, вышел
Казимир, - и пир его притих.
"Хлопский круль!"-в сенях бормочут паны,
"Хлопский круль!"-лепечут жены их.

Онемел гусляр, поник, не слышит
Ни угроз, ни ропота кругом...
Гнев Великого велик был, страшен -
И отраден, как в засуху гром!"[1]

[1]Стихотворение посвящено памяти А. Ф. Гильфердинга и было задумано мною в 1871 г. Покойный А. Ф. Г. просил меня написать его для 2-ого литературного вечера в пользу Славянского комитета. - Тема для стихов была выбрана самим А. Ф. Г., им же были присланы мне и материалы, -выписки из Польского летописца Длугоша, со следующею в конце припискою "Раздача хлеба в пору голода у летописца рассказана без всякой связи с другими фактами из жизни Казимира, потому тут у вас карте бланш" Стихи были набросаны, когда я узнал, что литературный вечер с живыми карти-нами в пользу Славянского комитета не состоялся и отложен на неопреде-леное время. Затем умер и наш многоуважаемый ученый А. Ф. Г. самоот-верженно собирая легенды и песни того народа, изучению которого, в связи со всему ему соплеменными народами, с любовью посвящал он всю свою жизнь (Сочинения Я. И Полонского т. 11)

Мама, которая разучивала со мной это стихотворение, требовала понимания того, что хотел сказать поэт в стихах. Это было эпическое описание происшествия, и нужно было читать ясным голосом, выделяя прямую речь, избегая пафоса или подчеркивания чувств: много позднее открылось, что в своих взглядах на то, как надо произносить стихи, мама интуитивно совпадала с замечаниями на эту тему Станиславского. Это большой комплимент не только моей матери, но, думаю, и Станиславскому! Потому что моя мать работала не с артистами-профессионалами, а с такими школьниками, как я.

Публика, слушатели, восприняли балладу Полонского в той форме, которую им предложила моими устами мама, то есть в виде ясного, не сверхдраматизированного, но логически окрашенного текста, произнесенного четко, громким, уверенным голосом. Позднее эта моя черта была отмечена и слушателями моих лекций, но это я говорю мимоходом, забегая далеко вперед. Что до восприятия стихотворения, то наиболее распространенное мнение гласило: "Маленький, да удаленький". Я был совсем еще мальчуган, а текст произносил серьезного содержания. Одна из знакомых пожилых дам сказала: "Как интересно - самый юный, а текст самый длинный".

Отец Стефан, духовник школы и настоятель не достроенной еще церкви при школе, тут же вывел из стихотворения мораль и сказал: "Вот видишь, как поэт хорошо сформулировал: глас Божий, который дошел до короля!" Кстати сказать, когда началась революционная неразбериха, я слышал такое мнение: "Все здесь начало падать и приходить в смятение, оттого что церковь Божию, вместо того, чтобы поставить в первую очередь, не достроили, приравняли храм Божий к слесарному или столярному цеху. Вот в чем причина падения и испытаний, посланных школе". Особую позицию занял уже упомянутый польский полковник, который даже прослезился. Его захватила чисто польская тема этого произведения, с одной стороны, а с другой стороны, его восхитило, что прославление одного из самых замечательных государственных деятелей средневековой Польши, Казимира Великого, было с восторгом принято в чисто русской аудитории и публика страстно реагировала на решение короля помочь голодающему народу. После первого выступления полковник бросился на сцену, расцеловал меня, обнимая и благодаря от лица даже тех поляков, которые не слышали моего чтения. 26 декабря он появился опять, именно ради меня, приведя с собой еще двух-трех польских офицеров, врачей и одного артиллериста, выздоравливавшего в соседнем госпитале, которые с не меньшим восторгом восприняли эту польскую тему, выраженную русским поэтом, и ранее, по-видимому, им не известную.

Но самой интересной была реакция самокатчиков, простых русских людей в военной форме, и знакомых нам крестьянских парней из соседней деревни Лиможи (в полутора верстах от нас) и села Заполье (в 3 верстах от нас), которые подхватили главную тему стихотворения: то, что социальная справедливость торжествует и король старается помочь голодающим, а причиной его пассивности было только незнание: "Вот это здорово!.." На

похожую точку зрения встал и присутствовавший на первом вечере становой пристав из деревни Сосенцы в 8 верстах от нас. Полицейских сил в том районе было самое минимальное количество. Пристав был уже пожилым полицейским чиновником, он с большим вниманием почитывал газету Суворина "Новое время" и приводил моего отца в смущение своими элементарными политическими суждениями. На вечере, когда я уже шел на свое место, чтобы перейти из категории артистов в зрители, он узнал меня, потянул за рукав, погладил по голове и сказал: "Вот видишь, что король, что Император: как узнал о плохом, так и исправил! Вот что значит сильная государственная власть!" Отказать ему в логике было трудно...

Вероятно, по-своему воспринимал мое чтение директор школы, Михаил Павлович Беклешов, который славился своим либерализмом и поддерживал идею, что пора покончить с русско-польскими конфликтами и перед лицом германской опасности в Центральной Европе образовать на братских основаниях государственную федерацию двух самостоятельных славянских единиц. Эту точку зрения, как я предполагаю, разделяли многие русские либералы той эпохи. Он с удовольствием отметил, что эту тему выразил на рождественском вечере его школы самый младший участник выступления, даже, в общем, не ученик. И в этом ему почудилось пророчество: пройдет вражда племен и будет больше единства между славянскими народностями...

Одно из самых забавных суждений мне запомнилось надолго. В перерыве - слово "антракт" у нас почему-то не было принято, а объявлялось столько-то минут перерыва между номерами -мой большой приятель, Роман Романович Романов, "дядька" отделения "Б", уже немолодой, вероятно, лет 60 с чем-то - ко мне он относился совершенно, как дедушка к своему внуку - он вдруг встал, подошел ко мне, погладил по голове и сказал: "Ежели благодати Божией не лишится, до архиерея дойдет!" Эту реплику слышал мой отец, страшно веселился, запомнил и позднее много раз со смехом говорил мне: "Смотри, тебе угрожает духовная карьера!" Все это я рассказываю как свои личные, очень ограниченные, но, полагаю, объективные воспоминания об этом интересном последнем большом рождественском празднике, происходившем на моей памяти еще в рамках Российской Империи, о гамме реакций на стихотворение Полонского: ничего революционного в нем не было, а наоборот, утверждался просвещенный и благожелательный к народу, к народным нуждам абсолютизм, хотя и в польском варианте. Этот аккорд я намеренно здесь подчеркиваю.

Петроград. Январь 1917 г.

Сразу после рождественских праздников отец на несколько недель уехал в Петербург, "Петроград" был не популярен, это было официальное название 1914 г., но все называли город по-прежнему, или Петербург, или Питер. Уехал он лечиться, у него была болезнь десен, и нужно было удалить несколько зубов - они шатались и грозили выпасть и дантисты поставили

ему пластинку искусственных зубов. В Петербурге он поселился у старшего брата Николая, весьма почитаемого всеми родными. Человек немалых дарований, дядя Коля поехал учиться в Гейдельбергский университет, но до предполагавшегося доктората по истории, не дошел, к сердечному огорчению моего дедушки, Николая Ефремовича, который хотя и кичился тем, что он "почвенный земец", высоко ценил "преуспевших в науках" и всячески поддерживал стремления своих многочисленных сыновей к получению высшего или специального образования. Не знаю, какова была последовательность событий в жизни дяди Коли, но помню отдельные строки из дружеского парафраза строф о Ленском в "Евгении Онегина":

Он из Германии ученой
Привез марксистские плоды...

Всегда воинственную речь
И Лену с кудрями до плеч.

Написали это младшие из братьев Андреевых, возможно, Сергей, мой крестный, склонный к насмешке, а может быть, Вася, который скептически относился к "марксо-плехановским упрощениям истории". Много позднее, в 50-е годы, я услышал от Бориса Ивановича Николаевского, очень известного в эмиграции человека, сотрудника "Социалистического вестника" с 20-х до 60-х гг., то есть весь период так называемой "первой" эмиграции, что он дружил с дядей Колей: "Мы представляли собой великорусскую секцию меньшевистской фракции РСДРП". Борис Иванович любил "красное словцо" и шутки. О дяде Коле он вспоминал очень тепло и за дядю "полюбил племянника", перейдя сразу после этих воспоминаний в разговоре со мной с тона улыбчато-вежливого на тон дружески-насмешливый ("мы, мол, причастны к тому, чего другие не знают"). Мне пришлось сноситься позднее с Б.И.Николаевским по делам, и я всегда встречал у него доброжелательное понимание и стремление помочь советом и делом.

Любовь дяди Коли и тети Лены подверглась большим испытаниям, прежде чем они сочетались - по мнению едва ли не всех весьма многочисленных родственников - в абсолютно гармоничном браке. Тетя Лена происходила из ортодоксальной семьи русских по культуре евреев, которая и слушать не хотела о ее браке с православным, ибо для этого ей пришлось бы самой стать православной, отрекшись от иудаизма. После сильных бурь нашли компромисс: обе стороны оставляли веру предков и переходили в "нейтральное", обоим чуждое лютеранство. Женились они еще до виттовской Конституции 1905 г., которая вошла в силу в 1906 г., то есть по старым законам, когда православие было доминирующей религией Российской Империи и сознательный выход Николая Николаевича из этой религии считался актом отрицательным. Поэтому даже выдающиеся лица, друзья моего дедушки Николая Ефремовича Андреева, известного земского

деятеля Тверского и Новоторжского земств, друга Петрункевича, Родичева и других радикальных земцев, сразу сказали дяде, что он поступил опрометчиво - положил предел развитию своих профессиональных возможностей. Дедушка тоже взорвался: "Выход из православия в Российской империи непрактичен, мягко говоря... Колина академическая дорога будет трудно проходимой". Бабушке Дуне удалось уговорить мужа "не подливать масла в огонь черными пророчествами и дать молодым строить свою жизнь по их разумению". Дед мой, однако, оказался прав. До революции дядя не попал в университетские преподаватели еще по одной причине, тайной, которая никогда полностью не вышла наружу, - он был причастен к меньшевистской фракции социал-демократической рабочей партии. И, очевидно, полиция отметила, что он меньшевик. Сам он даже не думал, что кто-нибудь знает о его причастности к меньшевикам. В России он держался осторожно, а во время первой мировой войны и вообще мало проявлял себя в политике, разве только в частных разговорах. Всю жизнь он занимался популяризацией историей: читал общедоступные лекции, в том числе в знаменитом Соляном Городке в Петербурге, где был, в сущности, народный университет, открытый для широкой публики, и выступали лекторские "сливки". Тогда он занимался средневековьем, и его лекции издавались в виде брошюр, которые приносили, между прочим, хорошие гонорары. Все они были у отца в кабинете. Помню, я впервые узнал о крестовых походах, о борьбе папства и императоров Священной Германской империи, о значении торговых республик в Италии и Германии именно из доходчиво, но строго написанных дядиных книжек, снабженных отличными снимками со старинных гравюр. Книжки эти обычно издавались под псевдонимом - Н.Николин. (В середине 20-х гг., когда я, еще гимназист, начал печатать заметки в местных русских газетах, я стал подписывать их тем же псевдонимом, - первый раз по случайности, отказываясь от "Никольский" и "Николаев", предложенных секретарем редакции ревельских "Последних Известий", потом - потому что мои заметки под этим псевдонимом были замечены читателями и редакция хотела его сохранить.)

В зимний сезон 1915-16 гг., последний, когда мы жили вблизи Ржевкт, родители взяли меня на лекцию дяди Коли, который читал "для всех" в каком-то просветительском обществе на соседних с нами Пороховых заводах. Щеголеватый молодой человек с напомаженными волосами и синим бантом распорядителя на пиджаке, увидев цвет нашего приглашения на лекцию, провел нас к самой эстраде, на которой стоял лекторский пюпитр, освещенный специальной электрической лампой. Посередине висел большой экран - лекция сопровождалась световыми картинами, которые я видел в слегка искаженной перспективе, поскольку наши приставные стулья находились слишком сбоку от "фокусной линии" экрана: лекция была устроена в сараеобразном зале театра, где иногда

показывались также фильмы (меня брали на них раза два). Дядя был в сюртуке и "в крахмале". Очень высокий, он казался мне, смотревшему на него задрав голову, просто гигантом. Лекцию он читал звучным басом, который мне показался незнакомым, и с превосходной дикцией. В целом у него, по общему мнению, был дар оратора, таинственное умение "овладеть вниманием слушателей и вести их за собой", как услышал я позднее от родителей.

В моем мозгу немедленно возникла яркая и забавная картина с явными отголосками из "Дон Кихота" для младшего возраста: дядя Коля в толстенных очках ("смерть близорукости", по выражению моего отца), "в крахмале" и рыцарском шлеме с перьями, в сюртуке и высоченных сапогах со сверкающими шпорами, одной рукой тащил под уздцы упиравшегося коня, подгоняемого копьем, а в другой руке лектора-рыцаря. Содержание лекции оказалось мне не по плечу. Позднее я прочел ее сжатый текст в дядиной брошюре "Человек и нечистая сила", опять-таки очерк средневековой культуры, и в иллюстрациях узнал некоторые из "туманных картин", виденных мною в странном ракурсе на Пороховых заводах. Однако мне остались неведомыми причины взрывов хохота и рукоплесканий слушателей, прерывавших дядю. "Какая меткая стрельба намеками",- со смехом говорил отец моей матери: "Не римские папы, а наши синодские архиереи". Но в 1917 г., после революции, взгляды отца резко размежевались с дядиными. Отец всегда тяготел к партии Народной свободы и голосовал за нее на выборах в Учредительное собрание. Поздним летом 1918 г. дядя Коля побывал у нас, и я удивился, что отец спорил с ним: "Прости меня, Коля, но ты и твои меньшевики совсем не понимаете ни крестьян, ни профессиональных рабочих..." Уже после революции дядя написал брошюру, посвященную русской истории, где отрицательно отзывался о династии Романовых. Думаю, что позднее ему самому едва ли нравилась эта брошюра, но из песни слова не выкинешь, и она была напечатана. Кроме того, он работал, даже и при большевиках, как историк марксистских идей. Он не был большевиком, но был марксистом-меньшевиком. Уже позднее в журнале "Историк-марксист" и еще где-то я встречал за его подписью различные специальные исследования. У Николая Николаевича была хорошая квартира на Каменноостровском проспекте на Санкт-Петегбургской стороне, и отцу было там удобно, хотя он и не очень любил порядок, который существовал у Елены Владимировны: обедали в 4.30, вставали поздно, ложились спать поздно. Отец, который привык к более здоровому образу жизни, тяготился этим и, обладая большим чувством юмора, не без иронии рассказывал о разных причудах Елены Владимировны, которая души не чаяла в муже и их единственном сыне Владимире. Вова, мой двоюродный брат, старше меня на год-полтора, тогда уже начинал подавать надежды как выдающийся естественник. Позднее он стал крупным ботаником. К большому моему сожалению, наши дружеские отношения совершенно прервались - наши

биографии сложились абсолютно по-разному помимо нашей воли. В моей памяти Вова остался на всю жизнь мальчуганом лет 10-11.

До отъезда отца состоялась домашняя елка, которая была украшена родителями в отцовском кабинете. По традиции в первый день Рождества, уже после обедни и после обеда, торжественно открылись двери кабинета, и елка предстала во всем своем великолепии, украшенная замечательными стеклянными шарами, летящими ангелочками и всем, чем в те времена полагалось украшать рождественские елки. Она была усыпана свечками и, к нашему восторгу, висела даже нить маленьких электрических лампочек, сделанных, как свечечки, которые придавали феерический характер всему дереву. Пришли наши друзья-дети, и весь первый день Рождества до позднего вечера шло у нас необузданное веселье. Мы получили подарки, в том числе интересные книги: я получил "Севастопольского мальчика", повесть знаменитого Станюковича, который в своих морских рассказах великолепно описал русский парусный флот. Тут он замечательно изобразил оборону Севастополя, и с этого времени мне стали особенно близки герои книги, начиная с адмиралов Нахимова, Корнилова, Истомина, генерала Тотлебена, и несколько мрачной тенью рисовался облик главнокомандующего русскими сухопутными силами в Крыму, князя Меньшикова. Позже эти впечатления сомкнулись с "Севастопольскими рассказами" Льва Толстого. Я нарочно это подчеркиваю, потому что очень любопытно, как постепенно, особенно на фоне войны, рождалось чувство заботы об Отечестве, которое русские писатели умели возбуждать в читателях моего возраста.

Тогда же я получил отличное издание "Робинзона Крузо". Я знал раньше короткие издания, совсем элементарные, главным образом картинки и минимум текста, а здесь было полное, с отличными рисунками, явно взятыми из английских книг, передававшими какой-то другой мир, мне тогда неизвестный. Я не мог себе представить в те времена, что когда-нибудь буду жить в Англии. В настоящий восторг я пришел от отличного издания "Детей капитана Гранта" Жюля Верна. Его романы вообще сыграли важнейшую роль в моем развитии и, в частности, совершенно незаметно познакомили меня с географией. Я оказался знатоком разных стран и хорошо разбирался в материках, знал главные реки, горы и многие географические точки, все, что входило в повествования Жюля Верна. Опять забегая вперед, скажу, что поразил своим знанием немых карт строгого географа Грацинского, когда сдавал экзамен в гимназию. Он всегда был ко мне благосклонен, потому что помнил мой отличный ответ, тогда он с удивлением спросил: "Откуда ты так хорошо знаешь немые карты!?" Я дипломатично промолчал, не признавшись ему, что "ответственен" за это Жюль Верн, и, конечно, ничего не сказал о том, что я проводил целые дни, читая его романы и тут же рассматривая громадный географический атлас, изданный Марксом, не Карлом Марксом, а

петербургским книгоиздателем, который выпускал журнал “Нива” с приложениями и сыграл большую роль в русском просвещении. Много карт было у отца в кабинете, поскольку он вел географию в разных классах. Читал я и Купера, и Майн Рида, но они сыграли гораздо меньшую роль.

К половине января 1917 г. лечение моего отца в Петрограде приблизилось к концу, и он предложил нам с матерью приехать на несколько дней навестить его, а затем вместе вернуться домой. Мне это понравилось, потому что я уже давно в Петрограде не был. Но стояла снежная и морозная погода, поэтому перед поездкой были приняты решительные меры по утеплению путешественников. Я был одет в свою лучшую, как мне казалось, одежду: поддевку на лисьем меху, которая очень мне шла, с красным кушаком ямщицкого типа - а я в то время кучеров весьма почитал, на голове кавказская папаха, белая, мохнатая, кто-то мне сказал, что конвой Его Императорского Величества носит такие. Никогда я этого так и не проверил, но охотно допускаю, что они действительно носили мохнатые папахи, а не солдатские, барашковые, какие носила вся 15-миллионная русская армия. Кроме того, из-за мороза под папаху надевались наушники, а сверху башлык. Костюмчики оставались теми же, но на ноги я должен был поверх простых чулок надевать еще шерстяные, особенно высокие, выше колен, чулки, специально связанные няней и потому очень доброкачественные. Носил я и щегольские, меня лично восхищавшие, высокие русские сапоги, сшитые по заказу замечательным местным сапожником.

Но и этого было мало: когда подали пару лошадей, они оказались запряженными не в нормальные большие сани господского типа, а в большие розвальни со спинкой, наполненные сеном, так что мы сели в сено и были прикрыты не только коврами, но и особыми меховыми дохами по настоянию нашего возницы и приехавшего отправить нас управляющего имением Извары, ученого агронома Гердта. Он был в большой дружбе с отцом и инструктировал наш транспорт: меня, матери и еще одной дамы, ехавшей с нами до Волосова, то есть 10 верст по морозным дорогам. Дома мне все это казалось страшно преувеличенным. Но когда мы сели в сани и наша пара потянула розвальни, оказалось, что ехать быстро нельзя, почти отменялась рысь, потому что на дорогах были заносы. Лошади шли шагом по снежным сугробам и впадинам довольно долго, несколько часов, хотя летом наши орловские рысаки, неся за собой коляску на резиновом ходу, покрывали эти десять верст за 45 минут. По настоянию доктора Гердта, моя мать поверх элегантного зимнего пальто, теплого костюма и меховых ботиков, надела отцовскую шубу. Шуба была изумительная, и отец ее никогда не носил. Это был подарок ему ко дню свадьбы от тестя, остатки прежнего величия, как говаривал мой дедушка, Александр Ефимьевич Квашенинников. Эту хорьковую шубу колоссальных размеров и тяжести, отец именовал “боярской” и не надевал, говоря, что это только для оперы

“Борис Годунов”, а в реальной жизни в России XX века ни к чему. Мама осталась шубой очень довольна, потому что грела она хорошо и мама нисколько не почувствовала холода.

Когда мы подъехали к Волосово, уже было, собственно говоря, утро, январское, темноватое, к тому же пошел снег. Но Волосово, большой военный, коммерческий и сельскохозяйственный центр, а теперь еще и железнодорожный узел, уже полностью проснулось, за сильным снегопадом почти ничего не было видно, и вдруг неожиданно мы оказались около вокзала. Он, как всегда, был залит огнями, я с радостью освободился от всяких дох и ковров, вылез из сена и встал во всем своем великолепии, в поддевке и папахе, в высоких сапогах! Чемоданы у нас были маленькие, минимум того, что требовалось для путешествия, и мы с удовольствием вошли в вокзал и были приятно поражены теплом. Было, пожалуй, даже слишком тепло, чувствовалась масса всяких запахов: вокзал был переполнен. Пройдя через главный зал около касс и не заходя в 3-й класс, мы отправились в зал 1-го класса, который славился по всей линии Балтийской железной дороги. Это была первая после Гатчины большая станция с отличным буфетом. Мы нашли места для всех троих, и через некоторое время официант, который знал мою мать, принес ей и ехавшей с нами даме кофе, а мне - яичницу-глазунью, фирменное блюдо русской кухни (глазунью очень чтил мой отец). Из разговоров с официантом и сидящими рядом пассажирами выяснилось, что станция переполнена из-за снегопадов, - поезда дичайше опоздывают. (В этот момент еще никто не думал, что через полтора месяца этот снегопад в Петрограде приведет Империю к критическому положению.) Кто-то даже полушутя-полусерьезно сказал, что поезда опаздывают на 24 часа: тот, который должен прийти сейчас, еще вчерашний. Через некоторое время раздались звонки, предупреждающие, что к платформе подходит поезд и идет он на Петербург. Мама вызвала носильщика, дала ему соответствующую мзду, и он взял наши чемоданчики и руководил нашими действиями.

Подход того поезда я до сих пор помню как некое видение ада, позднее я даже подумал, что если бы Данте видел российские поезда, то непременно описал бы их в своей поэме, изображая ад. Впереди шел снегоочиститель. На платформе снег все время чистили, и подходы к станции были более или менее свободны от снега. Несколько человек беспрерывно увозили снег, но тем не менее, снегоочиститель шел, поднимая столбы снежной слякоти, разбрасывая ее вокруг себя. За ним шли два громадных паровоза огромной мощности, которые имели вид борцов, достигших финала, в облаках пара, лязгая чудовищными колесами, осями, производя жуткое впечатление. А выглядывавший машинист, его помощник и кочегары казались своего рода демонами, руководящими этими механическими махинами. За ними потащились вагоны, это был классный поезд, составленный из вагонов разных классов, до отказа набитых публикой. Благодаря решительным

действиям носильщика, мы не без усилий втиснулись в вагон 2-го класса, битком набитый военными. Нужно отдать справедливость их вежливости: несмотря на то, что поезд действительно был заполнен до отказа и все купе забиты публикой, а в коридоре почти стеной стояли или сидели на чемоданах военные, тем не менее, из одного купе вышли двое офицеров, вежливо предложили моей матери и нашей спутнице занять их места и втиснули туда же и меня. Сначала я попал на колени матери, потом потеснились другие офицеры, и я тоже удобно устроился. Кто-то из офицеров и сказал, что моя папаха безусловно принадлежит конвою Его Величества!

Путешествие это было для меня очень интересным. Мы простояли в Волосове долго, минут 40 вместо положенных 15, и в конце концов поехали дальше, на север. Обычно эти поезда шли очень быстро, но из-за снежных заносов мы буквально тащились. Тотчас началось множество всяких разговоров, купе было отчасти занято ранеными офицерами, которые уже, собственно. выздоравливали, но некоторые еще носили повязки, руку на перевязи или частично забинтованную голову или шею. Некоторые офицеры ехали в отпуск на 2-3 недели, были и командировочные, которые обычно имели портфели и зорко за ними следили... Но общая атмосфера была дружественной и приятной, у матери была коробка с мармеладом, и она стала предлагать его офицерам, им это понравилось, пошли воспоминания, когда они в последний раз ели такой чудный мармелад. Отец потом сказал, что моя мать знаток человеческой природы, потому что путь к русскому сердцу всегда лежит через желудок! Пошли разговоры, и они меня поразили.

Говорили не столько женщины, сколько офицеры. Большинство из них в нашем купе были не старше подполковника, очевидно, полковники и генералы ехали в вагонах 1-го класса, а здесь были капитаны, штабс-капитаны, подполковники, средний офицерский состав, не очень молодой по возрасту, а по служебному положению достаточно осведомленный. Я впервые слышал такую откровенную критику Императрицы. Дело в том, что мои родители как педагоги, да и сама атмосфера школы, исключали возможность подобных разговоров, сплетен об Императорском Дворе. А здесь этот мотив играл сильную роль. Офицеры не выговаривали имени Императора, но, насколько я понимал, большинство ставило в вину Императрице и ее окружению, что война ведется столь вяло. Что у нее за окружение, не уточнялось, но создавалось впечатление, будто все это знают. Офицеры говорили, что у нас есть и войска, и хорошая техника, а между тем мы ничего не делаем, чтобы выровнять фронт, мы отошли за естественные рубежи вроде реки Двины. Вообще вредно затягивать войну, вредно для солдат, потому что это слишком затягивает их службу, и необходимо перейти к более активным действиям. Но Императрица в этом отношении влияет пагубно. Когда мы приехали в Петроград, я кое о чем маму

переспросил и получилось, что я верно понял общий тон разговоров.

Как бы там ни было, мы успешно продвигались в направлении Петрограда и с громадным опозданием, к вечеру, вошли под своды Балтийского вокзала в Петрограде. У дяди Коли был телефон и, как было условлено, мама позвонила, предупреждая отца, что мы приехали, и взяла такси. Это было мне в новинку, потому что в провинции такси и вообще автомобили были еще редким явлением. Город, по-моему, был в отличном порядке. На многих улицах снега почти не было, все было вычищено, и знаменитые торцовые мостовые блестели, как будто их только что натирали ваксой. На самом деле это была наледь. Петербург выглядел праздничным, электричества, площади залиты светом, всюду магазины, витрины... Вообще, вопреки тому, что я потом читал в разных воспоминаниях, Петроград в январе 1917 г., по крайней мере, на меня, приезжего и неискушенного малыша, произвел впечатление не нуждающегося города, а наоборот, большой столицы, в которой как будто все было.

Мы побывали, между прочим, и у дяди Леши. Алексей Иванович Андреев был генералом медицинской службы. Жили они в великолепной квартире, жена его, Ариадна Николаевна очень мне нравилась, любезная, светская дама, как я теперь понимаю, и двоюродные мои сестрицы, Наташа и Галя, тоже казались очаровательными девочками, как будто сделанными для того, чтобы их выставили в витрине магазина! Это я даже сказал моим родителям, очень насмешив их. У дяди Леши, где мы обедали в один из первых дней, мы услышали мнение, что продовольственное положение Петербурга очень хорошее, но уязвимое место - рост цен, который вызывает недовольство населения. По своему генеральскому положению дядя Леша имел 2 денщиков, красивых молодых людей, были у него еще горничная и кухарка. Мой отец потом сказал маме, что считает это полнейшей аномалией: оторвать от крестьянской среды таких двух молодых людей, чтобы сделать их олухами и холуями: чистить сапоги, серебро, иногда подавать на стол, и даже этого не нужно, потому что есть горничная и, в конце концов, они только впадают в соблазн волочиться за этими самыми горничными и другой прислугой. На что мать, очень быстро укротив гнев отца, сказала, что она рада за этих молодых людей, потому что, по крайней мере, это спасает их от обязанности сидеть в сырых окопах и гадать, попадут в них немцы первым выстрелом или двадцатым.

У дяди Коли и тети Лены был сын Вова, мой приятель, и на него я смотрел с почтением, потому что он интересовался камнями, мхами, листьями и бабочками, у него было огромное количество разных коллекций, хорошая комната, где он с энтузиазмом все это собирал и делал надписи. Передо мной был явный начинающий натуралист. А я, со своими историческими и отчасти математическими интересами, казался еще совсем "не нашедшим дороги". Это чувство почтения к старшему двоюродному брату осталось у меня навсегда, тем более, что он отлично

учился. А я был еще на домашнем попечении: и мать и отец со мной занимались в частном порядке. У дяди Коли в доме тоже были две прислуги, кухарка и горничная, но не было денщиков. У дяди Коли, - шутил отец, - "хотя мы и социал-демократы, но у нас тоже прислуга имеется", хотя все было гораздо скромнее. Что меня еще удивило, это что в обоих домах подавали к обеду водку и вино, это у нас дома совершенно не было принято. Водку мать просто не держала в доме, а вино было в редких случаях, очень хорошее и мало. Мы не страдали ни изобилием денег, ни склонностью к алкоголизму. Меня даже удивило, что такой умный человек, как дядя Коля, с удовольствием пил под закуску 2-3 рюмки перед обедом.

В обоих домах много говорили о текущих событиях, и точка зрения дяди Алеши совпадала с точкой зрения офицеров, которые ехали с нами в купе, так что я подумал, что военные рассуждают более или менее одинаково: война ведется слишком вяло и причина - во Дворце, где не очень хотят интенсификации войны. А про дядю Колю, который представлял как бы голос оппозиции Его Величеству, мой отец сказал, что хотя у этой оппозиции дух революционный, но они клянутся воевать до последнего российского солдата против прусского милитаризма. И у них более интересный другой подход: требовалась и велась критика правительства. Николай Николаевич свои социал-демократические идеи особенно не демонстрировал, тем не менее, в частных разговорах считал правительственную тактику неудачной: и в Думе и в том, что Царь упорствует и не дает ответственное министерство. Я тогда этот термин впервые понял, я слышал его и раньше, а теперь сообразил, что министры должны отвечать за свои поступки не только перед Царем, но и перед Государственной Думой. Это очень горячо обсуждалось.

Когда вскоре после этого произошла революция, я спрашивал папу: "А что же дядя Коля?" и отец категорически сказал: "Они в тот момент революцию не готовили, они, может быть, и хотели этой революции, но как меньшевики желали постепенного, более глубокого и основательного развития русского капитализма, а уж потом, на этом промышленном фоне, должны были начаться процессы, которые меньшевики считали правильно сформулированными Марксом". Тогда я еще не знал, конечно, теорий Маркса. Впрочем, я скоро их узнал на практике!

Провели мы в Петрограде несколько очень интересных дней. Побывали в книжных магазинах, куда я всегда обожал ходить и смотреть и где мне был сделан ряд подарков: в большинстве случаев книги по русской истории и, в частности, великолепно изданные, с множеством гравюр биографии русских полководцев Суворова, Кутузова, Барклая де Толли, Багратиона. О них я уже много слышал и кое-что читал, а тут пополнилась и моя историческая библиотека. И затем сборник статей для юношества, - "Великие реформы Александра II": интересная, серьезная книга, которую

я с любопытством читал, вернувшись домой и где было много нового для меня о деревне, в которой я проводил большую часть своей жизни, хотя близко с крестьянской жизнью и не сталкивался. Отец очень хотел, чтобы мы попали в оперу, чтобы я услышал, как поет Шаляпин, но оказалось, что в Мариинском театре абсолютно все распродано на много недель вперед. Ему удалось достать билеты лишь в Народный Дом имени Николая II, открытый, если не ошибаюсь, графиней Паниной, которую я позднее довольно хорошо знал уже в эмиграции, в Праге. Там мы слушали оперу "Аскольдова могила". Незадолго до этого я видел "Садко" в Мариинском театре, это был совсем другой сказ, здесь было больше истории, и мне понравились арии, которые много говорили моему детскому воображению:

Вот, послушайте, ребята, Как живали встарину: Вот как жили при Аскольде Ваши деды и отцы: Без варягов управляли Печенежскою страной, И, как воду, пили брагу, Мед и крепкое вино...

Отец был немножко разочарован тем, что ему пришлось показать мне второклассную вещь, но я мало видел театра и опер, и для меня это было большое событие. Мы были также в кинотеатре, на Невском. Программа была странная: немой фильм в очень быстром темпе, где-то играла невидимая музыка, и Глупышкин, был такой комик, выглядел дурак-дураком, постоянно падал и делал разные очевидные нелепости. Гораздо большее впечатление на меня произвела хроника, особенно когда вдруг снимают едущий прямо на вас автомобиль. Я даже сделал испуганное движение, вроде того: давай бежать, чтобы не попасть под колеса! Отец очень позабавился таким эффектом. А затем последовала сентиментальная драма, где знаменитая русская артистка Вера Холодная играла очень горячую даму, у которой в фильме был роман на романе и все ее поклонники страдали и мучились из-за нее, так что никакой "холодности" в ней не было. Это тоже произвело на меня сильное впечатление. Моя мать довольно резко отозвалась и о Вере Холодной и об этом комике, и тоже, пожалуй, больше всего оценила хронику, где были интересные события, парад войск, марширующие, уходящие на фронт колонны, садящиеся в поезд, прием Государем Императором депутации союзников, судя по тому, с какой торжественностью караул держал "Смирно!", а те были одеты в нерусские формы. Нам, провинциалам, показывали другой аспект жизни, который мы вблизи не ощущали.

Одним словом, эти четыре или пять дней в Петербурге были насыщены и полны впечатлений. К сожалению, я очень обиделся на тетю Лену. Когда мы приехали на автомобиле на Каменноостровский и поднялись в квартиру, я вошел туда во всей своей красе: в папахе, в поддевке с кучерским красным поясом и замечательных высоких русских сапожках. Тетя Лена, милая и добрая женщина, была очень рада моему приезду и целовала меня, Вова выскочил тоже, и дядя Коля поцеловал, и папа меня целовал, и меня повели, я должен был спать в кабинете дяди Коли, он давал мне свой диван

- такой я был именитый гость! И в этот момент тетя Лена вдруг сделала замечание, она потянула носом и сказала: "А свои сапоги, которые пахнут дегтем, пожалуйста, сними, и пусть Надя, горничная, унесет их на кухню!" Я чуть не умер от возмущения! Во-первых, это были сапоги, которыми я гордился, во-вторых, я тут же мысленно счел тетю Лену абсолютной дурой - как же она может говорить, что такие сапоги мажут дегтем? Она, видно, никогда не слышала запаха дегтя? И кто же мажет дегтем отличнейшие сапоги из мягкой, почти сафьяновой кожи? Это было дикое оскорбление моих сапог и моего эстетического стандарта. Я уже был достаточно воспитан, моя мать всегда говорила: "Не спеши с возражениями, подумай сначала, что они хотят сказать", так что я промолчал. Но яблоко раздора между тетей и мною сохранилось на всю жизнь.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Самые ранние годы мои (до 7 лет) связаны с впечатлениями, полученными в районе станции Ржевка, где находилась до переезда в имение Извары школа моих родителей и где я родился. Оттуда мы часто ездили в Петербург, и начало сознательной жизни запечатлелось в моей памяти именно там. Впечатления от январской поездки 1917 г. в российскую столицу остались яркими не только потому, что было много праздничных моментов, но и от ощущения темпа и ритма громадного города, особенно в контрасте с тишиной изварских полей, засыпанных снегом.

Мне, малышу, нравилось все: марширующие с песнями роты солдат, удивительные набережные на реке Неве, по которым мы гуляли, например, в Петропавловскую крепость. Так столица и осталась у меня в памяти, увиденная с какой-то набережной. Я смотрел на громадные мосты, которые висели, как Пушкин говорил, "над водами". Весь стиль большого делового города мне очень нравился. Мы прошли по магазинам. Были даже у знаменитого Елисеева, и отец, склонный к гурманству, хотя всю жизнь воздерживался, купил там замечательные яства, вроде паюсной и кетовой икры и какого-то особенного балыка, всякой всячины, которая не так уж прельщала меня в те времена.

У отца было много знакомств с допедагогического периода среди технического мира Петербурга. Общаясь с ними, он пришел к заключению, что рабочие настроены бодро и думают, что война будет выиграна, заводы работают полным ходом и все ждут конца мая, начала июня, когда начнутся активные военные действия на нашем фронте, которые непременно, конечно, окончатся русской и союзнической победой. Отец сказал, что, по его мнению, радикальные настроения всегда были свойственны этой среде, где многие его приятели, как и он сам, были участниками похода 9 января 1905 года. Эти радикальные настроения были сильно ослаблены напряжением военного времени и патриотизмом. Я нарочно подчеркиваю свои впечатления непосредственно от января 1917 г., ибо, как я потом читал

во многих книгах, многие будто бы предчувствовали революцию. Такого ощущения не было ни у Ленина, сидевшего в Швейцарии, ни у вождей или членов партии меньшевиков, сидевших отчасти в России, ни у представителей стихийно демократических кругов, к которым принадлежали знакомые техники отца, автоматически оппозиционно настроенные к бюрократии, аристократии и плутократии. Мы вернулись к Балтийскому вокзалу, везя много подарков для моей сестры, для няни, для моего двоюродного брата Шурика, который тоже жил в Изварах. Его отец, Сергей Васильевич Пирожников, стал одним из младших педагогов в школе. Мы везли подарки друзьям, начиная с моего друга, кучера Абрама. Мама всегда шутливо говорила, что наши поездки в Петербург - чистое бедствие, они наносят удар по бюджету семьи месяца на два. Тем не менее, настроение было самое великолепное, отец радовался, что ему вылечили десны, поставили искусственные зубы, которые хорошо сидели во рту, и, главное, он освежился, поговорил со знакомыми и был, как всегда, полон оптимизма и веры в будущее. Верой он, конечно, заражал и мою мать, которая всегда подхватывала его настроения, хотя у нее было больше скептицизма и пессимизма.

Ехали мы тем же путем по Балтийской дороге, линии были по-прежнему заснежены, и потому поезд тащился, может быть, чуть скорее, чем когда мы ехали в Петербург. Он не был таким полным. Не зарезервировав заранее купе, мы сразу же нашли свободное, без помощи носильщиков, и спокойно сели. Отец встретил знакомых кооператоров, тоже ехавших из Петербурга. Кооперативное русское движение делало во время войны большие успехи. Кооператоры знали отца как помощника директора большого учреждения, переезжающего в район Волосова. По дороге они вели разговоры о том, что когда летом 1917 г. будет кооперативный съезд, отец на него приедет и они постараются провести его кандидатуру в центральное правление Волосовско-Кикеринского кооперативного Союза. (Это были ростки, давшие потом очень интересные результаты.) Мы приехали благополучно на нашу станцию. Лошади нас ждали, и тот же возница, что вез нас с мамой на станцию, повез нас в обратном направлении. Он явился с той же отцовской шубой, в которую опять закутали маму с шутками и весельем. Отец любил пошутить, заражал весельем всех окружающих, всех помнил по имени-отчеству, интересовался подробностями, с возницей сразу пустился в разговоры по поводу лошадей. У него была счастливая способность быстрого и дружеского общения с людьми самых разных социальных групп.

Вернулись мы в Извары как раз к 12 января, празднику Святой Татьяны, покровительницы Московского университета и патронессы русского просвещения вообще. В честь нее была названа моя сестрица, так что это был день ее именин и мы стремились успеть привезти ей подарки. Хочу вспомнить немного о наших детских играх. У меня осталось на всю

жизнь убеждение, что детям не так важно иметь нарядные и дорогие игрушки, как идею игрушек. Это я могу проиллюстрировать на своем опыте. Мы в наших играх часто использовали пустые спичечные коробки и катушки. Спичечные коробки обычно представляли лошадей. Та часть коробки, где лежали спички, или вставлялась внутрь спичечной коробки и представляла собой лошадь, или же вынималась и была экипажем - телегой или санями, смотря по времени года.

Дело в том, что мы жили в имении и видели вокруг большое животноводческое хозяйство, поэтому нас интересовали лошади, коровы и собаки. Очень ценились особенные спичечные коробки. В то время в России было много спичечных фабрик и были коробки разного типа. Увидав у кого-то особенный коробок, я или отец выпрашивали его и употребляли как самых лучших лошадей. Людей мы изображали катушками из-под ниток самых разных размеров: тоненькими, более толстыми, из-под шелковых ниток, из-под ниток для более толстых материй или для штопки. Катушек у нас были сотни. Если я играл в войну, то это была прекрасная армия в одинаковых мундирах. Целые полки можно было составить из катушек разного типа -получались с одной стороны немцы, а с другой - русские. Какие-то катушки получали даже имена наших ближайших знакомых. Одна, по мнению сестры, напоминала директора школы, Михаила Павловича Беклешова. Он, вероятно, страшно удивился бы, узнав, что представлял собой красивую катушку из-под шелковых ниток. У его сына, Глеба Михайловича Беклешова, тоже была своя катушка, и с ней даже случилась драма. Однажды возвращаемся домой и видим, что сестра горько плачет. Что случилось? Ах! Это ужасно! Василиса сломала вешалку, схватила Глеба Михайловича и прибила к вешалке вместо гвоздя. Танечка была безутешна, так что отец отправился и вытащил Глеба Михайловича с вешалки, а вешалке придал настоящий крючок. Употреблялось огромное количество кубиков, обычно с картинками, так что из них можно было складывать большие пейзажи, или с буквами, из них мы строили господский дом, службы, конюшни, рабочие дома, и, помнится, делали еще ограду сада, где якобы были особые яблоки или оранжереи.

Конечно, мы подражали тому, что видели вокруг. Это придавало разное содержание нашей игре, то есть мы играли в пределах одного и того же имения, но сестра обычно заведовала женскими делами, в ее распоряжении были кухни и молочные хозяйства, а у меня, например, рубка леса зимой (мы знали, что есть такой процесс в имении). Во всяком случае, это были социально интересные и творческие игры. Но иногда вдруг случалось - мы все спланировали, а тут является няня или прислуга и говорит: "Ну, убирайте все, чай нужно накрывать". Были страшные драмы. Как же так! Иногдпа даже шла делегация к маме, прося не пить чай на всем столе. У меня были конечно, и оловянные солдатики, но с ними было сложнее играть, их

было недостаточно. И они выполняли в катушечных армиях роль офицеров.

Была еще игра, в которой участвовали отец и дяди. Все они прилично рисовали и очень увлекались военными действиями, и эти игры начались в 1914 г. Делалось так: рисовался, например, великий князь Николай Николаевич, командующий русскими армиями. Он был очень похож на себя, на сером коне, с подзорной трубой, окруженный штабом. Рисовались генералы, которые нравились в этот момент - одно время был популярен Брусилов, потом генерал Рузский. Со стороны немцев рисовался, во-первых, Кайзер, тоже с портретным сходством -с усами, с каской. Солдатик изображался размером с большой палец. И складывали бумагу, чтобы получилось 8 фигур, потом они стереотипно разрисовывались. 8 фигур обычно составляли роту. К ней полагался офицер, и потом все расставлялось на полу. С одной стороны немцы, с другой - русские. Бой начинался с того, что швырялась пустая спичечная коробка, в которую для тяжести клали резинку. И если она попадала в цель и переворачивала фигуру, то солдат был убит, а если просто его сбивала (они лежали плашмя на полу) с первой позиции, он считался раненым. Одним словом, были свои правила. Папа и мои дяди, все играли с большим азартом. В один прекрасный день в нашу квартиру на Ржевку неожиданно пришел директор. Дверь была открыта, он позвонил, никто не отреагировал, он вошел и услышал ожесточенные крики. Ефрем Николаевич и его братья, видимо, говорили хором. Он с некоторой опаской открыл дверь в гостиную и увидел странное зрелище: своего заместителя и всех Андреевых, швыряющих какую-то спичечную коробку и ползающих на коленях. Моя мать, которая в это время откуда-то вернулась, с большим юмором рассказывала, что когда она вошла в гостиную, то не поверила своим глазам: уже не только помощник директора, мой отец, и его младшие братья из Петрограда, но и сам директор во всю ползал, сняв пиджак, и тоже кипятился, споря, убит был солдат или только ранен. Конечно, среди наших игр были и традиционные русские, а именно, чудная игра в лапту со сложными правилами, напоминающая, может быть, английский крикет. Но крикет игра страшно медленная, а лапта была азартная и динамичная.

Мои дяди, когда приезжали, приводили всех мальчиков в восторг тем, что играли, как и мой отец, с интересом и желанием победить. Мы играли в знаменитые деревянные русские городки: делались маленькие чурки одинакового размера, из них складывали различным образом фигуры в пределах поля, у "города", а затем бросали большие деревянные палки с определенного расстояния, чтобы эти городки сбить или выбить из "города". Кто лучше и скорее это делал, тот побеждал. Это была интересная, развивавшая меткость игра, и были свои чемпионы. Мы с отцом ее очень любили. Можно было строить сложнейшие пирамиды городков, и самое замечательное было, когда игру "разжигали", то есть вдруг в огромное сооружение из 24 маленьких городков попадала палка, все разлеталось, и

палка вылетала за пределы “города”. Это увлекало и старых и малых. Городки ведь очень старая игра, вероятно, с языческих времен. Лапта появилась неизвестно когда, но там действовал арабский мячик, очень твердый, который даже собаки не могли прокусить. В этой игре в какой-то момент надо было перебегать из одного “города” в другой. Если в вас тогда попадал мяч, то вся команда уходила из “города” в “пригород” и поле меняло владельцев. Играли еще, но меньше, когда уже стали появляться девушки, в горелки. Бежать надо было на слова: “Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо, птицы летят, колокольчики звенят. Раз. Два. Три. Первая пара, беги”. А тот, кто водит, должен был схватить одного из членов пары, чтобы их разъединить и самому встать в ряд. Игра постепенно делалась сложнее и интереснее, и в гимназиях я часто в нее играл. Было много домашних игр, всяких карточных, начиная с “Трубочиста Пети”. Лейтмотивом ее было: “Вот идет Петруша, черный трубочист, Он лицом весь черен, но душою чист... “ - и разные другие игры, вроде “Тише едешь, дальше будешь...”. И знаменитая игра “Цирк”. У меня было много игр с литературными героями, это была мамина заслуга. Например, была игра по Гоголю: Плюшкин и Коробочка должны были попасть в одну пару, Манилов с женой в другую, Собакевич и его жена в третью и т. д. Это наталкивало прочесть поэму. Была игра с героями Тургенева, игра в “Войну и Мир”, она считалась очень сложной из-за большого числа участников. Собственно, в эту игру мне так и не удалось ни разу сыграть, потому что я тогда еще полностью “Войны и мира” не читал. Были игры нерусского происхождения, например, крокет, в котором была великой мастерицей и обычно побеждала мама. Но крокет, как я убедился, приехав много позднее в Англию, был у нас русифицирован, у него были свои правила, более острые, драматические, и важная роль в игре была у “разбойника”. Были военно-морские или просто военные игры, связанные с движением фигур по квадратам. Очевидно, это была дань войне.

Интересно, что мои родители придавали большое значение этим играм и часто, по крайней мере полчаса, играли с нами. Обычно либо перед, либо после ужина. Вероятно, они считали важным общение с детьми в игре, где все были как бы на одном уровне, и выигрывал тот, кто понимал правила, а не обязательно взрослый. Из обычных карточных игр у нас культивировалась только одна игра - я играл в нее потом с моими детьми - подкидной дурак. Это довольно смешная игра, в которой нельзя было определить, кто выиграет, а просто шло забавное движение карт и интересных ситуаций. В целом во всех играх действовал принцип скрытой дидактики, вроде идеи с трубочистом, что труд не портит, а украшает человека. Отец считал, что нужно развивать чувство спортивного приятия судьбы - кто-то должен в игре проиграть и нечего из-за этого выходить из себя. Наверное, поэтому у нас долго не прививались шахматы, ибо в шахматах люди очень серьезно переживают свои поражения. Отец мало занимался со мной

шахматами, но в шашки, где нужно было играть в поддавки, соревнования были. Теперь, когда я диктую эти воспоминания и вижу, какое остервенение царит в спортивном мире, как люди тяжело переживают поражения и впадают в неистовство из-за побед, я особенно вспоминаю, как нас старались в этом отношении обуздать и приучить к уравновешенному восприятию поражений. Любопытно, что до революции в России мало играли в футбол. На моей памяти во время первой мировой войны появились массовые движения "Русские сокола" и "Русские скауты". Атлетические "сокольские игры" производили большое впечатление, но еще не были достаточно развиты. А футбол привился только после революции, в 20-е годы, когда я уже попал в Эстонию.

ОТРЕЧЕНИЕ

В 1917 году исполнялось 10 лет службы моих родителей в школе Земледельческой колонии, и товарищи по службе, педагоги, служащие и начальство, решили этот юбилей отметить. Служба была трудная, требовала напряжения, постоянного педагогического воображения, стойкости, поэтому люди не часто оставались в этой школе надолго.

Но мои родители как раз 10 лет провели очень удачно и, по забавному стечению обстоятельств, я, их первенец, родился как раз 28 февраля 1908 года, спустя год как они сделались преподавателями. Получался как бы двойной юбилей: с одной стороны - десятилетие службы у родителей, а с другой - мое девятилетие, которое отмечалось тогда же. Меня в шутку называли почетным колонистом, так как я был один из немногих, кто здесь родился, да еще в такую знаменательную дату, в юбилей своих родителей. Во всяком случае, 28 февраля состоялся грандиозный прием в рекреационном зале, произносили речи в честь моих родителей, начиная с директора школы и представителя министерства, затем выступили общественные деятели, коллеги и бывшие учащиеся, многие из них проделали замечательную эволюцию: одни были офицерами в действующей армии, другие стали учителями, несколько человек пошли по агрономической линии. Все очень хорошо и даже горячо отзывались о деятельности моих родителей. Я помню этот юбилей довольно ясно. Меня поразили кадки с пальмами, привезенные из оранжереи, - они создавали парадный вид. Родителям поднесли подарки: отцу - замечательную десятиструнную гитару - это редкий вид гитары, у обычной 7 струн - да еще с серебряной пластинкой. Матери - граммофон с пластинками.

Потом был банкет, на котором присутствовало очень много людей, многие приехали из Петербурга, и лейтмотивом всех разговоров была газета, кажется, "Современное слово". За несколько дней до юбилея она (кадетская газета, более легкая по содержанию, чем их "Речь"; отец выписывал только воскресные номера "Речи", говоря, что просто не успевает прочитать это огромное многостраничное издание, и ежедневно

читал "Современное Слово", обычно на 4 или 6 страницах, оно давало полную информацию, зато мало статей) опубликовала предупреждение о беспорядках в столице, и генерал Хабалов, командующий Петроградским военным округом, даже написал грозный приказ, который кончался тем, что "он дает приказ войскам стрелять и патронов не жалеть". Я слышал, как отец с возмущением читал этот приказ матери и кому-то из коллег и очень резко комментировал эту хабаловскую браваду. Он говорил: "Нашли себе по плечу противника, на фронте не могут немцев побить, а здесь рабочим угрожают". Я удивился, ибо отец был всегда очень сдержан, а тут у него была явная вспышка антиправительственных настроений. Это предупреждение появилось 26 или 27 февраля, и когда к 28-му приехали друзья из Петербурга, они много рассказывали, что гвардейские роты, посланные рассеивать толпу, стали брататься с рабочими, что в столице вдруг возникли революционные настроения и все ходят с красными бантами и полиция ни в кого не стреляет. Впечатление такое, что не сегодня-завтра произойдут какие-то крупные события.

Все это живо комментировалось, но мое детское впечатление в этот момент было таким: никто не ожидал серьезных перемен, предполагалось, что конфликты между Хабаловым и демонстрирующими рабочими кончатся компромиссом, что Дума и министры вступят в игру и ничего особенного не случится, потому что, как все понимали, шла война. На банкете кто-то сказал, что "война не время менять лошадей". Никто не представлял, что мы находимся в самом конце Российской монархии, Российской империи. В том же настроении прошло 1 марта, и, я думаю, 2 марта вечером отцу позвонил из Петербурга директор, который уехал сразу после чествования, и сообщил, что там получено точное известие о том, что император отрекся. Это вызвало вспышку эмоций. Телефонная система у нас в школе была хорошо развита и соединяла все преподавательские квартиры. Отец сразу позвонил по разным направлениям, и в его кабинет стала собираться публика: его коллеги, польский врач из военного госпиталя. Собралось человек 20: Константин Григорьевич Вережников, наш большой друг Иван Николаевич Тараканов, Сергей Васильевич Пирожников, наш родственник, и другие педагоги, их жены, управляющий имениями, кто-то из агрономов, сплошь интеллигенция. Многие учителя были отличные музыканты, и по предложению отца все, кто мог, взяли инструменты и сыграли "Марсельезу". Она была хорошо известна в стране со времен французской революции, но особенно после франко-русского союза. Гимн дружественной могущественной западной демократии прозвучал как естественный революционный гимн, сменяющий монархические формы жизни России. Все были возбуждены и удивлены быстротой событий. Никто не ожидал отречения императора, думали, что он пойдет на большие уступки и превратится де факто в нечто аналогичное английскому или шведскому королю. Если по малолетству я тогда не совсем понимал, в чем

дело, позднее эта формула мне припомнилась, и когда я наполнил ее юридическим содержанием, то стало понятно, что император будет только царствовать, но не управлять. Этого от него и ожидали. И вдруг полное отречение, даже не вполне понятно, будет ли монархия. Будет ли царствовать Великий Князь Михаил? Или что будет? Во всяком случае, настроение было сумбурное и радостное, и "Марсельезу" исполнили горячо. Конечно, мальчикам в школе ничего не сообщали. Отец сказал, что незачем политизировать школу. Потом учителя на уроках объяснят им, что есть разные формы правления и что теперь, вероятно, у нас будет конституционная монархия. А может быть, республика. Я в свои 9 лет был потрясен: что бы мы ни говорили, но особа Его Императорского Величества была овеяна известным романтизмом. Несмотря на критику, которую я слышал, это был "ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР". Еще совсем недавно в этом самом доме пелся народный гимн "Боже, царя храни", и слова "Царствуй на славу нам, на страх врагам" - вызывали воодушевление у слушателей. А теперь я сам был охвачен волнением и даже несколько раз повторил, не знаю, кому: "Вот как в России все быстро!" Меня поразило, что мы входим в какую-то новую эпоху и вчерашний Государь Император, который командует войсками, которому все присягают, в честь которого играют гимн, вдруг уходит от дел.

Единственный, кто не разделял воодушевления, была моя нянечка Ольга Михайловна. Она сидела на табуреточке и горько плакала. Когда, наконец, обратились к ней и стали спрашивать: "Ольга Михайловна, в чем дело? Вы почему плачете?", то она сквозь слезы, которые лились буквально ручьями по ее немолодому лицу (ей было 68 лет), отвечала одной и той же фразой: "Горе вам всем будет, горе! На Царя, помазанника Божия, руку подняли! Горе вам всем будет!" Надо сказать, что предостережение это казалось, хотя и искренним, но как будто малооправданным. Во всяком случае, люди не собирались пересматривать свои точки зрения на отречение императора. И в конце концов, так как унять ее было невозможно, мама сказала очень строго: "Няня, ты портишь всем настроение. Уходи в свою комнату!" И няня, закрыв лицо платком, ушла. На меня это произвело сильное впечатление. Я няню обожал. Слова ее, в духе Кассандры, о которой я что-то уже читал, мне тоже казались не очень убедительными, потому что все радовались, и мама, и папа, и все уважаемые друзья-педагоги. Все как будто рады, почему няня вдруг плачет?

Много позднее, в 1918 г., когда большевики развязали террор и моего отца в какой-то вечер предупредили, что он не должен спать дома, что его могут арестовать, он вдруг посмотрел на маму и в моем присутствии сказал: "А ведь в день отречения императора единственный умный человек в комнате была няня". Конечно, ни он, ни его друзья не предполагали, во что выльется русская революция. Позднее и Константин Григорьевич Верезников и Иван Николаевич Тараканов ушли добровольцами в Северо-

Западную армию генерала Юденича. Пример того, как переменились настроения с вечера 2 марта, когда отречение императора обещало начало новой эпохи, справедливую жизнь, а главное иное ведение войны, которая, казалось быстро завершится русской победой. Уже в 20-е гг., после гражданской войны, когда мы оказались в Эстонии, отец оценивал 1917 г. до Октябрьского переворота как состояние крайнего и незрелого возбуждения. Несколько раз даже резко высмеивал себя и своих коллег, называя всех "политическими недорослями", повторявшими зады обобщений о французской революции. Хотя этот тезис о французской революции не попал в серьезную историческую литературу о русской революции, он кажется мне правильным, потому что духовно все подражали образу французской революции. Это относилось к Керенскому и позднее к самому Ленину в установлении, в частности, террора как системы. Отец считал, что одну из самых постыдных, глупейших речей, которую ему пришлось произнести, была речь вскоре после отречения императора на большом собрании преподавательского состава и служащих школы. Он нес, как он потом выражался, политическую ахинею о трехсотлетнем насилии династии Романовых, о том, что они пили 300 лет народную кровь. Потом, когда он вспоминал это, ему было страшно совестно. Но такое тогда было восприятие событий... Одним из самых бессмысленных актов Февральской революции было объявление, что упразднены все органы полиции и избирается народная милиция. В народную милицию от Изварского имения были избраны отец и управляющий имением, доктор Гердт. У них были повязки, сшитые моей матерью, красивые, с белыми и синими буквами НМ /Народная милиция/ на красном фоне. Этим вся их деятельность ограничивалась, и никогда ни одной полицейской функции ни отец, ни Гердт не получили. Очень скоро, уже незадолго до Октября, когда началось массовое дезертирство из армии, уход с фронта целыми частями в жутком психическом состоянии, функции такой милиции стали совершенно призрачными, и почему была упразднена полиция, почему не даны были другие инструкции, неизвестно, но это обстоятельство толкало население в объятия анархии. Можно было только удивляться, что эта анархия, во всяком случае в Петербургском районе, выражалась в мирных формах. Дезертиры-солдаты, которые были вооружены и имели массу бомб, задавали тон хулиганству во всем районе. Они всюду разбивали винные склады. Водка была под официальным запретом с начала войны, но, конечно, была всюду. Опьяневшие дезертиры представляли социальную опасность - они грабили, насиловали и разбивали.

Мое отношение к революции оказалось резко отрицательным, потому что в имение пришла банда наступающих дезертиров, в перепившемся состоянии прошла по службам имения и несколькими ударами бомб в пруды и маленькие канавы, прикрытые сетками, где разводили головастиков форели, навсегда положила конец рыбному хозяйству. Только тысячи

убитых форелей, которые плавали на поверхности прудов и озер, напоминали о том, как хрупко все то, что создает упорным, систематическим трудом человек, и как легко все это разрушить, по глупости или просто не осознавая, что делается. Отталкивающее впечатление от революции возникло у меня, во-первых, от этого варварства, и во-вторых, от того, что наш уважаемый директор, Михаил Павлович Беклешов, скоро был объявлен нежелательным элементом для каких-то комитетов бедноты. Меня поразило, что такой хороший человек, как Михаил Павлович, известный своей добротой и политическим либерализмом, признан социально нежелательным элементом и чуть ли не приговорен к смертной казни какими-то совершенно неизвестными людьми из соседней волости, которая не имела к нам никакого отношения. Еще больше я поразился, когда пошли рассказы об актах насилия над офицерами, и вчерашние герои оказались втоптанными в грязь неизвестными массами.

Мой отец сочувствовал кадетской партии, с большим уважением относился к ее лидерам и ведущему составу и считал, что она включает в себя до известной степени мозг страны. Он сохранил эту верность на всю жизнь. Когда в ходе революции произошли демонстрации против так называемых министров-капиталистов, в том числе Милюкова, Коновалова - представителей как раз кадетской партии - и им пришлось уйти в отставку, это произвело отрицательное впечатление на моего отца и передалось мне. Отец усмотрел в этом отказ от здравого смысла. Политические взгляды Милюкова и Коновалова были весьма умеренными, но у них была логика преемственности власти, что тогда казалось необходимым, и оставалась логика ведения войны, желание довести ее до победного конца в союзе с западными державами. И вдруг от всего этого отказывались по желанию каких-то неизвестных масс, которые демонстрировали, кричали, безобразничали, разводили демагогию. Другим интересным явлением было то, что наша среда уже была настроена против Керенского, потому что бесконечные его речи стали утомлять: никаких действий нет, все речи и речи. Попытки наступления на фронте провалились, а то, что он объявил себя военным министром, казалось комичным. Все-таки каждый умный человек понимал, что ведать огромными армиями - это не простое дело, оно требует профессионализма. Когда выступил Корнилов, то сочувствие ему было велико - население начинало понимать, что анархия, в которую вступала страна, ведет в пропасть...

НОВЫЕ ПОРЯДКИ

Мой мир уже с начала русской революции и до самого конца этого периода, до выборов в Учредительное Собрание, которые я хорошо помню, представлял собой смесь ярких детских впечатлений и постоянного вторжения в нашу жизнь политических событий. Во всяком случае было совершенно ясно, что прежние формы жизни претерпевали изменения.

Изменения, неожиданные для всех. Во-первых, проводилось большое количество собраний, открытых заседаний, в которых родители постоянно принимали участие, так как они часто проходили рядом с нашей квартирой, в рекреационном зале отделения "А". Их избирали в президиум собрания, моя мать часто бывала секретарем таких заседаний, потому что хорошо и быстро могла излагать идеи собрания в протоколах. Отец начал заниматься кооперацией и вошел в Центральное правление Волосовско-Кикеринского Союза. Кроме того, он оформил открытие местного Русского потребительского общества, кооператива, председателем которого и был избран. Постоянно поступали политические известия, которые непосредственно как будто Извар не касались, но, как потом оказывалось, имели большое значение.

Первое - появился Ленин и возросло влияние большевиков, о которых раньше мало кто слыхал. О них заговорили лишь после апреля 1917 г., после возвращения Ленина в Россию. Одновременно со всех сторон стали поступать известия о начавшемся разложении фронта. Увеличивалось количество дезертиров. Был опубликован приказ номер 1, который отменял традиционную дисциплину в армии и стал зловещим признаком разложения, потому что всюду появлялись дезертиры, к которым местное население сначала относилось отрицательно, поскольку одним из мотивов февральской революции было желание как можно скорее закончить войну блестящей русской победой. Затем последовал кризис Временного правительства. Рядом с ним возникли какие-то Советы, которые сначала никому ясны не были, но постепенно стал вырисовываться их облик как параллельного органа власти. В Изварах не было Советов, рабочих там было мало, школа оставалась нетронутой, но в соседних деревнях началось движение за Советы против Временного правительства. Известия об этом приносил мой отец, как кооператор общавшийся с крестьянами, которые приезжали в Волосово и интересовались проблемами кооперативного движения, ибо это была организованная сила, которая нравилась большинству населения, потому что ставила конкретные, понятные местному населению задачи: улучшение земледелия, улучшение экономики и более выгодная продажа продуктов питания. Отец уезжал обычно на два дня в Волосовско-Кикеринский Союз и часто приходил оттуда пешком, пройдя 10 верст. Он называл это прекрасным моционом. Очень бодрый, всегда живой и веселый, он уезжал в четверг и появлялся в субботу. Понедельник, вторник, среду он проводил в колонии, а в четверг опять исчезал.

Следующим событием была вынужденная отставка так называемых министров-капиталистов, Милюкова и Коновалова. Отец недоумевал: с его точки зрения они представляли думающую Россию, имели большой стаж законодательной работы в Думе (теперь уже правительственной). Тем не менее, их выбросили из правительства, и это было недобрым признаком. Отец не одобрял и рост популярности Керенского. На этой почве шли постоянные

дискуссии, потому что у Керенского были почитатели в лице некоторых педагогов и Сергея Васильевича Пирожникова. Он горячо спорил с отцом и ожидал всяких чудес от Керенского. Когда его июльское наступление не удалось, сторонники эсеров и Керенского были потрясены. Общественное мнение, по крайней мере, в Изварах, скорее было за Корнилова. Какая-то группа с электротехнической станции приходила по делам к отцу, в этот момент пришли известия о выступлении Корнилова. Отец спросил мастеров во главе с Рейнольдом, ингерманландцем по происхождению, очень умным, знающим электротехником, правой рукой отца в разных технических работах: "Что Вы думаете о Керенском?" Тот убежденно сказал: "О Керенском я говорить не буду, но Корнилов русский человек. Мы все помним его героическое бегство из плена, помним, что он старался сделать армию боеспособной, и мы ему от всего сердца желаем удачи". Это было общее мнение, поэтому когда дело Корнилова замерло, произошло разделение симпатий, его цели Корнилова казались более ясными, чем цели Керенского, о котором отец все время говорил, что он красноречив, но конкретного ничего не обещает. Любопытно, что попытка июльского большевистского восстания получила очень маленький резонанс в стране. Господствовала формулировка, что сорви-головы хотели что-то сделать и их привели в чувство стрельбой, а политических последствий не ожидалось, хотя они и последовали в октябре. На местах всюду стал появляться пробольшевистские элементы.

В Изварах отец был замешан в такую историю. Нужно было открыть кооператив, который помещался в новом домике между имением и станцией Извары, но оказалось, что нет подходящего приказчика. Пришлось членам правления кооператива по очереди дежурить и продавать, что они и делали некоторое время, но это было невыгодно. Члены правления часто не были осведомлены о том, что они продают, и получалась любительщина. Поэтому отец искал подходящего человека и нашел Александра Карловича Зильбермана. Он был неопределенной профессии, человек больной и поэтому освобожденный от военной службы. Моя нянюшка охарактеризовала его очень плохо, как "обормота и пьяницу". Но отец считал, что Зильберман деловой человек и понимает задачи свои и кооператива. Действительно, он ввел отчетность и был хорошим продавцом. Он понимал, что нужно людям, и всегда делал деловые предложения правлению по выписке товаров. По мнению отца, в кооперативе надо было продавать книги, которые могли интересовать крестьян. Основная проблема, стоявшая перед населением России, были выборы в Учредительное Собрание. Возникло много партий, о которых никто ничего не знал, и отец полагал, что нужно продавать в кооперативе программы партий и брошюры для массового распространения. Я сам был вовлечен в это дело, потому что мы вместе с ним поехали в кооператив,- он получил специальный шкафчик со стеклянной дверью, где выставлялись брошюры. Это не была пропаганда партий, это была

информация о партиях. Отец и целый ряд педагогов с интересом эти брошюры покупали и обсуждали: какая партия что предлагает, какие цели у какой партии и за что или за кого следует голосовать на выборах. Интересно, что Зильберман отнесся к этому агитационному ящику с большим сомнением. Он сказал, что крестьяне это покупать не будут. И был прав. Брошюр разошлось очень мало. В конце концов, отец сам купил несколько брошюр и повез крестьянам, с тем чтобы просветить их насчет будущих выборов. По-видимому, в данном случае, Зильберман был гораздо более реалистичен: "Крестьянам это все равно. Это для городских. А крестьяне хотят одного - земли. И эту землю им обещают эсеры и большевики. За одну из этих партий крестьяне и будут голосовать. Программы здесь не нужны".

Отец ответил, что даже если это и верно, тем не менее, их нужно проинформировать и о других политических течениях. Этот маленький эпизод я рассказываю специально, потому меня поразило, что Зильберман, вопреки мнению моего отца, считал, что крестьянство никакой информации не хочет и имеет свои, уже сформировавшиеся интересы, сводящиеся к тому, что "земля должна быть нашей".

После подавления путча Корнилова культ Керенского как будто вырос. С другой стороны, неожиданно усилились большевистские элементы. В Изварах это выразилось в том, что все больше и больше появлялось дезертиров. Началось пьянство. Дезертиры привозили водку. Якобы разбивали военные склады и оттуда бочками вывозили спирт. Агроном Гердт, который управлял Изварами, был очень обеспокоен и совещался с отцом, потому что какой-то процент мызных рабочих (имение часто называлось "мыза") начинает слишком много пить. Не выходят на работу, и с этим трудно справляться. Летом 1917 г. прибыли новые жатки и косилки, они давно уже были заказаны, но из-за войны перевозились медленно. Начали на них работать, но через несколько часов машины остановились. Отца как бывшего техника попросили помочь. Потом он хохотал, говоря, что это типичное проявление русского любознательства. Машина работает - позвольте-ка я ее разберу, посмотрю, каким образом и почему она работает. Разобрать разберут, а собрать уже не могут, потому что здесь нужны специальные технические знания. С весны установилась хорошая погода. Огромные снега, которые способствовали падению императорского режима, ибо из-за них снабжение Петрограда задерживалось, что стало первопричиной выхода на улицу сначала женщин, а потом уже рабочих, сменились прекрасной весной, но с половодьем. Я как раз только что прочел "Кавказский Пленник" Толстого и в восторге старался, как пленный в ауле, строить разные мельницы, чтобы их вращала вода из бегущих ручьев. Кое-что мне удавалось. Мы весело играли, хотя каждый раз приводили в ужас няню, потому что были насквозь промочены ноги и вообще вся одежда, так как слишком много

было луж. За весной настало очень теплое лето, которое казалось праздничным, потому что приезжало много народу. Было много съездов, у нас постоянно гостили папины кооператоры, педагоги и наши родственники. Создалось впечатление, что весь семнадцатый год был праздник, который, однако, кончился Октябрьским переворотом. О перевороте мы узнали быстро. Уже на следующий день приехал кто-то из Петербурга, и, когда спрашивали, какие новости, говорил: "Знаете, там Троцкий бузит, произвел какой-то переворот. Каких-то министров арестовали и объявили, что теперь у них будет диктатура пролетариата. Но это все, конечно, ерунда. Через две недели об этом забудут". Действительно, в течение 1917 г., с момента отречения императора, произошло много событий, которые через 2-3 недели оказывались неактуальными. Хотя эта реакция была естественной, на этот раз она оказалась ошибочной.

То, что произошло 25 октября 1917 года, невозможно считать случайностью. В связи с тем, что якобы появилась пролетариатская диктатура, усилился интерес к выборам в Учредительное собрание. Отец объяснял, что даже Ленин не пытается затронуть авторитет Учредительного собрания и не отменил выборы. Они пройдут, и тогда истинный хозяин русской земли будет не царское, временное или теперь большевистское правительство, но само Учредительное собрание. Отец привез из Волосова плакаты: "Голосуйте за партию народной свободы" - и сам развешивал их в публичных местах, где должны были происходить выборы. Один из участков был устроен в рекреационном зале, и перед входом развешивались афиши различных партий, призывающих голосовать за них. Я ходил и их рассматривал. Публика тоже рассматривала с интересом, потому что это было в диковинку и никому еще не надоело. У нас в Изварах и в соседних деревнях все прошло благополучно, и всюду в общем побеждали эсеры. Это вызвало оживленный обмен мнениями как раз в Волосовско-Кикеринском Союзе, куда я раза два ездил с отцом. Интересно, что кооператоры политически были разделены, но большинство из них были эсеры. Они любили поддразнить отца и говорили, что он, в сущности говоря, министр-капиталист, кадет, которых выбросили из Временного правительства в первые же месяцы Русской революции. Отец, в свою очередь, называл их последователями селянского министра, как величали Чернова, лидера эсеров. И добавлял, что у эсеров так много теорий, что не остается времени заниматься сельским хозяйством.

В начале 1918 г., когда Учредительное собрание было разогнано после первого же дня заседания, 5/18 января, все пошло серьезнее, потому что на сцене Российской революции появилась сила, которая хотела уничтожить своих противников физически. Прокатились выстрелы в Ленина, и была учреждена Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Пошли различные слухи. Мой отец в 1918 г. растерял свой политический оптимизм, потому что реальная картина становилась мрачной. В местном масштабе усилилась роль комитетов бедноты. В Изварах председателем

этого комитета оказался упомянутый, нанятый отцом приказчик Зильберман. В комитете собрались люди, совершенно не причастные к сельскому хозяйству, как и сам Зильберман. По-видимому, входили туда и "убогие крестьяне", как их называла моя нянечка, то есть безлошадные, бобыли, не обрабатывавшие землю. Петроградский район был объявлен Северной коммуной, всюду появились уполномоченные местных комитетов или других организаций. Уполномоченный нашего районного совета оказался сыном местного лесника Николаса. Они были, по-видимому, местные ингерманландцы. Я знал семейство Николас и был неравнодушен к младшей сестре этого новоявленного комиссара, с которой когда-то игрывал в пантомимах (она была Красной шапочкой, а я - Иваном-царевичем. Она была милой девочкой, к которой тянулось мое семи-, восьми-, в тот момент девяти-, а позже еще и десятилетнее сердце. Комиссар Николас вдруг начал ходить в военной форме полуофицерского типа, хотя и без погон, но с саблей. Отец его с удивлением спросил: "Почему Вы, товарищ Николас, носите саблю? Вы же на лошади верхом не ездите?" Николас говорит: "Потому что это символ пролетарского вооружения. Пролетарский меч". Это был не особенно начитанный, разбитной малый. Он не вмешивался в дела имения, но само его наличие представляло собой угрозу, потому что он никаким образом, ни административно, ни структурно, не входил в дела школы, но, тем не менее, представлял какую-то величину, с которой приходилось считаться. Его философией была популярная брошюра под названием "Пауки и мухи", в которой капиталисты сравнивались с пауками, а все остальные, в частности пролетариат, с мухами. Мой отец со свойственным ему оптимизмом утверждал, что Николас не худший представитель новых тенденций новой власти, хотя бы потому, что он понимает такие вещи, как символ диктатуры, а не просто проводит диктатуру в жизнь. Его родители принадлежали к зажиточным слоям Извар, отец был высококвалифицированным лесником, хорошо знал лесные породы и животный мир района. По мнению моего отца, это было еще полбеды. Беда надвигалась с двух сторон: все больше и больше появлялось безответственных элементов. Даже Зильберман казался отцу мыслящим субъектом, и лично с ним у отца не было столкновений. Они расходились идеологически, но не фактически. Другие необразованные персоны вносили странную дикость.

В один прекрасный день появился представитель комиссариата социального обеспечения Северной коммуны. О его приезде сообщили по телефону, за ним послали лошадей, встретили как полагается. Он, поговорив с отцом, вдруг стал милостиво с ним обращаться, потому что оказалось, что в прошлом он и отец принадлежали к одному техническому миру. Отец - на более высоких должностях техника, а тот - был мастер низкого профиля. Он чрезвычайно интересовался мальчиками, которые были в прошлом воришками, и, схватив какого-то мальчугана за плечи, спросил: "В какое время Вы можете его исправить и сделать полноправным гражданином

нашей республики?” На что отец ему сказал: “Вы меня спрашиваете как механик, и я вам отвечаю как механик. Это же не замок и не кастрюля, которую запаяли, и все. Это молодой человек. То, что вы называете его исправлением - чтобы он забыл прошлые грехи и приучился к другим формам жизни - вопрос длительного времени, влияния школы, товарищей и учителей. И перевести это в цифры - 3 месяца или 2 года - было бы с моей стороны неправильно”. Ответ понравился комиссару. Он сказал: “Видно, что вы знаете, что делаете, мы понимаем друг друга с полуслова. Он и правда понял одну из проблем школы - недостаток питания, который уже начал сказываться. Это был 1918 год, и было уже довольно трудно иметь изобилие, какое было еще год назад, когда не было проблем ни с мясом, ни с хлебом, ни с овощами. Он обещал помочь и действительно присылал из министерства продукты сверх положенных норм, но это была, как сказал отец, капля в море, голод ощущался все больше и больше.

Потом появился комиссар народного просвещения, Луначарский. По-видимому, он объезжал школы, знакомясь с подведомственным ему миром. Приехал он потому, что много слышал о своеобразии школы, встречался с моим старшим дядей, Николаем Николаевичем, и знал директора школы, Михаила Павловича Беклешова, которого, кажется, очень уважал. Мой отец слушал его в Петербурге в 1917 году, когда ездил “на проверку” разных революционных вождей, и очень ценил Луначарского как оратора и человека не крайних точек зрения. Луначарский лучше понимал сложность обстановки, особенно в области просвещения, воспитания детей, чем другие политики, появившиеся на сцене. С ним разыгралась забавная история. Стояла довольно холодная погода, и он был в большой, богатой шубе. Сначала он говорил с педагогами. Очень вежливо, мило, любезно. Ни на чем не настаивал, никакой новейшей доктрины не проповедывал, и все прошло благополучно. Но школу собрали в рекреационном зале, и он произнес речь перед ребятами, а затем в виде шутки сказал рядом стоявшему мальчику: “Ну что, нравится тебе моя шуба?” - и прикрыл его полой шубы. Мальчик не более полутора секунд был захвачен полой шубы. Потом все разошлись обедать, комиссар поговорил с отцом и с педагогами и сказал, что ему, пожалуй, пора на поезд, полез за часами, но их не оказалось. Он страшно удивился, а отец сразу понял, в чем дело: “Ничего, Вы не волнуйтесь, товарищ Луначарский, сейчас найдем Ваши часы”. Он вызвал того мальчика и сказал: “Товарищ народный комиссар в восторге от твоей ловкости. Как ты ловко снял его часы! Ну, давай их сюда”. Мальчишка осклабился в восторге и сказал: “Я только пошутил. Хотел показать, какой я ловкий”. Отец говорит: “Ну, конечно, мы все так и поняли”. Луначарский был потрясен и отцовским подходом к мальчику, и тем, что отец, восхитившись его ловкостью, сохранил легальность, шутливость всего эпизода.

Опасность для школы была в тот момент не столько с верхушки нового

коммунистического контроля, сколько с низовых пунктов. К нам появился представитель комитетов бедноты и объяснил, что он уполномоченный нескольких комитетов и должен всерьез поговорить с ребятами из школы. Отец и другие педагоги объяснили ему, что говорить без учителей нельзя, они тоже должны присутствовать. Это школа, и здесь не может быть разделения на то, что могут знать ученики и не могут знать учителя. После некоторого обмена мнениями он согласился говорить при учителях. Речь его была довольно резкой и грубой. Это было осенью 1918 г., когда положение с продовольствием было скверным. И он сказал ребятам, что так как произошла революция, а у них в школе все еще старые, дореволюционные учителя и республике некогда послать в школу новых учителей, то ребята должны проявлять инициативу, и первое, чего потребовать от учителей - чтобы им на руки выдавался продовольственный паек, не весь паек, а приварок. Остальное пусть идет по-прежнему в кухню, а вот скажем, хлеб и сахар надо выдавать на дом, чтобы не происходило усушки хлеба и разбазаривания сахара. Он так и сказал “разбазаривание сахара”! Ребята были поражены и стали возражать, что им неудобно возиться с хлебом и сахаром. Сахара давали очень мало, три кусочка. Мальчик тогда моментально съест его утром и потом будет весь день без сахара, а хлеб будет всюду крошиться. Лучше, когда это разложено во время утреннего чая, в обед, на дневном чае или ужине. Представитель комитета бедноты был несколько озадачен таким сопротивлением мальчиков, но, тем не менее, настаивал, чтобы они попробовали. “Вынесли” постановление: пожелание попробовать. Попробовали и отменили через 4-5 дней, потому что получилось, как говорили мальчики, и даже еще хуже. Оказалось, что у младших старшие отнимали сахар или съедали кусок хлеба. Потому что хлеба выдавалось немного.

Этот эпизод очень взволновал моих родителей, и они потом резко объяснились с этим членом комитета бедноты. Но он, маляр, опять-таки не имевший никакого отношения к местному крестьянству, разразился тирадами такого бульварно-революционного характера - здесь, мол, скопились всякие контрреволюционные элементы, начиная с директора Беклешова, и они, комитет бедноты, начинают чистку и предлагают расстрелять Беклешова, в прошлом известного кадета из семьи царских узурпаторов, это он о дворянско-офицерских предках Беклешова сказал, забыв, что один из них был декабристом. Мой отец страшно возмутился и сказал, что это совершенно не касается комитета бедноты, он удивлен, что они лезут в область школы, в которой ничего не понимают. Маляр страшно засверкал глазами, насупил брови - он был человек больной и глупый - и сказал, что, по-видимому, беклешовщина здесь распространена, и уехал, не попрощавшись ни с кем из педагогов. Этот эпизод имел и последствия. Через некоторое время в нашу квартиру явилась целая группа рабочих с мызы во главе с уже упоминавшимся мною заведующим электростанции, ингерманландцем,

любимцем моего отца. Они очень вежливо разговаривали с моей матерью. Отец был в отъезде. Они сказали: "Товарищ Андреева, у Вас трое детей, Вас двое, еще Ваша няня, еще у Вас работает ее сестра (в то время в нашей семье жила и работала нянина сестра Василиса), а Вы занимаете огромную площадь, у Вас 7 комнат, большая кухня и передняя. А рабочие на мызе часто помещаются в одной-двух комнатах. У нас было собрание, и рабочие хотят уплотнения педагогических квартир. Мать была очень умной и быстро соображала и очень спокойно (они сидели вокруг стола в нашей столовой) сказала: "Хорошо, скажите мне (она стала одного за другим спрашивать рабочих),- когда вы поступали на мызу работать, что вы хотели получить от ваших работодателей"?

Выяснилось, что они хотели получить какое-то количество денег, квартиру, не обговаривая размеров, затем огорода в их полный контроль, возможность пользоваться удобрениями, затем их должны были непременно снабжать молоком, а если у них была корова, она должна была пастись в общем стаде, они хотели получать дрова и много всякого другого. Выяснив это и записав по пунктам, что они хотели, когда поступали на работу, мать сказала: "Вот видите, это ваши условия. Получаете вы все это?" - "Получаем". - "Повысили вам жалованье в связи с военной дороговизной?" - "Повысили". - "Ну вот, а когда я сюда ехала, то не просила ни участка для огорода, ни коровы, ничего. Я просила большую квартиру. Как видите, она находится посреди дома. У нас 4 выхода, два ведут к мальчикам, а два - для нашей частной жизни, парадная и черная дверь. Я хотела, чтобы были удобные помещения, большие комнаты, чтобы муж и я могли спокойно работать, в свободное время читать книги, чтобы у детей была своя комната и чтобы мы могли принимать друзей или вот вас, раз вы пришли, видите, здесь достаточно места, чтобы мы все сели вокруг стола. Это были наши условия. Кроме того я, как и вы, получаю жалованье. Мой муж, помощник директора, получает значительно больше меня. Так же, как и вам, нам повысили жалованье в связи с военной дороговизной. Почему же вы хотите, чтобы условия моей работы в школе были нарушены только потому, что вы в свое время, поступая на мызу, ничего не говорили о своих квартирах? Мне будет неудобно, вам будет неудобно, мальчикам будет очень неудобно, потому что здесь будут жить чужие люди, не педагоги, знающие условия школы. Мы же работаем, как вы знаете, все время. Если нужно, в любой момент дня и ночи нас могут позвать к мальчикам. Зачем же нарушать этот порядок? Это совсем неправильный подход. Это вам кто-то наговорил, не думая о том, что мы тоже работаем, как и вы, только работа другая. Так что я совсем не согласна вдруг уступить свою квартиру кому бы то ни было. Речь эта была произнесена спокойно и ясно и произвела потрясающее впечатление. Рабочие вдруг смутились. Рейнольд даже встал и извинился за всех. Стал называть мою мать по имени-отчеству, а не товарищ Андреева. "Ради Бога, простите, Екатерина Александровна. Мы, как говорится, сдуру пришли. Я так и думал,

что это не годится, но хотел все-таки пойти, посмотреть, чтобы не вышло грубостей. Выходит, мы дураки по полные уши. Вы уж, пожалуйста, простите, мы свои требования, конечно, снимаем и объясним всем, что это ваш трудовой договор со школой и нам вмешиваться нечего". Мать отстояла нашу квартиру, но все это чрезвычайно напугало родителей. Мой отец, когда узнал об этом, благословил судьбу, что присутствовала его жена, а не он сам, потому что он, вероятно, наговорил бы рабочим дерзостей. Все это показывало, насколько непрочной становится почва Северной коммуны, в которой нам приходилось теперь жить.

Но главной проблемой было питание. Здесь надвигалась настоящая катастрофа. Она стала обозначаться в 1918 г. и выразилась в том, что Петроград стал лишаться подвоза. Хлеб не доставляли, а если доставляли, то не распределяли как следует, муки и других продуктов не хватало. Кроме того, весь аппарат снабжения исчез. Не было больше частников, торговцев, которые заботились о том, чтобы были большие запасы продовольствия. Остались только несколько кооперативов, которые всеми силами старались получить продовольствие, но правительство, в частности Красная Армия, все время старалось перехватить их запас. Поэтому пришлось страшно сократить хлебные пайки, выдачи на руки становились все меньше и меньше. Сахар почти исчез из оборота. Мясо было уже редкостью, и люди держались на картошке, на овощах. Затем стали примешивать к еде то, что прежде давали только скоту. Например, раньше жмых, который отжимали из подсолнечного масла, замачивали кипятком и давали скоту. Теперь им стали подпитывать людей. Дошло до того, что пытались варить кашу из семян невсхожего клевера, запасы которого оказались на складах. Голод стал ощущаться очень серьезно. Деревни еще имели продукты, но крестьяне не принимали деньги-керенки, которые теперь ничего не стоили, и тем более советские рубли, которые никого не интересовали. Они продавали на николаевки, как они говорили, то есть на деньги, выпущенные еще при Николае II. Но их было очень немного. Начинался обмен на товары. Его можно было производить в маленьких количествах, для нашей семьи. Няня, моя мать, ее сестра или наши друзья ездили в деревню и покупали необходимое: кусок мяса, мешок муки или гречневую крупу. За это крестьяне требовали товары, но этот обмен нельзя было делать для всей школы. Положение было угрожающим, хотя наша семья переносила кризис менее остро из-за нянюшки, которая была замечательная хозяюшка.

Няня была тверская крестьянка и, несмотря на городское существование, сохраняла много крестьянских инстинктов. В том числе любовь к своей птице, как она выражалась. Это были или сухопутные утки (поскольку рядом не было ни пруда, ни озера), или курицы. Куриное и утиное царство у нее было довольно большое. Она упорно за него держалась, вопреки любым препятствиям, которые, в частности, выставлял мой отец, но потом он махнул рукой. У нее были построены курятники, вокруг них была

сделана ограда, и там ее птицы гуляли, плескались в корытах. Однажды туда залезла лиса и успела задушить 2-3 кур, прежде чем крики няни ее отогнали. Это куриное хозяйство сыграло важную роль во время голода 1918-19 гг. Кормила она их главным образом отрубями, запас которых у нее был. Благодаря этому мы долгое время почти каждое воскресенье ели жареную утку, или курицу, или куриный суп и вареную курицу. Это было большое подспорье. Вообще няня проявила огромную предусмотрительность. Быстро поняв ситуацию, она уже с 1917 г. стала незаметно запасаться не только пряностями, которые потом трудно было достать, но и перцем, и солью, у нее были большие запасы сахара. На кухне стояли деревянные лари, сделанные по ее заказу для муки, и все они были полными, что при ее умении экономно вести хозяйство позволяло ей маневрировать. И когда в 1918 г. в апреле родился мой младший брат Аркадик, няня постоянно давала матери, покуда она кормила грудью, дополнительное питание. Несомненно, без моей нянюшки мы бы очень тяжко переживали этот период, как и все другие семейства.

В Изварах помогло еще и быстрое разведение кроликов. Мальчиков в школе подпитывали кроличьим мясом - кролики быстро плодились, и их было огромное количество на ферме и в имении. Благодаря настоянию моего отца, стадо сократили и часть коров пустили на мясо для школы. Как долго это могло продолжаться, мы не знали, но это помогало существовать, мальчики тоже не испытывали тот размах голода, какой был в это время в самом Петрограде или в больших центрах, где была парализована всякая торговля, и не было никакого снабжения, кроме самого элементарного. После исчезновения частника благотворную роль играла кооперация, которая умела еще что-то получать по старым контактам. В один прекрасный день в Волосовско-Кикеринский союз потребительских обществ поступил вагон, наполненный бочками с шотландской сельдью. Отец действовал по двум волостям: в одной он считался комиссаром продовольствия, а в другой, более правой, был уполномоченным по продовольственным вопросам. Он всегда говорил, что в левом кармане, чтобы не спутать, держит левую волость, а в правом - удостоверение из правой. Кроме того, он оставался помощником директора школы. Эти шотландские сельди страшно трудно было разделить. Когда он подсчитал, оказалось, что одна селедка приходится на трех едоков. Чтобы не огорчить едоков, решили делить следующим образом: резали пополам, потому каждую половину еще на три части, а потом перемешивали, чтобы люди не обижались, что их обсчитывают золотниками продовольствия. Позднее был другой случай - пришел сахар. Когда его распределили, вышло около фунта сахара на человека и осталось сверх того 15 фунтов. Долго ломали голову, что делать с этими 15 фунтами, их никак нельзя было распределить на членов кооператива и вообще на едоков, даже по чайной ложке, и то не вышло бы. В конце концов было решено эти 15 фунтов распределить среди продовольственного аппарата,

чтобы у них была возможность выпить хоть чаю с сахаром. Такая мотивировка была опасна в те годы, но, тем не менее, прошла. Эти продовольственные проблемы у нас в семье проходили менее остро, благодаря няне и тому, что у моей матери оказались запасы материи, блузок, женских кофточек, которые покупались, но не носились, а теперь стали великолепным обменным фондом. С середины 1918 г. кто-нибудь постоянно ездил в деревню и менял их то на масло, то на крупу, то на кусок свинины, на муку - на все то, чего у нас не было, или что время от времени требовалось няне для пополнения хозяйства.

Но времена были опасные. Как-то мой отец возвращался по привычке пешком из Волосова. Проходил он 10 верст шутя и играя, как он выражался. Чудный воздух, около шоссе шли специальные дорожки, протоптанные, пробитые пешеходами, так что идти всегда было легко и приятно. Движения было очень мало. Встречные обычно знали отца и держались дружески и почтительно. Но в этот день он возвращался по другой дороге. И вдруг увидел, что на опушке леса, на перекрестке двух дорог, сидит китаец. Держит винтовку в руках и неизвестно что хочет делать с ней. Китайцы были в большинстве случаев бывшие рабочие, которых царское правительство ввозило во время войны, ввиду того, что много мужчин было мобилизовано и не хватало рабочих на строительных работах. Когда, например, строили Мурманскую железную дорогу во время войны, чернорабочими были в основном китайские кули, которые были неприхотливы, получали мало денег и соглашались исполнять трудные земляные работы в холодных районах страны. Но после революции этих китайцев стали использовать советские власти - трудно сказать, был ли это результат пропаганды или найма, но время от времени вооруженные китайцы появлялись в районах, где было крестьянство с правыми настроениями или с трудом шла продовольственная разверстка. Не хотели крестьяне отдавать продукты правительству - и тогда появлялись китайцы, которые в случае чего могли этих крестьян и перестрелять.

Когда отец увидел китайца, сидящего и играющего винтовкой, он задумался, что делать дальше. Если обойти китайца и скрыться в лесу, китаец заметит и может легко его подстрелить или пойти за ним и напасть. Отец решил пойти прямо к китайцу, поскольку дорога вела мимо перекрестка, на котором китаец устроился. Он подошел, в левом кармане у него лежали сигареты, которыми он решил угостить китайца. Неизвестно почему, всех китайцев звали тогда “ходя”. Он подошел к нему и сказал: “Ну, добрый день, товарищ ходя. Что ты делаешь? “ На что китаец, который, видимо, мало понимал по-русски, сказал механическую фразу: “Хозяин деньги платит, ходя стреляет, хозяин деньги не платит, ходя не стреляет”. Из такого ответа, разумеется, нельзя было понять, будет ли он стрелять. Платил ли ему хозяин деньги? И кто его хозяин? На всякий случай отец решил посидеть рядом с ним, посидел минуточку, угостил сигаретами, что,

кажется, ходе понравилось. Он поблагодарил, сказав: “Пасиба, пасиба”. Отец ему поднес еще парочку сигарет. (Мы уже полностью вошли в советский период жизни, и все, включая сигареты, становилось дефицитным товаром). Они поговорили, как могли. И мой отец ему сказал: “Ну, ходя, всего хорошего, я пошел домой”. Тот говорит: “Ходи, ходи домой”. Отец пошел и даже помахал раза два ходе рукой, чтобы проверить, сидит он или уже целится. Когда отец рассказывал об этом, мать встревожилась. Она говорила, что ходя мог прельститься теми сигаретами, которые оставались у отца в кармане и вообще его вещами или деньгами. Этот маленький эпизод свидетельствует о тогдашнем общем настроении.

Постепенно менялось настроение и в нашей семье, и в школе, и в имении Извары, и среди наших родственников, время от времени приезжавших к нам, теперь даже чаще, с целью достать продовольствие. После большевистского переворота в октябре 1917 г. господствовало снисходительно-насмешливое отношение к новой власти: “Нашли, так сказать, новые формы глупости”. Постоянными были насмешки над народными комиссарами, речами вождей, над попытками провозгласить глубокую философию пролетарской революции. Теперь все становились все более скептическими и сумрачными. Люди утратили желание шутить и постепенно теряли всякий оптимизм. Когда приезжали мои дяди, будучи еще офицерами русской армии в конце 1917 и в начале 1918 года, и даже после разгона Учредительного собрания, как они издевались над представителями советской дипломатии: Чичериным, Караханом, Иоффе. Дядя Коля, марксист и меньшевик, очень серьезно доказывал отцу, что советское правительство не сможет продолжать отрицать другие политические доктрины,как сейчас делает Ленин, и что неминуемо отношения будут нормализоваться. Как долго держались иллюзии! Сокрушенно читали в газетах странное известие о том, что Николай II был якобы казнен, а семья увезена в безопасное место. Никто в 1918 г. в это не поверил. Сразу стали говорить: “Это вранье! На самом деле императорская семья или скрылась, или спасена, или их держат как политических заложников”. Но постепенно оптимистические ноты стали исчезать, диктатура все больше и больше показывала свой настоящий облик. В частности, в мирных условиях Волосова, этой очень мирной части Санкт-Петербургской губернии, где до революции сидел один-единственный становой пристав и у него было всего-навсего два урядника на громадную территорию со многими десятками тысяч населения.

На станции Волосово был единственный жандарм, который выходил к скорым поездам, важный, великолепно одетый, картинно стоял около колокола, на котором еще по старинке отбивался первый, второй, третий звонок перед отходом поезда. Все это исчезло, и вдруг пошли непонятные аресты Чрезвычайной комиссии. На той доске, где когда-то белело расписание поездов, теперь вывешивали грязноватые списки казненных. Многие весьма

уважаемых граждан района называли теперь спекулянтами, контрреволюционерами, саботажниками, включая предпринимателей из крупных торговых домов, снабжавших население продовольствием и товарами особенно в годы войны. Их вдруг почему-то хватали, арестовывали, и пошли слухи, что арестованных убивают. Они исчезали, затем неизвестно кто выносил приговоры и осуждал их самым диким образом. Некоторых из них мой отец довольно хорошо знал, другие были мне известны по рассказам окружающих. Нас очень поразил случай с лавочником из деревни Лиможи. Эта небогатая деревня была в двух с половиной верстах от Извар. Мы иногда туда прогуливались, заходили в лавочку, покупали что-нибудь, вроде конфет для детей.

Лавочник был жуликоватого вида, типичный мелкий торговец, с красным носом, рыжей бородой торчком, с бегающими лукавыми глазами, лавочник как лавочник. Зарабатывал, вероятно, не очень много, но был человек добрый. В трех верстах от имения Извары было село Заполье с приятной белой церковкой и большой начальной школой. И этот лавочник время от времени дарил церкви и школе разные суммы и проявлял щедрость в отношении своих односельчан в Заполье. Его арестовали и, к всеобщему ужасу, вдруг выяснилось, что он попал в таинственные списки, где-то вывешенные, и что он, оказывается, расстрелян. Потом его лавку и все товары забрал местной комитет бедноты, а его семья (у него было пятеро детей самого разного возраста) тут же, на глазах у всех превратилась в глубоких бедняков. Никому не было понятно, зачем это было нужно. Особенно возмущалась моя няня, которая все время считала эту власть воплощением безобразия, которое вошло в русскую землю, в русскую жизнь. Формы этого безобразия бывали очень странными. В начале 1919 г. рядом с моей комнатой, в рекреационном зале отделения "А" проходило заседание членов местного кооператива и вообще всех, кто был приписан к этому потребительскому кооперативу, ибо это было единственное учреждение, которое могло распределять продовольственные пайки, если таковые оказывались. Мой отец был в отъезде в Волосовско-Кикеренском Союзе, должен был приехать к этому заседанию, но опаздывал. Заседание началось без него и протекало в очень бурной форме. Я сидел в своей комнате и с ужасом слушал нарастающий гул голосов и крики негодования.

Дело было в том, что моя мать, которая тоже входила в правление, читала, ввиду отсутствия моего отца, финансовый отчет и картина была довольно печальная: продовольствия не было и получить его становилось все труднее. Я слышал выкрики, что председателя кооператива, то есть моего отца, за то, что он ничего не делает и не умеет достать продовольствие, надо было бы, привязав отчет ему на шею вместе с камнем, бросить в Глухое озеро. Это топкое озеро было возле Изварских парков - глухой район леса. Ходили легенды, что много народу погибло в этом озере, потому что лешие водили их по лесу. Картина была жуткая. Но в этот момент моего отца

подвезли два других члена Волосовско-Кикеренского Союза, они сразу прошли на подиум, и отец объявил, что привез приятную весть: удалось получить с Украины целых 2 вагона круп, и получается приблизительно фунт с четвертью крупы на человека. Настроение сейчас же переменилось, и те же самые люди, которые орали, что отцу надо камень на шею, с энтузиазмом вынесли ему благодарность за то, что он старается снабжать население.

Такая неустойчивая атмосфера была весь 1918 год. Я все это очень переживал, а у матери после этого заседания был почти нервный припадок - она ужаснулась тому, как накалялись настроения, и хотя, к счастью, все переменилось, ведь могло и не перемениться, если бы не какие-то крупы. Маятник качался от славы до бесчестия, от прославления до угрозы смерти. А кроме того, начинались непонятные действия властей, то, что именовалось "пролетарским террором". Что особенно поражало всех, хотя о составе этих чрезвычайных комиссий знали мало, но кто знал, те рассказывали: "Там нет никаких крестьян и никаких рабочих. Там странные, полубольные люди". Именно те, которых нянюшка величала "обормоты и пьяницы", и часто не русские по происхождению. Они даже говорили по-русски с акцентом, и их старания привели к уничтожению хороших энергичных людей, который создавали богатство этого района.

Что-то похожее разыгралась и в селе Черное, которое было в 8 верстах от нас, в богатой волости с правыми настроениями. Там был предприниматель по лесу, Иван Иванович Мотылев, крестьянин, который провел удачные операции и разбогател. Он в Черном построил Народный Дом. Человек он был тщеславный и потому очень гордился, что постройку, на которую он дал и средства, и бревна, и доски и кирпичи, именовали народным домом имени Мотылева. Народный Дом был хорош. В Черном был хороший хор, играли балалаечники-любители. Вдруг либо из-за этого Народного Дома или вообще за какие-то спекуляции Мотылева объявили капиталистом, критикующим Советскую власть. Арестовали, увезли, и потом его имя тоже появилось в этих таинственных списках на станции Волосово. Он был расстрелян. Впечатление было потрясающее. Село Черное этого не простило и позднее приняло участие в гражданской войне на стороне белых. С таким настроением мы вошли в 1919 год, когда отцу опять пришлось поехать в Петербург по школьным делам и в связи со здоровьем и проверкой своих зубов. Взял он и меня - к полному моему восхищению. "Поглядим-ка воочию, как Северная Пальмира превращается в Северную коммуну, как "град Петра" стал "сатрапией Григория". Под последним термином подразумевалась диктатура Зиновьева, ставшая несомненной в Петрограде после переноса столицы в Москву в марте 1918 г. Отец был подчас склонен к иронии, иногда к прямой насмешке, так, он с самым серьезным видом уверял за нашим чайным столом своих коллег, педагогов и кооператоров, "в благотворности для сей страны имени Григорий. Судите сами: Григорий

Отрепьев научил нас самозванству, Григорий Орлов - как надо ссаживать самодержцев, Григорий Потемкин - как втирать очки и получать неограниченные кредиты (это о "потемкинских деревнях"), Григорий Распутин - как дискредитировать идею монархии и подготовлять "великую бескровную" под видом преданности династии, ну, а о нынешнем Григории и говорить нечего, - оглянитесь "окрест себя", как предлагал уже при матушке Екатерине товарищ Радищев, и комментарии излишни..."

В самом деле зловещая тень Северной коммуны покрывала не только сам "блистательный Санкт-Петербург", но и окружающие районы, естественно тянувшиеся к бывшему центру империи. Мой отец, забыв о юморе, описывал мероприятия комруководства как "организованный хаос" и "отказ от здравого смысла". Голод, отсутствие топлива, распространение болезней, невиданный дотоле рост уголовщины и просто разбоя - таковы были "факторы существования Коммуны" на фоне, конечно, политического террора и социального запугивания, проводимого никому не ведомыми вооруженными типами в кожанках. Обыски, аресты и списки казненных (неизвестно кем и почему осужденных). "Заградительные отряды", отнимающие продовольствие у мешочников - так называемая "борьба со спекуляцией" дополняют опоздания транспорта из-за заносов и плачевного состояния подвижного состава", - сказал отцу по телефону его приятель, начальник станции Волосово.- "Думаю, однако, если подъедете часам к 6 утра, какой-нибудь поезд на Петроград будет..." Мы встали в полчетвертого утра. Меня облачили в костюмчик с золочеными пуговицами, на которых был изображен якоря (мне казалось, что я в нем похож на капитана Гаттераса, принадлежавшего к "властителям дум" русских мальчиков тех дней). Длинные чулки до колен, а поверх "лыжные носки" из нежнейшей шерсти белых ангорских кроликов, валенки, обшитые снизу, до подъема, кожей, и с низким каблуком, надежно защищали мои ноги от холода, а обожаемая мною синяя поддевка на лисьем меху, с красным "кучерским" кушаком в поясе и с красным же шелковым платком-шарфом вокруг шеи (как у моего кумира, главного кучера Абрама) безусловно должна была полностью охранить меня от январского мороза. Разногласия возникли относительно головного убора. Я настаивал на своей любимой белого меха папахе, однако нянюшка, снаряжавшая меня, решительно воспротивилась: "Надевай, батюшка мой, финскую ушанку, а поверх пустим башлык, вот и будет надежно. А папаха в такой холод сущее баловство. Да и эти обормоты и пьяницы увидят папаху, да и снимут с тебя, голубя моего. Вон и папа надел финскую ушанку". Я прекратил бесполезный спор. К тому же решение надеть финскую ушанку было приемлемо: внутри мех, а наружу, кроме красивого мехового "надлобья", черное кожаное покрытие - шапка напоминала офицерские головные уборы роты самокатчиков-лыжников, тренировавшихся возле нашей школы зимой 1916-17 гг. Ровно в четыре мы сели в розвальни с задком,

наполненные сеном, поверх были постланы экипажные коврики и меховые полости, под одну из которых положил меня похожий на медведя второй кучер Алексей: "Спи во всю. Чем не постель?" В ноздрях моих чувствовался мороз, башлык возле рта заиндивел. Пара "коней", как упорно именовал лошадей Алексей, бодро понесла легкие розвальни. Я втянулся с головой под меховую полость и, еще ощущая хохот отца, шутившего с кучером, погрузился в сон. Я проснулся от того, что возница страшно ругал новые порядки, за то что имение, которое производило огромное количество картошки, почему-то теперь этой картошки не имело - недостаточные были запасы.

Что же случилось? Выяснилось, что ученый агроном и доктор естественных наук Николай Николаевич Гердт, приятель отца, ушел в 1918 г., сказав, что больше у него нет энергии, нервы не выдерживают, ввиду того что определенные элементы среди рабочих мучают других и не выполняют планы, которые являются основой развития хозяйства, поэтому он больше ни за что не ручается. Он имел связи в комиссариате земледелия, и его взяли в центральное управление, поэтому в Изварах создали комитет по управлению, который ничего не умел делать как следует. И все шло из рук вон плохо. Когда в 1918 г. осенью наступал голод, созвали общее собрание учителей вместе с рабочими имения, и учителя попросили дать им тоже наделы, чтобы посадить картошку. Вероятно, в связи с отъездом Гердта были крупные просчеты в планировании хозяйства. Картошку выделили, и мы плугом вспахали землю, посадили картошку, даже унаваживали ее, я всячески помогал, стремился работать с лошадьми, что мне всегда было интересно и приятно. Отец меня похвалил, за то что я хорошо обращаюсь с лошадьми, и сказал к моему удовольствию, что из меня выйдет крепкий молодой человек, поскольку у меня широкие плечи и я крепко сложен и сшит! Когда картошка выросла, ее стали красть, приходили с мызы, а может быть, даже проезжие люди, рано утром подъезжали к полю, останавливались, лопатами быстро выкапывали 2-3 борозды картошки и увозили, что страшно всех огорчало, потому что подрывало наше питание. Такая была невеселая картина.

Всю эту поездку я невольно сравнивал свои свежие впечатления с тем, что видел и запомнил в волшебном январе 1917 г., последнем январе Российской империи. Сравнение началось в Волосове. Т о г д а вокзал сиял электрическим светом, это было здание отменной чистоты, хорошо отапливаемое, с двумя буфетами, с холодной и горячей едой. В буфете для пассажиров 3-го класса надо было забирать купленное у стойки, и столики не были покрыты скатерками, а цены были много ниже, чем для пассажиров 1-го и 2-го классов, где столики сияли накрахмаленными белыми скатертями и салфетками, около стойки высились неуместные пальмы в кадках, и лакеи, все пожилые в белых перчатках и манишках, принимали заказы и приносили яства - Волосово славилось, между прочим, отменными пирожками ("лучше

гатчинских и петербургских на Балтийской железной дороге",- утверждали знатоки). Я не раз слышал, как отец и его кооператоры подчеркивали рост Волосова, благодаря войне: именно от Волосова тянулась стратегически и экономически важная железнодорожная ветка, соединившая где-то около города Луги нашу Балтийскую линию с так называемой Варшавской, шедшей на Псков и дальше. Волосово превратилось в узловую станцию, его население удвоилось. Вокзал был т о г д а переполнен военными, инженерами, предпринимателями, мастеровыми и крестьянами, - последние, поснимав ушанки и подрасстегнув свои полушубки, с шумом пили крепчайший чай. И все дышало энергией и силой. Т е п е р ь, два года спустя, в январе 1919 г. вокзал был слабо освещен и плохо отоплен, никаких буфетов не существовало. Единственно, что можно было получить,- кипяток по традиции русских железнодорожных станций. Всюду стояли котлы с кипятком, и вы всегда могли действительно бесплатно его получить. Только это и осталось. Всюду сидели молчаливые или кашляющие фигуры, ожидавшие поезда. Изменился и поезд, который, как и прежде, тащили 2 огнедышащих паровоза. Не было ни 1-го, ни 3-го классов. Вагоны не отапливались. Поезд был чрезвычайно грязен. Окна были непроницаемы от грязи и ледовой корки на стеклах. Чувствовалась революционность, по контрасту с нашей поездкой в 1917 г., когда в поездах все еще, несмотря на переполненность, блестело, а ручки были надраены. Вместо говорливой и веселой толпы военных 1917 г. пассажиры были хмуры, молчаливы, одеты серо, как будто нарочно плохо, с мешками, сумками, пакетами. Я был поражен полным исчезновением дружелюбия со стороны окружающих, которое было как бы основным фоном моего детства.

Всегда жизнерадостный отец стал говорить вполголоса, посадил меня на полу своего пальто, запахнул меня другою, как бы ограждая от холодной враждебности мира, и мы, прижавшись друг к другу, погрузились в дремоту, прерванную в Гатчине: в наш вагон вошли пятеро разношерстно одетых людей, некоторые с наганами на поясе, один с винтовкой за плечами, появился и кондуктор: "Граждане, кто с Волосова иль с Кикерина?" Оказалось, что в вагоне с Волосова только двое - отец мой и я, с Кикерина никого. "Служебная командировка",- сказал отец, вытаскивая из кармана бумагу на бланке, с печатью и подписями. Заградители взглянули бегло на бумагу, на 2 солидных отцовских портфеля и мой школьный ранец и вышли из вагона. "С Нарвы уж третий раз заходят, делать им нечего. В Ямбурге и в Выре поотнимали горы картошки, свеклы и сала. Уж так бабы убивались, навзрыд плакали: ведь последние вещи меняли у эстонцев. А нехристям наплевать, грозят в Чеку свести..."- сказал, нагибаясь к нам, сидевший напротив бородач с хитрецой в глазах и в меховой дохе. К моему удивлению, отец - против обыкновения - не поддержал разговора. Из соседнего вагона донеслись крики и ругательства: видно, заградители что-то отнимали. "Ну-ка, вздремнем еще",- предложил мне отец, опять запахивая меня полой своего

пальто. Поезд пошел. И, хотя я был взбудоражен этим эпизодом, по-видимому, сразу погрузился в сон.

Моему отцу не нравилось, как он выражался, "прозвище столицы - Питер, словно это какой-то матрос-гуляка, "Питер" звучит панибратски". Отрицал он и "обрусение" Петроград: "важный исторический символизм есть в этом собственном имени, открывшем новейшие главы истории России: С а н к т - П е т е р б у р г, то есть Город Святого Петра, как бы противопоставлялся многим областным русским "градам", возглавлял европеизированную империю. Стоит ли приносить символизм имени в жертву военным эмоциям, хотя бы и продиктованными почтенным чувствам: "Гей, славяне!" и весьма сомнительным шовинизмом? - "Нет, - говорил неоднократно отец,- я за то, чтобы Северная Пальмира оставалась со своим настоящим именем, данным городу его "чудотворным строителем". Отец был "петербуржец" по убеждению, здесь прошло много счастливых лет его жизни.

Мы благополучно приехали на Балтийский вокзал, и Петроград открылся нам, как полумертвый город, засыпанный снегом, в глыбах неубранного льда, почти без движения на улицах. Невычищенные площади, нерасчищенные улицы и замерзшие вагоны трамваев. Впечатление жуткое. Электричество горит кое-где. Гололедица. Я хранил в памяти Петербург января 1917 года, тоже морозный, тоже заснеженный, но вместе с тем парадный, залитый электричеством, блестящий не только от мороза, но и от кажущихся отполированными торцовых мостовых, от блеска приманивающих витрин бесчисленных магазинов, от веселых огней костров около извозчичьих бирж с шутливо борющимися кучерами в толстенных поддевках и "боярских" шапках. Звонки трамваев перемежались с криками лихачей "Пади. Па - ди". Слонообразные битюги с мохнатыми ногами тянули огромные возы, и кое-где тарахтели грузовики и проносились как бы куцые, узкие в кузовах легковые автомобили. Всюду двигалась деловая и всегда самоуверенная петербургская толпа, заполнявшая широченные, выскобленные дворниками тротуары, вливавшаяся в бессчетные двери магазинов, учреждений, домов и дворцов и выливавшаяся оттуда на морозные улицы столицы, над которой "трубный дым столбом восходит голубым", как с метко и лаконично описывал Пушкин морозный день в Петербурге. Мое мальчишеское сердце подпрыгивало от восторга, когда на Невском вдруг замирали, отдавая по всем правилам честь старшим проходящим офицерам, молодцеватые юнкера, - я каждый раз думал о дяде Ване. Он рассказывал, что как раз на Невском "попал в передрягу": только он откозырял, стоя навытяжку, какому-то генералу, повернулся "левым плечом вперед" (то есть направо) и сразу "чуть не въехал в еще одного красноподкладочника маленького роста, - вероятно, интендантской службы. Тот отпрянул и стал распекать: "Ворон ловите, господин юнкер, замечтались, на дам глядючи..." Дядя вспомнил "первое наставление" их

фельдфебеля: "Ешь начальство глазами и отвечай ему громогласно". Дядя Ваня так и поступил. Отдавая честь, как на параде, он проревел громовым голосом: "Так точно, Ваше превосходительство" в ответ на все ядовитые замечания генерала. Их "диалог" привлек внимание прохожих, которые с видимым удовольствием слушали раскаты дядиного рева. Вдруг генерал смягчился и сказал: "Лихо отвечаете, господин юнкер". - "Рад стараться, Ваше превосходительство",- еще сильнее взревел дядя. Генерал козырнул и пошел своей дорогой. (Много позднее я узнал с удовольствием, что мое восхищение военной выправкой разделял не кто иной, как сам Толстой, об этом писал в воспоминаниях о нем Горький.

Но в январе 1919 года только внешние "декорации" города оставались прежними, а жизнь петербуржцев протекала под знаком холода и голода. Прежде всего мы отправились к двоюродному брату отца, дяде Леше, который до революции в качестве генерала имел великолепную квартиру в центре, кажется, на Миллионной. К моему душевному облегчению, мы застали дома только тетю Ариадну. Дядя Леша, продолжавший свои медицинские нагрузки и после Октября, уже уехал на работу, а мои троюродные сестрицы ушли в школу. Дядю, как всех врачей, я побаивался, а Наташа и Галя казались мне столь ослепляюще красивыми, что я не смел на них смотреть и почти лишался дара речи в их присутствии. Тетя Ариадна была столь же элегантна, как и 2 года тому назад, но на ней не было больше золотых браслетов, брошек и других ювелирных ценностей: "Я теперь делаю переводы для учреждений. Они дают кое-какие продукты. У Алексея, конечно, как у высокого спеца, особый паек, "бронированный", а главное, его всегда подкармливают в госпитале. К нашему великому счастью, у нас осталась наша повариха, наша добрая фея, она занимает, как и прежде, одну из комнат и считается как бы домработницей в "медицинском коллективе", в других 5 комнатах живут 5 врачей, Алексею удалось подобрать очень милых и, главное, пока что неженатых, а 4 комнаты остались нашими. У нас и телефон прежний". Отец сейчас же попросил разрешения позвонить в Комиссариат социального обеспечения, где у него должна была быть "аудиенция, по его выражению, у самого комиссара, товарища Лилиной, жены самого товарища Зиновьева". Звонок был успешен. Отец схватил один из своих портфелей и ушел вместе с тетей Ариадной, которая поручила меня заботам "доброй феи" и предложила выбрать любую из книг своих дочерей. Только я облюбовал том "Робинзона Крузо", удививший меня иным характером иллюстраций, чем в моем собственном экземпляре, - к тому же моя книга была втрое тоньше, сокращенное издание "для детей среднего возраста", а эта "для юношества" - как появилась повариха, которая, с одной стороны, быстро наводила порядок, смахивая невидимую пыль с разной "мишуры" (как отец называл убранство комнат у тети Ариадны), а с другой стороны, завела бесконечный рассказ о всяческих событиях последних лет, когда "царя-

батюшку скинули". "Добрая фея", видимо, обрадовалась, получив в моем лице нового и, главное, безропотного слушателя. Она казалась значительно более молодой и менее отчетливой в своих рассказах, чем наша няня, - ум и меткая речь последней всегда были предметом восхищения всех, кто с ней общался. "Добрая фея", по-видимому, от души любила моих троюродных сестриц, поклонялась "хенералу" и ненавидела "новый беспорядок", воцарившийся в русской жизни. Так как я не знал действующих лиц трагических историй о насилиях над заслуженными людьми империи, жившими в этом прекрасном доме, то не запомнил и подробностей, но получил новые подтверждения жестокости, злобы и несправедливостей "кобелей, сорвавшихся с цепи", "пьяных барбосов" и "никудышных дьявольских слугов" (она так и произносила "слугов", видимо, противоставляя им в уме "рабов" Божих). Вместо "их превосходительств" (полных генералов, сенаторов и министров) дом наполнялся "недоучками и крикунами", которые "рабов Божих в Чеке мучают. А пользы от них страсть как мало, одно хорошо, паровое отопление для них заработало, ну, и нас отеплило". Действительно, в квартире было не холодно. "И нас хотели турнуть. А хенерал наш - ума палата, в военных больницах без него не могут. Так нас и не тронули. А чтобы было крепче, хенерал наш дал 5 комнат для своих дохтуров. Оно и надежнее, и веселее. А я для них завтрак готовлю и ужин. Ну, и комнаты чищу. Да, что ж я это все болтаю, а тебя, гостя малого, не угощаю". Она принесла мне тарелку горячего супа, - "сварен из протертой моркови и с поджаренным лучком". Суп был водянистый, но я съел его с удовольствием "в прикус" с тонкой ржаной лепешкой, которая показалась мне превосходной. Было уже почти два часа дня, когда появился отец. Он хохотнул о чем-то с "доброй феей" и сказал, что мы должны поторопиться к дяде Коле, который жил на Улице красных зорь (б. Каменноостровском проспекте), по которой, как узнал отец, даже ходил трамвай. Улицы были почти безлюдны. Холодный ветер охватил нас на пустынном мосту. Внизу на Неве были горы неподвижного льда и чернели какие-то вмерзшие баржи. -"Видишь Петропавловскую крепость?"- спросил, нагибаясь ко мне, отец. Но я ничего не видел, сизая полумгла окутывала петербургские набережные.

Мы с отцом заехали к дяде Коле и привезли ему картошку, морковь, что раньше было бы совершенно неслыханно. Мы даже у них и не обедали, а только заехали, завезли подарки. Потом отец должен был ехать к врачу. Я поехал с ним, потому что после этого надо было ехать сначала в министерство, у отца было поручение, и потом в Царское Село. Мы все-таки ночевали у дяди Коли, и это было очень печально. Это был последний раз, когда я видел своего двоюродного брата Вову. Было грустное настроение, все казалось бесперспективным, причем дядя Коля много рассказывал о том, что началось белое движение, явно контрреволюционное и что есть несомненная опасность того, что оно победит, ввиду безумия большевистской

диктатуры. Дядя Коля сильно критиковал эту диктатуру, причем мой отец, который с большим уважением относился к своему старшему брату, не посмел ему напомнить о его суждениях некоторое время тому назад. Он вполне понимал, что точка зрения дяди Коли сложилась явочным порядком и это был, конечно, полный крах его теорий. Революция не дала ничего того, чего ждал от нее дядя Коля.

На следующий день мы поехали в Царское Село, которое мне очень понравилось. Я и раньше бывал там. Интересно, что дворцы были заняты всякими учреждениями. У отца были там разные дела. У него был дар контактов с людьми. С ним очень мило держались, но он с грустью смотрел вокруг и мне потом объяснил, какая это неподходящая обстановка - изящнейшая мебель, на которой теперь сидят канцеляристы и пишут ужасные вещи. Позднее, все эти дворцы стали музеями, но в 1919 г. этого еще не было.

Мы уезжали вечерним поездом и вернулись на Балтийский вокзал. Тут мы впервые ели конину. Это было интересно: подали рагу из очень вкусного мяса, и потом обслуживающий сказал: "Гражданин, знаете, вы кушали лошадку." Отец сказал: "Вкусная лошадка, как вы это приготовляете?" Тот объяснил, что это особый рецепт, привезенный из Крыма, нужно много перца, потому что конина якобы дает особый привкус, но этого привкуса мы не нашли и были с отцом очень довольны. Об этом опыте с кониной я вспоминал много лет, потому что позднее мне не пришлось есть конину.

Мы вернулись обратно, проведя в отъезде почти 56 часов. Нас ожидал возница, который рассказывал отцу, что того арестовали и этого арестовали, и страшно поносил власть. Говорил: "Что ж это такое! Мы люди простые, работали всю жизнь, за что ж нам теперь такое. Обманывают, ни еды, ничего нет. И все заваливается. Как же так? Россия такая богатая страна была, все чего хочешь. А тут, смотри, двух лет не прошло, как Николай отрекся, и уже ничего нет!"

Мы приехали домой 19 января, а когда наступила весна, праздника 1 мая не было. В 1917 г. его праздновали слабо, без подъема. В 1918 праздновали главным образом, потому что комитеты бедноты ввели это празднование. Впервые мы услышали отвратительное исполнение "Интернационала". Были красные знамена, говорили странные речи, я, конечно, был там, потому что меня это очень занимало. Пели плохо. Перевирали слова. Получалось вроде того, что с "Интернационалом" погибнет род людской!" Отец мой, который любил хоровое пение, даже сказал Зильберману, руководившему празднованием: "Александр Карлович, что же Вы так, нестройно у Вас все это, "Интернационал" поете скандально". Тот ему отвечал: "Знаете, Ефрем Николаевич, маленько не спемшись".

В 1919 году вообще не праздновали 1 мая, потому что приближался фронт. Это было интересное время. Как раз в самом конце апреля пошли

слухи о том, что скоро придут "белые". Кто такие "белые"? Мы точно ничего не знали, потому что информация в советских газетах была неполной. Цензура была суровой, а кроме того, в ней работали случайные люди. Так что понять из этой информации можно было очень мало. Но кое-где мелькали разные сведения о белых. Их изображали как бандитов, которых красные все время непрерывно били. Сообщали иногда, что они предают казни того или другого, видных товарищей коммунистов, или казнят своих генералов, которые пошли служить в рабоче-крестьянскую армию. Получалось впечатление, что это какие-то ужасные убийцы.

Но в один прекрасный день отец вдруг прочитал вслух: "в Нарвском направлении..." И глаза у него весело заблестели. "Очень хорошо, в Нарвском направлении..." Тогда я его спросил: "А что это значит "В Нарвском направлении?.." - "Это значит, что непобедимая рабоче-крестьянская армия уже отступила за Нарву и теперь находится около Ямбурга (теперешний Кингисепп), они на самом деле отступают, значит, действительно, приближается момент, когда, может быть, придут белые..." Больше он ничего вслух не сказал, но по всему его поведению было видно, что он очень рад этому. Последние полтора года отец все более мрачнел. Уже далеким воспоминанием для всех нас стало чувство сытости, на кухне нянюшка производила почти несъедобные блюда из семян клевера, из жмыхов с фермы и из гущи житного кофе (какие-то подобия лепешек, по виду бисквитов, но черного цвета). Хлеб выдавался по ломтику в день, картошка - только на обед, по одной драгоценной картофелине. И няня, чтобы нас кормить, с болью в сердце занималась истреблением собственного птичьего двора.

Белые, действительно, пришли в мае. Понятно, отчего не было празднования Первого Мая - комитетам бедноты было не до того. В середине мая моя тетя Маня и нянюшка и еще кто-то из знакомых, 3-4 женщины решили ехать на хутора к ингерманландцам, довольно много их, и в Эстонии, и в Финляндии жили не в деревнях, а на хуторах. Эти хутора были более или менее зажиточные. Решили туда ехать на обмен, потому что нужно было подкупить продукты. Моему брату было уже больше года в это время, и его нужно было подкармливать. Поехали мы без работника, правила тетя Маня, я у нее выпросил вожжи и управлял лошадью. Ехали мы верст за 9. Мы свернули на проселочную дорогу и проехали по этим хуторам. Там у наших женщин были знакомства. Мы наменяли вещей, и когда мы были уже на третьем хуторе и что-то там покупали, вдруг услышали винтовочные выстрелы. Мы спрашиваем, что случилось? Хозяева говорят, что это белые партизаны. "Что значит белые партизаны?" - "Как, разве вы не знаете? Белые наступают. Взяли Кингисепп и Выру". Это была станция верстах в 15-20 от Волосова на запад. И всюду, сказали нам, появились белые партизаны, которые ловят комитеты бедноты и советы рабоче-крестьянских депутатов и их расстреливают. Потом

действительно мимо нас проехали люди на лошадях с ружьями, с белыми повязками на рукавах. Это и были белые партизаны. Они и правда расстреляли председателя комитета бедноты и еще кого-то на этих хуторах. Тетя Маня и нянюшка говорят: "Довольно, надо ехать, не дай Бог еще придет Белая армия и мы окажемся отрезанными. Так что поворачивай". Мы повернули, поехали домой. Вечером благополучно доехали, и я отвез лошадь на мызу, помог очередному конюху ее распрягать, а когда пришел домой, там уже было большое волнение. Моему отцу позвонили из Волосовско-Кикеренского Союза, что действительно белые начали большое наступление и надо ждать событий. Рано утром на следующий день, вероятно, 16 мая или немного позднее я услышал орудийную пальбу, выстрелы, как потом узнал, работали четырехсполовинойдюймовки, трехдюймовки, стреляли в направлении Волосова около Кикерино, в направлении Елизаветинской станции и Гатчины, все время шла пальба. К концу этого дня, часов в пять вдруг раздались страшные крики, на улице все закричали: "Едут! Едут!" - "Кто едет?" - "Белые. Наши едут!" Отовсюду народ побежал к шоссе, размахивая платками и приветствуя. Потом показались подводы, всего было 6 подвод. На них сидело человек 18 военных, все довольно молодые. Некоторые - офицеры, в погонах, от которых мы уже отвыкли, и у всех белые кресты на рукавах, а иногда трехцветные повязки. Они проехали мимо нас к директорскому дому, и туда пошло все начальство, и мой отец тоже. Директора не было. Он был приговорен к расстрелу комитетом бедноты, но был спасен от местной расправы решением товарища Лилиной, потом его отправили в Вятку. Во время нашей с отцом поездки в Петербург отец ему позвонил, и мы оказались на ночлеге в квартире этого высокого спеца по педагогике. У него было тепло и чисто. Нас накормили, меня уложили на диван, и я уснул под рокот голосов Михаила Павловича и моего отца. Оба они кляли режим и самих себя за то, что радовались Февральской революции. Директором числилась в этот момент моя мать, а помощником директора отец, потому что он продолжал работать и в Волосовско-Кикеринском Союзе кооператоров. Мать оказалась блестящим организатором, она умела говорить с людьми и вела корабль твердой рукой по бушующим волнам. Она сумела уберечь многое от разных "революционных посягательств", но сильно устала за 9 месяцев директорства и не в силах была решить главную проблему - проблему продовольствия.

Мы, конечно, не знали, что в этот ясный, погожий майский день 1919 года наша семья вступила на новый путь своего существования и оказалась тесно связанной с судьбой Белого движения и тем самым с участью стать эмигрантами. Было это хорошо или плохо? Очень трудно ответить, просто придется рассказать дальнейшую историю нашей семьи, а там уже заключения будут сами собой вытекать из материала. В то же время могут возникнуть три серьезных вопроса: была ли наша семья подвержена случайности истории, сыграла ли роль свобода нашего решения, свобода

воли или все это было предопределено свыше? На все эти вопросы, возможно, даст ответ история семьи Андреевых.

Напомню, что в этот момент наша семья состояла из моего отца, Ефрема Николаевича Андреева, которому в мае 1919 г. исполнилось 39 лет, моей матери Екатерины Александровны, которой было 35 лет, их старшего сына, то есть меня, Николая, 11 лет, моей сестры Татьяны, которой в мае исполнилось 7 лет, нашего младшего брата Аркадика, которому в апреле исполнился один год, и нянюшки Ольги Михайловны, которой было 70 лет. Второй мой брат, Александр, Шурик, умер в младенчестве.

Все 18 приехавших белых воинов держались деловито и спокойно. Они отдавали честь приветствовавшей их толпе и выполняли приказы, которые отдавал старший в группе, капитан, сухощавый, поджарый человек с иссиня выбритыми щеками и маленькими усиками. Он сейчас же снесся с начальственными лицами и со ступени конторы главного управления имением сказал буквально несколько слов толпе. Смысл сводился к тому, что Белая армия, к которой они имеют честь принадлежать, борется за восстановление законности в России и за то, чтобы народ мог выразить свою волю путем свободных выборов, а не диктатуры какой-то группы лиц или партии. Он призывает всех оставаться на своих местах и выполнять их обязанности, как они привыкли это делать. Никаких самосудов. Если у кого-нибудь есть претензии, их надлежит сформулировать на бумаге и обратить на них внимание военной прокуратуры, которая поступит по смыслу Российских законов, а сейчас он предлагает пойти в церковь и по обычаю предков поблагодарить Бога, прося Его помощи и в будущем. И все. Из телег, на которых прибыли эти 18 военных, вытащили самокаты, то есть велосипеды, и часть прибывших, с офицерами во главе, сию же минуту уехала в неизвестном нам направлении. Затем выяснилось, что под военные нужды будет занята часть одного из домов, принадлежащих школе. После этого все отправились в церковь, которая всегда была против революции. Отец Стефан совершал богослужения только по воскресным дням в присутствии некоторых из мальчиков, потому что после большевистского переворота было указание комиссариата социального обеспечения, под которым находилась школа, что нельзя насильно водить мальчиков в церковь, но они могут ходить туда, если сами того хотят. Теперь эта церковь, которая помещалась в одном из рекреационных залов 4-го блока, оказалась переполненной. Пришло множество людей, которые вообще никогда в церковь не ходили, потому что были не православные, а лютеранского вероисповедания, как и многие мызные рабочие. Капитан перед богослужением повторил то, что сказал на мызе, а затем отслужили краткий молебен и оказалось, что прибыл 19-й член группы, священник, отец Иоаким, с которым мы потом близко познакомились. Он был колоритная фигура. Высокого роста, красивый, с гривой черных волос, большой черной бородой и широкой георгиевской лентой, на которой висели

нательный крест и иерейский крест. Он был армейский протоиерей и получил георгиевскую ленту на ношение нательного креста за то, что в одном из сражений 1916 г., поднял роту в атаку и пошел во главе ее. Отец Иоаким служил картинно, очень театрально, громко отчеканивая молитвы. Эта служба произвела большое впечатление не только на молящихся, но и на редко ходящих в церковь, но была подпорчена его проповедью, совершенно не христианской, он призвал всех на борьбу с коммунистами и при этом употребил даже такие выражения как: “Я могу передавить сколько угодно коммунистов собственной рукой. Поставьте их здесь, и я всех передавлю”.

Это многим не понравилось. Но позднее, когда мы с ним хорошо познакомились - он был священником Волынского полка 3-й дивизии, потом духовником 3-й дивизии Северо-Западной Армии, и с ним позднее сотрудничали и пели у него некоторые наши учителя, ушедшие в армию - оказалось, что Отец Иоаким милейший человек, очень добрый, и все эти его рассказы о самом себе как духовном и физическом палаче врагов Христа - до известной степени просто театральная форма, никакого реального содержания не имеющая. Но выглядела она так же дико, как списки расстрелянных на станции Волосово. Непонятно, почему капитан говорил о законности, о военной прокуратуре, о том, чтобы не было никаких самосудов, а армейский священник призывал к немедленной казни всех супостатов. После молебна состоялось заседание руководства школы, мать пригласила всех педагогов, присутствовал и капитан и другие два офицера, штабс-капитан и поручик. Было вынесено несколько постановлений. Во-первых, военные просили дать им часть отделения “Б” в нашем блоке. Они взяли учительскую и нижнюю читальню, там расположились 6 человек и офицер. Солдаты начали тянуть телефонные провода и установили, по-видимому, связь с другими своими точками опоры в этом районе. Перед отделением “Б” стал ходить часовой. Каждые 4 часа часовые сменялись. Ночи были летние, светловатые и довольно напряженные, потому что в таких полусумерках постоянно представлялось, что там, вдали, от леса могут продвигаться люди. Нас поразило, что солдат очень мало. Шестеро плюс седьмой, офицер. Телефон звонил постоянно. Штабс-капитан, который оставался 2 или 3 дня, снесся с канцелярией школы, и по его просьбе отпечатали его приказы, все это было без бланков и подписано “Военный комендант района”, подпись неразборчива. К этому времени приехала газета, “Белый крест”, и помещалась вместе с караулом, теперь это называлось комендатурой. Самокатчики приезжали, увозили целые пачки газет, она раздавалась бесплатно. Мы, конечно, с интересом читали. Отец, который любил собирать политическую литературу, положил несколько номеров и в свой шкаф, рядом с дореволюционнымии изданиями левых партий, издательства “Донская Речь” (Ростов-на-Дону). Капитан вскоре уехал и больше не вернулся, штабс-капитан уехал дня

через 3, и начальником-комендантом остался поручик. Мои родители несколько раз приглашали его есть, и он приходил иногда к столу, но уклонялся от этого и говорил, что не в правилах армии садиться на шею местному населению. Между прочим, капитан, а за ним и штабс-капитан проявили внимание к заявлениям моих родителей и других педагогов по поводу плачевного положения с питанием школы. Капитан что-то отметил у себя в книжке и сказал, что поговорит и даст знать моему отцу, что нужно сделать в этом отношении. Все офицеры сказали, что на их базе в Ямбурге, откуда они теперь наступали, с продовольствием хорошо, свободно работали пекарни, был открыт рынок, и они все подчеркивали, что армия снабжалась отдельно, не обременяя население.

У моей матери получилось маленькое не то что столкновение, но как бы расхождение с капитаном в первый час его пребывания в имении. Моя мать довольно неудачно его спросила: "А скажите, много ли вас, белых вообще? На что капитан, остро посмотрев на нее, сказал: "Это вас совершенно не касается, потому что это дело чисто военное, сколько нас". Мать моя спохватилась и сказала, что просто хотела выразить надежду, что Белая армия достаточно укомплектована, чтобы пройти к Петрограду, на что капитан сухо сказал: "Это, сударыня, позвольте судить нашему командованию, куда армии идти и каким образом". Мать мало имела дела с военными и была обескуражена своим неправильным подходом к военному человеку. Между прочим, из-за этого обстоятельства она сказала, что поскольку красных больше нет, ее избрание стало недействительным и она считает, что лучше бы временно исполняющим обязанности директора стал опять мой отец. По-видимому, ему гораздо легче будет разговаривать с белыми властями как мужчине и как директору, а не как помощнику директора.

Действительно, отец теперь стал называться временно исполняющим обязанности директора школы. Капитан исполнил свое обещание и через несколько дней позвонил поручику, который вызвал моего отца и передал телефонограмму: капитан обсуждал вопрос с начальством, и они считают, что, конечно, школа может получить продовольственные пайки из военного ведомства. У них достаточно фондов, чтобы снабдить учащихся минимумом продуктов. Но лучше всего это оформить не на боевой линии фронта, где продовольственные запасы очень ограничены и предназначены для действующих частей, а поехать в Ямбург. Обратиться там надо было к коменданту города Ямбурга полковнику Бибикову, который имеет полномочия помогать мирному населению с продовольствием. День спустя (это был конец мая) отец решил ехать. Перед этим они совещались с матерью. Казалось, что положение как будто стабилизировалось, хотя о дальнейших успехах Белой армии не было слышно, но все время шла артиллерийская стрельба за Волосовым и была установлена связь с белыми партизанами. Как раз село Черное дало много белых партизан, которые не входили в

армию, но, кажется, очень ей помогали - проводили разведку, давали сведения о концентрации красных сил и, кроме того, когда нужно было кого-нибудь ликвидировать, армия предпочитала, чтобы это делали партизаны. Эту военную хитрость мой отец в практике Северо-Западной армии заметил. Надо сказать, что разговоры офицеров с населением дали некоторое количество добровольцев. Не то чтобы их были сотни, но десятки были, даже некоторые простые рабочие с мызы и, удивительное дело, два учителя из нашей школы решили уйти к белым. Одним из первых ушел Иван Николаевич Тараканов, наш большой приятель. Я шутя его потом называл "мой воспитатель", что ему очень нравилось. Прекрасный человек. Он происходил из крестьян, окончил учительскую семинарию. Был человеком очень неглупым, все время читавшим, развивавшим свои знания. Очень чуткий к вопросам искусства, в частности драматического. Сам удачно играл в любительских театральных представлениях. Он вдруг явился к моим родителям и сказал, что должен поступить в армию, и именно теперь, когда положение армии крепкое.

Мои родители признали его доводы благородными и обоснованными. Иван Николаевич был "старый холостяк", как над ним шутили, хотя он не был еще преклонных лет, но был одинок и его, в сущности, мало что связывало со школой. Конечно, школа много теряла с его уходом, но, с другой стороны, если Советы вернутся, то, вероятно, школа будет полностью реформирована и большинство людей при этом погибнет. Поэтому родители полностью поддержали решение Ивана Николаевича, который очень трогательно простился со всеми и уехал. Его направили в штаб Волынского полка. Мы много встречались с ним позднее, он был нашим большим другом в эмиграции.

Сложнее обстояло дело со вторым учителем, Константином Григорьевичем Вережниковым, у которого было трое детей. Его сын Костя был старше меня года на 2-3. Позднее в эмиграции Константин Григорьевич прославился своим исключительным дарованием в области струнных оркестров, он управлял также духовыми инструментами и мог руководить хорами. Он считал, что должен идти и, чем может, помочь Белому делу. Военные власти отправляли его вместе со всей семьей на двух подводах в распоряжение штаба Третьей дивизии, во главе которой стоял знаменитый, легендарный генерал Ветренко, потом уже с печальной репутацией.

Эти два эпизода разыгрались до отъезда моего отца в Ямбург. Уехал он с помощью поручика на Волосово, и поручик нам сообщил, что посадил его на один из воинских транспортов на Ямбург, потому что, конечно, никакого пассажирского движения в этом районе не было. Шли дни за днями, стояла очень хорошая погода. Никаких событий не было, но ходило множество слухов. С одной стороны, у крестьян было много симпатии к Белой армии, много было белых партизан и добровольцев. А с другой стороны, пошли слухи о том, что первоначальные фантастические успехи при наступлении

на Ямбург закончились. Прошло то время, когда капитан Данилов с двумя или тремя товарищами мог захватывать целые составы, когда ему сдавались целые батальоны красногвардейцев и он захватил даже бронепоезд, кажется, на станции Выра, имея всего трех помощников, благодаря панике у красных. Теперь красное сопротивление около Гатчины усиливалось. Артиллерийский гул все продолжался, но стреляла не только белая артиллерия, а все больше и больше в дуэль под Гатчиной вмешивалась красная. Пошли слухи о том, что скоро будет контрнаступление красных. Это всех нервировало, и широкая публика не знала даже, несмотря на явную симпатию к белым, как держаться и что делать: уезжать? куда? Как уезжать и что вообще будет делать армия... тем более, что армия никаких сведений о своих намерениях не давала. Одним словом, это продолжалось до 7 июня, накануне вечером к нам вдруг пришел поручик из отделения "Б", прошел по внутреннему помещению, постучал в дверь и хотел поговорить с мамой. Прошел с ней в кабинет и через несколько минут ушел. Мама вышла взволнованная и сказала, что поручик считает, что армия будет сокращать свои боевые линии, поэтому пункт в Изварах будет ими оставлен. Через несколько часов они уйдут. Он предупредил мать, потому что отец наш находится в тылу Белой армии, и поручику казалось, что, может быть, неумно оставаться здесь семье. С точки зрения красных это был явный материал против отца, и у матери и всей семьи могли бы быть неприятности. Поэтому поручик сказал, что если мы решим уехать, он готов оказать помощь и предоставить подводы с мызы.

Мама вызвала на совещание няню, тетю Маню и меня, и мы все единогласно решили, что, конечно, главное не отделиться от отца, нужно постараться захватить его в Ямбурге и подождать, тем более что, по словам поручика, все передвижения армии будут носить временный характер, так как их целью является взятие Петрограда. Так и поступили. Ранним утром, приблизительно в 4 часа, мать пошла к не спавшему поручику, он сидел у телефона, и сказала ему, что мы готовы ехать, если он даст распоряжение о подводе. Он позвонил на мызу, и с мызы приехала подвода в сопровождении одного из не знакомых нам ингерманландских кучеров. На рессорную телегу, наполненную сеном, села нянюшка, взяв на руки крепко спавшего Аркадика, потом Танечка с приготовленными для нее вещами, потом мама. Серьезная проблема стояла передо мной. Что взять? Казалось, мы едем на очень короткое время, может быть, всего на несколько недель. Было лето. Поэтому я сразу отказался от мысли взять свою любимую папаху, высокие сапоги и красивую поддевку. Мама взяла мое белье, а я из своих любимых книг взял лишь 2 или 3, которые, к сожалению, потом тоже были потеряны навсегда. Взял биографию Наполеона и, хотя у меня навсегда сохранился пиетет к нему, никогда больше эту отличную книгу я не встретил на своем жизненном пути.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД - МЫ УХОДИМ В НЕИЗВЕСТНОЕ

"Но был, но был железный суд"
Вячеслав Лебедев

Раннее утро, примерно 6 часов, синева лесов уже не страшна, уже видны пустые поля, уходящие к далям, спящие еще деревни, спящая колония, спящее имение и быстро сворачивающие катушки телефонных проводов солдаты нашего любезного поручика. Все они садятся на двуколки, приехавшие, очевидно, ночью забрать их, и уезжают. И вслед за ними, буквально по их следам, минут через 15-20 трогается в неизвестность наша телега. Она, собственно говоря, была тарантасом. Но сидение было снято в свое время, и вместо него положили много сена. Удобство тарантаса и его объемистость сохранились в кузове этой колымаги.

Няня перекрестилась, мама перекрестилась, я перекрестился, Танечка перекрестилась, Аркадик креститься не умел. Тетя Маня, которая прибежала нас проводить, нас перекрестила, взяла ключи и обещала смотреть за квартирой и за няниными курами. Поехали. Это было 7 июня 1919 года. Никто из нас никогда не вернулся в Извары. Для всех, включая нашего отца, который позднее вернулся в Извары на один день, начиналась совершенно новая глава жизни, мы, конечно, пока еще ничего о ней не знали и не предполагали, какие будут бедствия. Мы уезжали бодро, без особой тревоги, с одним желанием непременно встретиться с папой. Пока что мы двигались по хорошо знакомой дороге на село Заполье. Деревня Лиможи лежала далеко вправо. На шоссе к Заполью мы встретили еще несколько повозок, нагруженных разными вещами, на которых сидела явно гражданская публика. Мы спрашиваем: "Куда вы? Кто вы?"- "Мы из-под Кикерино".- "А куда едете?" - "В Извары". -"Почему же вы едете в Извары?" - "Говорят, там спокойнее, там можно переждать. А вы откуда?" -"А мы из Извар". - "Из Извар?" Дальше объясняться было некогда, мы поехали дальше. Подъехав к Заполью, мы благополучно миновали церковь, но не поехали по главному шоссе, потому что, как нам сказал офицер, лучше объехать, шоссе могло находиться под обстрелом. Объезжать надо было по проселочным дорогам, беря общее направление на Волосово. Это удлиняло путь на 3-4, зато дорога должна была идти почти все время кустарниками, так что движение наше не было бы заметно. Когда мы свернули с главной улицы Заполья и повернули налево, произошел затор. Возниица вдруг остановился и стал говорить с мужиками, которые явно заграждали путь, и маленького роста мужик, надвинув на глаза картузец, сказал: "А что это за люди, куда едут, зачем, кто разрешил?" На это возница отвечал что-то свое. Он даже не знал, куда мы едем. Ему было приказано дать подводу, подать ее к отделению А, и больше ничего он не знал. Затем мать стала разговаривать с этими мужиками, которые

проявили большую подозрительность, неприязнь и нежелание пропустить нас. Мы, мол, не знаем, кто вы. Мать моя возразила: "Как это Вы не знаете! Я вот такая-то, директор колонии. Как же Вы меня не знаете? Конечно, знаете. Сколько Вы у нас там бывали!" - "Ну,- говорят,- одно дело, когда мы там бывали, а другое, когда ты сюда приехала. Нет, мы тебя не пропустим, потому что Вы там чего-то натворили и хотите сбежать. А вот мы вас задержим и отправим обратно на вашу хватеру. Живите там и ждите, когда придут другие власти..." Разговор был очень мрачный, сулящий довольно печальные перспективы. Мать моя пришла в ужасе, тут няня стала подавать реплики с телеги и браниться с мужиками, возница возражал что-то, но вдруг все переменилось: мужики исчезли, и улица освободилась. С удивлением я поглядел по сторонам и увидел, что по улице, крутясь на лошадях, скачут, все время приближаясь к нам, всадники с винтовками и с белыми лентами на рукавах. Оказалось, что это белые партизаны, главным образом из села Черного и из других поселков из-под Кикерино, которые, подойдя к нам, спросили: "Что за люди? Куда?" И, узнав в чем дело, сказали: "Ну, езжайте, езжайте. Что вы тут задерживаетесь". Возница им сказал, что мужики не хотели нас пропустить. "Как это не хотели пропустить? - сказал главный среди партизан. - Дорога для всех". И мы немедленно двинулись по дороге, которая вела к Волосово. Этот эпизод кончился благополучно, но мог кончиться и очень печально. Мать была сильно обеспокоена. Она не предполагала, что в деревнях такие настроение - "куда ветер дует": приходили белые - были пробелые симпатии, а как только белые начинали отходить, начинались прокрасные симпатии. Возницу не надо было уговаривать, он, видимо, был напуган и погонял лошадь так, что мы ехали очень быстро, покуда Заполье не скрылось и мы въехали в кустарник. Мать молчала, няня дремала, потому что всю ночь не спала и готовила еду в дорогу, ведь никто не знал, как долго и где мы будем скитаться. Она устала и теперь спала наперегонки с Аркадиком, как мой отец любил выражаться. Танечка дремала рядом с мамой, мама тоже полудремала. Один я наблюдал во весь дух, если можно выразиться таким образом, события, которые меня глубоко интересовали. Все было необычно. Лошадь опять перешла на шаг, потому что дорога была не первоклассная, время от времени появлялись оводы, которые садились на нее, и лошадь отбивалась хвостом и даже старалась бежать рысью, желая обогнать тучи оводов, которым явно нравилась наша лошадка. Возница молчал и тоже, по-моему, дремал. Я все интересовался, когда же мы подъедем к батарее. Часа через 3, а, может быть, даже меньше кустарники начали редеть и расступились. Мы оказались на опушке рощи, и перед нами открылось поле. На нем мы увидели два орудия, которые поочередно стреляли. Повернуты они были в направлении Кикерино. Явно было, что батареи белые, потому что у офицеров сверкали погоны и даже ордена на многих гимнастерках. Мы близко не подъезжали, ехали по

дороге, шедшей по опушке леса, но я мог наблюдать, как при каждом выстреле все вокруг орудий, видимо, инстинктивно, а может быть, по команде открывали рот. Я поймал себя на том, что тоже открываю рот, когда раздается выстрел. Никакого пехотного прикрытия, о котором я читал в книгах, около батарей не было.

Волосово было уже близко, довольно большое селение, в сущности, городок. В погожий июньский день, было часов восемь, может, немножко больше, мы въехали в Волосово и подъехали, наконец, к хорошо знакомому нам вокзалу, который раньше поражал меня своей щеголеватостью. Полуплощадь перед вокзалом всегда была прибрана, и на ней стояли коляски, подъезжавшие и забиравшие именитых прибывающих, были местные извозчики и стояли крестьянские лошади в ожидании товаров с поезда. Ничего подобного теперь не было. Площадь была совершенно пуста, так же как и все Волосово казалось безлюдным, вокзал тоже был пуст и, конечно, никто никаких поездов не ждал. На вокзале было несколько военных. Мама прошла в так называемую комендатуру. Окна были открыты. Было слышно, что там работает аппарат Морзе и звонят телефоны. Обстановка как будто обычная для станции. Вышел очень любезный поручик, комендант станции, приветливо улыбнулся нам и так под козырек взял нянюшке, что ей очень понравилось, кивнул мне и, продолжая разговор с матерью, сказал: "Конечно, конечно. Мы сейчас же вас посадим в ближайший воинский состав, который пойдет на Ямбург. Вероятно, он будет через час-полтора. Не могу вам сказать, когда он придет в Ямбург, но во всяком случае до вечера. Так как только воинские составы ходят на этой линии, то, вероятно, вы встретите вашего мужа. Если он выедет из Ямбурга, то на станции Выра, имейте в виду, поезда могут скреститься". Он позвал двоих солдат, и те помогли перенести наши вещи, помогли нянюшке с Аркадиком войти в вагон, вагон был красный, товарный, но вход был по ступенькам на платформу, которая примыкала к вагону и на которой был вагонный тормоз. Мы вошли все вместе. Мне все очень понравилось. Поручик был любезен и сказал: "Может быть, вас чем-нибудь угостить? У нас сейчас будет готов обед, очень ранний обед, для солдат. Может, вы хотите покушать?" Няня сразу же выразила готовность попробовать армейскую пищу, и нам принесли в двух котелках вкусные щи и вкуснейшего ржаного хлеба армейской выпечки. И затем - мясо с кашей. Нам очень все понравилось, особенно неожиданная любезность армии. Поручик сказал, что мы первые в этом районе гражданские лица, которые не хотят встретиться с советскими властями, он понимает, что мы делаем мудрый шаг, не желая себя подвергать испытаниям судьбы. Потом мы увидели, что пришла группа пленных под конвоем. Их тоже погрузили в один из вагонов нашего состава. Причем с ними сел один из солдат с ружьем, и оказалось, что их отправляют в Ямбург, чтобы их вооружить, может быть, отчасти переодеть и направить в белые части, если они хотят

продолжать военную службу. Все время продолжалась стрельба. Приблизительно часов в 11 наш поезд тронулся. Я никогда раньше в Ямбургском направлении не ездил. Поезд шел медленно, и мы вошли в район станции Выра. Это была не такая важная станция, как узловое Волосово. Выра была в верстах 20 к Западу. Мы увидели, что там стоит тот самый бронепоезд, который захватил капитан Данилов, и еще общевоинский состав, и вся платформа полна офицеров. Наш состав прошел мимо платформы и остановился немного дальше. В центре платформы я увидел гигантского роста генерала, оказавшегося генералом Родзянко, в то время командующим армией. Позднее он подчинился Юденичу, который был еще в Гельсинфорсе, в Финляндии. По-видимому, с ним ехали союзные офицеры, в чужих формах, вероятно, английских. Много - не меньше 50 - офицеров, которые, очевидно, составляли штаб генерала Родзянко и почетную свиту этих союзных визитеров, которые посещали этот участок фронта. Поразил меня блеск форм: здесь были и свитские офицеры в замечательных мундирах, и казачьи, и морские офицеры и, по-видимому, разных полков, гвардейских и кавалерийских. Все были в парадных мундирах. Посередине стоял почетный караул из 20 солдат высокого роста, одетых в прекрасно подобранные гимнастерки. Они отлично держали "на караул", и у них были фуражки с синим околышем, с романовскими кокардами. Очень боевой, торжественный и немного даже залихватский вид был у этой роты. До известной степени, гвардейская часть Белой армии. Я на всю жизнь сохранил это последнее яркое видение императорской армии, мундиров, блеска, солдаты тянулись, унтер-офицеры стояли картинно, отдавали честь, и все было очень торжественно. Поезд наш, простояв минут пять, не больше, ушел, оставив блестящее видение позади.

Мы тащились по довольно однообразному пути. Все рощеобразные леса. Место довольно болотистое. Деревни не подходят близко к железнодорожной насыпи. Несколько станций, и на них не очень много военных и мало публики. Раз мы встретили стоящий воинский состав. Мама расспрашивала кондуктора, есть ли там пассажиры, но их не оказалось, так что отца там не было. Поезд, видимо, вез продовольствие на фронт, на нем были лишь члены интендантства, 5-6 закрытых вагонов. Только один вагон классный, где сидели все эти интенданты, которые любезно объяснили матери, что штатских в поезде нет. Часам к 8 вечера стали подходить к Ямбургу. После Волосова это было первое депо, где паровозы могли ночевать под кровлей или чиниться, и стояло много составов - и пассажирские, и красные товарные вагоны. За 2-3 версты от главной платформы виднелись сплошные линии вагонов, как будто совсем безлюдных. Наконец, мы стали проходить мимо главной платформы, на которой, мы видели, гуляет публика и много военных. И вдруг маленькая Танечка закричала: "Мама, смотри! Папа, папа!" Она была очень быстрая, сообразительная, быстроглазая, как говорится. Признаюсь, что я

отца в первый момент не увидел, только когда она закричала, я сообразил, что, видимо, он стоит на платформе. Подпрыгивая на стрелках, наш поезд прошел мимо. Танечка кричала: "Папа, папа!" Состав остановился, и тут мы увидели, что действительно бежит папа. Оказывается, он предполагал уехать. Через час или два часа должен был идти состав на Волосово. Он предполагал погрузиться на этот состав и поехать до Волосова или до Выры и там пройти лесами в Извары. Он ничего не знал о сокращении фронта, об этом ни звука не было известно в Ямбурге. Если бы это совершилось, то он попал бы, вероятно, в большую передрягу и мог легко погибнуть. Нашей семье не суждено было в тот момент разделиться, и нам дана была возможность встретиться с нашим дорогим отцом. Львиная доля заслуги приходилась тут на Танечку, которая углядела своими детскими глазками обожаемого отца. Она обожала всех, но особенно отца, потому что была певунья и отец был певун, так что он возлагал на нее большие надежды. Она распевала с утра до вечера и сразу легко усваивала разные песни. Могла точно воспроизвести любой мотив.

Так мы оказались в Ямбурге. И тут события стали развертываться очень быстро. Отец, узнав от нас об отходе Белой армии из Извар, сейчас же отправился в центр города (мы оставались на вокзале) и связался с теми лицами, с которыми уже был в контакте, - прежде всего с коллегами своего брата, Михаила Николаевича Андреева, который долго был в Ямбурге сначала директором высше-начального училища, а потом инспектором училищ и который летом 1917 г. получил повышение и был переведен в Москву. Дядя Миша был очень популярен в Ямбурге, как мы потом убедились. Ямбург небольшой город, и люди друг друга хорошо знали. Михаил Николаевич был чрезвычайно музыкальный человек, долгие годы дирижировал хором в местном соборе, затем, как и все Андреевы, как и мой отец, отлично поставил в школе хоровое пение, так что его многие знали. Кроме того, он был человек добрый и внимательный к людям, и к нему все хорошо относились. Мне говорили: "Ах, ты племянник Михаила Николаевича. Как же, мы твоего дядю очень хорошо помним..." А он уж 2 года как был в Москве. И отцу тоже: "Это вы брат Михаила Николаевича, ну как же! Как мы рады! Прекрасный человек!" И главное, его преемник, новый директор училища и инспектор начальных школ, жил в той же самой квартире, где дядя Миша с семьей. У него была жена Ольга Андреевна, докторша по профессии, и двое детей: Нина, старше меня, и Глеб, мой ровесник. И Васильев, заместитель дяди Миши, узнав, что целое семейство приехало, а он был одинокий человек, или его семья была в отъезде - предоставил всю казенную квартиру в наше распоряжение. Высшее начальное училище помещалось на углу Кладбищенской улицы. Громадный сад, очень большое двухэтажное здание, почти пустое, потому что учебный год кончился. Уже при нас несколько классов заняли военные. Мы прожили там почти 3 недели, и прожили очень хорошо. Дядины друзья

активно нам помогали, вплоть до того, что дали подушки, одеяла, даже спальные кресла. Хорошо было налажено питание. Я обычно отправлялся за молоком и стоял в очереди, потому что молока было мало и его выдавали по карточкам, которые выдавались в молочной же. Иногда приходилось стоять за свежим хлебом, не потому что его не было, а потому, что его быстро разбирали, ибо он был очень вкусный.

Комендант Ямбурга полковник Бибиков отнесся к моему отцу чрезвычайно внимательно, если бы фронт не откатился, ему дали бы продовольствие для школы. Но теперь отец и вся наша семья оказались, по словам Бибикова, первыми гражданскими беженцами из-под Гатчины. Нам давали банки с копченым салом, которое казалось нам вкусным после голодухи 1918-19 гг., и всякие другие продукты. Молоко и хлеб стоили пустяки, квартира была бесплатная. Как отец выразился, мы попали вдруг на армейское довольствие и на отдых в добрую память о дяде Мише. Все мы были здоровы. У нас в гостях собиралась всевозможная публика. Те, кто, как и мы, отступили вместе с Белой армией, множество офицеров из бывших студентов или - реже - профессиональные военные, которые охотно приходили к нам на чай. Няня делала обычно на скорую руку оладьи с разными вареньями. Царила атмосфера беспечности. Были молодые сестры милосердия, молодые учительницы, в том числе Екатерина Константиновна Зелькович из деревни близ Волосова, которую мы давно знали и которая теперь с нами подружилась. Создалось свое общество, были оживленные беседы, дискуссии. Как раз появилась брошюра Леонида Андреева "СОС! Спасите наши души! " - обращение к Западу. Ее в целях пропаганды издала Северо-Западная армия, на белой обертке русский трехцветный флаг. Все восхищались тем, что Леонид Андреев поддерживает борьбу Белой армии с большевизмом, относительно которого иллюзий среди наших знакомых не было. Северный корпус генерала Родзянко вливался в объединение генерала Юденича, который приехал из Гельсинфорса. Он был героем Эрзерума, героем Кавказского фронта, имел репутацию боевого генерала. Ему предстояло переформировать армию и повести ее на Петроград.

Спустя несколько дней после нашего приезда, 13 июня произошло большое событие: форт Красная Горка сдался белым и несколько тысяч его защитников, матросов и солдат, перешли на сторону Белой армии. Огромные колонны пришли с Красной Горки. Шли они с песнями, но не по-военному, были страшно утомлены. По-видимому, не очень хорошо питались дорогой. Они прошли прямо к реке Луге и мылись. Потом в Луге 2 или 3 дня было совершенно невозможно купаться. Тогда же прибыл офицерский корпус, который весь состоял из офицеров под командованием светлейшего князя Ливена. Я прочел об их приезде в местных газетах, и утром пошел на вокзал. Но там ничего интересного не было, потому что они разгружались не на главных платформах, а на боковых. Зато когда они входили в город,

надо было занять место, потому что стояла масса зрителей, которые приветствовали их. Впереди шел полковой оркестр, потом, рота за ротой, ливенцы. Не знаю, сколько их было, но поражало, что роты были сплошь офицерского состава. Казалось, что таким частям высокой военной подготовки не сможет противостоять никакая Красная армия. Разместились они в старых казармах павловских времен на центральной площади. Перед казармами стояли трофейные пушки французов времен Отечественной войны. Все казармы были заняты военными, и город жил полной жизнью. А город был очаровательный!

ЭСТОНИЯ

Ямбург. Брагино. Смерть Аркадика.

ЯМ, ЯМЫ. По-видимому, отсюда начиналась знаменитая почтовая сеть древнерусской почты. "Ям" означало по-татарски почтовую станцию и было лошадиной базой, но, кроме того, "Ям", наверно, потому, что помещался между небольшими холмами, около берега Луги, как бы в яме. (Это мои домыслы тогдашнего времени.) Этот город был перепланирован при Петре, который превратил его в Ямбург и построил шоссе. Оно шло от Риги к Ревелю, на Нарву, а от Нарвы на Санкт-Петербург. Позднее появилась железнодорожная сеть в тех же направлениях. Сам город был разнокалиберным, но очарование его заключалось в множестве домиков, окруженных чудесными садиками, а иногда и большими садами, где, кстати сказать, было так приятно играть на газонах в крокет. Мы играли часами. Мама играла замечательно и часто бывала "разбойником". Так назывался ведущий член команды, который набирал максимум очков и не был связан очередью. Отличный "Темный сад" был на берегу Луги и на холмах. Тенистые, громадные деревья, много скамеек, уголков, где постоянно гуляли влюбленные парочки, - подлинная поэзия. В это время, в июне, весь город наполняла цветущая черемуха и сирень. Такое благоухание, такая прелесть! Так у меня и остался Ямбург на всю жизнь в памяти в гроздьях сирени и черемухи. Посреди города был собор. Когда мы приехали, рядом с ним стояла виселица, на которой, по рассказам местных жителей, был повешен некий генерал царского времени, Николаев, который работал с красногвардейскими частями (как их тогда называли), потом был взят в плен, судим офицерским судом и повешен для устрашения других посреди города, что очень осуждалось частью офицерства и широкой публикой, которая предпочитала, чтобы всех судили по законам Российского государства. Так жестокая современность врывалась в уездное благополучие и очарование городка. Казни иногда производились, но на кладбище. Мы порой гуляли там, кладбище было недалеко от нашей школы, и раза два попали на похороны офицеров в кладбищенской церкви. Я нашел остатки веревок на деревьях, а я достаточно начитался в то время по истории Пугачевского бунта, чтобы сразу понять, что это следы повешений. Хоронили привезенных с фронта убитых офицеров, шествие шло под звуки похоронного марша. Около могилы после отпевания, после винтовочного салюта, последнего приветствия товарищам, исполнялся "Коль славен наш Господь в Сионе", неофициальный гимн в таких церемониях военной печали. Затем оттуда по традиции всех армий мира шли с веселыми маршами, старались притупить впечатление от гибели молодых людей бойкими звуками, сулящими торжество победы. На меня всегда производило сильное впечатление, как везли на катафалках, а потом несли на руках

гробы, где на верхней доске привязаны были офицерские фуражки с романовскими кокардами. "Белой Гвардии" Михаила Булгакова мы, конечно, еще не знали, но когда я читал ее позднее, то всегда вспоминал эти ямбургские переживания. Мне нравилась местная манера прогуливаться по вечерам, в хорошую погоду с центральных в боковые улицы. Почти у каждого дома лавочки, на лавочке сидит хозяин дома с приятелями. И вас приглашают: "Посидите, отдохните, поговорим". Хотя я был молод, я очень интересовался политическими вопросами. Всех смущало, что на Западном фронте уже произошло перемирие, готовятся переговоры в Версале, а потому наши союзники больше не интересуются нами и будут поддерживать те силы, которые расщепляют Россию. Этот мотив часто звучал именно в этих разговорах на городских лавочках, под душистой сиренью. Участвовали в них люди самые разнообразные: был смотритель тюрьмы, очень симпатичный пожилой человек, вечером одетый в гражданский костюм, и певцы из церковного хора, и рабочие с местных фабрик, где выделывали незамысловатые продукты, и библиотекарь. Все сочувствовали Белой армии и страшная беспокоились за нее.

В Ямбурге не хватало молока, и иногда мы с отцом ходили на хутора, молоко нужно было и для матери, и для Аркадика, и Танечка тоже хотела пить, да и я не отказывался. Я тогда не знал о столыпинских реформах и не понимал их подоплеки, но позднее мои детские впечатления вдруг дали мне материал, иллюстрирующий его теории. Меня уже тогда поразили две вещи. Первое, что если это деревня русская, которая живет миром, вместе, то она обычно бедна, во всяком случае, не зажиточна. Она построена хуже хуторов, на которых жили работники. А те крестьяне, которые назывались хуторяне, имели отдельные, иногда собственные наделы, дома, службы и жили отдельно. Иногда такой хутор стоял в 2-3 верстах от соседа. Во-вторых, хутора всегда казались более зажиточными. Это произвело на меня сильное впечатление, и я понял, что единоличные хозяйства для крестьянина выгоднее. На хуторах всегда было лишнее молоко, которое с удовольствием продавали. И было два интересных момента. Во время успехов белых хуторяне были очень милы и разговаривали всегда по-русски. Когда положение на фронтах менялось, хозяева вообще переставали с вами разговаривать, а если говорили, то на своем наречии. Это было очень характерно. Отец сразу говорил, что "значит, неудача у белых, о которой мы еще не знаем, раз сегодня со мной говорили только по-ингерманландски". (Эти колебания настроений особенно поражали отца позднее, когда мы попали в Эстонию.) Когда вечерами вдруг стала слышна канонада, ингерманландцы подняли цены на молоко втрое и перестали его продавать, а только меняли на вещи. "Предвестие коммунизма: возвращение к натуральному хозяйству",- острил мой неунывающий отец.

В Ямбурге у нас завелись друзья, которые создавали атмосферу дома. Пребывание наше там было в известной степени празднично. Каждый

день мы ели замечательные ягоды. Началось с полевой и лесной земляники, потом пошла клубника. Почти у всех были огороды и сады и, по-видимому, ягоду раньше растили столько, чтобы продавать на вывоз. Но теперь продавать или вывозить было некуда, поэтому ягоды с удовольствием продавали заезжим вроде нас. Потом появилась красная и даже черная смородина, а в последние дни нашего пребывания в Ямбурге - крыжовник. "На миру и смерть красна", денег у отца и матери пока было, очевидно, достаточно, людей в Ямбурге было много, и всем хотелось в будущем лучшего.

Река Луга очень украшала Ямбург. По странному недосмотру или небрежности отцов города набережной не существовало. Город кончался на восточном берегу, куда в свое время шел железнодорожный мост, который был взорван, когда в Эстонии появились немцы и возникла опасность, что они двинутся на Петроград. Так как река была очень быстрая, это производило сильное впечатление. Белые, когда пришли, моментально начали строить мост, по которому проложили железнодорожные пути, и поезда двинулись. Мост все время охраняли часовые. Почтовый шестичасовой поезд из Нарвы привозил русские газеты, издававшиеся в Ревеле и в Нарве. Позднее газеты стали издаваться и в Риге, и приходила газета из Хельсинки через Ревель. Выше и ниже моста было бурное течение, поэтому там обычно не купались, там только купали лошадей. Когда приходили обозы, батареи, то распрягали лошадей, ездовые тут же раздевались и верхом на лошадях вкатывали в воду. А мы ходили купаться выше моста, где река была уже, но течение было сильное. Там были отличные берега, и песчаные, и покрытые травой. Обычно перед ужином туда ходили большими группами офицеры. Тогда мало были распространены купальные костюмы, поэтому мужчины и женщины обычно купались отдельно. Все это вместе взятое создавало впечатление праздника. Родители все время дома, занимаются с нами, мы встречаемся с приятными людьми, все время приходят гости и постоянно по вечерам в Темном саду играет полковой оркестр. Был даже кинематограф, но, по-моему, я туда ни разу не попал. Слишком жарко было. Впечатление праздничности оставалось, несмотря на то, что время от времени были похороны. К счастью, полковник Бибиков приказал снести виселицу. Со второй половины июня по вечерам все слышнее и слышнее стала артиллерийская канонада. Дело было в том, что после взятия 13 июня Красной Горки Троцкий, защищавший Петроград, подвез туда резервы, и началось постепенное контрнаступление при поддержке морских орудий. Но нужно отдать справедливость, ни разу Северный корпус генерала Родзянко, тогда еще так называвшийся, не потерпел ни одного прямого поражения. Он оседал назад, как нам тогда сказал поручик, "выравнивается линия фронта". При таком выравнивании к концу июня - началу июля Ямбург был сдан. Но нас там уже не было. В самом конце июня полковник Бибиков вызвал отца и дал ему письмо, где говорилось, что Ефрем Николаевич Андреев и его семья направляются в район города Пскова. И мы выехали на одном из военных транспортов. Ехали довольно долго,

главным образом ночью. Все было хорошо организовано, потому что поезд шел довольно быстро. Нас повезли сначала под Нарву, а на следующий день перебросили в товарных вагонах под Гдов. Высадили нас в 4 верстах от Гдова около села Брагино. Прежде Гдовский уезд был самым южным в Санкт-Петербургской губернии, но по летописям и из истории Ливонской войны известно, что в былое время Гдов принадлежал к Псковскому комплексу. Туда и забросила нас судьба в июле 1919 г. Нам суждено было прожить 4 месяца в богатейшей деревне Брагино: избы нередко двухэтажные, частично каменные, изобилие скота и домашней птицы и удивительные фруктовые сады, полные отличнейших и разнообразных сортов яблонь, груш, слив и вишен деревьев: до революции брагинцы отправляли тысячи ящиков фруктов в Псков и Санкт-Петербург. По праздникам одевались здесь по-городскому, у молодежи в каждом доме гармоники и мандолины, пока был чай, всюду раздували самовары. Нам нравилось топленое молоко в русских печах и ржаной хлеб с корочкой. Ели все великолепно, "Северной Коммуне такое изобилие и во сне не мерещилось",- таково было мнение всех беженцев.

Деревня Брагино вовсе не была приспособлена к принятию беженцев. Оказалось, что староста вообще не знал о том, что будут присылать людей и что им надо отводить помещения. "Чего вы? - говорил.- Мы не хотим ничаво. Не знаем ничаво!" Но благодаря умению отца разговаривать с крестьянами, дело наладилось, и он сказал, что есть, может быть, дворы с "чистыми избами", как он выражался, то есть, не занятые семьей. Отец посетил эти избы и остановился на дворе, где были две избы: в одной жили хозяин с женой, 2 их дочери и 2 сына, а другая была так называемая чистая изба, в которой стояла запасная постель жены и была русская печка, где иногда пекли. Были сделаны оговорки, что иногда хозяин может отдыхать в этом помещении. Зачем это нужно было, я до сих пор не понимаю и не помню, чтобы там когда-нибудь кто-нибудь спал. Во всяком случае постель мы не занимали. В русской печке жена действительно несколько раз пекла хлеб, пироги и даже с наступлением холодов по предложению моей матери стала готовить каждый день - это очень согревало помещение. Нужно сказать, что удобства были весьма относительные. Меня поразило, что во всем этом богатом и большом доме (рядом шли хлева, где было много скота, и огромный сад с великолепными яблонями) не было, например, уборной. Я впервые с этим столкнулся и был озадачен.

Спать можно было устроиться на больших, широких лавках. Наши друзья из Ямбурга настояли на том, чтобы мы взяли с собой одеяла и подушки. Они были правы, потому что здесь ничего подобного не было. В июле было очень тепло, окна открывали настежь. Окна эти были маленькие, и вообще вся бытовая сторона избы и деревни меня крайне поразила. Я был человек городской цивилизации, а тут впервые не два дня, как бывало раньше, а больше четырех месяцев мы должны были так жить. В саду была

баня, в которую мы тоже ходили. Можно было мыться, принося хорошую ключевую воду из колодца. Каждый день мама купала нас в корыте. Еда тоже была неплохой, нам давали молоко, масло и яйца. Иногда у хозяев можно было получить мясо, или в деревне, или же привезти из Гдова. Неудовлетворительна была только антисанитария, начались эпидемии, и первая была дизентерия. Прежде чем мы заболели дизентерией, мы совершили несколько больших прогулок с отцом и матерью. Посмотрели старинный город Гдов и его Кремль. Городок был прелестный, совершенно иной, чем Ямбург, но тоже полный садов и провинциального очарования. Мы проделали большое путешествие в несколько верст на берег Чудского озера, и оно произвело на меня колоссальное впечатление. Чудское озеро в этом месте казалось бескрайним морем. Оно было суровым: ветер, барашки на воде. Мы встретили рыбаков, которые охотно продавали рыбу. Мы привезли много рыбы для себя и подарили хозяевам. Но после этого началась дизентерия, от которой очень быстро умер мой младший брат Аркадик. Этот удар страшно поразил всю семью. Он был милый мальчик, ему был год и три месяца, очень добрый, симпатичный, уже бегавший вовсю, судя по всему, музыкальный. Назвали его в честь второго Новоторжского чудотворца преподобного Аркадия. И вдруг этот очаровательный голубоглазый мальчик умер.

И высокая рожь колыхалася, И пестрели в долине цветы, Птичка Божья на гроб опускалася, И чирикнув, летела в кусты.

Эти слова я вспоминал из песни Рождества 1916 года, когда мы с отцом унесли гробик с телом "Младенца Аркадия" в Гдов и похоронили на кладбище около Гдовского Кремля. "Господня земля" - всюду.

Судьба была жестока. Бог, может быть, знал, что впереди нам предстоит еще много всяких терзаний. Аркадик умер, а тут заболели дизентерией я и моя мать. Мы тоже сильно болели, но выздоровели. Нашелся замечательный фельдшер Вильгельм Вильгельмович Вульд. Большой чудак! Он был немецкого происхождения, верил не только в формальную медицину, но и в разные травы, и потому, когда мы с ним встретились, уже, к сожалению, после смерти Аркадика, он нас стал лечить от по-своему. Задал нам голодовку, но нам и есть-то не тогда не хотелось. Он нас поправлял медленно, давал настои трав и всевозможные овощи. Он объяснил, что у нас произошло полное отравление организма и теперь мы должны быть очень довольны, потому что обновили свой организм. Но, конечно, никакие объяснения не могли сгладить удар от смерти Аркадика.

Это была первая смерть, которая произошла на моих глазах. Странным образом я не помню деталей, связанных со смертью Аркадика, но отлично помню, как долгое время представлялось нереальным, что его больше нет на свете. Танечка и я были подавлены и старались в то же время не показать, насколько мы расстроены, родителям, которые тоже страдали и, вероятно, еще больше нас. Однако болезнь отвлекла нас от мыслей о смерти

Аркадика. Я даже подумал, что Бог так устраивает, что наши заботы о самих себе отодвинули нашу печаль. Мы, наоборот, радовались, когда я и мама постепенно выздоровели под руководством Вильгельма Вильгельмовича.

К середине августа, когда мы поправились, выяснилось, что у отца недостаточно денег и что надо зарабатывать. Он устроился на работу в Гдовскую Земскую управу, но находил чисто канцелярскую работу скучной. Он привык работать с людьми, но такой работы не было. Зато он получал какое-то содержание. У нас больше не было пайка от армии, как в Ямбурге, и за все продукты нужно было платить. К тому же надо было платить за избу, которую мы занимали, ибо, хотя староста и сказал, что можно не платить, родители считали, что если они будут жить у Федора Ивановича даром, то он нас возненавидит. Они были мудрые, мои родители. И хозяева избы, в которой мы жили, никак не могли считать, что мы их эксплуатируем или въехали насильно, потому что это было обоюдное соглашение и они получали за это определенную плату.

Жизнь в деревне дала нам с сестрой много впечатлений. У сестрицы была подружка, младшая дочь хозяев, Манечка. Они всегда что-то делали вместе, играли и в один прекрасный день в восторге прибежали крича: "Мама! Мама! Ты знаешь, мимо шли солдаты, а мы сидели на крыльце и пели. Солдаты посмотрели на нас и сказали: "Смотри, какие красавицы!" Тане было в это время всего 7 лет, и уже, очевидно, развивалась склонность к кокетству. Лично я впервые наблюдал вечерние деревенские гулянья, когда пели песни, ходили целые табуны парней и девушек. Очень хорошо пели. Отличные голоса и интересный репертуар. Много было песенок, связанных с войной, они восхваляли доблесть русского солдата и порочили немцев. Это было народное творчество. Мало мы слышали частушек. Район был не фабричный. Мы наблюдали также очень быструю постройку избы. Кто-то решил жениться, сговорились его и ее родственники и построили в два дня превосходную новую избу, даже с красивой деревянной резьбой, которую быстро делали по трафарету ножом и стамеской. Мой отец просто засмотрелся, стоял часами и сказал, что это замечательное мастерство безымянных, в общем, мастеров, которые делали это шутя и играя. Попали мы раз, мама, отец и я (няня тоже была приглашена), на похороны и поминки. Сам обед меня поразил длиной и не очень вкусной едой. Пироги из ржаного теста были слишком толстые (слишком мало начинки) и требовали больше масла. Крестьяне очень много пили, собственное пиво и много водки, так что эта еда, возможно, нужна была, чтобы приглушить действие алкоголя. Интересны были плакальщицы. Я впервые наблюдал воочию эту народную традицию оплакивать близких. Это искусство - рыдать определенным образом, повышая голос и восславляя разные качества покойника. Деревня действительно давала очень много впечатлений. Но вся она была пронизана современными мотивами, все

зависело от успехов на фронтах: были успехи у белых - и наше положение улучшалось, нас всюду звали, присылали всякую еду, ватрушки, особые яблоки. А если у белых были неудачи, начинали ползти разные слухи, вокруг говорили: "Вот погодите, ужо, вам всем покажут! Прошли ваши денечки!" Моя мать умела разговаривать на эти темы с крестьянами и многое объясняла им совершенно спокойно, не кипятясь. Но очень не любила такие разговоры нянюшка, довольно резко осаживала и говорила, что по сути дела это неверно, "Кто это вам голову морочит? Такие глупости говоришь, посмотри как надо жить". Она им приводила в пример себя и собственную семью и крестьянский быт, который, конечно, был против коммунистического духа. За эти несколько месяцев я многое понял в деревенской жизни, понял именно будничную жизнь, по существу она была та же, что и у нас, только протекала в более натуральной форме, что, как я потом узнал, и восхищало Толстого.

Вдруг в сентябре была объявлена мобилизация всех мужчин, в том числе и той категории, к которой относился мой отец, - ратников второго ополчения. Раньше он не должен был идти на военную службу как педагог исправительно-ремесленного приюта, но поскольку в школе он больше не работал, то пошел на прием в присутствие. Мама обладала даром видеть иногда вещие сны, и здесь, по-видимому, на нервной почве - без отца наша жизнь стала бы гораздо труднее - она увидела сон. Будто бы ворота, а за ними маленькая старинная церковка. В ней замечательный образ Спаса Нерукотворного, она встает перед ним на колени, молится (мама молилась каждую ночь, очень горячо, прося Бога устроить все к общему добру, как она выражалась) и чувствует, что ее молитвы услышаны и что все так и будет - к общему добру, и отца не мобилизуют. Она проснулась и рассказала это отцу, и отец, который всегда скептически относился к ее пророческому, или "ведьмическому", как он шутливо выражался, дару, сказал: "Знаешь, лучше поспи". Наутро он пошел в воинское присутствие в Гдове, где собралось много народу на лошадях с подводами, бабы голосят, огорченные, что мужиков берут в армию. А мать пошла погулять, решив, что через час вернется к присутствию. Вдруг она увидела Кремль, в котором ни разу не была со смерти Аркадика. Она вошла и, к своему удивлению, увидела церковь, которая ей снилась. А в ней, теперь уже наяву увидела огромную икону Нерукотворного Спаса и бросилась перед ним на колени и молилась, и вдруг поняла, что то, что она видела во сне, было предсказанием и оно исполнится. Мать горячо поцеловала образ, вышла оттуда и побежала к воинскому присутствию, как вдруг увидела, что оттуда идет ее муж, как всегда, легкой своей походкой, улыбается и говорит, что все в порядке. И рассказывает, что они, посмотрев на него, сказали: "Знаете, вы уж, пожалуйста, сидите во втором ополчении, потому что у вас и зубы подгуляли, вон у вас искусственные челюсти, и зрение не первоклассное. Нечего нам таких брать в армию. Если бы вы были офицер, мы бы вас

взяли, а так, оставайтесь здесь". Мама в свою очередь рассказала ему о своей находке, и они вдвоем пошли в эту церковку и горячо поблагодарили Бога, за то что Он не разлучил их в этот трудный для семьи момент.

В октябре началось наступление генерала Юденича. Началось блестяще, и в газетах, которых выходило немало, писали о нем первоклассные журналисты, некоторых из них я позднее встречал в эмигрантской прессе, другие писали в "Накануне" и стали "сменовеховцами" и вернулись позднее в Советский Союз. В этот момент армия Юденича получила много английского обмундирования. Солдаты получили английские шинели, их кормили великолепно. А главное, союзники прислали артиллерию, в которой нуждалась армия, и какое-то количество танков. Танки произвели грандиозное впечатление на красных, у которых никаких танков тогда не было, и, когда танки первый раз вошли в бой, красные бежали во всю прыть. Они бежали и сдавались, бежали и сдавались... Была взята Гатчина, было взято Царское Село, Пулково.

Отец получил командировку и уехал в Извары посмотреть, что там случилось. Он пробыл в Изварах всего один день, так как 3 или 4 дня ушли на поездку - ехать надо было воинским транспортом и получать для этого разные разрешения. Он привез оттуда очень грустные известия. Оказалось, что школа закрыта. Остатки учеников и учителей переведены в Петроград. Дома отчасти пустовали, отчасти были заняты красногвардейцами, и все было загажено, растрепано, разбито. К тому же еще до прихода белых некоторые вещи увезли в недостроенную церковь. Церковь строилась в отделении 3, громадный блок. Туда спрятали и наши вещи, включая большой сундук, который у нас был от деда, Александра Ефимовича Квашенинникова. В нем лежала папина хорьковая шуба и бобровая шапка, пересыпанные нафталином, разные ценные вещи матери, вещи из ее приданого. Все это положили в склеп и замуровали под церковью. Кто-то этот процесс замуровки знал, и когда белые ушли и пришли красные, донес. Стену размуровали, все оттуда взяли и разделили между бедняками-крестьянами. Опять действовали комитеты бедноты. В нашей квартире тоже все было расхищено. Отец был очень расстроен пропажей его чудной библиотеки. Все было разбито и сломано, так что он сказал, что очевидно, придется жизнь устраивать по-новому. Школа пока в Петрограде, и чтобы ее перевести обратно, придется начинать с большого ремонта всех помещений, потому что они в ужасном состоянии оставлены теми воинскими частями, которые стояли там, передвигаясь к фронту или отступая. Это было его последнее посещение Извар. Мы никогда уже больше туда не вернулись.

Но военное счастие - "премены жребия земного" (по выражению Пушкина). Октябрьское наступление, которое шло великолепно и, казалось, обещало взятие Петербурга, вдруг стало замирать и совсем остановилось. Постоянного гарнизона в Брагино не было, но чередовались маленькие

отряды, обычно взвод, не больше, кавалеристов или самокатчиков, а иногда и пехотинцев, которые останавливались на ночь-две в деревне, а потом уходили в направлении Пскова, неизвестно зачем. Но в один прекрасный день мы увидели, что движется колоссальная колонна войск. Они пришли с той самой железнодорожной ветки, которой ехали мы, и разгружались там же, где и мы. Оттуда же пришли целые вагоны, по крайней мере, тысячи две или больше, солдат в английских шинелях, выгружены были легкая артиллерия и пулеметы. Ясно стало, что нехорошо на фронте и что произошел либо прорыв, либо обход фронта около Луги. К тому же Псков якобы готов был сдаться или сдался Булак-Балаховичу. Он был в то время полупартизанский начальник кавалерийской бригады, а потом командовал полком имени Балаховича. И действительно, через несколько часов после прихода войск мой отец, который был на службе, пришел и сказал, что надо немедленно уходить, так как Гдов эвакуируется, и что ему даны соответствующие бумаги, чтобы он мог погрузиться на станции Гдов со всей семьей в направлении на Нарву, но это надо делать очень быстро. Мы расцеловались с крестьянами, которые очень сожалели, что мы уходим. Я всегда удивлялся, как быстро и хорошо, несмотря на разный социальный и культурный уровень, складывались человеческие отношения. Крестьяне страшно любили мою мать, обожали няню, хорошо относились к нам детям, уважали и гордились моим отцом. Нам надавали огромное количество яблок и сейчас же привели лошадей, чтобы мы ехали в Гдов на подводах. Приехали на станцию - там царил невероятный хаос. В конце концов, отцу удалось добиться в комендатуре справки, из которой выяснилось, что поезд, нам предназначенный, идет только на следующий день в 11 или в 12 часов утра, так что раньше 10 утра нечего и приходить на станцию. Отец говорит: "Где же нам ночевать?" Комендант сказал, что сейчас же даст нам наряд. Посмотрел в какие-то списки, выписал название улицы и говорит: "Вот, возьмите ключи от этой квартиры. Владельцев нету, она уже под контролем комендатуры, и вы можете там расположиться". Мы опять к нашему вознице, и он повез нас на эту квартиру. Действительно, дом стоял пустой, незапертый. Мы вошли, и оказалось, что дом прекрасный, теплый, и, видимо, люди так быстро уехали, что даже стол не убран. В кухне на столе осталась еда, в плите все было еще теплым. Отец даже усомнился, вдруг владельцы вернутся. Во всяком случае, мы решили здесь расположиться. Нянюшка сейчас же стала нас кормить, и мы очень удобно провели ночь. В доме была даже ванна. Спали прекрасно. Проблема возникла утром: возница наш уехал обратно в Брагино. Другого возницу не нашли. Нашли тележку, на которую отец положил вещи, и я помогал ее толкать. Танечку вели за руку, и мы отправились на станцию, которая была верстах в трех от центра города. Это было довольно неприятно. Был ноябрь, уже дул холодный ветер. Пришлось довольно долго идти по открытому месту, причем народу шло видимо-невидимо. Время от времени

проносились грузовики, полные солдат или военных припасов. В конце концов, мы добрались до станции и нашли земскую управу, которая тоже прибыла, и поезд, которым мы должны были уехать. Опять мы погрузились в деревянные красные товарные вагоны. Разница с предыдущими поездками была в том, что у нас были две платформы, на которых стояли орудия без чехлов, приготовленные для стрельбы, и на этих платформах было полно военных. Из этого мы заключили, что никто не знает, где прорыв, и наша поездка носила характер некоторой авантюры. Раннее утро 6 ноября было холодным и пасмурным. Нависавшие тучи угрожали снегопадом. Наш бесконечно длинный состав тащили 3 паровоза, один впереди, другой в середине и третий в конце поезда. Вдруг мы остановились как бы в чистом поле, но как раз перед платформой с трехдюймовкой и тяжелым пулеметом. Было нечто вроде деревянного настила перрона и деревянное зданьице станции НИЗЫ. Комендант поезда, капитан, в английской - все еще не привычной глазу - шинели закричал веселым голосом: "Приехали, станция Березайка, кому надо, вылезай-ка!" Всю ночь наш поезд тащился черепашьим ходом в направлении Нарвы. Он был переполнен эвакуируемыми, а охранял этот состав жизнерадостный капитан и его сводная команда, человек 20, которые вслед за командиром соскочили с платформы, и многие с видимым наслаждением закурили: ночью в поезде курение было запрещено.

"Какая грубая символика названий в новейшей русской истории: город Могилев, станция Дно, город Орел, а здесь - Низы",- пробормотал мой отец. Я понял, что он имел в виду Ставку, отречение императора, наивысшее достижение Деникина, а теперь некую низшую точку откатывания Северо-Западной армии. Нам сказали, что дальше поезд не пойдет, потому что Нарва поездов не принимает, и этот состав пойдет обратно в Гдов за другими людьми, а мы, мол, можем вылезти в Низах. Мы вылезли и некоторое время оставались на станции, потому что там было тепло: зал, набитый людьми с поезда. Отец пошел на разведку в деревню Низы, а когда вернулся, сообщил, что можно устроиться в школе, принимают всю семью, именно оттого, что он педагог, школа ничего не может дать поесть, но будет, по крайней мере, тепло, и будет кипяченая вода, так что можно заварить чай. Школа действительно оказалась вполне цивилизованная, уборные и водоснабжение действовали, большое спасение после всех этих неприятностей в деревнях. Постепенно она наполнялась, все время подъезжали или, вернее, подходили беженцы. Нянюшка заболела, ее пришлось уложить на русскую печь, и мама ей давала порошки, нашли и врача, который старался ей помочь. Я, Танечка, отец и мать помещались в одном из классов. Он, как и вся школа, буквально до отказа наполнился людьми. Одна из групп беженцев ввалилась ночью. День был очень холодный, шел снег, так что было очень мокро, и вдруг открылась дверь и вошли, буквально шатаясь, запорошенные снегом родители и 3 или 4

очаровательных девочки. Это было семейство Уральцевых из Царского Села. Позднее мы их снова встретили: они жили и учились в Ревеле, и одна из них, Люда, вышла замуж за Киржакова, брата Маруси Левицкой, жены философа Левицкого. После второй мировой войны они жили в Швеции. Но тогда она была малюсенькой, очень хорошенькой девочкой. Они так устали и измучились, что войдя, просто рухнули на пол, даже и не на пол, а на людей, которые там лежали, так что мои мать и отец подвинули нас и очистили место, куда можно было положить хотя бы девочек. Между прочим, в Гдове с нами происходило не только хорошее. Было, например, столкновение с графом Минихом. Он командовал 4-м Гдовским полком и явился в ту самую квартиру, которую мы заняли по ордеру коменданта станции. Увидав, что мы там сидим, он страшно рассердился и стал кричать на отца и на няню, которая открыла ему дверь, - убирайтесь вон отсюда, это дом для штаба 4-го Гдовского полка. Мать вышла и сказала: "Граф, Вы напрасно повышаете голос. Это не наша инициатива. Нас сюда направили военные власти. Мы первые беженцы из-под Гатчины и путешествуем уже много месяцев вместе с Белой армией. Если хотите, мы Вам освободим часть дома. Но мы не можем сейчас никуда уйти, у нас нет транспорта, и дети уже спят". Миних был не очень высокого роста, с когда-то нафабренными усами, напомнившими мне почему-то усы кайзера, хотя прямого сходства не было. Он замолчал, затем сказал: "Сударыня, я погорячился. Конечно, я найду другое пристанище для штаба". И ушел, козырнув. Как всегда, вопрос был не только в форме мундира, идеологии и прочем, а в людях. Есть люди любезные, помогающие, и есть люди, неприятно себя держащие. Такие элементарные вещи всегда очень болезненно воспринимались окружающими. Несколько дней мы прожили в Низах, как вдруг положение сильно ухудшилось. На улицах был настоящий бивак, прямо картина отступления французской армии в 1812 году - проходили кавалерийские части, как раз полк Булак-Балаховича, на прекрасных лошадях, и они пели: "Булахович Булак, атаман наш лихой! Ты веди нас вперед, все пойдем за тобой!" Со свистом, с бубнами проходил полк. Очень меня это возбудило. Потом я выходил и смотрел: огромное количество обозов, артиллерийские парки, батареи стоят, лошади жуют, костры разложены повсюду, потому что домов в Низах не хватало, хотя это и было большое село. Многие сидели вокруг костров, почему я и вспомнил 1812 год. Ко мне как к малышу все относились очень хорошо. Сидели там разные интересные люди, между прочим, и офицеры, и один из них громко, не стесняясь, говорил другому: "Больше всего меня удивляет, что за всю кампанию ни разу ни по каким большевикам пострелять не удалось. Все время то вперед, то назад, боя никакого не приняли, а между тем как будто отступаем". Меня эта мысль поразила, то же самое говорил мой отец - что Северо-Западная армия, в сущности, ни разу не была побита в бою. Она каждый раз отступала из-за невоенных осложнений на фронте. Теперь

несогласованные действия эстонских и русских частей привели к уходу эстонцев с левого фланга, под Пулковым. Это дало возможность Троцкому начать обходное движение. Шел слух о том, что повинен в отступлении генерал Ветренко, в тот момент командовавший 3-й дивизией. Он якобы непременно хотел войти в Петербург одним из первых и поэтому не исполнил приказ Юденича двигаться от Гатчины на Тосно, чтобы перерезать Николаевскую железную дорогу, соединявшую Петербург с Москвой. Тем самым возможной стала переброска Красной Армии с польского фронта. Правда это или нет, не знаю, но те, кто работал с ним, уверяли, что правда. В том числе Иван Николаевич Тараканов, с которым мы уже очень близко сошлись и позднее опять встретились в Эстонии. Он как раз работал в штабах и уверял, что это похоже на Ветренко. Ветренко в это время, во-первых, страстно увлекся красивой женщиной, своей сначала любовницей, потом женой, бывшей сестрой милосердия, которую везде возил с собой, и, во вторых, он жаждал славы и возможности пограбить под Петроградом, потому и не исполнил приказа. Эта партизанщина вообще характерна для гражданской войны. Теперь мы точно знаем весь трагический расклад карт, в которых "смерть с безумием устроила складчину". Но и тогда люди верно говорили о неумении и высокомерном нежелании генерала Юденича и его штаба признать независимость Финляндии (так и не поддержавшей наступление Северо-Западной армии), а также наладить отношения с эстонцами, о том, что войска мало сотрудничали и дали возможность Бермондту-Авалову начать преступные военные действия против Литвы, отвлекая туда силы от большевистского фронта. К тому же британские танки, столь пугавшие красноармейцев, за неимением запасных частей фактически вышли из строя после 20 октября, а английские эскадроны в Балтийском море интересовались только одним - выводом из строя линейных кораблей русского Балтийского флота.

Между тем мы узнали, что Гдов пал, пути отрезаны, все составы из Низов ушли на Нарву и нам нужно тоже уезжать. Большинство беженцев уже уехали или ушли. Но у нас не было подводы, и няня болела. Не могло быть и речи о том, что мы можем идти 16 или 20 верст к Нарве. Уже был холод и снег. Отец бросался туда-сюда, но никто ничего не говорил, начальства никакого не было. Плюсса еще не замерзла, на этой стороне была цепь белых, а из дальнего леска на другой стороне выходит и залегает другая цепь - красные. С белой стороны пулемет "так-так-так..."- лениво стреляет по красной цепи через речку Плюссу. Я постоял, посмотрел, очень интересно, но, конечно, и опасно. Мой отец, был в полном отчаянии и уже сказал, что, кажется, придется остаться и надеяться, что, может быть, Низы еще и не сдадут, а тут мы останемся хоть в теплом помещении. Раз шел он по улице, и вдруг навстречу ему в полном блеске своего мундира, как всегда, тщательно одетый, подтянутый, побритый полковник Бибиков со своим адъютантом, корнетом Лирой. При виде моего отца он взял под козырек и

говорит: "Господин Андреев, Вам пора уезжать. Здесь уже фронт". На что отец сказал: "Рад бы, да не на чем." - "То есть как нет подводы?" - "Так, нет подводы". Бибиков сказал: "Я сейчас Вам пришлю, - и скомандовал Лире,- Немедленно направить подводу". -"Где вы стоите?" - "В школе". И буквально через 5 минут явился подводчик. В Северо-Западной армии какое-то количество подвод все время работало для нужд военных, их в порядке мобилизации брали из деревень. Из этого резерва Бибиков и выделил нам подводу. Мы как можно теплее укутали няню, положили ее на подводу, уложили все наши вещицы, посадили Танечку, меня, маму и даже отца. И поехали в направлении на Нарву. В дороге была трогательная встреча: навстречу нам все время шли обозы, и вдруг мы видим, едет Константин Григорьевич Вережников. Его назначили капельмейстером военного оркестра при штабе 3-й дивизии. Он страшно обрадовался, увидев нас. Соскочил со своей телеги, задержал на несколько минут весь транспорт. Бросился целовать нас, обнимать. Его семья уже была переброшена в Нарву. Он рассказал нам об Иване Николаевиче Тараканове, который со штабом генерала Ветренко болтался где-то вблизи. Мы обрадовались и продолжили путь на Нарву.

Под Нарвой мы увидели невероятное количество подвод и людей, которые стояли буквально бивуаком вокруг нескольких костров. Дальше шла проволока и эстонская стража. Эстонцы не пускали в Нарву. На этой почве разыгрывались драматические сцены, потому что там скопились десятки тысяч гражданских беженцев и несколько десятков тысяч солдат, а эстонцы не хотели пропускать на эстонскую территорию никого, кроме тех, кто имел базы в Нарве, как интендантские или санитарные части. Тут уже инициатива моих родителей не играла роли. Переговоры шли на высоком уровне, и вело их правительство Юденича. Председатель Лионозов и его министры обламывали местные власти... Двух министров Северо-Западного правительства я потом знал: Богданова и Пешкова. Пешков был учителем истории у нас в Ревельской гимназии, а Богданов работал в Эстонии по просветительной части. Он был журналистом.

Соглашение, в конце концов, состоялось, при условии, как тогда рассказывали, что часть воинских подразделений не уйдет дальше Нарвы, а будет помогать эстонцам, если нужно будет оборонять Нарву от Красной Армии, потому что предполагалось, что она постарается произвести наскок, сломать эстонскую оборону и ворваться в Эстонию.

Мы стояли под Нарвой среди этого табора беженцев и военных подразделений весь остаток дня, всю ночь и весь следующий день часов до трех дня, потому что было еще более или менее светло, когда нас стали пропускать через эстонский контроль. Можно себе представить это состояние утомления, полного отсутствия надежд, непонимания происходящего: почему же эта армия, которая хорошо снабжена, хорошо обучена, настроена против коммунизма и ни разу не потерпела поражения в бою, почему она

отступает? Почему мы должны идти на эстонскую территорию? Почему эстонцы требуют разоружения этой армии? Хотя при этом она должна помогать им отбивать атаки красных. Все эти вопросы громко обсуждались и не находили конкретного ответа. Теперь мы все это понимаем гораздо яснее. Эстонцы боялись ввести на свою территорию такую огромную вооруженную силу, настроенную националистически, причем именно против эстонцев, потому что именно их уходу с левого фланга наступавшего на Петербург Юденича приписывалось начало неудач Северо-Западной армии и необходимость задержать наступление на Петербург. Толпы недоумевали. Ночь была очень холодная. Спать было негде. В большинстве случаев спали на подводах, где были вещи, а лошадей распрягли. Прикрывались, кто чем мог. К счастью, военные подразделения варили горячую пищу, и ее развозили по беженским скоплениям, мы тоже несколько раз получали то чай, то суп, то кашу с кусками мяса. Но в остальных отношениях все было ужасно, тем более что нянино здоровье все ухудшалось. Мать моя проявила огромную энергию, как всегда, и добилась появления военного врача, который осмотрел нянюшку и отдал распоряжение.

Приехала санитарная карета и увезла ее в санитарный поезд. Они должны были отвезти ее в один из русских лазаретов, расположенных вдоль железной дороги на Таллин. Она попала в район станции Йевве (позднее по-эстонски она называлась Йыхви). Там были построены бараки, а местный господский дом был превращен в лечебную базу для солдат Северо-Западной армии, а затем и для гражданских беженцев. Нянечку приняли на лечение в начале ноября, и там она находилась, по старому стилю, до 24 декабря 1919 года (6 января 1920 г.), то есть до Сочельника, когда она умерла. Мать перед тем навещала ее несколько раз, уже с эстонской базы.

Но под Нарвой Бог помогал: несмотря на холод, на антисанитарию, на полуголодные пайки, никто из нас не заболел и на воздухе все держались более или менее молодцами и даже мылись утром и вообще старались привести себя в христианский вид. Нас еще раз накормили воинские части часов около 12 дня, а затем, около трех, пришло распоряжение нашей группе беженцев, в которую входила Гдовская уездная управа во главе с председателем, двинуться дальше. Мы прошли к проволочному заграждению, с нами поехали подводы, которым был дан приказ довезти нас до последней базы, где нас оставят в Эстонии. Нужно было пройти через разветвленные проволочные заграждения, и всюду стояли с винтовками эстонские часовые. Даже несколько пулеметов было направлено на русских беженцев и чинов Северо-Западной армии. Эстонский офицер говорил с нами по-русски, но солдаты, наверное, плохо знали русский язык или не хотели говорить по-русски. Все они были отлично одеты, большей частью в зимние полушубки, имели сине-черно-белые кокарды и повязки эстонских национальных цветов. Они показались мне очень суровыми, блондины с

голубыми глазами, и как будто мало обращали внимания на проходивших мимо русских. Во всяком случае, после этих рогаток никакого контроля багажа не было и документы тоже почти не смотрели, только справлялись о фамилии и о том, сколько человек в семье. Это отмечали офицеры. Затем вся наша колонна, земская управа города Гдова и Гдовского уезда, к которой мы номинально принадлежали, двинулась гужевым порядком. Вещи везли на телегах, там же сидели дети и женщины. Я шел рядом с отцом. Я считал себя довольно взрослым молодым человеком и думал, что покуда возможно, нужно идти пешком. Неизвестно, что будет дальше, а пока что идти через город было легко. Мы прошли весь пригород, Ивангородский посад, где главное население все было русское, прошли мимо знаменитой Ивангородской крепости - изящный силуэт с великолепными круглыми башнями. Это была та самая крепость, которую построил Иван Третий, решив начать борьбу за выход к Балтийскому морю, сразу после освобождения от ига Золотой Орды, в 80-х гг. XV века. Там, на реке Нарове, против замка города Нарвы, большой ливонской крепости, был построен Ивангород, который как бы символизировал русские усилия выйти к Балтийскому морю. Конечно, об этом я узнал позднее, но и тогда все это произвело на меня впечатление. Были уже сумерки зимнего дня - и вдруг такое видение крепости.

КУРТНА. СМЕРТЬ ТАНЕЧКИ И НАДИ.

Мы пошли по мосту через стремительно несущуюся реку Нарову. В нескольких сотнях метров от моста был знаменитый Нарвский водопад, дающий энергию городу и Кренгольмской мануфактуре. Мы прошли мост и потащились наверх, уже на эстонскую, или как она прежде называлась, Ливонскую сторону Нарвы. Позднее, когда я жил там, я очень интересовался прошлым города, но и в момент перехода я знал, что тут было сражение Петра I с Карлом XII, причем русские были разбиты. (Выстояли лишь потешные полки, остальная армия была сильно помята шведами). Теперь мы шли по Рыночному подъему, через Рыночную площадь на Ревельское шоссе. Вокруг были низкие дома, обычно двухэтажные, постройки XIX, чаще даже XX века. Много было магазинов, полных товаров. Из булочных очень вкусно пахло свежим хлебом, были булочки, даже пирожные, очень хотелось попробовать, но нельзя было останавливаться. В начале и в конце шли эстонские конвоиры. Конвой был символическим, но все-таки был. Нашу колонну, в которой было человек 500-600, охраняли, может быть, 16 конвоиров. Эстонцы боялись, чтобы перешедшие границу не разбежались по всей Нарве, которая была военным центром. Нарве предстояла еще военная страда при отбивании атак Красной Армии, которые они предвидели в ближайшем будущем. Мы пересекли весь город. Сумерки сгущались. Вышли на Ревельское шоссе, не такое, как те, которые я хорошо знал (около Волосова были новые военные шоссе). Здесь шоссе

было старое, с хорошо отработанными канавами, стоками воды. Оно было чуть уже, чем новое, но достаточно, чтобы вполне свободно разъехаться двум большим грузовикам или повозкам. Кое-где шоссе было обсажено кустами от снега и ветров. Оно должно было повернуть и в конце концов выйти к берегу моря. Мы проделали верст 16 и вдруг остановились. Здесь была мыза и около нее корчма. В корчме можно было получить горячую воду и даже еду. Продавался суп и что-то жареное. Мать с отцом отправилась туда, и ей повезло - она спросила, нет ли яиц, и оказалось, что есть, нам продали 12 штук и даже сварили их для нас. Так что на другой день мы оказались с едой, что было очень важно, потому что больше мест, где продавалась бы еда, мы не встретили. Были уже сумерки. Колонна очень устала, и нам сообщили, что мы остаемся на ночлег в этой же деревне. Вблизи корчмы - школа, и в ней мы можем разместиться. К счастью, школа была хорошо вытоплена. Там, без особенных удобств (не было ни одеял, ни кровати), но в теплом помещении мы переспали. Утром сторожа заварили нам кипяток, и школьное начальство неожиданно выдало бесплатный чай, ели мы то, что было у нас с собой. А потом мы пошли и шли целый день. Это было уже довольно трудно. Продукты мы съели, эти 12 яиц нам очень помогли.

Шоссе шло частично вблизи моря и открыто было для морского ветра с залива. Эстонское побережье в ноябре не представляло собой ничего радостного, день был пасмурный, Финский залив пустынный, все время покрыт барашками. Это означало большой ветер и, конечно, никаких лодок не было на горизонте. В конце концов мы оказались в районе Йевве. Здесь моя мать ухитрилась снестись с военным лазаретом и узнала, что няню туда привезли, ей лучше, температура понизилась. У нее оказалось воспаление легких, но оно захвачено как будто во время. Позднее мы довольно хорошо знали Йевве и с ужасом вспоминали вторую ночь в холодной и неудобной корчме. Корчмарь приходил и извинялся, что у него ничего нет, потому что съели буквально все продукты, даже картошки не осталось. Единственное, что он предлагал, - это кипяченую воду. Оттуда мы отправились еще за 12 верст в имение Куртна, которое должно было служить нам базой.

Имение Куртна занимал штаб 1-й дивизии Северо-Западной армии (которой командовал генерал Дираженский, любезный, пожилой офицер) и эстонский Ударный батальон. В тот момент, когда мы прибыли, оба больших дома (господский и дом управителя) были битком набиты военными. Нас пустили только в службы, мрачные, пустые комнаты, которые даже не отапливались и в которых ничего не было, ни столов, ни стульев. Было безумно холодно, грязно и неприятно во всех смыслах. Представители нашей группы пошли разговаривать с начальством, и с русским и с эстонским на предмет того, как и где мы могли бы более основательно расположиться и как обстоит дело с продовольствием, которого ни у кого уже больше не было. Ответ был неутешительным: штаб первой дивизии не

имел пока никаких директив, куда им двигаться, а эстонский Ударный батальон никак не хотел освобождать помещения, чтобы поселить беженцев. Не было дров, печек и никакой еды. Мы пришли туда в два часа дня и к шести часам вечера все продрогли и приуныли.

В седьмом часу разыгрался эпизод, который врезался мне в память. Моя маленькая семилетняя сестра Танечка очень хотела есть, а есть было нечего. Она просила у мамы, и мама ей сказала, что ничего нет. Тогда она побежала к папе, потому что он всегда делал для нее все, что мог, и сказала: "Папа, папа. Я очень хочу есть. Дай мне поесть, папа. Я очень голодная. Мама говорит, что я должна лечь спать, но я не могу, я совсем голодная. Я хочу есть. Я ничего не ела с утра". Отец пытался что-то ей сказать. Вывел ее из комнаты, пытался с ней петь, но дело не пошло, и он убежал в другую комнату - я оказался свидетелем того, что он вдруг страшно зарыдал. Я никогда не видел отца плачущим и не мог даже себе представить мужскую беспомощность, которая выразилась в этих рыданиях, невозможность помочь любимой доченьке и дать хоть корку хлеба, чтобы она почувствовала помощь со стороны отца. Это его страшно потрясло, и не только его. Рыдания отца слышали и видели несколько человек, и это подействовало, как электрический заряд. Все заговорили, что пора действовать.

Целая группа отправилась разговаривать с эстонцами. Отец не пошел. Они сказали, что дети плачут от голода и родители плачут оттого, что нечего им дать. Эта акция произвела впечатление, и через минут 45 группа вернулась, говоря, что эстонцы поняли ситуацию и дают помещение. Они очищают несколько комнат в помещичьем доме и выдадут нам еду. Подъехала эстонская походная кухня и, действительно, нам стали давать очень вкусную свинину и жареную картошку. Мы поели и стали более оптимистично смотреть на жизнь, а через два с половиной часа нас перевели в большой помещичий дом, где эстонцы оставили себе только один этаж, а два других отвели беженцам.

Этот эпизод произвел на меня большое впечатление и, может быть, даже явился причиной того, что у нас в семье никогда не было проблемы отцов и детей, которая всегда беспокоит и разрушает семейную жизнь и которой очень трудно избежать. Может быть, потому что я так хорошо осознавал положение отца, его бессилие помочь нам, потерю им социального положения, обеспеченности, национальной уверенности, идеологической стойкости. Все это происходило на моих глазах. Я никогда не критиковал отца в будущем, и единственный раз позже у нас возникла ссора на совсем другой почве, я был виноват. А так было полное взаимопонимание, какое у меня было всю жизнь с моей матерью. Я это нарочно рассказываю, потому что, думаю, это явилось переломным моментом в моей жизни.

Итак, начинался декабрь. Мы вошли в дом и оказались в большой комнате. Нас было человек 9-10 на пяти двухспальных кроватях. В нашем распоряжении были две огромных двуспальных кровати, на которых мы

вчетвером могли спокойно спать. С едой вопрос наладился, так как штаб 1-й дивизии по распоряжению генерала Дираженского принял на себя довольствие беженцев и военные кухни, которые уже отчасти работали. Очень вкусную пищу давали 2 раза в день, чай можно было получить сверх того, и у некоторых, но не у нас, появились спиртовки или керосинки. Можно было существовать. Почти весь огромный помещичий дом был набит гражданскими людьми, а в нижнем этаже, где были эстонцы, помещались военные. Были и довольно неприятные эпизоды. Вдруг появился сумасшедший, который все время дико кричал и норовил броситься в пролет лестницы. Санитарам пришлось привязать его на несколько часов, потом появился врач с успокаивающим впрыскиванием, и больного увезли в госпиталь. Это не так просто было сделать - не было транспорта. Белая армия пользовалась гужевым транспортом, и подводчики в большинстве случаев стремились обратно как можно скорее, чтобы проехать, покуда фронт под Нарвой окончательно не устоялся. Потом сильно заболела моя сестра, приходил военный врач, и ее лечили. У нее была инфлуэнца с осложнением на сердце. 6 января 1920 года, в Сочельник, Танечка, у которой была высокая температура и которая почти все время была в полубреду, вдруг закричала: "Няня! Няня!" - и протянула ручки, будто та стояла перед ней. Потом мы узнали, что как раз в этот час няня умерла. Как потом говорили, нянюшка приходила прощаться со своими детишками, и со своей "ненаглядной Танечкой". Очень ее любила, и жили они, как говорится, душа в душу.

На следующий день умерла Танечка. Умерла неожиданно. Когда ее обмывали, оказалось, что у нее в районе сердца было пятно, и врач сказал, что это разрыв сердца. О смерти няни узнали после смерти Танечки. Прошло два или три дня, прежде чем пришло известие из госпиталя. Это была уже третья смерть. Ко мне вдруг пришло ощущение другого мира, сознание, что есть мир, куда уходят такие люди, как мой младший братик. Нельзя было поверить, что мальчуган в чем-либо виноват, значит, он попадет в Рай. Есть очевидно, тот мир, куда Бог отбирает праведников. Теперь туда же уходила Танечка...

Когда Танечка умерла, то встала проблема, как ее похоронить. Не было никакой возможности сделать гроб. Ее вынесли из дома и положили на веранде, где было очень морозно. Веранда была закрыта, животные не могли туда проникнуть. Там она лежала и производила впечатление спокойно спящей девочки - ясное красивое личико, и мать с отцом каждый день туда ходили, читали над ней молитвы и плакали. Я туда тоже ходил. Я обожал свою сестру. Мы были большие друзья, и у нас не было никогда соревнования в любви родителей. Мне ее было очень жалко. И было жалко родителей, которые переживали ее смерть больше, чем смерть Аркадика. Отец пытался договориться со столярами в имении. Сказали, ждите, постараемся что-нибудь сделать, но пока гроба нет. В этот момент произошли

волнения в полках 1-й дивизии. Солдаты, как и грузчики, и подводчики, прикомандированные к транспорту, норовили вернуться в свою деревню, не хотели оставаться за границей, в Эстонии. Часть солдат решила во что бы то ни стало, вопреки логике и уговорам офицеров, вернуться домой. Был январь месяц, и части Северо-Западной армии и эстонцы дружно и успешно отбивали все атаки Красной Армии. Уже прошли тяжелые бои под Нарвой, названные в газетах "Эстонским Верденом", и стало ясно, что Красная Армия не сможет взять Эстонию. Но логика в таких вещах не действует, и около 10 января несколько тысяч солдат решили возвращаться. Когда им преградил дорогу полковник Аносов с группой офицеров и начал уговаривать их одуматься, потому что они попадут под месть красных,- он говорил - "вы же Белые воины, мы еще не знаем, как сложится судьба, мы можем еще продолжить нашу Белую акцию",- кто-то из солдат в него выстрелил и убил его, после чего остальные ушли к Чудскому озеру, и эстонские пограничники их пропустили. Они пошли по льду озера, а когда подошли к советскому берегу, их обстреляли из пулеметов, так что им пришлось повернуть обратно. Когда они подошли обратно к эстонскому берегу, их обстреляли эстонцы. Говорят, что погибла большая часть из тех двух с половиной тысяч, которые решили вернуться.

Эпизод этот замалчивался эстонской прессой, и даже в 30-е годы, когда об этом вспомнили, эстонцы постарались все затушевать и предать забвению. Но полковник Аносов был убит, и его тело положили на ту же веранду, где лежала Танечка. И когда туда пришли офицеры и решили делать гроб, то, увидев девочку, они сказали, что сделают гроб и для нее. Так что через 24 или 48 часов после смерти Аносова Танечка тоже оказалась в гробу. Она уже пролежала почти неделю на морозе. Ее положили в гроб, и она там лежала, совершенно как спящая. Очень красивая хрустальная девочка, которую я потом вспоминал в тифозном бреду. В конце концов поехали хоронить ее рядом с няней в Йевве. Няню хоронить ездили отец с мамой, покуда трупик Танечки лежал на веранде. Поехали второй раз, а меня оставили дома. Было морозно, и мама боялась, что я простужусь. Похоронили Танечку около няни, на новом кладбище. При этом произошла ужасная вещь: родители взяли с собой саквояж, в котором хранились не только остаток денег, но некоторые мамины драгоценности, но и все документы. Нужно было пройти довольно большой кусок в поле туда, где образовывалось новое эмигрантское кладбище, они несли гробик с помощью возницы. А когда вернулись обратно к саням, саквояжа не было. Его украли. Получился двойной удар по семье. Мы не только лишились нашей певуньи Танечки, но и последних связей с прежней жизнью, и даже документы, которые так необходимы в жизни каждого человека, тоже исчезли. Последствия этого удара сказывались весь эстонский период жизни моих родителей, и копии этих документов еще царского времени удалось получить из Советского Союза только в 1940 или в 1941 г., незадолго до начала второй мировой

войны, когда Эстония была включена в рамки Советского Союза.

Первой жертвой эпидемии сыпного тифа, который начался в армии, стал мой отец, которого увезли в тот самый госпиталь, где умерла няня. Через некоторое время заболел и я. Меня увезли туда же и сначала положили в коридоре. Все было переполнено больными, всюду были бредившие - ведь у всех высокая температура. Было так много вшей, что все скрипело под ногами в этих коридорах, где мы, вновь привозимые больные, лежали на соломе. Моя мать, которая посещала отца, уже познакомилась с сестрами, и военные врачи уже все ее знали, так что она добилась, чтобы меня положили в палату к отцу. Я этого уже не сознавал. Когда я очнулся, кризис прошел, и я был рядом с отцом, который смотрел на меня с улыбкой. С отцом было еще страшнее - у него еще до моего появления в больнице, начался кризис и исчез пульс. Он лежал, закатив глаза и не дыша. Врач сказал: "Он что - мертвый? Выноси". Выносили сразу, мест не хватало. Но женщина-врач, которая была при этом, вдруг вспомнила мою мать и подумала, а сделаю-ка я ему еще впрыскивание - и она сделала еще два подкожных впрыскивания против сердечного катаклизма, и вдруг отец вздохнул, закрыл рот и повернул голову набок. Он погрузился в сон. Кризис миновал. Это была заслуга моей матери. Это она вымолила, и не только вымолила, но и выходила его своими посещениями. Она каждый день ходила 12 верст в госпиталь и 12 верст назад. Сначала ежедневно, а потом через два дня. Это повлияло и на медицинский персонал, который относился к пациентам иначе, зная, что за ними стоит учительница Екатерина Александровна. Когда кризис у отца прошел, как раз привезли меня. Я был без памяти и бредил, но докторша приходила и делала мне впрыскивания. А когда кризис миновал и я увидел отца, я ему сказал: "Папа, я забыл рассказать, знаешь, Танечка не умерла. Она только заснула, а потом встала, и во сне мы были вместе. Я так хотел тебе рассказать, но был болен и не мог". Отец был потрясен и решил, что я потерял рассудок.

Выписали нас с отцом из больницы в день моего двенадцатилетия, 13 марта 1920 г. Мама приехала за нами с санями. Тем временем она уже переехала на хутор и жила не в имении, а в Куртна, потому что когда мы заболели один за другим, врач рекомендовал ей выселиться из имения, чтобы не заразить других, к тому же явно было, что шел тиф, а ей было важно остаться здоровой. Мы приехали по глубокому мартовскому снегу, но при хорошем солнце, поэтому было радостно. Хутор был довольно примитивный, не очень богатый, принадлежал эстонской семье, рядом стоял хлев, где были свиньи и теленок с коровой. Внутри была одна большая комната, часть которой занимали хозяева, а одна кровать в другом конце комнаты сдавалась нам. Мы должны были за это платить. На ночь мы клали один из матрасов на пол. Двое спали на кровати. Но тут заболела мама, так что она спала на кровати, а мы с отцом на полу, спустя несколько

дней отцу пришлось брать подводу и везти мою мать к врачу в Куртна, а оттуда прямо в госпиталь, потому что у нее тоже оказался сыпной тиф. Теперь отец стал через день ходить проведывать мою мать. Это очень много помогло, потому что его тоже уже знали, и к ней было больше внимания. Но у нее зараза прошла довольно быстро и до острого кризиса не дошло. Она в этом отношении была везучая.

Это была чудная весна. Мы каждый день ходили в Куртна и получали замечательную солдатскую еду. Причем повар кормил нас там и давал с собой вторую порцию на вечер. Снега обильно таяли и леса, которые подходили прямо к хутору, были полны всевозможной жизни - и животные и растения просыпались. Особенно нас тронуло, когда однажды раздался колокольный благовест. Оказывается, в 8 верстах от нас был Пюхтицкий женский монастырь, и оттуда при благоприятном ветре доносился звон колоколов. Это было дивное послание Божие. Мы с отцом переживали, и крестились, и молились. Отец был религиозный человек, и всю жизнь у него было сильное ощущение молитвы. А у меня это чувство было врожденное, к тому же я был воспитан в этом духе. Тогда восприятие у нас было обостренное. Мы сознавали Божию помощь в этих страшных событиях. Ведь сколько тысяч людей умерли, а мы выжили, несмотря на потери.

Тут отец начал думать об отъезде с этого хутора, очень уж неудобно жить в одной комнате с другой семьей, где уже взрослые дочери. Покуда мы были больны, еще туда-сюда, но когда дело пошло к выздоровлению, стало тесно и душно. Случались довольно курьезные вещи. Мы с отцом в апреле пошли в баню. Еще лежал снег, и был морозный день, днем уже теплело, а к вечеру мороз. Мы пошли во второй половине дня. Подходим к бане, которая была около речки. Речка быстрая и очень холодная. Видим, открывается дверь, и вылетают голые фигуры, бросаются в речку с гиканьем, окунаются и вылезают оттуда обратно в баню. Что такое? Солдаты, русские солдаты, которые парятся в бане и охлаждаются в реке. Мы на это не отваживались. Баня была приятная, но по эстонскому обычаю там мылись мужчины и женщины вместе. Мы только стали раздеваться, вдруг входит наша хозяйка с девушками, тоже раздеваются и идут в баню. Отец заколебался и говорит: "Знаешь, давай погуляем". И мы погуляли вокруг бани, подождали, покуда хозяйка с дочками ушла.

ХУТОР. ЛЕТО 1920.

Жизнь на хуторе была действительно слишком примитивна для нас с отцом, хотя наши хозяева были очень добрые и любезные люди, старались нам всячески помогать, и не только за деньги. Тем не менее, перспективы провести длительный период, особенно лето, когда будет жарко, душно в этой избе, наполненной людьми, с огромными кучами навоза под окном и массой мух, нас не прельщали. Поэтому мы решили переехать, несмотря на

положительные стороны, на то, что, я, например, очень любил качаться на качелях (были разного типа деревянные качели, которые я впервые видел, потому что в русских районах, где я живал, были веревочные). Иногда до такой степени можно было их разогнать, что они с бешеной скоростью крутились вокруг оси. Опасный спорт! И все же отец стал очень энергично искать других возможностей, понимая, что мама скоро выпишется из госпиталя и ей захочется спокойствия. На это нас подтолкнуло и то, что военные кухни закрывались и прекращалась ежедневная выдача супов, каш и жарких. По существу, это означало, что нам пришлось бы готовить пищу дома, а это было практически невозможно. Волей-неволей мы должны были найти новое помещение. Хотелось жить поближе к станции Йевве, потому что пока мы жили в совершенном одиночестве. А имение Куртна все пустело и пустело. Оттуда все уезжали. Потому и закрывались военные кухни, что военные почти все разъехались. Расформировался штаб 1-ой дивизии, и уехал генерал Диражинский вместе со всеми сотрудниками.

Отец, когда ходил в Йевве через день навещать маму, осмотрел тот район и обнаружил проселочную дорогу, которая от Йевве была примерно в трех с половиной, четырех верстах и проходила через большую просеку. Посередине была большая поляна - вырубка. Еще много оставалось не выкорчеванных корней деревьев. Там было несколько новых домиков, которые понравились отцу. Он подумал, хорошо бы отдыхать среди этого леса. Чудный луг, покрытый замечательными цветами, тишина, птичьи хоры, и недалеко от Йевве. Он связался с людьми, которые жили там, и нашел милого человека, с которым мы потом дружили все время, покуда мои родители были в Эстонии, - некий Мартын Мартынович Кайк, эстонец, лесник по профессии. Он следил за лесом и контролировал зверей. Учился он в русской школе, потом служил в армии, поэтому отлично говорил и читал по-русски и был своеобразным и интеллигентным по-своему человеком, холостым, довольно красивым и очень много знавшим. Он, узнав, что наша семья только что болела, сказал: “Я вам дам помещение. Приезжайте, живите. Я буду только рад. Вот видите этот дом, в левой части я, когда сюда прихожу, ночую. Иногда ночую у матери на хуторе в 8 верстах отсюда. Вторая половина избы совершенно чистая, новопостроенная, еще никто не жил там. Там поставлена кровать, столы, стулья, все. Плита есть, русская печь есть. Так что если хотите, то, пожалуйста, приезжайте”. Отец был в восторге, спросил, сколько это будет стоить. Он сказал: “Что вы, ничего это не стоит. Я буду просто рад, что приду сюда, а здесь русские люди, с которыми я поговорю. Я забываю язык”. Так и вышло, и когда мы туда въехали, нам страшно все понравилось. Затем Екатерина Константиновна Зелькович въехала в другую “самостоятельную” половину избы. Так как вблизи нас поселились и друзья-учителя, тоже беженцы, получилась целая русская колония, которая

иногда встречалась, мы ходили на прогулки в лес, пели под руководством отца русские песни. Это лето было очень важное для всех нас, для моей матери, отдыхавшей после сыпного тифа, и, главное, для моего отца, который очень тяжело переживал все изменения в своей судьбе и совершенное безденежье.

Держались мы только на американской благотворительности, которая началась, как только мы въехали в Куртна. Члены “Христианского Союза Молодых Людей”, американцы, обычно громадного роста, очень серьезные, в больших очках, добротно одетые, привозили нам еду. Американские миссии обеспечивали беженцев весьма существенными вещами. Во-первых, снабжали бельем, причем, старались достать белье нужного размера. Снабжали обувью. Давали, если нужно, пальто, часто военного типа. Кроме того, каждую неделю выдавали определенный паек, который представлял собой значительный вклад в наше питание. Живя на этом лесном курорте, как отец называл нашу случайную дачу, 2 раза в неделю мы получали в Йевве от представителя американской миссии продуктовые пакеты. Содержимое варьировалось. Всегда было сладкое сгущенное молоко в банках, которое особенно нравилось отцу и мне, американский шоколад, вероятно, армейский, - толстые плитки. Затем рис и бобовые: горох или бобы, приготовленные для варки и часто уже готовые, в банках, все больше и больше появлялись всевозможные типы консервов, хотя и не так много. Каждую неделю нам давали в банке несколько килограммов того замечательного копченого сала, какое мы получали еще в Ямбурге. Давали муку в пакетах, а иногда уже приготовленное печенье или свежеиспеченный хлеб, который, очевидно, пекли в местных булочных для такой раздачи. Одним словом, все было хорошо продумано, щедро и умно. Конечно, еще выдавались всякие растительные масла, иногда жиры. Я специально подробно описываю эту деятельность, большинством уже начисто забытую, которая спасла тогда тысячи людей от голодной смерти. Не надо забывать, что Эстония была молодая страна и на хуторах не было того изобилия продуктов, какое появилось несколько лет спустя. В войну было много истреблено птицы, скота. Постепенно это восстанавливалось. А тут, благодаря продуманной акции американцев мы более или менее получали все, что нам было нужно. В результате люди начали приходить в себя после ужасных военных переживаний и болезней, и к осени началось возвращение в жизнь.

Но денег нам никто не давал, ни копейки, а деньги нужны были, хотя бы написать письма. У нас, после того как нас обокрали, остались буквально случайные гроши в карманах одежды. Но вот что мой отец придумал. Он в Йевве снесся с магазинами, которые продавали книги и писчебумажные принадлежности, и предложил им поставлять различные игрушки, выпиливая из фанеры и раскрашивая. Покупалась фанера, на которой он рисовал фигуры, затем работал лобзиком и пилками, он хорошо

это делал - и получалась, например, коллекция домашнего скота: бык, коровы, теленок, овцы. Это называлось ФЕРМА. Все раскрашивалось, краски стоили пустяки. Отец все делал сам, и выходило забавно, и, я бы даже сказал, художественно. Так как игрушек вообще не было, это имело большой успех. Другая серия была ДИКИЕ ЗВЕРИ. В нее входили прыгающий тигр или оскаленный лев и медведи. Очень хороши получились верблюды и жираф, который имел самый большой успех - было продано несколько дюжин жирафов. Стоило это очень дешево, и хозяин платил не много, но игрушки пошли, отец немного заработал и был доволен, что у него появились оборотные деньги. К счастью, он не курил. И хотя американцы давали и табак, и мы несколько раз даже получали его, он шел на подарки: например, нашему леснику. Продавать этот табак было некому, да, вероятно, было бы и против закона.

Мы с отцом вспомнили про игры, теперь в солдатиков играть не хотелось. Мы уже насмотрелись настоящей войны, и никакого интереса к войне не испытывали. Тогда отец вспомнил “Мертвые души” и стал рисовать портреты. У нас игры “Мертвые души” раньше не было, но все игры, которыми мы занимались в Изварах, он вспомнил и очень хорошо изобразил Чичикова, губернатора, губернаторскую дочку, почтмейстера, чиновников и помещиков. Чиновников он изобразил с их знаками отличия, с погонами, чтобы можно было различить, кто какой чиновник, по нашивкам и отметкам на погонах. Поэтому я хорошо ориентировался во всей табели о рангах Российской империи и понимал, что такой 1-й и 2-й класс чиновников. Это была очень интересная и увлекательная игра, которая давала отцу как бы психический отдых. Как и наши солдаты, фигуры были примерно в палец величиной.

В начале сентября в Йевве открылась русская школа, для детей таких беженцев, как мы. Меня в нее отправили. Ходил я туда недели три, впечатлений осталось мало, и те отрицательные. Руководителем школы был профессор Филиппов. Было несколько групп: для начинающих, средних и старших. Я попал в старшую группу. Мне было 12 лет. Группа была небольшая, человек 16, очень разношерстная. Самым большим по возрасту и крупным по знаниям человеком был некий Савин, 17 лет. Он очень мешал всей группе, потому что явно доминировал над нами, и получалось нечто вроде диалога между ним и Филипповым, который обращался только к нему. Вообще это было не как в школе. Мама, которая очень интересовалась моими занятиями, была очень удивлена нашим времяпровождением и поэтому не жалела, когда примерно через 3 недели выяснилось, что мы уезжаем. Это было истинное удовольствие перестать ходить в эту школу, где только и было приятного, что вкусный американский шоколад на большой перемене. Филиппов преподавал неинтересно, непонятно и, по-моему, плохо. Я совершенно не понимал, что мы, собственно, делаем и на какой ступени я и другие ученики стоят. По-видимому, ключ

к этому лежал в абсолютной педагогической неспособности нашего главного преподавателя, Филиппова.

Мы уехали в имение Паггар, тоже примерно в 12 верстах от Йевве, но на другой линии, чем Куртна. Там мы вошли в трудовую колонию. Это была группа бывших офицеров Северо-Западной армии, во главе ее стоял полковник Евгений Евгеньевич Вильяшев, начальник штаба одной из дивизий, артиллерист по выучке. Его старший брат, Николай Евгеньевич, был чином ниже брата. Одно время он был в Гдовском уезде комендантом волости и стяжал довольно печальную славу, потому что подверг крестьян физической порке. Был большой скандал, который способствовал росту просоветских настроений в той волости. Происходили они из очень старого рода. Полковник был человек очень знающий в своей области, но в личной жизни подавленный своей маленькой женой, Анной Николаевной, типичной полковой дамой, "героиней Куприна", по мнению отца. "Героиня Куприна" держала мужа под каблучком, и он страшно это переживал. Всегда говорил с ней неестественно визгливым голосом. Брат его был сумбурный и вздорный человек. Мой отец сказал, что посмотрев на него, можно было только удивиться, до чего выродилось русское дворянство, и что такой вздор, какой нес Николай Евгеньевич, отец редко слышал за всю свою жизнь. Третьим участником был милый и умный человек, поручик Николай Русецкий. Мы его хорошо знали и потом были близки с его семьей в Ревеле. Затем туда же вошел поручик Петя Рыбаков, которого мы знали по Йевве, потому что он ухаживал за одной из наших знакомых, за Леночкой Федоровой из Гдова, хорошенькой девицей, работавшей в земской управе. Они поженились, приехали к нам и жили в той же громадной комнате. Наша семья помещалась в одной части этой комнаты, а они в другой. Посередине стоял стол, где мы могли встречаться и обмениваться впечатлениями, ужинать и завтракать вместе, если хотели.

Вся эта группа нанялась к графу Штакельбергу, бывшему русскому офицеру в его имение Паггар, восстановить завод для того, чтобы там можно было гнать водку из картофеля. Вводился акциз на водку, и граф хотел получить государственный заказ - это было выгодное дело. Он нам всем предоставил квартиры и платил, - не очень густо. Часть этого дома - большое крыло - отвели нам. Хорошо обставленные барские комнаты, все удобства, большая общая кухня, ванна для общего пользования и настоящие уборные. Нам давалось отопление, какое-то количество картофеля и овощей, а кроме того, немного денег. Мы приехали туда в конце сентября, и отцу выпала большая работа, поскольку он в прошлом был техник, ему пришлось монтировать большинство машин и приводить их в порядок. Он это делал с большим интересом, говорил, что вдруг вспоминает совершенно забытые страницы техники, целые главы учебников. Техническое счастье ему сопутствовало, и все моторы заработали. Но еще до этого в результате каких-то интриг заведующим этими машинами стал полковник Вильяшев,

а мой отец оказался выброшенным на должность просто рабочего. Он пошел объясняться с эстонским начальством, но ему сказали, что это решение Вильяшева, который представлял всю группу. Отец пошел к Вильяшеву, а тот сказал: "Вы что, не помните? Мы с Вами так уговаривались". Ничего подобного, такого уговора не было. Отец был страшно рассержен. Это стало поводом уйти оттуда. Быть рабочим он не хотел: работать надо было в элеваторе, который он как раз отстроил, проверил и запустил. Элеватор работал беспрерывно, и нужно было бросать в его ковши картошку. Это была безумная работа, которая страшно утомляла человека и должна была рано или поздно отразиться на сердце. Отец стал искать другую работу и к концу сезона ушел с этой работы, но остался жить у Штакельберга и пошел валить лес на его участках. Там ему сначала даже нравилось, у него ведь была русская команда. По крайней мере, на чистом воздуе и работа сдельная. Но и тут зарабатывали немного.

Таким образом прошел 1920 г. Наступал 1921, и отец энергично искал место, считая, что больше оставаться здесь невозможно. В конце года было решено, что я буду поступать в настоящую школу, а именно в русскую эмигрантскую гимназию в Нарве, которая действовала уже второй год. Я в ожидании этого занимался дома. Учебники мне купили, и я много прошел по математике, которую любил и которая легко мне давалась. Увлекался также географией, еще со времен Жюль Верновского чтения в раннем детстве. Отец поехал в Юрьев повидаться с сенатором Николаем Эдуардовичем Шмеманом, который был когда-то шеф Санкт-Петербургской земледельческой колонии и ремесленного приюта, и хорошо к отцу относился, но оказалось, что он уже никакого влияния не имеет и ничем помочь не может, хотя был очень рад видеть моего отца и даже прослезился, вспоминая замечательные времена Российской империи. В Юрьеве отец очень дешево купил прекрасные учебники, в том числе учебник Платонова, изданный еще до революции. В таком полном виде я никогда его потом не видел. Оканчивался он сакральной тогда фразой: "Ныне благополучно царствующий император Николай II Александрович". Книга была замечательная - со многими картами. Таким образом, мой отец, когда поехал устраивать мое поступление в эмигрантскую гимназию, мог не без гордости сказать, что сын знает русскую историю по Платонову!

Я учил и другие предметы, в том числе немецкий язык, который начал изучать по настоянию Ивана Николаевича Тараканова. Он появился на нашем горизонте, еще когда мы жили на той лесной даче. Мы всей компанией пошли тогда в Пюхтицкий монастырь на паломничество. Это была незабываемая прогулка, при дивной погоде. Пришли мы туда ко всенощной. Поразились видом обители, спокойствием, обработанными полями, благонравием, которым дышала эта обитель. С нами шел, мы встретили его перед этим и уже переписывались с ним, Иван Николаевич, который очень много пережил с тех пор, как мы с ним расстались в

Изварах. Некоторое время он жил в этом Пюхтицком монастыре, где была дикая эпидемия тифа, такая, что мертвых в соборах было до потолка. Клали друг на друга, так что под своды подходило. Он работал одно время как могильщик. Сам он уцелел, не заболел. Иван Николаевич стал с нами поддерживать отношения, и я его очень любил. Он явился к нам в Паггар и принес мне "Мертвые души" Гоголя, очень дешевое издание, оно у меня все еще хранится, и там было написано: "Не забывай на чужбине родных писателей". Я, который действительно долго жил на чужбине, сказал себе позднее, что все относительно на свете. Эстонская республика тогда казалась ему чужбиной!

Родители мои и Иван Николаевич, педагогический совет, как мы их шутя называли, решили, что мне надо ехать в русскую эмигрантскую гимназию. Отец съездил в Нарву и узнал условия. Выяснилось, что меня возьмут, но проведут испытание, чтобы определить, в какой класс меня поместить. В сентябре 1921 г., мы поехали с родителями сначала в Йевве, где пошли на кладбище, посетили могилки Танечки и нянюшки, помолились за них, затем пошли на станцию. И с интересом смотрели: первым прошел почтовый поезд (он в Йевве даже не останавливался) на Ленинград, он шел ежедневно: Таллин, Тапс, Нарва, потом Кингисепп-Ямбург и дальше, по-видимому, Гатчина. С интересом мы смотрели, потому что, конечно, заповедная страна и поезд как будто бы и свой идет, русский, а вот чужой, туда мы не можем уехать. Потом пришел наш поезд, и мы отправились в Нарву. Приехав, повидались с некоторыми знакомыми отца, в том числе с Георгием Васильевичем Васильевым, это не тот Васильев, что в Ямбурге, но тоже приятель дяди Миши и тоже педагог, который очень благосклонно относился ко мне, и я время от времени ходил по воскресеньям к ним на обед, чтобы "прикоснуться к иной жизни", как говорил Георгий Васильевич.

Главным событием были мои экзамены, которые должны были состояться в течение двух дней. Решено было, что я останусь в общежитии для иногородних учащихся. Этим общежитием должен был руководить отец Павел, будущий епископ Павел Нарвский и Ижорский, замечательный священник и отличный педагог. Оказалось, что целый ряд моих сверстников тоже держит экзамены. Гимназия заранее принимала всех, но потом определяла, в какой класс. Родители мои уехали в тот же самый день, они не могли оставаться в Нарве. Я выдержал экзамены очень хорошо. Причем, так как я еще ни в какую школу никогда не ходил, если не считать Йеввской школы, которая не была настоящей, то я был довольно независим. Например, вступил в спор с математиком. Я решал задачу и записывал ее на доске по-своему, не обычным методом. Николай Александрович Воскресенский посмотрел на меня, на доску и довольно грубо говорит: "Чего это ты мажешь? Что это за запись такая странная?" Я ему ответил, что ничего я не мажу и никакой странной записи нет, и объяснил, как я записываю и почему. Это его поразило. Он меня запомнил, экзамен у него

я выдержал, и он сказал: “Соображаешь, соображаешь!”

По русской истории нас экзаменовал директор, Андрей Васильевич Васильев. Он был раньше директор сиротского института в Гатчине. Он уже знал от отца, что я по Платонову занимался, поговорил со мной 3-5 минут и сказал - вижу, что ты интересуешься, спрашивал, чем еще я интересуюсь и что я читал. Сказал, что это все хорошо. Хорошо также прошла диктовка, и особенно блестяще прошел экзамен по географии. Экзаменовал меня преподаватель Грацинский, бывший инспектор средних школ, очень строгий, уже пожилой педагог, седой, носивший еще форменный сюртук. Мы пришли и видим, полна стена немых карт без названий. Начал он всех спрашивать. Большинство ничего не знало, и я несколько раз поднимал руку и вместо них отвечал. Он поразился, потом вызвал меня к доске и начал гонять по Южной Америке. Я знал всевозможные реки, заливы и где находятся города. Он повернулся к карте Африке - я тут тоже мог ответить. Он еще задал вопросы, я на все отетил. Он сказал: “Неплохо знаешь. Где ты так научился?” Я благоразумно промолчал, что главным образом меня научил Жюль Верн, которого я читал, лежа на животе в отцовском кабинете и положив перед собой марксовский географический атлас. С тех пор он меня отметил и, поскольку я действительно всегда очень хорошо знал географию, то сразу оказался у него отличником.

Поселились мы в общежитии, новом, только что организованном в церковном доме около собора. В нижнем этаже были разные службы, конторы и канцелярии, а весь верхний этаж был отведен под общежитие. Громадная столовая, она же зала для занятий, затем 5 спален по возрастам, разной вмещаемости: от 8 до 5 кроватей и, кроме того, две комнаты: одна - для заведующего, отца Павла, другая - для его помощника Бориса Александровича, студента Петербургского университета, очень полезного в общежитии человека, потому что он был хороший администратор и в то же время не формалист.

НАРВСКАЯ ГИМНАЗИЯ.

Я попал в младшую группу. В моей комнате было еще семеро, и нас, маленьких, отец Павел называл “салака”. Утром мы приходили, перед чаем пели молитву. Чаю с сахаром можно было пить, сколько угодно, и, сколько угодно, есть белой булки. Потом мы шли в гимназию, которая помещалась минутах в 5-7 ходьбы по главной, Соборной улице в направлении к Германовскому замку. На большую перемену давалось 15-20 минут, мы часто забегали в соседнюю кондитерскую и покупали что-нибудь за свой счет. (Были хорошие пирожки, и пирожные, и булочки, это все стоило пустяки.) На обед нас ежедневно вели через дорогу в женский интернат, где была большая столовая и нас хорошо кормили. Давалось три блюда: суп или щи с куском мяса и хлеб, конечно. На второе было мясо, часто очень вкусные котлеты с макаронами. Чисто русская кухня. А по пятницам и по

средам обычно были рыбные блюда. На третье - вкусный кисель, компот или фрукты.

После обеда было свободное время. Мы могли идти гулять в город или заниматься спортом. В 4 часа уже у нас дома был чай с сахаром или молоко с белой булкой. После чая - обязательное приготовление уроков, от половины пятого до 7 часов, даже если не было уроков, надо было находиться в зале и хотя бы читать. В половине восьмого - ужин, на который иногда ходили в женское общежитие, а иногда давали дома, обычно одно блюдо. Сказать, чтобы мы были голодны, нельзя. Кормили просто, но разнообразно. Педагоги питались с нами вместе и получали такие же порции, как мы. Демократия была полная. Отец Павел никаких систем наказаний не имел. Он вызывал провинившегося к себе и выяснял ситуацию. Он был по духу своему замечательный педагог, к тому же хороший оратор. Я навсегда запомнил молебен и первую его проповедь, когда после наших экзаменов школа собралась в первый день занятий. Он очень хорошо говорил о знании, о науке и идее Бога: что Ньютон, величайший ученый, при слове "Бог" снимал шляпу, что Кант, величайший мыслитель, полжизни отдал доказательству бытия Божьего, несмотря на то, что был величайший рационалист. И что знание наполняет наше представление о Боге. Отец Павел развивал эти идеи без ложной эмоциональности, логически последовательно, как бы анализируя эти явления. Это производило сильное впечатление на молодые умы. Мы чрезвычайно его уважали, и потом, когда у нас преподавали разные Владыки, в том числе Владыка Елиферий Псковский, я бы не сказал, что их метод убеждения и анализа был выше. Я сохранил об отце Павле добрую память и большую ему благодарность.

Среди событий того времени большую роль сыграла моя удача в русском языке. На первом же уроке русского языка нам было дано контрольное сочинение "Осень". Я написал несколько страниц, все, что можно было за 50 минут урока. Через 2 дня пришел этот учитель словесности, Владимир Александрович Благовещенский. Был он аккуратный, немного даже прилизанный и исключительно некрасивый: у него был нос какой-то лепешкой. Но мы этого не замечали, потому что он говорил с воодушевлением и страстно любил русскую литературу. Он старался передать нам оттенки своего понимания литературы, обращал наше внимание на не самых первоклассных поэтов, но тех, у кого было религиозное отношение к жизни. Я впервые услышал в его толковании стихи Хомякова и Федора Глинки, авторов XIX века. Он устраивал вечер русской поэзии и предложил мне читать наизусть стихи Глинки, которых я до тех пор не знал. В них есть такие замечательные строки: "Вслед за бурей тишина. Душа предчувствием полна..." И вы, правда, ощущали это предчувствие божественного явления. Природа не была мертвой, но выражала идею Бога. Своеобразный пантеизм XIX века. Кроме уже

знакомого нам социального содержания русской литературы, он давал мировоззренческий, духовный ее аспект. Это я очень оценил. И вот он принес наши сочинения и сказал, что прочитает сейчас лучшее, которое, как ему кажется, соединило в себе правильное понимание темы - описание осени - с реакцией людей на это явление природы. Когда он читал, мне показалось, что я как будто это где-то слышал или читал. Затем он раздал сочинения. В моем красными чернилами было написано "Один" и "отлично". Оказалось, что его комментарий относился к моему сочинению. Этот неожиданный успех меня воодушевил. Я в то время тяготился писанием и предпочитал говорить. А тут вдруг оказалось, что я пишу лучше всех в классе. Позднее он дал нам коллективное сочинение о Великом Посте и Пасхе, взял из разных сочинений удачные кусочки, и 2 куска из моего сочинения попали в эту мозаику. Это была заслуга моей матери, что я знал грамматику, почти не делал ошибок и что у меня было понимание литературы.

Вообще мое учение протекало легко. Камнем преткновения были только 2 предмета: во-первых, французский язык, который я никогда не учил, а здесь им занимались уже второй год, и эстонский был для меня в новинку, потому что хотя я слышал уже на хуторах эстонскую речь, я никогда не учил язык и ничего не знал, кроме отдельных бытовых выражений. Видимо, на меня подействовал отец, который, став эмигрантом, поразился степенью нераспространенности русской речи в пределах бывшей Империи. Большинство крестьянского населения Эстонии не знало русского языка. Кроме жителей городов или тех, кто служил в Русской армии. В русской гимназии учились не только эмигранты, но и учащиеся, уже некоторое время жившие в Эстонии, им было гораздо легче с эстонским, чем мне. Мне пришлось очень много внимания уделить обоим языкам. Французский требовали мало, так что я скоро вышел вперед, а с эстонским языком, на который напирали, было труднее. Тем не менее, к концу года я получил высшую отметку, может быть, отчасти потому, что я их получил по всем другим предметам и мне не хотели портить аттестат. Но с другой стороны, я очень старался, старался петь эстонские песни в хоре, что обеспечило запас слов и выражений. Я оказался завзятым хористом, хотя отец в раннем моем детстве неосторожно меня спугнул, сказав, что мне медведь наступил на ухо. Это очень охладило мои вокальные склонности. Но как раз в то лето на лесной даче, когда все хором пели, выздоравливая от тифа, ко мне вернулась уверенность. Правда, играть на музыкальных инструментах я отказывался. Преподавателем был Константин Григорьевич Вережников, наш добрый друг и коллега отца по колонии. Он очень хорошо ко мне относился и хотел научить играть на разных инструментах, но я сообразил, что на это уйдет много времени. Мне было скучно изучать балалайку и тратить на это часы и часы каждую неделю. То же было и с игрой в духовом оркестре. Я быстро смекнул, что едва ли я стану

великолепным музыкантом, а времени потеряю много. Поэтому я написал домой, что ни в каком случае и ни на какие уговоры Константина Григорьевича не иду. Это добровольное дело, и у меня времени на это нет. Константин Григорьевич развел руками и сказал: "Кока, Вы когда-нибудь пожалеете, что Вы отказались стать музыкантом". Но я должен сказать, что за всю жизнь не пожалел, может быть, потому что сознавал, что недостаточно музыкален, мои умершие братья и сестра были много музыкальнее, чем я. Моя музыка была иная: в словах.

Весной я получил великолепный аттестат: все пятерки. И по математическим дисциплинам было пять с плюсом - так Николай Александрович Воскресенский оценивал мои знания и сообразительность. Это было наследство моей матери, которая, будучи сама математиком, сумела научить меня начальным фазам подхода к математике. Я многому научился за этот год. Чудная, кстати сказать, была весна. Теперь я был более уверен в своих силах, добился первенствующей позиции в своем классе. Вызвал уважение всех преподавателей. Ни один из них не отзывался обо мне отрицательно. Меня очень одобряли отец Павел и Борис Александрович.

Русская Нарвская эмигрантская гимназия была смешанной. Я с большим сомнением отношусь к школам смешанного типа. Присутствие девочек в классе нам скорее мешало. Оно нас отвлекало. Как раз в этом году начались увлечения девушками. У меня, например, была симпатия в нашем классе - Ольга Матвеева. Мои чувства к ней выражались в том, что я ни разу за год с ней не заговорил. Но она мне очень нравилась. У нее были чудные косы и большие голубые глаза. Но это было созерцание издалека, поклонение божеству на расстоянии. Я всегда умел так сосредоточиваться во время уроков, что некоторые предметы - географию, историю, естественные науки - мне уже не надо было учить дома, потому что я внимательно слушал или записывал данные на доске. Но девицы с их "хи-хи" и "ха-ха"... Они сидели отдельно от нас. Немножко сзади, правильно были посажены, и все равно мешали. В особенности, когда вызывали к доске. Мой подход, может быть, неверен, но я остаюсь при том мнении, что среднее образование лучше вести раздельно. Другое дело - университет, там вы взрослее, там иной подход к предметам и к учебе. Интересно развивались отношения с мальчиками. У меня из той "салаки", которая жила со мной (подбор был скорее случайный), ни одной дружбы не возникло, потому что они были менее интеллигентны, чем я, что в этом возрасте чувствуется, и вам не хочется общаться с примитивом. На моем уровне был только Вася Титов. Но он был из породы зубрил. Он страстно старался быть хорошим учеником, но стараний было больше, чем дарований. Вначале он выходил на первые места, а потом я его обогнал. Просто потому, что был начитаннее, и больше получил от своей семьи. Вася завидовал мне, и потому дружбы не получилось. Зато дружба возникла с одним из одноклассников, который

жил на частной квартире за нашим церковным двором, близ параллельной - Соборной улицы. Звали его Глеб Родионов. Его мать была вдова, у них была хорошая квартира, где я несколько раз бывал. Они жили постоянно в Нарве, и Глеб хорошо знал эстонский язык. Почему он попал в нашу гимназию? Я не задавался этим вопросом, но, вероятно, из-за того, что болел. Он был старше на полгода или на девять месяцев, что в этом возрасте сильно чувствуется, и если я уже опаздывал по классу на полгода или на год, то он еще больше. Наверное, у него был детский паралич - он хромал на одну ногу. Это напоминало мне моего двоюродного брата Сережу, с которым мы играли в индейцев. Мне очень нравилась тогда его прихрамывающая походка, она придавала реальность индейскому вождю, будто бы раненному белыми. Дружба возникает в этом возрасте совершенно стихийно, без всяких объяснений или логических оправданий. У нас оказалось много общего, в частности он страстно интересовался прошлым Нарвы. Он мне сообщил поразительные сведения о том, что под всей Нарвой идут подземные ходы. Я сначала не поверил, но потом он притащил разные путеводители и показал мне книги с описаниями этих ходов. В один прекрасный день мы прошли под Нарвой. Было воскресенье, день, когда мы были более или менее свободны. Мы гуляли 2-3 часа по подземным ходам. Это были старинные ходы еще XVI века, вероятно, с тех времен, когда они были важны для защитников крепости Германовского замка, на случай если она будет окружена со всех сторон врагами. Резервные выходы были далеко за пределами тогдашней Нарвы. Теперь они оказались в пределах города. Я совершил несколько таких захватывающих прогулок и увлекся необычайно, потому что это давало пищу романтическим представлениям и обогащало нас сведениями о том, как строятся такие ходы, куда они ведут и почему. Ходили мы с фонарями, конечно, и с веревкой. Вспоминались путешествия по подземным шахтам, описанные в "Приключениях Тома Сойера". Раз мы попали в чужой погреб. Просто шли, шли и увидели дверь. Мы ее толкнули. За ней оказался погреб, заполненный бочками припасов. Мы поспешно оттуда ушли, чтобы нас не поймали как воришек. Думаю, что мы рисковали: случись что - никто не догадался бы, что в этот момент мы находимся под Нарвой. Когда стало холодно, мы прекратили эти прогулки. А к весне мы с Глебом уже не так дружили, может быть, потому что у него было много осложнений с учителями и свободного времени стало меньше. Когда я думаю о Нарве того периода, всегда вспоминаю Олечку Матвееву, Васю Титова и Глеба. У него прекрасно работала фантазия. И было полно романов Купера и Майн Рида. Я у него брал их и читал. Два года спустя, лет 16, не окончив гимназии, он заболел менингитом и умер. После того, как меня устроили в Нарву, отец предпринял решительные шаги. Преданные друзья всячески старались помочь моим родителям в поисках работы. Отец поехал в Ревель, где ему удалось устроиться, и решающую роль сыграла случайность. Осенью 1921

г. после неудачных поисков по разным объявлениям он пришел в одну фирму, и оказалось, что место уже занято. Секретарша, немка Александра Ивановна, отлично говорившая по-русски - в свое время окончила русскую гимназию - заговорила с ним. Он располагал к себе. Она посочувствовала, что он в глухомани должен валить лес. Он рассказал про потери в своей семье. Она вдруг приняла это близко к сердцу и спросила, где он остановился. "Знаете, я спрошу у своих знакомых. Я слышала, здесь должна открыться фабрика". Она имела в виду табачную фабрику обрусевшего англичанина Ланге. И действительно, она вечером сходила туда и на следующее же утро дала знать отцу, что Ланге ждет его на разговор. Ланге его сразу принял. Таким образом отцу удалось получить место, на котором он пробыл, покуда существовала эта фабрика, почти 10 лет. В начале 3О-х гг. Ланге сменил вид деятельности и закрыл фабрику, которая дала ему возможность войти в Ревельскую коммерческую жизнь.

В тот момент была, по-видимому, конъюнктура для табачных изделий. В Ревеле уже были большие табачные фабрики, но Ланге открыл маленькую, весь состав которой оказался русским. Секретаршей у него сидела Беклемишева, из военно-морской семьи Беклемишевых, потом Веррен - племянник адмирала Веррена, коменданта Кронштадта, который был убит советскими агентами. Моего отца взяли как техника. Хотя он терпеть не мог табака и в жизни не выкурил ни одной сигареты, ему пришлось вырабатывать это "дьявольское зелье", как он выражался. Позже он заболел раком кишечника, и я подозреваю, что свою роль в этом сыграла табачная пыль, которой он дышал много лет подряд. Ему платили довольно хорошее жалованье и по обычаю, тогда практиковавшемуся в Прибалтике (мы считали это английским обычаем), на Рождество выдавалось двойное жалование, подарок от фирмы. Начав работу в октябре, уже в декабре отец получил двойной оклад, и они с матерью переехали в Ревель.

Ревель был переполнен, было страшно трудно найти квартиру. Им удалось снять комнату в подвале на Железной улице, 24. Громадный, модернизированный по тем временам дом. Был даже лифт на парадной лестнице. Наверху жили зажиточные семьи. Жил там (позднее мы учились в одном классе) Николай Потоцкий. Его отец был инженер. Меня, между прочим, поразило, сколько было в Прибалтике польских семейств, и не только в Прибалтике, но и в России. Всюду были польские врачи и председатели земских управ, и преуспевающие инженеры. Царское правительство в этом плане было очень либерально. Если вы не подчеркивали своих антирусских настроений, Империя для вас открывалась полностью. На Рождество 1921 г. я поехал на каникулы в Ревель. Папа меня встретил на вокзале, взял мой сундучок, в котором находилось все мое имущество, и мы с ним пешком прошли с вокзала. Ревель был небольшой, так что шли мы 25 минут. Дома мама с восторгом встретила своего первенца! Между тем, хотя отец зарабатывал неплохо, тем не менее, родители очень нуждались,

потому что долго сидели вообще без денег. Нужно было обновить гардероб, и здесь уже не было никакой помощи. Теперь все покупалось за свой счет. Поэтому мама тоже пошла работать, и единственное место, которая она смогла получить, было на фабрике "Ла Ферм", где она сначала клеила коробки для папирос, а потом "выдвинулась" в контролеры по набиванию сигарет. Она работала там свыше года и даже хорошо зарабатывала. Но потом бросила и стала давать частные уроки детям, поступавшим в начальную или среднюю школу. Частично вернулась к своей профессии.

Что касается отца, то он пережил еще один кризис когда попал в Ревель. На лесной нашей даче нас очень ободряли американцы, которые помогали русским беженцам широко и умно, и поэтому мы могли существовать, не имея ни малейшей возможности заработать. Нас спасли от голодной смерти. и жили мы вполне по-человечески. Мне потом описывал подпоручик Николай Русецкий (отчества его не помню, все его звали Коля), что мой отец в тот период одет был в чесунчовый пиджак, который вывез с собой из России, и соломенную шляпу, стиль, слегка напоминавший Леонида Андреева. Отец часто ходил в накидке. Может быть, он ее взял, когда уезжал в 1919 г., и она сохранилась. И, по словам Коли, он производил интеллигентное впечатление. Русецкий говорил, что его принимали за журналиста. Отец обычно читал газету и иногда делал вслух комментарии, всегда ироничные, забавные и острые. Об экономике, например, он говорил: "Подумайте, при царском правительстве хлеб стоил 1 копейку фунт, а белый - 3 копейки фунт. И каковы теперешние цены Советского Союза? Изобилие благ земных тогда и полное отсутствие их теперь. Какая ирония истории! Какое странное искажение понятий о благе человека!" Такие замечания производили сильное впечатление на Русецкого.

В период его работы у Штакельберга с Вильяшевым его поразила человеческая неверность. В Ревеле он надеялся встретить педагогов. Он встретил, во-первых, Андрушкевича, директора частной русской гимназии в Ревеле. Раньше он был директором коммерческого училища в Ямбурге. Приятель дяди Миши, он очень хорошо относился к нам в Ямбурге. Вторым был Алексей Кириллович Янсон, которого отец встречал на разных учительских съездах, особенно в 1917 г. Янсон был довольно радикальный социалист: эсер или меньшевик. Эстонец по крови, но женатый на русской, он попал в Эстонии на хороший пост: был председателем русского учительского союза, преподавал в эстонских школах. Он был двуязычен, стал деятелем возрождения эстонской национальной культуры. Он отлично знал положение отца и матери в России. Но ни Янсон, ни Андрушкевич ничего не захотели сделать для отца. Школы были переполнены учителями, поскольку очень много народу выехало с армиями. Квалифицированные учителя, у которых все документы были в порядке, никаких проблем не имели. Их просто принимали на службу. Но наши документы пропали, и права моих родителей удалось восстановить лишь много позднее. Это

“педагогическое вероломство” потрясло отца - так он определил двурушничество Янсона и Андрушкевича, которые теперь, когда отец был в ужасно трудном положении, не хотели ничего сделать, чтобы ему помочь. Хотя бы засвидетельствовать в министерстве, что они знали его как педагога. Тогда отец навсегда порвал отношения с педагогическим миром. Он ушел в технический мир и почти не сохранил даже личных отношений. Моя мать позднее стала представлять мои интересы в гимназии, отец был слишком потрясен поведением своих коллег-педагогов.

Пребывание мое в Нарве укрепило дружеские связи с семьей Вережниковых. Все они хорошо относились ко мне, и я много раз у них бывал, несмотря на то, что отказался изучать музыку. Предполагаю, что старшая из Вережниковых, Женя, была даже ко мне немножко неравнодушна. Она была младше или моя ровесница, но с моей стороны это была чистая дружба. Дружеские отношения сложились и с учителем Георгием Васильевичем Васильевым. Я у них бывал. У них не было детей, их ребенок умер. В Нарве они жили неплохо. Они переехали еще до революции, в хорошую, типично русскую квартиру. Квартира была во втором этаже, и страшно было подниматься по лестнице - так все блестело и всюду лежали замечательные дорожки и коврики. Очень много было цветов. Васильевы были радушные хозяева и обычно приглашали меня к обеду. Мы немножко говорили о моих делах, Георгий Васильевич обычно вспоминал о дяде Мише. Видно, очень хорошо к нему относился. Садились обедать и, когда подавалась водка, по его настоянию я всегда выпивал рюмку. Вероятно, моя мать была бы в ужасе. Эти дружеские отношения продолжались еще очень долго.

Дружил я и с директором гимназии, историком Васильевым. Прекрасный человек, небольшого роста, седой, в золотых очках, очень подобранный, отлично выступал. Большой, видно, патриот. Он старался в своих исторических повествованиях непременно подчеркнуть положительные стороны создания русского государства и империи, не скрывая, что были и отрицательные, но в то же время не упирал только на негативную картину, с которой я потом, к своему ужасу, встретился в университетах у иностранных “специалистов” по истории России. С ним у меня сложились хорошие отношения, поскольку он чувствовал, что я люблю историю. Он спросил меня раза 2-3, а в последнюю четверть вообще не спрашивал, а просто поставил высший балл, ибо видел, что я слушаю с увлечением его лекции и все, что он записывает на доске, я переписываю в тетрадку. Затем я должен с чувством благодарности вспомнить Михаила Ивановича Соболева, председателя эмигрантского комитета, изыскивавшего средства на содержание гимназии. Главным источником были американцы, но этих средств не хватало. Поэтому Соболев имел контакты и с эстонскими министерствами просвещения и внутренних дел, имел много контактов с русской эмигрантской общественностью, иногда устраивал балы в пользу

русской эмигрантской гимназии в Нарве. Он стремился обеспечить хороший состав педагогических сил и сохранить тот уровень жизни, которым лично я (в гимназии) пользовался. Нас держали в большой чистоте. Каждую неделю меняли постельное белье и мы ходили в баню, а кроме того, естественно, мы каждый день мылись. Было много умывальников и душей в общежитии. Многие занимались зимой спортом. Некоторым у нас в общежитии было больше 20 лет. Один даже имел чин офицера, но так как он не успел окончить школу, ему разрешили кончать 8-й класс. Эти взрослые мальчики делали замечательные прыжки на лыжах со скатов около стен Германовского замка, восхищая нас, младших.

Нам помогали американцы, которые позднее создавали в Ревеле и в Нарве Христианский Союз Молодых Людей. Идейные американцы, которые даже изучали русский язык. Говорили очень смешно, но все-таки говорили по-русски. М.И.Соболев был душой этого дела. Он никогда не упускал из виду главную цель - что мы работаем не для самих себя, но для России. Он все время поддерживал эту мысль - что придет час, когда Россия позовет подготовленных за границей сынов своих, чтобы они вернулись на Родину и помогли в культурном строительстве. Михаил Иванович не касался преподавания, но знал состав учащихся и быстро заметил, что я хорошо учусь. Позднее, когда я попал в Ревельскую гимназию, он даже несколько раз меня поздравил письменно. Вообще напоминал, что я связан с Нарвской гимназией. Все это было приятно и напоминало тот подход, который был свойственен моему отцу и его начальству в дореволюционный период и во время революции.

ЧАСТНАЯ ГИМНАЗИЯ.

В июне 1922 г. я простился с Нарвой и близкими мне нарвитянами. Особенно сердечно с отцом Павлом, который и позднее сохранил ко мне дружеские, хотя и не близкие отношения. В Ревеле опять меня встретил отец, и мы с ним пошли на нашу квартиру, которую они все еще продолжали занимать в подвале на Железной улице в семье Куприяновых. Куприянов был сапожник, русский, но обэстонившийся, он был женат на эстонке, много говорил по-эстонски дома, но сохранял русский язык. Люди приятные, но необразованные. Очень смешно было видеть, что они восприняли фильм "Робинзон Крузо" как реальное происшествие, которое сфотографировали на каких-то островах. Сам Куприянов был страшно удивлен, когда я ему с бесцеремонностью и прямотой 14 лет объяснил, что он ошибается, это все играют артисты, а режиссеры ставят песни и танцы. Это я просто привожу как пример его культурного багажа. А так он был милый человек, отрицавший большевизм, потому что он видел, как большевики, проходя по Эстонии, грабили и убивали людей направо и налево. С другой стороны, они не понимали нашей судьбы, как было трудно моему отцу или матери, занимавшимся всю жизнь интеллигентным

трудом, вдруг оказаться на уровне простого техника или работницы на табачной фабрике. Это их социальное понижение никого не трогало и большинству было непонятно. Отношение было такое - все, что случилось, могло случиться только в России. Большевизм свойственен только России. "Когда в Эстонию попробовали прийти большевики, мы их выбросили. У нас теперь свободная демократическая республика. Но русские, конечно, при их уровне варварства, этого не понимали и приняли большевизм на свою голову". Но на эти темы говорили нечасто. Отец, чтобы найти отдушину, включился в хор Никольской церкви на Никольской улице, позднее она называлась Вене ("Русская"). Там ему даже стали платить содержание, потому что он и на требах пел, то есть на крестинах, или на похоронах, хотя это не всегда совпадало с его рабочими часами на фабрике, где работа была нетрудная, но монотонная, мало интересная. Он был человек пунктуальный, непьющий, и очень быстро владелец фабрики Ланге понял, что Андреев надежный сотрудник, и прибавил ему жалованье. Но все это были копейки при наличии сына и жены. Квартиры были очень дороги, да их и не было в Таллине, поэтому мы вынуждены были жить в подвале. Правда, при подвале была водяная уборная и водопровод, но мы мечтали выехать оттуда. Летом 1922 г. мама еще продолжала работать на "Ла Ферм", а я, вернувшись из Нарвы, старался как можно больше читать и в связи с этим попал в библиотеку общества "Русская школа в Эстонии". Там помещалась и моя гимназия, в которой я стал учиться с осени 1922 г. Мой аттестат из Нарвской гимназии был настолько блестящий, что меня приняли без всяких испытаний. И в поисках книг я обнаружил библиотеку. Библиотекарша была симпатичная девушка, не очень уже юная, как мне тогда казалось, 20 с чем-нибудь лет, Софья Константиновна, которая мне объяснила, что это библиотека при гимназии, но не гимназическая, ибо есть и чисто гимназическая библиотека, а это фундаментальная библиотека при обществе, которое содержит гимназию. В основу ее попала библиотека Морского офицерского Балтийского флота, которая раньше находилась в Доме офицерского собрания около кинематографа "Гранд-Марина" на Морском бульваре. Помещение перешло к эстонским организациям, их не интересовала русская библиотека, и обществу предложили ее взять. Конечно, общество "Русская школа в Эстонии" с удовольствием приняло этот огромный дар. Гимназия помещалась на Нарвской, 6-А. Если прямо идти, то дальше были швейцар, канцелярии, учительская, начинались классы. За дверью при входе направо были 2 громадные комнаты, заставленные шкафами, доверху наполненными русскими книгами. Софья Константиновна мне говорит: "Коля, если интересуешься какими-то книгами, то я могу тебе дать (я, видно, ей понравился), а ты, если у тебя будет время, придешь мне помочь переставить книги". Ее затрудняли верхние полки, нужно было лазать по лестницам. Я с удовольствием ей помогал. Во главе библиотечной комиссии был Григорий Иванович Тарасов, очень

талантливый человек. Главная его специальность была театральная критика. Он был широко образованный человек, знал языки, писал стихи, хотя его противники говорили, что подражательные стихи, я так не считал. В должности председателя он стал пополнять библиотеку, которая в основном имела дореволюционные издания, например, громадную ценность - периодику XIX века, толстые журналы, которые должны были цениться на вес золота. Там были комплекты "Сына Отечества", и "Современника" Пушкина и Чернышевского, и "Отечественные Записки". Он стал очень умно пополнять их революционными и пореволюционными книгами и создал великолепную библиотеку редчайших изданий, которые позже исчезли с русского эмигрантского книжного рынка. Когда в 30-х годах я пользовался этой библиотекой, то смог найти целый ряд изданий, которые были редкостью даже в Праге.

Так я начал лето 1922 г. Книжный мир этот мне очень нравился. Мама с весны начала давать уроки частично у себя в подвале, но так как там было неказисто, то она предпочитала делать это на частных квартирах. Она приходила как репетитор или наставница в богатые семейства и наставляла недорослей обоих полов на путь истинный. В этот момент вокруг нас появилось много дружески настроенных людей. Иван Николаевич Тараканов тоже перебрался в Ревель, но жил в другом районе, на ситцевой фабрике. Он вместе с отцом пел в Никольской церкви. Часто после служб он являлся к нам, и мы по воскресеньям ходили обедать. Питание в Ревеле было недорогое, и очень хороши были не дорогие рестораны, а столовые, где вкусно кормили. Одна из них была на Стенной улице. Мы часто ходили в нее даже и в будние дни. Иногда встречались там летом, я и отец - столовая находилась недалеко от его фабрики - и вместе обедали.

Мои родители обладали даром притягивать людей. Они были чисты душой, оба идеалисты, много претерпевшие, но никогда не жаловавшиеся. Отец никогда ничего не говорил о неприятностях, ударах судьбы, которые он перенес, и люди ценили их общество. Оказалось, что ревельское общество разделено: есть высокие педагогические круги, которые были открыты для нас в России, но теперь закрылись. Ревель был переполнен русскими. Остатки армии, много офицеров, чиновников, ушедших с Белой армией. Самые разнообразные группы. Уже в 192О г. большие группы военных стали уезжать в Польшу. Туда уехал генерал Ветренко, генерал Перебыкин формировал там корпус, потому что Польша продолжала воевать с Советским Союзом. Кончилось все весьма плачевно: интернировали этих русских белых, отношение к ним было нехорошее. Их терпели, пока они нужны были. То же случилось и в Эстонии. Русские нужны были для обороны Нарвы, а когда эстонцы перестали в них нуждаться, к ним повернулись спиной и всеми силами старались выжить из страны. Медленно рассасывалась эта колония. В начале 2О-х гг. многие уезжали в Парагвай, в Аргентину - куда пускали. Соединенные Штаты и Канада были закрыты

тогда для русских. Западные демократии открывали свои двери с трудом, но какой-то процент уехал во Францию. Туда уехали все Вильяшевы. Они с нами встречались как ни в чем ни бывало, сохраняя дружескую форму, хотя отец в сердце своем их никогда не принял вновь. В Париже оба брата Вильяшевы умерли, а мои сверстницы Милочка и Женя Вильяшевы некоторое время писали оттуда письма. Милочка вышла замуж, Женя окончила среднюю школу, а дальше не знаю. Русецкие тоже переехали в Ревель и поддерживали с нами сношения. Екатерина Константиновна Зелькович поселилась в Нымме, пригороде Ревеля, и устроилась учительницей в тамошнюю школу. У нее документы были в порядке, и в этом она была счастливее, чем мои родители. Она нас обожала, а мы ее, так что она появлялась у нас почти каждое воскресенье, или мы шли к ней, и вообще были, как папа говорил, лен-неделен.

Занятия в школах начинались в последний понедельник августа. Эта традиция русских школ осталась в Эстонии. Я оделся и пошел с некоторым страхом в новую свою гимназию. Подойдя, я ахнул: огромная, очень широкая в этом месте Нарвская улица, в сущности, Нарвское шоссе было запружено толпой (всего было почти 400 учащихся), которая собралась, ожидая, когда впустят. Все это галдело, шумело, разговаривало по-русски. Не было еще обязательной формы, не было головных уборов - они появились через год. Я почувствовал себя очень маленьким, стало страшно, все чужие, казавшиеся очень уверенными молодые люди, физически опасные и умственно превосходящие меня во всех отношениях. В конце концов открылась дверь, появился швейцар, которого потом я хорошо знал и очень любил, Федор - дядя Федя, как мы его называли, такой торжественный, он тогда не был еще, как потом, толстым. Ко всем этим началам учебного года он относился снисходительно. Много раз на его глазах начинался учебный год. Много директоров сменилось за его жизнь. Не только директора, менялись и политические режимы, менялась жизнь, а Федор все оставался швейцаром. Он был русский, но женат был на эстонке и говорил по-эстонски очень хорошо. Человек был с юмором и циник, что я потом только определил. Но умный человек, он заметил, что я не люблю его цинических замечаний и не отпускал их при мне. Одним словом, он появился, открыл половину двери, поднял руку и сказал: “Чинно входить!” И действительно, вдруг, к моему удивлению, вся эта толпа начала чинно входить в помещение и идти наверх, потому что рекреационный зал был в верхнем этаже гимназии. Огромный зал наполнился: учителя, главный священник, второй священник, дьякон. Пелся молебен. Это была частная гимназия общества “Русская школа в Эстонии”. Директором с осени 1920 г. был назначен Л.А.Андрушкевич. Он произнес громовую речь. Отличный математик, речи он выкрикивал, как оратор на митинге. И это было правильно, он производил оглушительное впечатление. Он выкрикнул множество лозунгов - что начинается учебный

год и как мы должны быть счастливы и благодарны обществу "Русская школа в Эстонии", которое заботится о нас, молодежи, и как мы должны быть все время начеку, чтобы не разбазаривать силы, не предаваться шалостям, а заниматься на пользу своего Отечества, которое рано или поздно позовет своих сынов. Мотив был, как у Соболева, только в другой форме поданный. Это был общий мотив первой эмиграции. Нам все время внушали, что мы работаем не для себя, не для своих эгоистических интересов, не для того, чтобы получать большое жалованье, иметь прекрасную квартиру и жениться на красавицах, а чтобы накопить знания, которые будут полезны нашему Отечеству. После выступления он прокричал распоряжения по гимназии. Всюду было уже написано, где какой класс. Выкрикивали - первые такие-то классы, затем следующие, чтобы не было хаоса. С каждым классом уходил классный наставник. Потом выкрикнули наш класс (я учился в Нарве в 3-м классе, а здесь - в 4-м). Вместе со мной в класс вошли 42 человека, все незнакомые.

Я сел в 3-й ряд в левую колонну, около окна. Третья колонна около окна и первый к проходу. Потом за мной кто-то сел. Передо мной тоже уже сидели. Вошел молодой человек, взглянул, подошел к моей колонне, подтолкнул меня и проскочил за моей спиной на свое место. Я посмотрел на него, он улыбнулся и сказал: "Меня зовут Владимир Заркевич. А ты кто?" Я ответил. В этот момент вошел наш наставник, Виталий Петрович Болбуков. Он был хороший математик, строгий наставник, а в этом году преподавал нам еще и географию. Преподавал очень хорошо. У него была великолепная дисциплина. Сам он был небольшого роста, черный, с блестящими глазами, розовощекий, хорошо выбритый, отлично одетый, и очень тяжело ступал. Болбуков сразу сел за стол и сказал, что поздравляет нас с началом учебного года и надеется, что мы будем хорошим классом, будем работать и что не будет неприятных историй, которые он, как классный наставник, должен был бы разбирать. Он хочет, чтобы мы выбрали ему в помощь старосту. Есть у нас кандидаты в старосты? Новенькие, как и я, молчали, но кто-то из учившихся в прошлом году сказал: "Мы хотим опять Прохорова". - "Прошку, Прошку", - закричало несколько человек. Болбуков постучал по столу и сказал: "Никаких Прошек нет, есть Александр Прохоров, вы его имеете в виду? Хорошо. Кто за Александра Прохорова?" Большинство подняло руки. Некоторые не подняли, как и я, потому что не знали даже, как он выглядит. Но во всяком случае он был выбран, и мы его выбирали каждый год до самого нашего выпуска. Это была традиция. У нас в классе не было борьбы за власть. Александр Прохоров был сыном дьякона, очень талантливого дирижера церковного хора в Александро-Невском соборе. Очень музыкальный, отличный математик, приятный, умный, после окончания гимназии он стал инженером. Встал коротко остриженный блондин, причесанный и опрятный. Болбуков сказал: "Ну, вот, Прохоров, тебя опять выбрали

старостой. Я не был вашим классным наставником, но знаю, что в прошлом году у вас в классе все было в порядке. Надеюсь, ты мне будешь помогать соблюдать порядок". Затем он дал несколько общих указаний, что нужно каждый день выбирать дежурного и что должен делать дежурный. Такие банальные вещи сообщил, которые мы и без него знали, и в конце концов предложил нам выходить из класса, но без шума. Сам первый вышел, и за ним с грохотом поднялся весь класс и, страшно стуча ногами, двинулся, вопреки его советам. То же было во всех других классах. Более или менее в одно время все стали выходить. Нарвская улица опять на мгновение запружена была русской волной. Мы вместе с Вовой пошли в одном направлении. Я раньше сворачивал. Он знал Потоцких и знал дом, где мы живем. Сказал мне свой адрес. Они жили ближе к Екатериненталю. Потом мы подружились, он был сыном русского военного инженера, полковника Заркевича. Его старший брат Сергей учился в 6-м классе. Отец их уже умер, и мать вторично совсем недавно вышла замуж за генерала Байова, Алексея Константиновича, так называемого Байова Черного. Было два Байова: Байов Рыжий и Байов Черный, как я потом узнал в Праге от разных генералов, с которыми дружил. Он не столько был известен как боевая фигура, хотя был начальником штаба, сколько как член авторского коллектива, писавшего историю императорских армии и флота. Издание было официальное и довольно полезное, но написанное без особого таланта. Алексей Константинович был очень достойный человек, русский патриот и верил в Русскую Империю, а позднее в Великого князя Николая Николаевича. Он был умеренный монархист, не мог принять революцию и болезненно переживал факт отречения императора. Но это я узнал позднее.

Учебный год начался на следующий день. У нас было много интересных преподавателей. Все с интересом смотрели, кто, что и как преподает. Появился забавный учитель эстонского, Матвей Иванович Тенсен. Мы были переходный класс: наш класс плохо знал эстонский язык, потому что многие, как я, только входили в эстонскую среду. Мы не были местные жители, и потому нам надо было догонять. Программа 4-го класса был уже сложной, эстонский считался первым иностранным языком у нас в гимназии. Но мы ни бум-бум не знали. Учитель был милейший человек, но на наше горе, он, как и большинство наших учителей эстонского, был романтик Эстонии. Всячески утверждал эстонское начало, эстонский приоритет, что было забавно, поскольку Матвей Иванович говорил об этом по-русски. Сначала он говорил по-эстонски, но заметив, что мы его плохо понимаем, перешел на русский язык - он окончил русскую учительскую семинарию. Он, например, доказывал нам, что Адам - эстонец. Конечно, в классе сенсация. Как это Адам может быть эстонец? Матвей Иванович воспламенялся, хватал мел и начинал писать санскритские слова, древнееврейские и Бог знает еще какие и доказывать, что Адам был несомненный

эстонец, ибо это эстонское имя. Наши боевые молодые люди время от времени, даже не слушая, что он говорит, подавали реплики: "Этого не может быть". Матвей Иванович говорил: "То есть как не может быть? " - и начинал еще больше кипятиться. На следующем уроке эстонского кто-то из нас, чтобы не отвечать скучнейшие тексты, вдруг вставал и говорил: "Папа сказал, что этого не может быть, потому что... " - и приводил длиннейший довод мнимого папы, и Матвей Иванович опять начинал петушиться и говорил: "Передайте отцу... " - и начинал писать на доске. И смотришь - опять ухлопали урок. Это было просто несчастье. Мы очень мало выучили эстонский язык из-за историкософских патриотических интересов нашего дорогого Матвея Ивановича Тенсена.

Крупные неприятности у меня были с немецким. Я начал учить его летом 1921 г., когда Иван Николаевич Тараканов привез мне немецкую грамматику Петцельда-Глезер и я выучил падежи и писал маленькие упражнения, но потом я не занимался им целый год, потому что в Нарвской гимназии был обязательный французский. В Ревеле уже целый год занимались немецким языком и довольно много знали. Преподавала нам фрау Перельман. Типичная немка, плохо знавшая русский и потому говорившая с нами по-немецки, она очень быстро выяснила, что я язык не знаю. В первую четверть, у нас по четвертям выдавались табеля, я получил по немецкому три с минусом. Все остальные отметки были вполне удовлетворительные или даже очень хорошие. Даже по эстонскому я получил четыре. Не знаю почему, я ни разу не отвечал. Три - была удовлетворительная отметка, а три с минусом очень низкая. И то она поставила ее только потому, что знала, что я очень усердно учусь. Родители, когда узнали, забили в набат. Я и раньше сказал, что у меня немецкий хромает. Отец навел справки. Оказалось, что у нас есть приятели, немецкие педагоги через дядю Сережу, который до революции преподавал русский язык в немецкой гимназии в Ревеле. Дядя Сережа, мой крестный, даже женился на прибалтийской немке. Папа поговорил с ними, и они сказали: "Ах так! Давайте его сюда. Мы его подгоним. Я ходил к ним 3 раза в неделю на дополнительные уроки. Причем они очень великодушно отказались взять деньги, хотя отец на этом настаивал. Это были отличные педагоги, особенно Анна Петровна (ее мужа я немножко боялся, он был филолог-фантаст и любил уходить во всякие подробности). Она была больше практик и понимала, что нужно гонять меня по теории, овладеть рутиной грамматики, выучить неправильные глаголы. И этого она добилась. К Рождеству я 2 контрольные сдал на высшую отметку, и когда изумленная преподавательница заставила меня говорить на ряд тем и читать стихи немецкие, оказалось, что я не только понимаю все вопросы, но и очень грамотно отвечаю. А стихи я читал хорошо. "Два гренадера" Генриха Гейне, стихотворение написано в 1817- 1821 гг. До сих знаю его наизусть. Фрау Перельман была потрясена и зауважала меня невероятно. Я очень

жалел, что она у нас была только год. Она была отличная преподавательница.

Как и в Нарве, нам устроили диктовку по русскому языку. Пришел преподаватель, Владимир Васильевич Брызгалов, человек старой школы, строгий, немножко презирающий школьников за то, что они не понимают правил, делают глупые ошибки. Он продиктовал нам отрывок из романа Данилевского "Сожженая Москва", ту сцену, когда Кутузов приезжает со штабом на Бородинское поле, а в это время несут икону Смоленской Божьей Матери, он кланяется иконе, целует ее, к иконе бегут солдаты, ополченцы, и все с надеждой, с верой обращаются к Заступнице, прося защитить их жизни в завтрашнем бою. Сильный, очень выразительно написанный отрывок. Я тогда этого романа еще не читал. На следующем уроке он раздал диктовку. На моей была только раскорючка сзади, без единой поправки. Я страшно удивился и говорю: "Владимир Васильевич, Вы мне ничего не поставили за диктовку". - "Что же ты хочешь"? -"Я ничего не хочу, я только обращаю ваше внимание, что там ничего не написано". - "А что я должен был написать. У тебя нет ошибок. Единственная разница между тобой и Данилевским только в том, что он иногда ставил точку с запятой, а ты ставишь точку. Но это возможное понимание синтаксиса. Ты написал очень хорошо". Класс был поражен и разинул рот, потому что большинство написало ужасно, Вова Заркевич наделал виртуозных ошибок, хотя во время диктовки он имел победоносный вид. Я тоже был поражен: ни одной ошибки. Это мне сразу придало уверенности, и Брызгалов меня выделил.

Мы проходили синтаксис по учебнику Смирновского, замечательному, как вообще большинство дореволюционных учебников русской средней школы. Это было отличное руководство. И я обнаружил прекрасное понимание синтаксиса, Брызгалов сразу это отметил и несколько раз обращался ко мне с вопросами. Я на все полностью отвечал, так что он меня считал знающим родную речь. Львиная доля этого успеха падала на мою мать, конечно, сыграло роль и обширное мое чтение. Вообще оказалось, что у меня есть зрительная память, которая помогает не делать ошибок. Позднее в разных языках я плохо выговаривал слова, но правильно их писал. Несомненно то, что я знал наизусть огромное количество стихов, тоже помогло мне понять и синтаксические формы русской речи, и, я полагаю, грамматические построения. К концу года выяснилось, что я один из лучших учеников 4-го класса в гимназии. По истории, которую нам преподавал Николай Иванович Немчинов, читавший скорее лекции, чем преподававший в виде уроков исторические события. Он дал контрольную работу по средним векам, которую я, по его словам, написал превосходно. Он ее разобрал и чрезвычайно похвалил, отметив, что она написала отличным языком, деловым, без туманных, непонятных слов, это тоже доказывало, что я уже начинал понимать литературные стили. Вторая победа была одержана на уроке географии. Болбуков меня спрашивал

дважды в течение года, во 2-й и в 4-й четверти, и оба раза я поразил его всякими подробностями и отличным знанием карты. Он тоже подчеркнул, что я все хорошо излагаю. "Это, - говорит, - вам не вызубренный текст. Андреев понимает, что говорит, он говорит своими словами, но правильно". Это была большая похвала с его стороны. Контрольную по математике весь класс решил неверно. Единственным исключением был я. Виталий Петрович был очень рассержен и сказал, что аннулирует эту работу и класс будет писать снова, единственное исключение Андреев, - "не могу признать его единственным знающим во всем классе, но отмечаю, что он сделал правильно". Он меня зауважал, а этого нелегко было от него добиться. Уважение ко мне он сохранил, и когда я у него уже не учился, уже окончил гимназию. Естественные науки преподавал Иван Иванович Ларионов, с которым мы были в дружбе. Он был чрезвычайно некрасноречив. Говорил к каждому слову "так сказать" и чрезвычайно неясно выражался, но мы его ценили, потому что он знал свой предмет и просто страдал отсутствием ораторского таланта. Он спрашивал меня каждую четверть и каждую четверть ставил высшую отметку. Я был в его глазах из той группы, которая "действительно работает", как он сказал в конце года. Самыми забавными были уроки рисования, их у нас вел художник Николай Федорович Роот. Он был большой чудак и замечательно интересная личность. Чудесный представитель русской богемы. Великолепный театральный художник, отличный декоратор, он много делал для театра. Человек большой художественной и общей культуры, но педагог слабый. Не только мы, вся школа звала его Ананас за его рыжие волосы, и он это знал. Он всегда говорил тонким голосом: "Для того, чтобы изобразить предмет на плоскости вашего листа бумаги, надо прежде всего выяснить отношение высоты к ширине..." Это был его лейтмотив. Мы, однако, вполне справлялись с его нагрузками. Я не помню ни одного предмета в то время, который вызывал бы затруднения.

В этот момент возникли первые классные дружбы. Обычно возникали "районные" дружбы - Борис Исаков и позднее Юра Дементьев жили вблизи меня, поэтому получилась дружба, в значительной степени зависевшая от топографии. Вова Заркевич, который сел рядом со мной, оставался моим приятелем до конца его жизни. Мы познакомились домами. Я к нему часто заходил. Иногда мы вместе готовили домашние задания. Но были и чисто душевные дружбы, как с Женей Белиовским или с Костей Гавриловым, который жил очень далеко, в Копли. Его отец до революции был директором русского судостроительного Балтийского завода, и у них до сих пор была казенная квартира. С Шурой Прохоровым дружба развилась немного позднее, особенно к концу гимназии. В этом году он держался настороже, может быть, ему казалось, что я его противник. Забавным образом возникла дружба с Костей Гавриловым. Эту дружбу мы сохранили на всю жизнь, хотя, к сожалению, потом мы жили очень далеко друг от друга. В

один прекрасный день сломался преподавательский стул, стоявший на кафедре, и инспектор Иван Спиридонович Столейков, латинист, типичный администратор, явился в класс и потребовал, чтобы виновный в поломке стула признался, это якобы было злостное действие. Преподаватель мог сесть и упасть. К счастью, преподаватели обычно его отодвигали, и когда кто-то из них его отодвинул, ножка упала и все выяснилось заранее. Но Столейков метал гром и молнии и требовал признания. Никто не признавался. Он спросил: "Кто дежурный?" Дежурным был как раз я. Он говорит: "К последнему уроку ты должен мне сказать, кто сломал ножку, а если не скажешь, будешь отвечать сам". Между прочим, странный педагогический прием. Когда Иван Спиридонович ушел, я обратился к классу и сказал: "Слышали, что сказал инспектор, так что если кто-то хочет сообщить мне свое имя,- и в шутку я прибавил,- и адрес, то я передам инспектору". Я вернулся к своим делам, стирал с доски, так как уже начались занятия. В этот момент с задней скамьи - он сидел направо, далеко от окна, в 3-й колонне - встал и подошел ко мне одетый в старую черную куртку Костя Гаврилов, с которым я почти не был знаком, и сказал: "Это я сломал. Иди и скажи инспектору". По всему поведению Гаврилова я видел, что он меня провоцирует. К тому же я имел свою теорию, что никто стул не ломал, а просто ножка подломилась, оттого, что учителя все время дергали его, а стул был не первой "свежести", это был ветеран стульев. Некоторые учителя даже качали стул на этой ножке. Поэтому я поглядел на Костю и сказал, что если правда он сломал, пусть идет и скажет инспектору сам. Нет, ты должен сказать. Ты говорил, что мы должны назвать тебе имя и адрес. Можешь пойти и сказать, что это я. Я сказал, что осмотрел стул и считаю, что это просто результат того, что стул всегда ставят на эту ножку, а некоторые, как Владимир Васильевич Брызгалов, еще и качают этот стул и нажимают как раз на эту ножку. Вот она и сломалась. И я участвовать в полицейских расследованиях нашего инспектора не собираюсь, а если кто-то считает себя виноватым, пусть идет к нему сам. Гаврилов был поражен моей речью и сказал: "Я думаю, ты ошибаешься. Это все-таки я сломал". Я сказал: "Может быть, ты его во сне сломал, я не знаю, тогда иди и скажи. Объясни, когда ты его ломал, каким образом. Никто не видел, чтобы ты ломал. Видел кто-нибудь в классе, что Гаврилов ломал стул? Никто не видел. Когда же ты его сломал? Ты даже уходишь из класса раньше, чем остальные, потому что далеко живешь". И когда инспектор пришел и спросил: "Ты выяснил виновного?", я сказал: "Виновного нет и быть не может, Иван Спиридонович, потому что..." - и объяснил свою теорию. Стулья не железные, ножка и сдала. Инспектор был поражен. Он был из старорежимных инспекторов, которые любят орать на учащихся, считая что все хорошо, а крик еще лучше. Его удивление было мне лестно. Он, проорав еще несколько угроз, сказал: "Я вижу, тут хитрецы собрались, да и я тоже не дурак. Я выведу вас на чистую воду. Впрочем, можете идти

домой”. И, конечно, мы поняли, что это пустые угрозы. Наш инспектор был брюнет, поэтому его прозвали по-эстонски - “Муст”, что значит “Черный”, и даже песенку про него сложили: “Муст, Муст, Муст - совершенно пуст. Что ни шаг, то скачок, словно вилкой в бок”. Идиотская песня, которая была страшно популярна во всей гимназии и ее любили петь хором на уроках рисования. Роот плохо слышал, поэтому когда пели, он впадал в панику, слыша какой-то гул, но не понимая, в чем дело. После того, как инспектор ушел, вдруг подошел ко мне Гаврилов, сияя, и сказал: “Это ты хорошо сделал. Ты настоящий друг. Я тебя испытывал. Я думал, ты будешь доносить, а ты не донес. Держался, как настоящий товарищ. Мы будем дружить”. И подал мне руку, и мы стали дружить.

ПОСКА

Летом 1923 г. мы переехали из подвала Куприяновых на улицу Поска. Поска эстонский дипломат, заключивший мир с Советским Союзом в 1920 году, очень удачно выторговав эстонские целый ряд русских районов в Эстонию, что для русских районов в этот момент было большим благом. Нарва и вся Печорская область, Принаровье, Причудье - все это вошло в пределы Эстонской республики. В Эстонии по официальной статистике было 110,000 русских. Меньшинство из 1,100,000 людей, которые составляли все население Эстонии. Еще здесь жило большое количество немцев, на островах - немало шведов, потом выявились евреи, хотя вначале они не подчеркивали своей самостоятельности, но уже после того, как я из Эстонии переехал в Прагу в начале 30-х гг. еврейское меньшинство тоже самоопределилось.

Дом 51-А по улице Поска состоял из двух корпусов. В первом, который выходил на улицу, было 4 квартиры, в каждой по семье. Во дворе, во 2-м корпусе, была странная постройка. Раньше там жил дворник, теперь поселившийся в подвале 1-го корпуса, где у него было несколько комнат. В маленькой постройке была пустая комната с печкой, плита и стояк. Если топить плиту, то нагревался стояк, а с ним и вся комната. Эту “квартиру” и высмотрел мой отец. Как он ее нашел, не знаю. Но он поговорил, с кем полагается. Управлял домами Владимир Иванович Матсов, который в то время служил в немецкой фирме. Русский немец, он сначала нам казался очень “цирлих манирлих”, позднее мы с ним очень подружились. Он сдал нам ту постройку на выгодных для нас условиях. Родители взялись за ремонт. Меня освободили, так как я был занят в школе, это было как раз время контрольных работ. Недостатком этой комнаты было то обстоятельство, что она была очень небольшая, и то, что уборная была в 1-м корпусе. Приходилось проходить по двору, что вносило в нашу жизнь черты спартанства.

Пришлось купить мебель, которой там совсем не было. Жить в такой комнате втроем надо было в условиях абсолютного порядка. У нас порядок

был установлен, как на корабле. Была поставлена двуспальная кровать для родителей в углу у печки. За печкой было маленькое пространство, и отец сделал там вешалки, чтобы зимой сушить одежду на теплом воздухе. Около плиты шел водопровод, который очень облегчал положение. Плита отделялась от общей комнаты ширмой, так что ее не было видно. Ширма снималась, когда мама готовила. Моя постель утром складывалась и клалась вниз, за печку, вечером вынималась и раскладывалась перед плитой, там, где стояла ширма. Если я был, скажем, болен и оставался в постели, мне приходилось переходить в постель родителей, скрытую от наблюдателя небольшим элегантным буфетом. В сущности, это был шкаф, но очень удачно выполнял роль буфета. Родители подцепили его задешево, и он, покрашенный отцом, очень прилично выглядел. Папа сделал особые полки над краном около плиты для кастрюль, так что их тоже не было видно. У ширмы стоял большой стул, на котором обычно сидел отец, и отличный стол. В основе своей это был ломберный стол для игры в карт, в которые мы никогда не играли. Мои родители отрицали карточные игры в принципе. Я тоже не знал карточных игр, играл только в подкидного дурака. Этот ломберный стол был довольно удобен. Отодвинув его от стены и поставив посередине, можно было усадить за него 8 человек. Работать за ним могли совершенно спокойно, не мешая друг другу, четверо. Все мы сидели за этим столом. Отец обычно занимался нотами церковных песнопений, мать - исправлением тетрадок своих учеников, а я уроками. У другой стены позднее была поставлена кушетка, на которой я стал спать. Над кушеткой была книжная полка. В углу висела икона. Были разные фотографии, в которых позднее можно было усмотреть мой культ в семье. Чем старше я становился, тем больше оказывалось фотографий с моей гимназической, а потом студенческой деятельностью. В углу у входа за занавеской висела наша одежда, если нужно было, там вешалось и пальто. Хотя для пальто были вешалки в передней. Около окна тоже был легчайший, но удобный стол из карельской березы, не та изящная мебель, какая стояла в царскосельских дворцах, где я был с отцом в 1915 г., а довольно основательное, по-видимому, финское сооружение. За этим столом мама обычно давала уроки. Она сидела перед шкафом с посудой, потом стоял этот стол, а ученик сидел между занавеской в углу и столиком. Ученики у нее иногда бывали поздно вечером, особенно великовозрастные, которые боролись со своей безграмотностью. Это была очень выгодная группа учеников, они хорошо платили и в то же время особенно старательно готовили уроки. Обычно результаты у мамы были отличными.

У нас был не ковер, но разные коврики, чтобы их легко было подметать. Пол был, конечно, крашеный. Все отремонтировали отец с матерью. Свежие обои, которые переклеивали раз в два года, вносили большое оживление. Все блестело, как в морских каютах. И люди, особенно морские офицеры, которые к нам приходили, спрашивали: “Кто из вас

служил во флоте?" Во флоте никто не служил, а порядок был абсолютный. Наш дом был страшно популярен. Беспрерывно приходили люди. Мы даже старались все свои дела закончить до 8 часов вечера, так как после 8 начинались хождения "на огонек". Самые разные люди. Например, в дружбе с отцом и особенно с матерью был Игорь Северянин, этот поэт громадного роста. Я, к сожалению, всего один раз видел его в нашей комнате, потому что дружили они позже, когда я уже уехал. Отец говорил, что когда входил Северянин, он занимал все воздушное пространство в комнате. Приходил другой писатель, Василий Акимович Никифоров-Волгин. В противовес Северянину он был небольшого роста, плотный. Замечательный человек, из семьи нарвского дьячка, много и интересно писавший о церковном быте. Хотя он много занимался и стилизацией, модной особенно в 20-х и в 30-х гг.: святая Русь, которая шла отчасти от Бориса Зайцева. Немножко этим грешил Шмелев. Приходил позднее, познакомившись с нами, Сергей Михайлович Шиллинг, который полюбил моих родителей. Он сменил позднее Алексея Кирилловича Янсона на посту русского национального секретаря и потом на посту председателя русского учительского союза. Он морально поддерживал моих родителей и старался всячески им помочь в безработицу 30-х гг. Часто приходил журналист Владимир Исакович Новицкий, бывший прокурор, человек очень резкий, но образованный, умный и как журналист удачливый. Он работал то в одной, то в другой, то в третьей местной газете. Обычно через некоторое время уходил со страшным скандалом, поругавшись с редактором, в другой орган, потом возвращался. И, конечно, приходили наши старые друзья. По воскресеньям мама специально делала всегда 2 пирога: один "серьезный", с капустой, с яйцами, с мясом, или морковный пирог тоже с яйцами, а другой непременно сладкий пирог с вареньем. Она очень умело это приготовляла, зная, что непременно придут люди. Бывало даже, что мы не начинали ужин в ожидании кого-нибудь из наших холостяков или разведенных. Новицкий был разведенный и потому одинокий. Иван Николаевич Тараканов был холостяк, и его тоже нужно было пригревать. Все это напоминало оживление, которое было у нас и в России. Мои родители и здесь притягивали к себе людей, хотя, материальное социальное их положение оставляло желать лучшего во многих отношениях.

Когда летом 1923 г. мы переехали, оказалось, что мы выиграли во многих отношениях, несмотря на примитивность этого жилища и на странный вид снаружи, который слегка ошеломлял гостей, потому что помещение рядом с помойкой, с другой стороны прачечная, и вдруг тут живут интеллигенты Божьей милостью. Мы выиграли, во-первых, потому что это было рядом с трамвайной остановкой. Мы с отцом редко пользовались трамваем, но мама очень часто, потому что это ей сокращало прогулки на уроки или на рынок. Но и пешком все было недалеко, совсем рядом начиналось Нарвское шоссе. Мне в гимназию было идти 20-23 минуты.

Рядом был парк и пляж, прекрасный, благоустроенный, со скамеечками. Его еще расширили в 30-х гг., когда стали свозить мусор и засыпать часть Таллинского залива,- получился большой кусок весьма благоустроенного пляжа. Он был обсажен кустами сирени, черемухи и других пахучих цветов. По пляжу, двигаясь от гавани в направлении Бригитовки, вы попадали к "Русалке", памятнику русскому крейсеру, утонувшему со всей своей командой в 1893 г. в Балтийском море. Эстонский скульптор Адамсон поставил памятник с перечнем имен всех погибших, написанных по-русски. Все русские, гуляя в этом районе, посещали "Русалку". Памятник действительно был очень эффектным. Мы любили гулять по пляжу, потому что здесь уже не чувствовались город и шоссе, вечером было почти безмолвно, и можно было спокойно, вдыхая морской воздух, обсуждать вопросы, занимавшие членов семьи Андреевых.

ЕКАТЕРИНЕНТАЛЬ. 1924.

Не менее приятным местом был грандиозный Екатеринентальский парк, красиво расположенный и отлично спланированный, один из самых эффектных парков, какие мне пришлось видеть на своем веку. А видел я много хороших парков и в Праге, и в Берлине, и в Англии, и в Вене. Фоном этого парка являлся Ревельский залив. На самом деле море никогда не подходило к самому парку, но впечатление было такое, будто в конце некоторых аллей перед вами открывалось море. Парк отлично содержался. Расположенный на 3 ярусах, он постепенно поднимался. В прошлом это был склон плоскогорья, где уже в мое время праздновались Ивановы ночи. Сбоку на этих склонах были построены улицы, и дома лепились один к другому вниз по крутым улочкам. На этом склоне был лес. При Петре склон разровняли, прорубили деревья и сделали как бы три главных этажа. Основной - с дворцом. На главных дорогах все эти 3 яруса соединялись, можно было проехать в машинах, но не всюду. Почти по всем аллеям ездили на велосипедах, и всюду было много удобных скамеек. Были разбиты цветники, летом устраивалось еженедельно несколько концертов. Обычно духовые, притом разные общества соревновались и потому играли хорошие программы. Собиралось много публики, или сидевшей на стульях перед беседками, где располагались оркестры, или просто гулявшей в соседних аллеях. В самом нижнем ярусе парк соприкасался с большой дорогой и богатыми соседними улицами, где было несколько ресторанов с хорошими оркестрами, и летом, гуляя, вы слышали еще и их музыку, что тоже было очень приятно. Главные аллеи освещали электрические фонари, кое-где были остатки газового освещения. Центром этого великолепного парка были 2 точки. Одна - большой дворец, который Петр Первый построил для своей жены, Екатерины Первой. Он меблировался не столько при Петре, сколько позднее, в течение XVIII века, но все было первоклассно. Сначала, когда мы туда приехали, это был просто объект архитектурного искусства,

но после того, как там стали останавливаться высокопоставленные или даже августейшие персоны, посещавшие Эстонию, вроде короля Швеции или президента Финляндии, часть дворца отремонтировали, сделали в нем покои для приезжающих и устраивали государственные банкеты. Приблизительно последние 7 лет существования Эстонской Республики во дворце жил президент. Там жил последний президент Константин Яковлевич Пятс, брат учителя нашей гимназии, отца Николая. Когда президенты стали жить в Кадриорге, там появилась стража и часть аллей вокруг дворца закрыли для широкой публики. Но в первые годы там никто не жил, и можно было гулять рядом с великолепными цветниками, которые традиционно разбивались и перед самим дворцом, и вокруг на лужайках. Вторым естественным центром притяжения был домик Петра, стоявший посреди 2-го яруса и якобы был построен самим Петром Великим до постройки дворца как его собственная резиденция. Возможно, так это и было, но меня поражали низкие потолки в этом доме. Петр Великий был известен своим громадным ростом, и спрашивается, почему он построил для себя такое низкое помещение. Мне это осталось неясно. Ему обязательно нужно было сгибаться, входя туда, как мне приходилось склонять голову в коридоре и некоторых комнатах. А я отнюдь не высокого, а среднего роста. С другой стороны, голландский тип таких домов соблюден, и по документам его действительно строил Петр Великий.

Кажется, еще в 1924 г. существовала Петровская площадь, потом переименованная в площадь Свободы. Посреди нее стояла замечательная статуя Петра Великого. Она изображала его в человеческий рост, в треуголке, со шпагой и с подзорной трубой. Смотрел он на Запад. Чрезвычайно пропорциональная статуя, один из прекрасных памятников XVIII века и один из самых человечных памятников этому государственному деятелю. В момент националистических страстей, несмотря на протесты русской прессы и русских представителей в Эстонском Парламенте, было решено памятник этот снять, и не только снять, но нижнюю часть перелить на мелкую разменную монету. Верхнюю часть памятника, начиная с живота, отвезли в Екатериненталь и бросили лежать на деревянном станке. Люди, приходившие осматривать домик Петра Великого, обычно трогали его нос, и через некоторое время нос стал блестеть. Это была медная отливка, и нос стал отливать красным. Долго памятник лежал в загоне, около домика Петра, под огромными деревьями, которые, вероятно, с прискорбием смотрели на такое обращение с художественным сокровищем. Пока однажды не приехал король Швеции, которого поместили в Кадриоргском дворце, как его стали называть по-эстонски. Шведский король, у которого, как у всех приезжавших, время было расписано по минутам, тем не менее, нашел свободный час и, к величайшему смущению эстонских властей, изъявил желание осмотреть домик Петра Великого, о котором он уже слышал и знал, что это было рядом с дворцом. Там он

увидел фигуру императора в плачевном состоянии. Сразу появились довольно ядовитые карикатуры и статьи на эту тему в эстонской прессе, и фигуру установили вертикально. Сделали подножку. Его все еще можно было ухватить за нос, что и делала публика, но все-таки он хотя бы стоял.

Это одна из иллюстраций сумасшествия, глупого и варварского отношения к прошлому, которое иногда вдруг охватывало молодые государства, подверженные малодержавному шовинизму. Это характеризовало скорее эстонское отношение к императору, чем отношение императора к эстонцам, ибо Петр I по отношению к Прибалтике был весьма великодушен. Когда были присоединены эти территории, он обещал оставить статус кво внутренней жизни этих провинций и свое обещание сдержал, его наследники придерживались этого в течение всего XVIII и почти всего XIX веков. Только во время русификации, уже при Александре III, были произведены некоторые видоизменения во взаимоотношениях социальных групп.

За парком начинались холмы, выглядевшие как плоскогорье. Оно вело к озерам, снабжавшим город Таллин водой, и на этих высотах, на этих полях в ночь на 24 июня устраивались празднества Ивана Купалы, на которых я несколько раз бывал. С одной стороны, очень красочные, с множеством костров, пением старинных эстонских песен, народными языческими играми. С другой стороны, часто бывали явления нежелательные. Публика напивалась, и начинались внезапные драки, подкалывание противника пресловутыми финскими ножами. Так что я постепенно охладел и меньше ходил на эти огромные, стихийные, а потому малоорганизованные встречи Ивановой ночи. В Екатеринентальском парке мы любили прогуливаться вместе с нашими гостями, дыша чудесным свежим воздухом, без сырости, которая часто бывает в парках. Там было огромное количество разных птиц, и птичьи хоры летом бывали замечательны, там были рыжие белки. Можно было даже дойти в верхнем ярусе до открытых пространств, которые по воскресным дням заполняла публика, приходя туда со своей едой и устраивая пикники. В результате эти чудные луга в понедельник оставляли впечатление недавнего грандиозного побоища. Все было усеяно пустыми бутылками, разбитой посудой, кусками газет. Уборщики и сторожа сердито выгребали остатки, понося демократических воскресных посетителей. Еще позднее, во второй половине 30-х гг., за Екатеринентальским парком в этих районах возникло Певческое поле, которое частично поглотило парк. Были сделаны подъезды с берега моря в глубь парка и на стоянку машин.

В парке мы гуляли с воодушевлением, и часто мать отправляла нас туда в воскресный день, пока она приготовит что-нибудь вкусное. Бывало, мы уже вернулись из церкви, а до обеда еще три четверти часа, и она отправляет нас на прогулку. Это были очень приятные прогулки с папой. Можно было говорить, о чем угодно, всерьез или, наоборот, в насмешливом

тоне. Он любил такие беседы, и я очень дорожил ими до самого последнего момента, когда уже был студентом. У меня остался в памяти последний разговор с ним в парке в 1938 году, когда он очень радовался моему приезду и мы как раз гуляли перед обедом.

У меня лично Екатеринентальский парк был связан с лирическими историями. Не одна героиня встречалась со мной под сенью деревьев, и лирическое воодушевление веселило души участников таких встреч. В каком-то смысле это был наш парк, мой парк. Там много раз я гулял и в одиночку, много читал и мечтал о будущем, но каком-то неопределенном. Екатеринентальский парк всегда мне напоминал о России, о русском, потому что был связан с именем Петра, который у меня в сознании был русским началом в Европе. Образ Пушкина "окно в Европу" неверен, это было не окно, это была дверь в Европу, во-первых, а во-вторых, Россия была частью Европы и до нашествия татар. Эти исторические параллели неточны. Но для меня, для нас, например, это оказалось действительно окном в Европу, потому что через некоторое время я уехал оттуда и начал уже сознательное движение на Запад. Парк вспоминается мне и как место замечательно веселых дружеских прогулок, и чисто мужских, моего класса, и позднее смешанных, когда начиналось ухаживание. С летом одного года связано у меня начало катания на велосипеде именно в этом парке. У меня никогда не было собственного велосипеда, я был слишком беден. А если бы и был, в нашем маленьком доме его негде было бы держать. Кататься мне очень хотелось, и друзья хотели меня научить. Напротив нас, на улице Поска жил Юра Дементьев. Он был чуть моложе меня, на год, полтора. Самый младший наш одноклассник, но умный и хороший малый. У него был корявый почерк, и он не умел писать работы по литературе. Зато был отличный математик и физик, превосходно учился языкам и вообще был отличный товарищ. У него велосипед был, и он решил, что мне нужно научиться кататься. "Я тебя буду учить". Начали кататься, и я обнаружил чудеса неповоротливости. Как будто боялся сидеть на велосипеде - все время спускал ноги, не мог ехать, меня таскали сзади и спереди. На второй сеанс пришли еще два моих приятеля: Виктор Линдеман и Борис Исаков, и они поочередно с Юрой держали велосипед, сначала спереди и сзади, а потом только сзади, и я ездил, все время вихляя рулем, и вдруг услышал вдалеке, метрах в 25 от меня, аплодисменты. Мгновенно, конечно, упал. Аплодировали мои тренеры. Оказывается, я 25 метров проехал, не сознавая этого. После этого все пошло хорошо. Вблизи парка на шоссе случилась однажды странная история. Я уже ездил на велосипеде. Как-то Юра пришел к нам, начал болтать, как всегда, с родителями, а я говорю: "Юрочка, пока ты тут треплешься, я покатаюсь, ужасно хочется. Я проеду до Русалки и обратно". Проехал, а когда стал поворачивать, то оказалось, что Юра забыл сказать, что у него не в порядке руль и нельзя было делать крутой поворот. Я повернул направо и с размаху въехал в громадные

заросли крапивы, из которых вылез с большим трудом и проклятьями. Родители очень смеялись, и отец сказал, что это очень полезно, в деревнях это даже применяют от разных "нездоровий".

Я вспоминаю с благодарностью и зимний Екатериненталь. Он был другой: заносило все второстепенные дорожки, там нельзя было пройти из-за сугробов. Только главные аллеи расчищались снегометами. От дворца на "Русалку" была прямая аллея с великолепным видом памятника. На верху памятника стоял ангел с крестом, который как бы благословлял погибших моряков. (Хотя путеводитель для туристов, изданный в Москве, вероятно, к Олимпийским играм, утверждает, что памятник "Русалка" желает морякам доброго пути!) Эта аллея и аллея от дворца к городу и к трамвайной остановке расчищались. Мы любили кататься на санках с этих холмов с первого, второго, третьего ярусов - на салазках или еще лучше на великолепных финских санях. Своих финских саней у меня тоже не было, но я много ездил на санях наших друзей. Ехать на них можно очень и в то же время безопасно. На финских санях сиденье впереди, а сзади гибкие полозья. Можно управлять ногой. Какие-то мальчишки катались на салазках и ухитрились попасть под грузовик, и хотя никто не был ранен, полиция забеспокоилась и стала нас гонять вместе с салазками, но финские сани они не прогоняли. Зимний Екатериненталь был просто великолепен! На фоне сверкающих снегов чистота, воздух удивительный! И вы летите на финских санях, поддавая ногой, развивая скорость на спусках с одного яруса на другой. Со свистом! Последний раз я гулял по Екатериненталю в 1938 году, когда уже начались предвоенные настроения в Центральной Европе. Меня уже экстренно телеграммой вызывали в Чехословакию, я прервал исследования, которые вел в Псковско-Печерском монастыре и вернулся в институт имени Кондакова в Праге. Последний раз я проходил по Екатериненталю, чувствуя, что, может быть, прощаюсь с ним навсегда или, во всяком случае, надолго. Было ощущение, что в игру может войти Россия, и все осознавали, что если это произойдет, то судьба Эстонии и всех живущих здесь будет совершенно иной, чем была до тех пор. Я шел по Екатериненталю в лирическом возбуждении, но понимал, что, по-видимому, в такой переходный момент лучше не давать лирическим чувствам воли. Пожалуй, это было правильное решение, во всяком случае главные объекты моих тогдашних чувств обе погибли во время войны.

Вернемся на Поска 51-А, где мы поселились в странном домике, в сущности состоявшем из одного помещения. В одной комнате получилась целая квартира плюс еще кладовая и передняя. Во большом доме внизу жил присяжный поверенный Яксон, эстонский политический деятель. В верхнем этаже стали жить с одной стороны Матсовы, а в другой квартире семейство Мизернюк, все с большим количеством ребят. Четверо мальчиков Мизернюк, и у Матсовых Рома и его сестрица Ирина. Во 2-м корпусе население все время менялось, но в основном было связано с семейством Маресевых. Там

же жили Крузе, а одно время - Осипов. Там жили и Матсовы, пока не переехали в 1-й корпус. Жила там и семья капитана Малевича, командующего Эстонским флотом. Хотя это была его настоящая фамилия, он пользовался еще одной, эстонской, поскольку был эстонского происхождения. Он был капитан 1-го ранга бывшего Императорского Балтийского флота. Они жили в нижнем этаже, и их хорошая квартира выходила на улицу. Их сын Андрей учился у моей матери, способный мальчишка, но большой лентяй, отчего с ним было немало возни. Мадам Малевич была очень милая женщина. Она умерла года через два, после того как мы там поселились. А с капитаном мы познакомились в связи с событиями 1 декабря 1924 года.

Это было довольно морозное утро. Мой отец, как всегда, встал первым, подбросил дров в печку и выпил кофе.Затем перекрестил маму и меня и ушел. Минут 20 спустя я пошел в гимназию. Ходил я очень быстро, особенно зимой, потому что по манере того времени носил высокие чулки до колен и короткие брюки (вплоть до 7-го класса. В 7-ом классе мне сам директор сказал, не пора ли мне начать носить длинные брюки. Меня позабавило это замечание, но я решил, раз уж дело дошло до директорского вмешательства, то, по-видимому, пора). Пройдя очень быстро Соломенную улицу и выйдя на Нарвскую, я удивился, что не встретил, как обычно, своих соучеников или соучениц. Их почему-то не было. Во-вторых, я заметил, что вообще прохожих очень мало и нигде не видно полиции. На одном перекрестке должна была быть полиция, а ее не было. Во всяком случае, я на эти темы долго не размышлял и очень быстро пошел в гимназию. Там, как всегда, было очень тепло, уютно и светло, но не было того огромного потока, которые должен был входить в гимназию. Стояли два-три гимназиста и разговаривали со швейцаром. Никого не было из педагогов, может быть, только директор. Тогда я еще посмотрел, не поднимаясь наверх, на раздевалку нашего класса, кто-то ко мне обратился, сказав: "А ты что пришел? Ты разве не знаешь, что сегодня не будет занятий?" - "Нет, откуда же мне знать". - "В городе бои". - "Какие бои? " - спросил я. - "Да такие. Почта захвачена. Там стреляют, и вокруг вокзала тоже, поэтому поезда не пришли из предместий, и никого нет". А в предместьях как раз жило много педагогов и учащихся. Очевидно, учителя знали, что идет восстание, и не пришли. Всякий беспорядок отчасти радует учеников. Не будет занятий, тем лучше! Мы болтались. Всего нас набралось человек 25-30. Все пришли пешком. Появился директор, который телефонировал куда-то и сказал, что занятий сегодня не будет. "Если хотите, то можете сидеть здесь или, если вы недалеко живете, можете идти домой". Но я предпочел сидеть в школе и ждать новостей. Постепенно появлялись люди, и выяснилось, что группы коммунистов, так называемые "боевые дружины" решили произвести государственный переворот. Коммунистическая партия в Эстонии была не очень многочисленная, но легальная, хотя с ней всегда были недоразумения, арестовывали то одного, то другого, потому что они совершали всевозможные

нелегальные акции в пользу Советского Союза. Оказывается, ночью они напали на дом главы государства, "Рийги-Ванем", так он назывался, доктора Акеля. Одновременно напали на военное министерство, вокзал, главную почтовую и телефонную станции и другие пункты, в том числе на казармы полицейского резерва. Из того района появился человек и рассказал, какая там была сумятица, чуть ли не бомбы бросали, но сейчас как будто все в порядке или, во всяком случае, будет в порядке. В центре города уже появилась милиция, кайтселийт (самозащита) и полиция, и у полицейских у всех винтовки, и вообще дело как будто идет к победе. Газет никаких не вышло, и мы не знали, что происходит. Люди приходить в школу тоже перестали, и мы к 11 часам утра стали расходиться. Было совсем светло. Трамваи не ходили, на улицах пусто. Я пошел домой. Как потом выяснилось, у многих из моего района были телефоны или прибежал кто-то из соседей и предупредил, так что почти никто не пришел. Маме постучали позднее, когда мы с отцом уже ушли. К ней тоже ученики не пришли, так что получился какой-то полупраздничный день. Отец явился после 12 часов. Он ничего не видал и не слыхал. Прошел благополучно на фабрику и удивился, что никого нет. Он был сначала один, потом кто-то еще пришел. Он даже подумал, что может быть, начальство перепилось! Часа через полтора раздался телефонный звонок, звонил директор фабрики и сказал, что в городе восстание и как раз в его районе страшная стрельба. Он не может выехать и поэтому остается, попросил, если есть почта, положить ее в директорский кабинет и затем закрыть фабрику и уходить, если никого нет. Отец так и сделал и на всякий случай поискал газет. Но, конечно, их не было, и он благополучно вернулся домой. Последствием этого восстания было установление на краткий срок военной диктатуры генералом Лайдонером, а знаменитый и хороший поэт Николай Тихонов написал стихи, в которых он его назвал "кровавый Лайдонер"! На следующий день, когда все газеты вышли, Лайдонер опубликовал обращение к народу, в котором совершенно категорически заявил, что судьба нашей государственности висела на волоске, потому что эти элементы хотели произвести насильственный переворот. Это им не удалось и, по-видимому, расправа с ними была довольно жестокой. Большинство убивали на месте. Несколько человек, которые были поважнее, судили. Само собой разумеется, большинство населения Эстонии, которое знало, что такое коммунизм, хотя бы издалека, хотя бы слегка, никакой симпатии к зачинщикам и к исполнителям переворота не испытывало. Тут выяснилось, что у эстонской нации есть монолитность, ко всем этим людям относились сурово. Положение в ту ночь было очень трудное, потому что все боялись военной помощи со стороны советских войск, и целый ряд воинских подразделений не двигался к Таллину, а оставался в тех стратегических пунктах, где они могли бы столкнуться с советскими частями, появись те на границах с Эстонией.

Капитан Малевич как раз пришел к нам и говорит: "Знаете, Ефрем Николаевич, пойдемте выпить." - "Почему?"- спросил папа. - "Ах, какой праздник. Мы вдруг вытащили лотерейный билет, можем жить дальше. Знаете, я вывел весь наш флот "два с половиной вымпела, - как он говорил, - две канонерки и одну устаревшую подводную лодку. Конечно, если бы подошел Красный Балтийский флот, то через полтора часа от нас ничего бы не осталось. И Вы сами понимаете, что было бы после этого".

Результатом этого коммунистического восстания 1 декабря 1924 г. было сильное ограничение в библиотеках советской прессы. В течение трех лет после этого мы с большим трудом получали книги из Советского Союза и периодическая печать была очень ограничена. Можно было найти ее в Публичной библиотеке, но нельзя было купить в киосках, как было до восстания. К моему удивлению, следующим главой коалиционного правительства, единогласно выбранным, по-видимому, 2 декабря Эстонским парламентом, оказался присяжный поверенный Юрий Яксон, который занимал у нас в 1-м корпусе квартиру в нижнем этаже, такую же, как и Малевич, но окнами на двор. Яксон был человек демократических взглядов, держался замкнуто и мало общался не только с русскими, но и с эстонцами. Мы и его, и его жену и дочь сравнительно хорошо знали, хотя пассивно, потому что они никогда с нами не разговаривали, хотя были любезны, раскланивались, но никаких попыток к сближению не делали. Некоторое время он продолжал жить в той же квартире, потом все-таки переехал на Вышгород, но квартира все время оставалась за ним. Перемена выразилась только в том, что появились 2 полицейских поста, которые могли наблюдать дом с улицы, а с наступлением сумерек начиналось патрулирование вокруг дома и на пустырях за домом. Патрули милиции имели электрические фонарики, и, если мы иногда возвращались домой поздно, то перед входом в дом они нас освещали, брали под козырек, и мы благополучно проходили в дом. В те времена заговорщики в Европе действовали еще очень примитивно. Бомбы, гранаты, всякие страшные разрушительные средства, столь часто применяемые террористами после второй мировой войны, еще почти не употреблялись.

Остальное население корпусов было в большинстве русское. Из них волей судеб у нас потом сохранились отношения с семьей Матсовых, и младшие, да и старшие ее представители стали хорошими друзьями нашей семьи. Сначала Владимир Иванович Матсов, управляющий домами, жил там один. Он был абсолютно русский по своей культуре. Он сдал нам этот домик по очень льготной цене с условием, что мы за свой счет произведем ремонт. Потом к Владимиру Ивановичу прибыла из Ленинграда семья: жена его, Елена Петровна, солистка хора Мариинской оперы, что считалось очень высоким положением, Старший сын Роман, ставший потом знаменитым музыкантом и дирижером, и младшая дочь Ирина, которой было лет 5-6. Сначала они жили во втором доме, окна которого выходили

в сад. Очень быстро все познакомились с этой семьей.

Елена Петровна была обходительная и умная женщина, очень музыкальная, она начала систематически развивать талант своего сына. Интересны были их свежие впечатления о советском быте, советских нравах. Елена Петровна была крайне отрицательно настроена ко всему, что испытала в Советском Союзе, и это выразилось в том, что когда Роману пришло время учиться в гимназии, она отдала его в немецкую гимназию Домшуля. Это его сильно огорчило. Роман был инстинктивно русский человек. Учеба дала ему отличное знание немецкого языка, но он всю жизнь ненавидел все, связанное с Германией. Это сказалось позже и на его музыкальной карьере. А младшая, Ирина, была очень милой девчоночкой. Она поразила всех знанием разных, не вполне литературных выражений и, сидя на крыльце, осыпала ими своих товарищей, которые, в изумлении раскрыв рот, слушали. Ничего подобного в буржуазных дворах Эстонии не слыхивали! Но мать с этим быстро покончила. Не знаю, как ей удалось прекратить эти словоизвержения, но надо сказать, что они были забавны. Потом Ирина сердилась, когда ей об этом напоминали, и говорила, что это выдумки. Но это не были выдумки, это было отражение советского быта. Все Матсовы хорошо относились к моим родителем. После войны молодой Марик, сын Романа, нежно любил мою мать, которая жила с ними в одной квартире. Елена Петровна обожала обоих моих родителей и очень считалась с их мнением. Потом они переехали в первый дом, заняв квартиру во 2-м этаже над Малевичами. Тогда как раз наступил период музыкальной подготовки Романа, и его, бедного, заставляли играть по 5-6 часов и на скрипке, и на рояле каждый день. Мать строго его контролировала, так что Роман немножко страдал от перегрузки. Но зато это дало ему огромное преимущество, когда он поступил в консерваторию. Ирина вышла замуж за друга отца, Даниэлса, тоже русского по культуре, немецкого латыша по происхождению. Она была намного моложе, чем ее муж, тем не менее, их брак был счастливым. У них родились три очаровательнейшие дочери.

Второе русское семейство, связанное с нами, были Мизернюки. Николай Яковлевич и Анна Анатольевна. Мать ее, Прево, у нее была французская фамилия, все поголовно звали бабушкой, она и была такая всеобщая бабушка. Сидела она очень часто в окне и давала руководящие указания, как мой отец любил шутить, всем внукам, а также всем проходящим по двору. Бабушка обожала и моего отца и мою мать и почитала их педагогический талант. Отец всегда шутил - "берем реванш на старушках", намекая на то, что русские педагоги в Эстонии остались глухонемыми в отношении моих родителей, зато частники глубоко их уважали и принимали. Николай Яковлевич по образованию был инженер. Квартира была довольно большая и удобная. У них было четверо сыновей. Николай Яковлевич был нервный человек. По-видимому, денег у них было не много, и больше заработать в условиях Эстонской республики ему не удавалось. Поэтому

дома он разговаривал, иногда слышно было, дискантом. Судя по фамилии он был украинских кровей, человек с большим юмором, любил похохотать, особенно с моим отцом. Николай Яковлевич выходил на балкон. Отец в это время, допустим, что-то делал во дворе. Например, зимой были иногда такие снежные заносы, что мы едва могли выйти из дома. Буквально нужно было откапываться. Выше человеческого роста бывало. В таких случаях мой отец любил по собственной инициативе встать утром и, не дожидаясь дворников, проделать в снегу тоннели к крыльцу: к одному, другому, третьему, к главным воротам. Николай Яковлевич всегда выходил на балкон и отпускал шуточки, и отец отвечал ему в том же духе. У них бывал забавный дружеский обмен любезностями. Иногда мы у них бывали. Народу за столом сидело столько, что становилась понятна нервозность Николая Яковлевича - проедали огромное количество денег. Жена его была музыкально образованная женщина, давала уроки музыки. Но у нее была жестокая форма астмы, так что она постоянно что-то вдыхала, и курила, и задыхалась и при этом страшно много говорила. И всегда очень сложным языком. Мой отец тоже в шутку, но не так чтобы она слышала, говорил, что ее мучает интеллигентская закваска, которая хочет выйти из нее, а жизнь ее толкает быть просто домашней хозяйкой и решать, как сделать, чтобы на всех хватило трех фунтов мяса. Бабушка довольно долго жила у них в отдельной комнате. Она не очень хорошо ладила со своим зятем. Хотя никогда не было внешних столкновений, но чувствовался между ними холодок. У нее были сбережения, и она не была в тягость семье. У них иногда даже прислуга появлялась - русские девушки, которые помогали Анне Анатольевне по хозяйству. Семейство было шумливое. Если мы попадали во время чаепития или ужина, нас каждый раз приглашали к столу. Этим пользовались многие знакомые и приходили как раз так, чтобы подгадать к еде. И тогда велись громкие разговоры, какие любила образованная часть эмиграции.

Еще из русских насельников этих домов надо отметить сестру Владимира Ивановича Матсова, Ольгу Ивановну. Она была вдова. Очень любезная тонная дама, которая в этот момент была ориентировано на немецкое общество, но сохранила к нам хорошее отношение вплоть до самого последнего времени своей жизни. Я ее видывал уже после войны, незадолго до ее смерти, в Западном Берлине. Из других русских, которые жили в наших домах время от времени, вспоминаются Маресевы.

Татьяна Дмитриевна Маресева была дочь знаменитого петербургского профессора Дмитрия Николаевича Кайгородова, известного естествоиспытателя, в своих знаменитых “Бюллетенях” пропагандировавшего изучение естественных наук. Позднее мы подружились. Муж Татьяны Дмитриевны, военный инженер, уже умер. У них было трое детей: Кира, Таня и Петя. Кира, замечательная деятельница русских женских скаутов, вышла замуж за эстонского лейтенанта Владимира

Андрезена. Володя был очень одарен в языках, отлично знал русский, эстонский, немецкий, английский, и мы предполагали, что он работал в военной разведке. Так, наверное, считали и советчики, потому что когда произошла смена режимов, его арестовали одним из первых, и он бесследно исчез. В тот период, когда мы его знали, он был очень счастлив. Он был одно время летчиком, и жили они с Кирой во 2-м корпусе. Таня училась в нашей русской гимназии, милая девочка, к которой я одно время был неравнодушен. Совершенно платонически, издалека, потому что мы не были знакомы. Петя тогда был маленький мальчик, на которого не очень-то обращали внимание. Время от времени там жили эстонские парочки, которые обычно скоро исчезали. Жил одно время бывший полковник и журналист Александр Иванович (или Николаевич) Осипов. Он приехал с острова Явы. Не знаю уж, каким образом он попал в Эстонию, потому что русских оттуда пропускали с трудом. Может быть, у него были в Эстонии родственники. Читал он лекции о Яве, затем устроился журналистом в местных газетах. Журналист он был очень посредственный, по-моему, потому что всегда и все упрощал. У меня однажды было с ним деловое общение, которое обнаружило его полное невежество в ряде вопросов. У него была дочь Ирина, с женой он как будто разошелся. Были какие-то дамы, в общем, довольно пестрая биография.

Жили долгое время Крузе: мать и сыновья. Они были немцы, но обрусевшие, как большинство городского населения в Эстонии. Весьма милые люди, оставившие по себе хорошие воспоминания. Один из Крузе женился на сестре Вали Липп, моего хорошего друга, и мы постоянно встречались, даже и позднее, когда они жили уже в Берлине и в Гамбурге. Я рассказываю это как фон. Видно, что весь этот блок домов был ультрарусский. В этом районе жило много русских семей. Моя мать имела постоянные уроки именно в нашем районе. Например, у Пумпянских. Леонид Максимович Пумпянский был один из директоров Эстонского государственного банка, получал большой оклад и считался зажиточным человеком. Он жил на Поска, и за ним всегда приезжала машина. Женат он был на бывшей поповне, которая была ему забавным контрастом: он небольшого роста и склонен к полноте, очень, умный и дружески настроенный; она очень высокая, костлявая, говорливая, артистичная. Она понимала театр, сама пела в свое время или играла, обнаруживала способности к художественной деятельности. Старалась быть этакой светской дамой, что неплохо удавалось. У них позднее останавливались некоторые наши общие друзья из Праги, как профессор Сергей Иосифович Гессен. Жило на Поска много маминых друзей, из которых и вербовались в основном ее ученики. Ее группа шла успешно. Ученики, если оставались у нее в том возрасте, когда надо было быть в школе, обычно сдавали весной экзамены блестяще. В некоторых случаях они уходили в школу, но иногда продолжали занятия у матери. Недостатка в учениках у нее никогда не

было, и даже было жалко, что "благодаря" отсутствию документов она не могла организовать частную школу и довольствовалась мелкими формами педагогической деятельности. Одним из последних учеников моей матери был Боря Холостов. Холостовы потом жили в нашем 2-м корпусе, занимая чуть ли не весь нижний этаж. Они переехали главным образом потому, что Боря учился у мамы. Он был из способных молодых людей и потом блестяще сдал экзамены. Роман Павлович Холостов был предпринимателем. Он был инженер с творческим предпринимательским духом. Постоянно выдвигал продуктивные идеи, учреждал различные общества. Он помог отцу и нашел для него место во время безработицы начала 30-х гг. Роман Павлович с почтением относился к моей матери, считал, что она великолепный педагог и очень хорошо влияет на Борю. Боря был довольно сложный юноша, но абсолютно признавал авторитет моей матери и работал с увлечением. Мать Бори Елена Дмитриевна тоже любила моих родителей, отца - за то, что он любил пошутить, а она любила посмеяться. Когда они встречались, то постоянно слышался ее хохот и как будто случайно сказанные шуточки моего отца. Поскольку Роман Павлович имел талант делать деньги, их у Холостовых было много. С другой стороны, как русский человек он любил пригласить и угостить. Мы с ним поддерживали отношения и за границей. В 1939 г. они приехали в Чехословакию и уехали уже после прихода туда немцев. Когда мы прощались, Роман Павлович сердечно обнял меня и сказал, что постарается сделать все возможное, чтобы помочь моим родителям, если в этом будет нужда.

Наше пребывание на Поска 51-А, несмотря на все бытовые и психологически-социальные сложности эмигрантского существования, было все-таки скрашено этим русским фоном, этим постоянным присутствием русских друзей в нашей жизни. Всегда все старались помочь, ценили юмор моего отца и принципиальность и отчетливую работу моей матери, благосклонно относились ко мне и я даже думаю, что в какой-то мере преувеличивали мои достижения и достоинства.

Мои родители прожили в нашей "вилле" до начала 1940 года. Я был последний раз в Эстонии в 1938 г. в сентябре. В 1940 г., когда выяснилось, что Эстония должна будет подчиниться советскому влиянию и президенту Эстонской республики Константину Пятсу пришлось поехать на поклон к Сталину, где он даже получил сталинский портрет с собственноручной надписью диктатора: "Революционеру Пятсу от такого же Сталина". Но это не спасло ни Эстонии, ни самого Пятса от расправы. В 1940 г. начался выезд из Прибалтики немцев по договору Адольфа с Москвой. В этот момент друзья моих родителей, генерал Петр Петрович Баранов, его жена Наталья Дмитриевна Баранова и их дочь Наташа, ученица моей мамы и отчасти моего отца, решили покинуть Эстонию и перебраться в Италию. У них был большой дом на Вышгороде, который они сдали перед отъездом целиком, а моим родителям предложили переехать во флигель. Прекрасный

флигель, хорошо обставленный, рядом с их домом. И мои родители на это пошли. Здоровье их уже не было столь безупречным после того, как в 30-ых годах отец страдал от безработицы, которая расшатала его психику. Он был безработным почти 3 года. Затем мама перенесла сложные желудочные и кишечные заболевания, ее вылечены и даже это как-то обновило ее организм, но, тем не менее, им становилось все труднее и труднее жить в этой "вилле", где было так мало удобств. Поэтому они приняли предложение Барановых и в этом флигеле провели советскую и немецкую оккупации, там мой отец и умер. На этом кончилась наша связь с Екатериненталем. Хотя, надо признаться, что поскольку я ни разу не был в этом флигеле, то, думая о родителях, когда я писал письма, пусть даже по другому адресу, я всегда мысленно представлял себе Екатеринентальский парк, нашу улицу Поска, нашу "виллу", и поток наших друзей, которые входят и выходят из нашего домика, и замечательные игры перед домиком на площадке, когда играли в крокет и мама блистала как "разбойник". Или там же, рядом с прачечной, мы - дети всего двора -строили большой пиратский корабль. В качестве нападающих на корабль однажды в игре участвовали пражские студенты во главе со мной и с Костей Гавриловым. Хотя я забегаю вперед, но это все было связано с Поска. И так и осталось в моей памяти. Я всегда представлял родителей обывателями нашего дорогого Кадриорга, нашего Екатериненталя.

В "вилле" на Поска заметна была еще одна черта нашей семьи - склонность всех ее членов к книгам и вообще к печатному слову. Средств у нас было очень мало, тем не менее, за годы жизни в Ревеле мои родители вновь купили много книг, а главное, я посылал им из Чехословакии журналы. В конце концов у них набрался комплект "Современных Записок", почти полный комплект "Воли России" и полный комплект журнала "Числа". Все это относится уже к 30-м годам, когда я окончил университет в Праге. Кроме того, отец обладал благородной страстью собирать русские газеты и, благодаря этому своему увлечению, он имел много изданий, которые были мимолетными, эфемерными, выходило 2-3 номера, и издание прекращалось. Выходили газеты в глубине Эстонии, которые далеко не все продавались в столице, однако отец кое-какие из них купил и сохранял. Позднее, во второй половине 3О-х гг. этот комплект газет он продал в русский исторический архив, который был очень доволен, потому что они получили 4 не известных им издания и пополнили существующие у них комплекты новыми выпусками. Журналы, прибывавшие от меня, вытеснили газеты и даже, как мама говорила, постепенно начинали вытеснять жителей дома, потому что полки были заняты книгами и в кладовке целые 2 полки отведены были под периодику. К сожалению, все эти журналы трагически погибли, когда в Эстонию пришли советские войска - живший в нашей "вилле" Иван Николаевич Тараканов в этот момент с перепугу сжег целый ряд ценнейших эмигрантских

изданий. Мои родители сочли это актом трусости, сказали ему об этом, и он обиделся. Конечно, я не хочу сказать, что мои родители были вовлечены в литературные проблемы так же, как я. Но они с неослабным интересом следили за той периодикой, которая обратила на себя их внимание. Таким образом, в нашей семье сочетались разные начала. С одной стороны мы были бедны и потому воздержанны в еде и питье. Мы очень редко употребляли спиртные напитки, редко предавались излишествам в еде, хотя отец время от времени в конце недели заходил в кондитерскую и пленялся тортом. Он любил торт, любил сладкое. А торты в Ревеле были замечательные, в той русской и прибалтийской традиции, которая пестовалась еще до революции, некоторые фирмы, как знаменитая шоколадная и кондитерская фабрика Штуде, например, даже являлись поставщиком двора его Императорского величества, что само по себе было знаком высокого качества товаров. Нам с отцом приходилось иногда подрабатывать колкой дров по субботам, особенно в первые годы нашего пребывания в Эстонии, до переезда на Поска. Мы с отцом ходили в разные семейства и там работали часа по два, заготовляя им на несколько дней распиленные и расколотые дрова. Оплачивалось это хорошо. Главным образом работали в зажиточных немецких семействах, иногда в эстонско-русских. В период учебы в гимназии мне, например, несколько раз приходилось летом работать физически, например, с Юрой Дементьевым мы разгружали вагоны с дровами. Это была сдельная работа, за которую мы получали небольшие карманные деньги, к тому же нам открывался мир других социальных отношений. Я чрезвычайно был поражен, например, бессовестностью, с которой нас обсчитывали заведующие складами, явно выгадывавшие на нас. Это были полезные социальные уроки. Я как-то сказал родителям сказал, что если бы был профессиональным рабочим, то несомненно исповедывал бы очень левые, возможно даже, коммунистические взгляды, поскольку в отношении к вам богатых предпринимателей вы встречаете элементарную нечестность.

Как заключительный аккорд памяти о нашей "вилле" на Поска в Екатеринентале хочу вспомнить, что именно в этой комнате были написаны все мои литературные дебюты для газет и отредактирован гимназический журнал "Порыв", а затем, когда я уже попал в Прагу, по предложению национального секретаря русского меньшинства в Эстонии, Сергея Михайловича Шиллинга я стал редактором "Нови", сборника молодежных произведений, первого органа такого рода за рубежом. Мы издали и отредактировали в нашей "вилле" выпуски 1928, 1929 и 1930 гг. С этой точки зрения наша вилла должна была бы войти в историю зарубежных литератур. Здесь я написал нашумевшую статью "Сирин"(1930) о прозе Набокова, первую большую статью о его творчестве. Неприятные стороны нашей жизни - занятость, отсутствие возможности как следует отдохнуть летом, социальная неудовлетворенность отца, огорчение матери, которая

не смогла до советского периода вернуться к педагогической деятельности в большом масштабе - все это не мешало творческому росту и творческой нагрузке младшего члена семьи Андреевых. "Дух дышит, где хочет" - древняя эта истина невольно припоминалась в нашей вилле и как бы символизировала весь период нашего ревельского существования.

На втором году гимназии наши преподаватели иностранных языков приспособили форму более или менее русской манеры образования к той, которая создавалась пребыванием в Эстонии с детства, когда в обиход входили два или даже три языка: эстонский, русский и немецкий. Наш класс был более русским. Правда, в нем тоже были проэстонские группы, потому что некоторые происходили из эстонских семейств. Очевидно, дома отчасти говорили по-эстонски. Но таких было меньше, значит, наш класс требовал к себе особого внимания. К сожалению, со стороны нашей учительницы эстонского языка, госпожи Эско, никакого внимания к нам не было. Она, видимо, вообще не понимала, с кем имеет дело. Она была на редкость скучна, не умела ничего рассказать. Мы читали скучные тексты, переводить их на русский не умели, она все равно не понимала то, что мы переводили, и получалась чистая трата времени. Мы вызубривали биографии писателей и содержание отдельных произведений и попугаями это сообщали, если нас спрашивали. Я очень жалею, что в те годы, когда мозг так восприимчив, нам не дали основ настоящей эстонской речи. Была в нашей гимназии первоклассная учительница эстонского, Маргарита Ивановна Генгельбах-Пенза, но она никогда не попала в мой класс. Мы знали, что она очень строга, настроена националистически, и вместе с тем все ее любили и считали, что она интересно и правильно преподает, ясно объясняет и справедливо требует. Преподаватель эстонского, который был у нас в 7-м классе, произвел на меня большое впечатление, хотя и по другим причинам. В смысле чисто эстонской речи и он дал нам мало. Это был отец Николай Пятс.

Первый год в Ревельской городской русской гимназии, ставшей потом Таллинской, прошел для меня очень удачно. Я опять получил очень хороший аттестат, и даже по эстонскому отметка была высокая, потому что контрольную мы виртуозно списали. Мы угадали, о чем будет речь и подготовили шпаргалки. Обычно у нас списывания не было, но моральный кодекс в отношении эстонского языка у нас был ниже, чем в отношении других предметов.

Я участвовал в спектакле "Роза и Крест", который поставил очень тонкий и интересный артист Лев Александрович Эберг. Он играл в Камерном театре Таирова, у Комиссаржевской и Мейерхольда. Он был изысканный, очень интеллигентный человек. На разборе пьесы "Роза и Крест" он помог нам войти в сущность блоковского символизма. Спектакль прошел 2 или 3 раза, в особых декорациях. Даже был сделан специальный марлевый занавес, который должен был создать впечатление тумана на

сцене. Не знаю, насколько публика поняла, что это туман, но нас он очень отделял от зала. Может быть, поэтому наши действия становились более отчетливыми. Мы меньше пугались зрителей. Во всяком случае, это был необыкновенно интересный спектакль, костюмированный, со специальной музыкой, отчасти сложенной Иваном Харитоновичем Степановым, "Зябликом", отчасти откуда-то им похищенной. Пресса высоко оценила спектакль. Георгий Иванович Тарасов написал хвалебный отзыв о толковании Эбергом этой символистской трагедии и очень хвалил гимназия, которая ставит на своих подмостках такие высокие литературные произведения.

Большое значение начал играть в этот год Русский театр. Его директором был Александр Васильевич Проников. Жена его, артистка Котляревская, играла в этой же труппе. Русский театр давал ежевечерние представления в здании Немецкого театра. Редко бывал вечер без спектакля - когда играла немецкая труппа. Но это было лишь 3-4 раза в году. Часто по субботам и воскресеньям шли дневные и вечерние спектакли. В театр охотно ходили, хотя постепенно посещаемость стала падать. С одной стороны, в Ревеле было много русских и для них существование профессиональной труппы было отдушиной. С другой стороны, эстонская интеллигенция тогда еще вся владела русским языком и потому не прочь была пойти и посмотреть пьесы в отличном исполнении русского театра. Кроме того, в Советском Союзе начался НЭП, и на гастроли за границу начали приезжать различные артисты. Не хочу сказать, что все это появилось в одном и том же году. С 1922 на 1923 год приехали на гастроли Первая и потом Третья студии Художественного театра, и мы увидели удивительное исполнение таких пьес, как "Сверчок на печи", "Потоп", "Тетка Чарлея", "Эрик XIV", "Жирофле-Жирофля", "День и ночь". (Может быть, я добавил сюда постановки театра Таирова.) Но "Принцессу Турандот" в блестящей постановке Третьей студии Вахтангова мы видели.

Все это подымало, конечно, тонус русской культурной жизни. Постановки были изумительные. Гастролеров было очень много. Позднее стала приезжать на гастроли и Русская драма из Риги. Приезжали из Советского Союза такие удивительные актеры, как Степан Кузнецов, Певцов, Калугин, игравший в Ревеле годами. Приезжал сначала на гастроли, а потом надолго остался Лихачев и некоторые другие выдающиеся актеры. Русский театр был блестящий. Бывали удивительные сезоны. Играла великолепная комическая старуха, Екатерина Николаевна Гаррай. Она играла в Петербурге, кажется, у Сабурова в театре "Комедия Фарс". Были великолепные новые ансамбли артистов, например, группа артистов во главе с Муратовым, которые потом играли в Риге, Маршева, жена его, была замечательной комедийной артисткой. С ними появился просто гениальный актер Всеволод Орлов, брат знаменитого пианиста Николая Орлова.

Театральная жизнь в Ревеле была на самом высоком уровне. Посещение

театра было праздником для всех нас. Наша семья по бедности могла ходить только на галерку, зато мы ходили всей семьей, почти каждую неделю, обычно в воскресенье, на какой спектакль попадали. А если шли гастроли Художественного или отдельных выдающихся актеров, то мы ходили и в будние дни. Не только мои родители высоко ценили театральное искусство, но и Иван Николаевич Тараканов, и Екатерина Константиновна Зелькович, и другие наши новые друзья были энтузиастами русского театра, и мы не жалели на него ни времени, ни денег. Нужно отдать справедливость, цены были умеренные. Ложи и, вероятно, первые ряды партера были дорогие, но их брали люди с деньгами, буржуазия этим поддерживала кассу русского театра: Мы в данном случае сидели высоко в облаках. Но наш голос галерки был очень важен. Галерку и балкон заполняли энтузиасты. Тут обычно сидела и учащаяся молодежь, и крики восторга были всегда такими громкими, что все гастролеры и обычно заканчивали вечер специальными знаками внимания к галерочникам. Кроме того, наша семья время от времени попадала на концерты. Туда было труднее попасть. Билеты распродавались гораздо быстрее, потому что туда ходило много эстонцев. Во-вторых, когда мы шли на галерку, мы могли быть скромно одеты, но в концертном зале Эстонии, где все решительно было невероятно освещено, вы чувствовали, что должны выглядеть не хуже других. Это обстоятельство очень мешало моим родителям, у которых гардероб был весьма ограниченный. И все-таки в эти годы, когда мы жили в Ревеле и я еще там учился, мы были вовлечены в культурную жизнь, несмотря на то, что отец волей судьбы уже не принадлежал к профессиональным интеллигентам и был отброшен обратно в техники.

ФИНЛЯНДИЯ. ВАЛААМ.

В июне 1924 г. Владимир Сергеевич Соколов организовал первую экспедицию литературного кружка нашей гимназии в поездку по Эстонии. Мы решили посетить Юрьев-Тарту, Валк-Валга, Печоры-Петсери и Старый Изборск-Вана Ирбоска и, вернувшись в Печоры, поездом уехать. Владимир Сергеевич выхлопотал нам как школьной экскурсии различные скидки. Я думал, что не поеду, это было бы все-таки трудно для моих родителей. Но они настаивали на том, чтобы я непременно поехал, ибо придавали большое значение моему знакомству с окружающим миром.

И, действительно, поездка удалась. Состав участников был смешанный: ехали многие мои друзья по литературному кружку и по театральным выступлениям. Поехали даже некоторые педагоги. Нас было человек сорок. Было очень весело, много пели. В наше распоряжение дали целый вагон. Нас всюду мило встречали. Мы останавливались в школах, гимназиях, и всюду у Владимира Сергеевича были друзья-учителя.

Юрьев-Дерпт-Тарту очень нам понравился. Владимир Сергеевич перед нашей гимназией учительствовал там, у него были связи, его там любили.

В нашу честь устроили ужин. Мы писали пародии, читали стихи. Все это вызывало много смеха. Было интересно посмотреть университет. Занятия там уже кончились, и по нему можно было спокойно гулять. Владимир Сергеевич, который там учился, давал подробные объяснения. Тут мы узнали, как много русских поэтов было связано с Дерптом, о нем писал Жуковский. Вспоминали исторические события, как менялось это место и почему оно называлось Юрьевым, почему Иван IV считал Юрьев своей вотчиной, хотя здесь были Ливонские рыцари. Оттуда мы отправились в Валк, небольшой город, разделенный между Эстонией и Латвией. У нас рассказывали в шутку, что кто-то из наших участников, гуляя, перепрыгнул канавку и через некоторое время, идя по улице, обратил внимание, что надписи сделаны на неизвестном языке. Присмотревшись, он увидел, что попал в Латвию, - канавка была границей. Он поспешно вернулся обратно в родную Эстонию!

Оттуда мы приехали в Печоры, которые нас поразили и пленили, ибо это оказался совершенно другой мир, уже не эстонский и не латышский, не шведско-немецко-российский, как в Юрьеве, но типичный русский провинциальный городок. Мы остановились опять в школе. И нас поразил Псково-Печорский монастырь. Когда мы к нему подошли, мы ахнули. Не ожидали такой красоты, такого единства ансамбля: древние стены, башни, бойницы, таинственные входы (на самом деле никакой таинственности не было, но нам казалось, что таинственно), древние ворота, даже служки в черных подрясниках и скуфейках, открывавшие и закрывавшие ворота, казались частью исторического пейзажа. Успенский собор был просто удивительным, выкопанным в горе. По собору весь монастырь назывался Успенский. Мы видели ансамбли церковных построек и келий и било посреди одного из дворов, превращенных в сад около древнего колодца. Осмотрели ризницу, прошли по садам, которые в этот момент все цвели, и казалось, что все благоухает. Нас поразили церковные службы, хор монахов, певших знаменитый акафист перед иконами: “Царица моя преблагая! Надежда моя Богородица!” Мне пришлось потом несколько раз побывать в этом монастыре, приехать туда для исследования истории монастыря. В те годы, конечно, я не предполагал, что буду когда-нибудь заниматься его историей, я воспринимал его, как живописный обломок Руси, чудом сохранившийся для утешения нашего за границами России, в маленькой Эстонии. Оттуда мы ездили в Изборск, который также произвел огромное впечатление. Там мы познакомились с Александром Ивановичем Макаровским, местным учителем-археологом, он показывал нам Труворово Городище. Была хорошая погода, и мы видели Псков, вернее, понимали, что там Псков, ибо там маячило марево от крыш и видна была соборная колокольня Пресвятой Троицы Псковской. Монастырь нам показывал Алексей Алексеевич Булатов, который подписывался в газете “Буслай” и был тогда председателем местного кружка охраны памятников старины.

Сам он одевался по-русски, в вышитую рубашку, высокие сапоги. У него была борода и лукавые глаза, как нам казалось тогда. Колоритный человек, он как будто воплощал в себе и Псковщину, и древний Новгород, связанные в нашем представлении с Русью. Все это было для нас глубоким переживанием. Когда я писал отчет в газете, то закончил его стихами: “О край родной, как ты чудесен! Ржаная степь, ржаной народ, ржаное солнце, и от песен землей и рожью отдает”. Редакция была очень довольна, особенно зная, что это совсем молодой человек написал свои искренние впечатления о Псково-Печорском монастыре.

Во время нашего путешествия случилась катастрофа: мы ехали на двух автобусах. Один доехал благополучно, а другой сошел с колеи, упал, разбился, но, к счастью, не свалился в обрыв, и люди только слегка ушиблись. Мы даже попали в газету в связи с этим происшествием, но все остальное протекало очень хорошо. Все вернулись освеженные и воодушевленные тем, что видели, и развивавшейся дружбой, а иногда и влюбленностями. Экспедиция надолго врезалась в мою память, и этим прекрасным аккордом закончился учебный год.

Следующий год прошел опять-таки в напряженной работе и возрастающих успехах. Не было ни срывов, ни катастроф. Наоборот, я поднял уровень своих знаний. Очень много читал, принимал участие в литературном кружке и в спектаклях. На пасхальных каникулах была поставлена трагедия Майкова “Два мира” о столкновении языческого Рима и нарождающегося христианства. Ставила пьесу новый для нас режиссер Ксения Николаевна Зейдельберг-Новицкая. У нее была студия выразительного чтения. Она действительно умела толково разучивать роли с людьми, совсем ничего не понимавшими в искусстве, заставляла их понимать и чувствовать тексты, а технически добивалась колоссальных успехов, может быть, даже больших, чем профессиональные актеры, - у нее было больше педагогической смекалки и последовательности.

Ксения Николаевна долго колебалась, кого привлечь на главные роли. Но, подумав, дала мне главную римскую роль. В конце я должен был выпить яд на сцене. Меня научили падать. Это было очень просто и эффектно. Главным моим соперником был Толя Чернов из старшего класса. По-моему, он хорошо подходил бы к римлянину. Он имел упадочный вид римлянина: полный, с круглым лицом, высоким покатым лбом, который не требовал особенного грима. Надеть на него тогу -и вот, пожалуйста, римлянин. Однако по неизвестным мне соображениям эту роль предложили мне. И я ее играл, по крайней мере, с подъемом. Спектакль был сложный, длинный, было много пения, и опять отличился наш “Зяблик” - И.Х.Степанов, который написал много композиций. Особенно запомнились молитвы христиан, которые вызвали одобрение у артистов, режиссеров и публики. В пьесе участвовала новая звезда из нашей гимназии, Эля Рейтель, очень талантливая, подающая надежды, и

Соня Леппер, одна из моих постоянных, вполне платонических влюбленностей, участвовало много мужчин, среди них и знаменитый наш Шура Жуков. Спектакль с успехом прошел два или три раза.

Во время премьеры за кулисы пришел возбужденный Георгий Иванович Тарасов. Он представлял свою газету "Последние Известия", где вел театральный отдел. И сказал мне с восторгом: "Пальма первенства Вам! Просто замечательно. Как профессиональный актер!" Это, конечно, было очень приятно слышать. Велико же было наше удивление, когда на следующий день за его подписью появилась рецензия, где пальма первенства вручалась Константину Теннукесту, который был классом старше и тоже играл одну из главных ролей. Я даже, встретив Георгия Ивановича, сказал, что удивлен переменой в его точке зрения. "Вы что же, переменили ее, пока писали рецензию? Или после того, как Вам Теннукест поднес чарку вина?" Тарасов был очень смущен и сказал, что Теннукест, на его взгляд, находился в очень подавленном психологическом состоянии, и он хотел его поддержать. Я сказал: "Спасибо. Теперь я знаю цену вашим объективным рецензиям, Георгий Иванович. С этого момента мы с вами больше не друзья". Георгий Иванович был поражен и предпринимал огромные усилия, чтобы опять стать моим приятелем, но я не мог перейти этот барьер. Такая "общественная пощечина" меня сильно покоробила. Со мной так происходило нередко. Меня хвалили наедине, а потом в обществе вдруг почему-то принижали. Может быть, это был хороший урок для моего чванства, гордости, потому что ничто так не развращает человека, как театральные успехи. Когда Вас все считают талантом, Вам рукоплещет публика, то невольно Вы думаете, что делаете что-то выдающееся, что Вы действительно одарены. И это опасно, так как на безрыбье и рак рыба. Этот урок Тарасова, я запомнил на всю жизнь, я всегда считаюсь с людьми только пост-фактум и не верю в чеки, выдаваемые впрок. "Какой Вы замечательный, первоклассный, Вы лучше всех". А потом оказывается - нет. Примечательно, что это происходило со мной, в сущности говоря, до конца моей карьеры, даже в академической среде. Возможно, дело в моей личности: я не умею настаивать, и люди думают, что мною можно пренебрегать.

Спектакль прошел великолепно, имел отзвук в разных кругах, наше руководство правильно избрало эту тему: мир языческий и мир христианский, потому что по существу мы жили в эпоху борьбы христианского миропонимания и варварского отрицания материалистами всех ценностей, созданных христианством. В конце учебного 1926 года Владимир Сергеевич Соколов организовал новую великолепную экскурсию за пределы страны, в Финляндию, ставившую целью посетить Гельсингфорс, Выборг, Иматру, Свеаборг, Валаамский монастырь и вернуться в Гельсингфорс через Таммерфорс. Очень интересная программа путешествия. Моя поездка была под вопросом, и дело было не только в денежных

затруднениях, тут мои родители опять категорически высказались “за”, но у меня был нансеновский паспорт, на который Финляндия не хотела давать визу. Но Владимир Сергеевич и здесь добился успеха. Он сам поехал в посольство, где у него тоже оказались друзья-приятели, и убедил их дать мне визу. В один прекрасный день на сияющем бело-синем сияющем пароходе “Виола” поехал литературный кружок, свыше 40 человек, преподаватели и даже А.Д.Кайгородов, которого взяли как художника и отца двух участниц поездки. Замечательное путешествие было зафиксировано во многих частушках и прошло не только в смехе и веселье, но и в глубоких душевных переживаниях, связанных с некоторыми национальными и религиозными моментами - я говорю о посещении Валаамского монастыря на островах Ладожского озера.

Мы с большим интересом рассматривали в Финляндии все, начиная с ее суровой и очень “стильной” природы: скалы, озера, суровый почерк природы, другой, чем в Эстонии или в более южных районах. Во-вторых, нам было интересно посмотреть на отголоски русской империи в Финляндии, их было очень много, начиная с укреплений, фортов при входе в гавани, батарей, которые были российскими, а стали финскими. В самом Гельсингфорсе нас особенно поразило здание Парламента, где в главном зале был трон, закрытый, правда, чехлом. С этого трона Александр I после присоединения Финляндии к России в 1809 г. открыл Сейм, финский парламент. В России в ту эпоху парламента еще не было. В перечне титулов Российского Императора говорилось: самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский. То, что трон сохранялся, нас поразило тем больше, что как раз незадолго перед этим была сделана недостойная попытка разрушить некоторые русские памятники в Эстонии. В одной из задних галерей парламента оказалась целая вереница портретов русских императоров после, тех, при которых финская земля продолжала числиться под российской короной. Не только портреты царей, но и целого ряда российских деятелей, имевших отношение к Финляндии, сохранялись в портретной галерее. Это тоже было очень приятно, возможно, у меня была особая чувствительность к таким русским историческим ассоциациям. Я лично очень это переживал - на меня вдруг пахнуло традицией России, Империей. В Выборге нас замечательно принимала русская гимназия и в частности ее преподаватель или директор, Александр Николаевич Введенский. Показывая нам город, он не скрыл исторической правды, что именно здесь в 1918 г. белая финская гвардия расстреливала без всякого суда, в порядке вдохновения, русских - слышали, что те говорят по-русски, и расстреливали их. Так называемый белый террор, который Советский Союз даже никогда не сумел обыграть как следует против Финляндии, потому что сам устроил красный террор. Этот белый террор, действительно был возмутительным явлением, которое СССР замалчивал, потому что расстреляли главным образом зажиточных русских людей, десятилетиями

живших в Выборге. Обычно они представляли собой торговое или служилое сословия, и именно они пали жертвами дикого националистического произвола. Это очень неприятно нас поразило, и даже финские краски немножко потускнели. После этого по-другому воспринимались такие эпизоды, какой произошел в Иматре. Наш вагон (46 человек) отцепили, он стоял, мы сидели и пели русские песни. Вдруг пришла в красной шапке начальница станции и очень неприятным тоном попросила по-фински Владимира Сергеевича прекратить русское пение, потому что русские - притеснители Финляндии, и слушать их пение финнам неприятно. Нужно сказать, что Эстония в этот момент в отношении русских была терпимой, подлинно демократической страной, и это заявление нас покоробило. На фоне истории с Выборгом сложилось впечатление,что Финляндия в большой степени питается русофобством. Это навсегда отвратило меня от Финляндии.

Мы приехали, наконец, на берег Ладожского озера. Был не столько холодный, сколько бессолнечный, сумрачный день. Город был сильно офинненный, даже немножко ошведенный. Шведское влияние в Финляндии было очень заметным. Кстати сказать, наиболее красивые женщины в Финляндии всегда оказываются шведского происхождения. Хотя позднее я был в Швеции и нашел, что есть всякие, и красивые и некрасивые, довольно много завлекательных блондинок. В Финляндии же получилось, что у чисто финского населения слишком финно-угорские черты, а та красота, которую ценим мы, воспитанные на греческих и римских образцах, почти не встречается. Поэтому зажиточные финны очень часто женаты на шведках, и жены привносят в семью шведские обычаи, традиции, начиная с языка. Поехали на Валаам. Пришел пароходик. Он назывался "Святой Николай". К нашему удивлению и восторгу, надпись была на русском языке. Команда состояла из трех монахов. Это была довольно большая моторная лодка, и все 46 человек спокойно уместились. Правда, мы не брали с собой весь свой багаж, часть его осталась в вагоне, который ждал нас на станции. Команда говорила и по-фински, и по-русски. Один явно был финского происхождения, но тоже хорошо знал русский язык. Мы поплыли. Плавание произвело на меня сильное впечатление, несмотря на то, что я уже бывал на Валааме в 1915 г. Ладога немного подавляет. Вы чувствуете под собой глубокое озеро, и озеро относится к вам без всякой симпатии (я заметил, что озера часто бывают отрицательно настроены к людям). А тут особенно. Озеро огромное. В какой-то момент пропал финский берег, и еще не показались Валаамские острова. Впечатление такое, что вы едете в бесконечном море. Как долго будет продолжаться путешествие - неизвестно. Невольно вы начинаете думать о бренности вашего существования, о том, что, может быть, это путешествие последнее, и ваша душа настраивается на сожаление о мире, покаяние и раздумья о том, что все кончается. Такое настроение было не только у меня. Мы взяли курс прямо на открывшиеся среди вод островки. Их сорок, целый

архипелаг, есть маленькие, есть большие, частично мы позднее их посетили. На одном из главных находятся монастырские постройки, рядом большая бухта, в которую мы и вошли. Впечатление было потрясающее и от скалистых берегов, и от красоты открывшихся далей, и от воздушного очертания колокольни главного монастыря. Так как я уже бывал на Валааме, то невольно, после того, как мы высадились, я все время мысленно сравнивал то состояние обители и ее нынешний облик. В 1915 г. обитель была, видимо, очень богатой. Были тысячи паломников, ныне сказали бы - туристов. Гостиница монастыря была переполнена. Существовал железный распорядок прибытия и отбытия людей и пароходов. В трапезных сидело несколько сот людей сразу. Ели в несколько приемов, в обед 4 раза сменялись едоки. На Петроград шли большие монастырские двухэтажные пароходы, вмещавшие 300-400 человек. Церкви тогда были, конечно, переполнены молящимися. По скитам путешествовали большей частью на моторных лодках, большими группами. Таким образом, монастырь был гораздо более открыт для публики. Теперь туристов почти не было. Наша группа казалась монахам очень большой, вызывала внимание, они особенно радовались, что это все русские, да еще из другой страны, из Эстонии. В трапезной, куда мы попадали несколько раз в день, нас сажали отдельно от монахов, в особое помещение, так как среди нас были женщины, но еду давали ту же, что и монахам. Как и раньше, во время трапезы нельзя было разговаривать, а дежурный чтец-монах монотонно и не очень разборчиво читал из описаний или путешествий по святым местам или из житий святых. Впечатление теперь было, пожалуй, даже более сильное, потому что уже не было парадной публики, блестящих платьев, дамских зонтиков, шляп, как тогда. Монастырский хор был теперь гораздо меньше, но пел столь же выразительно. Монастырские службы были столь же длинны, и несомненно обращенность иноков, уже в силу самого положения монастыря, среди вод, в суровом краю, без людского окружения, заставляла их сосредотачиваться на главных проблемах монашеского служения - на службе Богу и людям. Мы пробыли там два с половиной дня, большинство времени в разъездах. Сначала осматривали главный монастырский остров, затем нас стали возить в отдельные скиты на разных островах. Чаще на гребных лодках, на которых обычно ездили с острова на остров сами монахи, иногда на моторных, например, при посещении скита, где жил схимонах Ефрем.

Он жил совершенно один на островке в небольшой келье, была там прекрасно построенная и оборудованная церковка. Сам он был в схимонашеских одеждах. Высокий, плотный, с бородой и добрыми, ясными глазами. Мы пробыли у него несколько часов и поняли из его рассказов, что он был одно время духовником Великого Князя Николая Николаевича. Отец Ефрем вел очень строгий образ жизни, мы не нашли, осматривая все вокруг, никаких складов продовольствия. Питался он тем, что ему привозили

монахи. Сам он служил несколько раз в день в этой церковке, спал в гробу. У него была готова могила около кельи. Нам он объяснил, что не ожидает быстрой кончины, но считает, что, умирая, должен создать минимум забот для окружающих, поэтому все заранее подготовил. Оказался он человеком большого жизненного опыта и понимания. Нас всех поразила его служба. Он отслужил маленький молебен по случаю нашего появления, и в первый и единственный раз в моей жизни я слышал в ектинии православной службы такое моление: "За врагов наших, ненавидящих нас, Господу помолимся". В этот день было спокойное озеро и высота поднебесная казалась совершенно синей. Синее небо и глубочайшие воды Ладоги, группы деревьев, росшие на этом островке - все это в совокупности произвело на нас большое впечатление и сам этот мудрый схимник, который очень трезво судил о жизни и поразил нас именно отсутствием ложности, которая иногда чувствовалась у церковных проповедников в таллинских храмах, где порой чувствовалось, что он говорит по обязанности и что живет он вовсе не так, как призывает жить вас. Здесь ничего подобного не было. Когда мы уехали, наконец, через три с половиной часа, он нас благословил. Так он и остался у нас в памяти - стоит на берегу и благословляет нас, уезжающих на моторной лодке на главный остров. От знакомства с ним и вообще впечатлений, которые, я полагаю, получили все участники поездки на Валааме, мы посерьезнели и притихли. До того господствовали шутки, иногда анекдоты, не очень изощренные, складывались забавные частушки Например, у одного нашего спутника нарочно стащили курицу, чтобы его подразнить, - сразу появилась частушка: "Володя Бартельс немного хмурится. Увы, бесследно пропала курица". Художник Анатолий Дмитриевич Кайгородов оказался знатоком анекдотов, зная его много лет, мы никогда не подозревали в нем такого таланта, Сейчас же появилась частушка: "Ах, дядя Толя, скажи нам, кто ты, такой ты мастер на анекдоты".

Однако после Валаама все стало восприниматься иначе. Мы несомненно духовно обогатились и приобщились к монашеским поискам Бога и правды. Не могу сказать, насколько это утвердилось в наших душах, но осталось надолго. Лучше всех это выразила наша талантливая поэтесса Ирина Кайгородова:

Валаамский монастырь

Под игом времени все прежний, невредимый,
Как сотни лет назад - так в наш печальный век,
Он тихо смотрит ввысь, озерами хранимый.
Что для него борьба, где бьется человек!

Он - сторож тишины, залог России прежней
И будущей Руси - бессмертной и святой.

И старцы-схимники в простой своей одежде
Хранят в себе его незыблемый покой.

И нас он охватил своею верой твердой,
И вечером, когда по небу разлились
Удары гулкие, и купол строго-гордый
Весь задрожал от них и, устремляясь ввысь,

Могучий русский звон над Ладогой широкой
Раздался далеко, сливаясь с тишиной...
О, как тогда на нас повеяло глубоко
Россией, царственной, великой и родной.

Как ясно стало нам, как вера пробудилась,
Мы слышали его - могучий русский зов,
Так вот куда сейчас Россия схоронилась
С душой, нетронутой под тяжестью оков.

Стихотворение было опубликовано в первом номере "Нови", в 1928 году, а написано было в августе 1926 г., на экстренном собрании литературного кружка, где мне пришлось читать доклад о впечатлениях от поездки в Финляндию, а Ирина выступала со своим стихотворением, которое произвело большое впечатление и принесло ей славу.

Через два с половиной дня мы покинули монастырь, опять сели около монастырской пристани в главной бухте на тот же моторный пароходик "Святой Николай", и те же три монаха, теперь уже наши хорошие приятели, приняли нас под свое покровительство. На пристань вышел даже настоятель монастыря в сопровождении разных важных монахов, благословил нас и напутствовал. Потом моторик зашумел, и мы поплыли. Постепенно "дивный остров Валаам", как назвал его поэт XIX века, стал уходить все дальше и дальше и вдруг исчез. Еще долго было видно колокольню, потом и она исчезла и мы оказались на какой-то момент как будто среди моря. Потом вырисовывался финский берег, к которому мы подходили. Мы выезжали оттуда и въезжали обратно на финский материк через городок, который по-русски назывался Сердоболь, а по-фински Сортавала. Когда мы ехали на Валаам, Ладога казалась мрачной, враждебной, а теперь вдруг переменилась, хотя тоже была темновата, поднялся ветер, и ветер дул из России. Поэтому вернулись мы с другим настроением и сразу поехали на станцию, в наш вагон, где ждали нас в целости и сохранности те вещи, которые мы не брали в монастырь. Затем мы поехали на Таммерфорс и в Турку, который раньше назывался по-шведски и по-русски Або. Когда мы проезжали через Швецию, я понял замечания историков, которые читал перед поездкой в Финляндию, - что присоединение в 1809 г. Финляндии к России было спасением финской

культурной самостоятельности. Иначе это была бы восточная провинция Швеции, которая быстро и всесторонне ошведивалась, начиная с языка. Когда русские получили Финляндию, их действия были направлены на ослабление шведского влияния. Не было никакой русификации, которая раздражила бы еще больше, а были открыты шлюзы для развития финской культуры. Поэтому в Гельсингфорсе, или Хельсинки, например, где раньше в университете шли занятия на шведском языке, ввели финский язык преподавания. Он стал обязательным в начальных школах, где прежде был только шведский. Это вызвало национальное возрождение в XIX веке, но интересно отметить, что благодарности со стороны финнов по адресу России мы не заметили. Наоборот, они судили о России только по последним событиям и в большинстве случаев отрицательно. Это чувствовалось особенно, когда мы проезжали по северным и западным районам Финляндии, где уже почти не оставалось русского влияния. Оно еще было в Выборге, в Сердоболе или на Иматре, которые были частью России, а в Гельсингфорсе ощущалось все время. Превосходный кафедральный собор напоминал об Империи, так же как все связанное с военной историей России. А здесь все было другое, очень характерно, что и обед был на шведский лад: на главном столе стоит огромное количество блюд и вы берете, что хотите. В нашем случае 46 человек, из них большинство ультрамолодых и всегда голодных штурмом взяли главный стол и в течение 5-7 минут опустошили его к огромному изумлению персонала. Мы клали на тарелку копченую селедку и изысканный торт. Нечто подобное я наблюдал позже, в 1960 г., когда приехал в Швецию по научным делам. Тогда ученые-историки на международном конгрессе напомнили мне русских гимназистов 20-х гг., повергнув шведов в изумление своей жадностью!

Мы опять приехали в Гельсингфорс, жители которого поразили нас своей молчаливостью. Это было удивительное впечатление после Эстонии, где все тараторили. Эстонки славятся своим громким разговором, в трамвае тараторят на весь трамвай, на рынке шум стоит невообразимый. А у финнов - молчание. В трамвае все сидят молча. Автоматические двери открывал кондуктор со страшным грохотом - у нас трамвай ходил еще по русскому образцу с открытыми дверьми. Грохот есть, но выходят все молча. На улицах, если вы прохожего спрашиваете, смотрят на вас очень сурово и молча обычно покажут направо или налево, куда идти. Поразило нас и то, что и в городах, даже около Гельсингфорса, и особенно в провинции, во время наших прогулок в районе Иматры, мы видели фермы, где все было открыто. Вы приходите на ферму попросить воды, а там ни души. Очевидно, все в поле. Решительно все открыто. Собаки, очевидно, ушли с хозяевами. Мы очень удивлялись. В Эстонии, которая больше потерпела от русской революции, такого уже не было. Все закрывалось, легкомысленное отношение к собственности могло дорого обойтись. В Хельсинки мы

задержались на полдня. Опять нас приветствовал в русской гимназии Александр Николаевич Введенский, замечательный наш проводник. Года через 2-3 он с группой русских учащихся из этой гимназии приезжал к нам в Ревель. Наступало время отъезда, и мы решили купить фрукты. В Эстонии были очень высокие налоги, в частности на апельсины, которые были недоступны широкому населению. А здесь всюду лежали горы апельсинов, и очень дешевые. Все покупали, и я тоже купил чуть-ли не 40 апельсинов. Все было очень хорошо. Нам все время благоприятствовала погода. Опять мы плыли на "Виоле", этом надраенном корабле, где все блестело. Это особенность всех кораблей, но финские и шведские особенно щеголяли чистотой. Мы с удовольствием смотрели, как поднимаются из воды шпили наших церквей, крепостных башен и весь Ревель, Таллин, или Колывань выскакивает из моря. Опять мимо бывших русских батарей, теперь ставших эстонскими, опять вспоминаете об Империи и, наконец, подходите к пристани, конечно, куда более скромной, чем гельсингфорская, которая раза в 3-4 больше. В Гельсингфорсе всюду гранит, и это очень парадно, так же как в Петербурге, гранитные набережные и гранитные пристани. А в Ревеле гранит был уже дорог. Обычно пристани деревянные или каменные - это скромнее, да и сама гавань меньше. Мы разгрузились. У всех все прошло благополучно, они-то были эстонские подданные, а я нансенист. Таможенники меня спросили: "Почему так много апельсинов, на продажу?" Я возмутился и сказал: "Я? продавать апельсины? - нет". - "Тогда я должен с Вас взять налог". - "Налог? За апельсины? Нет. А что я не буду их продавать, Вы увидите". Я схватил один апельсин, надкусил его, выплюнул кусок. Взял второй, третий, четвертый, пятый. Таможенники страшно удивились этому доказательству, у них нашлось достаточно юмора, они махнули рукой и сказали: "Хорошо. Мы Вам верим. Идите". Но опять я ощутил, что на нансеновский паспорт обращают больше внимания. С эстонскими паспортами пропускали сразу. Это был результат утраты отечества. Позднее я напечатал статью "На Валааме" не то в "Последних известиях", не то в "Нашей Газете". Описал в сжатом виде впечатления от острова. Эпиграфом я взял слова Гумилева: "Высокий дом Господь себе построил..." И дальше шло: "На рубеже владений Люцифера..." Эту вторую строку я тоже хотел поместить, но решил, что она придает статье политический оттенок, поскольку монастырь был действительно на рубеже с Советским Союзом.

Литературный кружок ставил "Почту" Тагора, вероятно, на рождественских каникулах 1925 г. Ее очень хорошо ставил Лев Александрович Эберг и давал нам много пояснений. Затем я участвовал в менее заметных спектаклях. Один, "Горе от ума", шел в режиссуре артиста Павлова, кажется, он даже сам играл. Я участвовал и в спектаклях "Христианского союза молодых женщин", я чуть ли не режиссировал. Не помню названия пьесы. Помню очень милых девушек, которые мне

нравились все сразу, так что я терялся, на кого смотреть. Большое впечатление произвело участие в чеховском "Медведе", это было в 1925 г., когда я учился в 7-м классе. Я играл самого Медведя, а моей партнершей была Эля Рейтель, которая играла замечательно. Слугу Луку отлично изображал Шура Жуков. У него и грим был дивный. Говорили, что и я неплохо играл. Мы дважды играли в гимназии. Нас пригласили играть на вечере, который устраивал родительский комитет, и потом нас пригласили с этими пьесами в Печоры и в Изборск. Еще в одной пьесе, "Под душистою веткой сирени", играл Костя Теннукест. Она была другая, чем наша, ибо Чехов сам за себя играл. На гастролях в Изборске мы играли в кинотеатре, там произошла масса забавных недоразумений. Во-первых, рампа освещалась керосиновыми лампами, отчего на сцене было слишком тепло. Во-вторых, публика привыкла ходить в кино и решила, что лучшие места сзади, а когда сообразили, начали пересаживаться, и получился страшный беспорядок. Сцена была маленькая, и не было слышно суфлера. Суфлер был, и суфлер подавал реплики в заднюю стену сцены. Иначе услышать было нельзя. В какой-то момент, хотя мы прекрасно знали роли, я забыл текст. Бегаю по сцене, размахиваю руками и не знаю, что говорить. Эля мне подсказывает: "Боже, какая женщина!" Я и ее не слышу. "Боже, какая женщина! Боже, какая женщина!" Когда она в третий раз сказала, публика уже услышала и решила, что я превратился в истеричку. Это было очень забавно. Тогда я сказал следующую фразу из своей роли. Так что мы выиграли. Никто ничего не заметил, и мы имели громадный успех. Не столько мы, сколько Чехов. Очень приятно было, когда вдруг к нам в Печорах пришла знаменитая в то время артистка Маргаритова из русского театра. Она была немка и как Рита Граун играла в немецком театре, а как под псевдонимом, образованным от своего имени Маргарита, играла в русском. Играла она отлично, и была очень симпатичная женщина, и я некоторое время был в нее отвлеченно влюблен. У нее был муж, Любимов, неплохой артист, но совершенно другого типа, холодный, у него все от ума шло, а она была очень женственной, делала все интуитивно и хорошо справлялась со своими ролями.

Мы все больше и больше играли в русском театре. Получилось это так. Ставили оперетку "Карманьола": воображаемый испанский быт, пел хор. Мой отец не пел, но участвовали некоторые его знакомые певцы. Режиссер сказал, что им нужны статисты, потому что много массовых сцен. Иван Николаевич, который там пел, зашел к нам и сказал: "Не хочешь ли ты участвовать"? Я хотел. Нам не платили, но разрешали ходить в театр даром. Иногда я мог даже попросить контрамарки для родителей, что было тоже очень ценно. Одним словом, мы стали там играть. Мы все увлекались замечательными постановками русского театра в Ревеле. Это было даже модно, особенно когда приезжала Арбенина, по мужу баронесса Мейендорф из Лондона. Она играла и у нас, и в немых фильмах под псевдонимом

Стелла Арбенина и была очень красива. Не знаю, насколько она была разнообразна в своем амплуа, но в тех ролях, которые я видел, она играла великолепно. Мы все были ею увлечены и оттого часто туда ходили, особенно Костя Гаврилов, который был просто без ума от нее. Как статисты мы очень хорошо играли. Нас расхвалил режиссер. Ставил оперетку Андрей Иванович Кусковский. Старый провинциальный, но очень хороший актер. После этого время от времени нас стали приглашать. Сначала я потом мои друзья - Гаврилов, Прохоров, его младший брат, затем Виктор Линдеман, Борис Исаков и другие. Были случаи, когда нужны были и девушки. Тогда приглашали параллельный класс. Ставили популярную французскую пьесу "Мадам Санжен" о Наполеоне и его романе с мадам Санжен, владелицей прачечной во время революции. Первая сцена была как раз в прачечной, и все бессловесные прачки были наши гимназистки. Однажды разыгралась следующая история. В театр пришла учительница французского языка и родственница гимназиста старшего класса, Л.А.Римская-Корсакова. Открывается занавес, и вдруг она видит весь 4-Б класс - Горцеву, Голицинскую, Кнацт, Леппер, Хохлову, одним словом весь класс на сцене. Ее прозвище, между прочим, было "Скифка", почему, неизвестно, она в ужасе обратила негодующий взгляд свой на племянника Володю и говорит ему: "Это неслыханно! Надо сказать директору". В этот момент звучит "Марсельеза", входят революционные войска - все сплошь из 4-А класса: Андреев, Белиовский, Гаврилов, Прохоров, Линдеман, абсолютно все, и несут на руках артиста Звонского, который изображал барабанщика, отличившегося и раненного при взятии Бастилии. Страшный грохот. Сквозь него даже не слышно, как ругается Звонский, потому что его колют штыками азартные гвардейцы-гимназисты. А "Скифка" обращается к племяннику и повторяет: "Неслыханно. Я должна сказать директору". Тогда Володя Римский-Корсаков (позднее он священствовал в Аргентине) пустился в самое высокое красноречие: "Тетя, как Вы можете! Они зарабатывают свой хлеб". Этот странный аргумент на нее подействовал, и она ничего директору не сказала. Французский у нас был необязательным предметом, она преподавала его желающим и группам в мужской гимназии. Кто-то обиделся на нее и жестоко отомстил, дав объявление в русской и эстонской, а может быть, и в немецкой газетах: "Продается нетельная корова по кличке "Скифка". Обращаться туда-то" - и был дан ее адрес. К ней пришло действительно много покупателей. Она была в отчаянии, в ужасе. Гимназическое начальство старалось найти виноватых, но без успеха.

С одной стороны, участвовать в массовых сценах было весело и интересно, а с другой стороны, мы часто наблюдали работу на репетициях, а потом замечательную игру выдающихся русских актеров. Я, например, видел работу знаменитого трагика Певцова, который, к моему удивлению, в частной жизни заикался. Иногда 2-3 минуты не мог сказать ни слова. Но

как только выходил на сцену, он полностью собой овладевал и заикания как не бывало. Он даже описывал в своих мемуарах, как боролся с заиканием и как победил. Он играл, например, Шейлока в "Венецианском купце", а мы изображали венецианский карнавал. Пресса расхвалила Певцова и отметила динамичность, живость и естественность сцен карнавала, но рядовых артистов, местную труппу, которая играл с Певцовым, пресса довольно сильно ругала. В "Отелло" мы тоже принимали участие в массовых сценах. Я наблюдал, как он работал в драме Мережковского "Павел Первый", в одной из своих коронных ролей. Мы изображали там офицеров в массовых сценах. Мы работали, когда гастролировал, а потом обосновался в Риге Константин Николаевич Незлобин. У него был когда-то свой театр в Москве. Интересно было участвовать в целом ряде спектаклей вместе с ним, и когда он же ставил трагедию Алексея Константиновича Толстого "Царь Федор Иоаннович". Когда мы участвовали, главную роль играл Лихачев. Он был нервный и не очень уравновешенный, но талантливый актер. И конец, и его последние слова: "О Боже, Боже! За что поставил ты меня царем?" я до сих пор как будто слышу и историю и нравственную сторону этой трагедии понимаю очень отчетливо. Восхищение вызывал у меня Калугин. Отличнейший актер Александринского театра, который играл у нас целых два сезона, а может быть, и больше. Особенно сильное впечатление на меня произвел "Царевич Алексей" Мережковского, где он великолепно сыграл царевича. Петра Великого играл подающий надежды Рахматов, сильный драматический актер. Он уехал в Париж и там тоже блистал. Иногда мы играл раз в 2-3 недели, но ходить в театр могли хоть каждый день, и это нас формировало. Я примерно раз в неделю бывал в театре. И всегда, когда бывали гастроли. Это обогащало и нашу речь, и знание литературы, и понимание психологии, и технику театра. Это оказалось очень важным для моего развития и понимания культуры, я стал рецензентом еще в тот период, когда я был гимназистом. Когда другие рецензенты были заняты и не могли пойти на очередную премьеру, а нужно было дать рецензию, отправляли меня. Но редактор "Последних известий" всегда говорил: "Знаете что, вы купите билет. Контора вам вернет деньги, потому что не стоит вам сидеть на месте театрального критика, а то скажут, что какой-то мальчик-гимназист позволяет себе критиковать артистов".

Рецензии мои привлекали внимание. Я подписывался обычно А.Корсунский или А.Ский. Иногда писал под именем Николин. Этот опыт позднее мне дал возможность в Праге несколько лет быть рецензентом в газете "Новости", которую издавал Кирилл Цегоев. Я никогда не сидел на месте театрального критика, я сидел в публике. Поэтому меня не втягивали в интриги. Театральный мой опыт был получен в Прибалтике. Ко всему прочему у меня была довольно активная светская жизнь. Меня приглашали на вечеринки русской молодежи, по линии моего класса или девушек,

которые интересовались мною и моими товарищами. Это было интересно, но я не мог ответить приглашением к нам, потому что у нас не было большого помещения. Когда мне исполнилось 16 лет, в день моего рождения, мои родители устроили обед, в 4 часа дня. Отец пришел со службы. Я любил простые блюда: биточки, макароны с мясом и пироги, и мама приготовила что-то очень вкусное. Вдруг вижу - водка стоит на столе, и шпроты, кильки. И отец говорит: "Тебе 16 лет. И я тебе вот что скажу. Очень может случиться, что тебе по обстоятельствам придется иногда выпивать. Вот мое тебе завещание. Пей за столом, а не за столбом. То есть если хочешь пить, то не пей в тайне от нас, в каких-нибудь кабаках. Если хочешь пригласить товарищей, скажи - и мы устроим тебе ужин или обед, что захочешь, и поставим на стол алкоголь". Я очень это оценил, и раза 3-4 мы так и делали.

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ПЯТС, С.М.ШИЛЛИНГ

Седьмой и восьмой класс гимназии были для меня важными этапами, потому что подводили итоги моим достижениям в средней школе. Каковы мои интересы? Что надлежит делать в будущем? К тому же эти 2 года внесли много новых черт в школьную жизнь и мои интересы. У меня определилась склонность к гуманитарным предметам. Литература и связанный с ней театр, исторические проблемы интересовали интересовали и увлекали меня гораздо больше перспективы строить всю жизнь бетонные мосты. Пока никакие решения не были приняты. Но на всякий случай я с 7-го класса стал изучать латинский язык как добавочный предмет. По немецкому я всегда получал лучшие отметки. Эстонский оставался проблемой, но не страшной: требования к нашему классу были низкими и опасностей не предвиделось. Но желательно было получить наилучший вид аттестата. Надо отметить, что я никогда не заботился об отметках. Они всегда сами собой получались хорошими, даже высшими в тех условиях, и я никогда ставил это себе в заслугу и говорил, что общий уровень не блестящий, потому, верно, я и выделяюсь.

Два преподавателя заинтересовали нас, в частности меня. В 7-м классе у нас появился Отец Николай Пятс, старший брат политического деятеля, несколько раз бывшего главой государства и ставшего президентом Эстонской Республики. Он оказался незаурядным явлением в нашей гимназии. Формально он преподавал эстонский язык, но был человек умный и, очевидно, быстро понял, что если будет лишний раз настаивать на чтении двух эстонских стихотворений и пересказе биографий писателей, то едва ли увеличит наши знания, но что, может быть, такому классу полезно дать на русском языке некоторые сведения о том, как развивалась судьба эстонского языка и эстонского народа. Это оказалось интересно и по-новому вдруг осветило исторические факты, которые мы знали. Я до сих пор с восхищением вспоминаю его уроки и жалею, что подробно записанные его рассказы погибли в исторических пертурбациях. Основная его идея

была, что эстонцам сначала как племени, а потом как народности, чрезвычайно не везло в истории: они почти беспрерывно находились под политическим контролем то одного, то другого государства: датчан, шведов, тевтонских рыцарей или русских. Им приходилось считаться с этим фактом, и отсюда инстинктивное желание сохранить свою народность. Появилось особое внимание к языку. Он интересно показывал, что существовали разные группы эстонских родов и племен и, может быть, тогда различия в произношении были больше, чем позднее. Эстонцам пришлось бороться за свой язык. Сначала неосознанно, а когда они смогли это делать сознательно, в XVIII и в середине XIX века, они находились под эгидой России. По договору и по обещанию Петра Великого, присоединившего Прибалтику к России, Императорское правительство минимально вмешивалось в местные отношения. Это означало господство над эстонцами немецкой аристократии, немецкого дворянства. Освобождение эстонцев от крепостного права в начале XIX века очень приветствовалось, они должны были стать свободными людьми, но им не повезло и здесь: освободили их, хотя и раньше, чем другие районы России, но без земли, поэтому они делались волей-неволей батраками, наемными рабочими у бывших господ.

Рассказывая шаг за шагом эти вещи в живой, интересной форме и переходя от темы к теме не всегда хронологически, Отец Николай указывал, что важную положительную роль в развитии эстонского национального чувства сыграла русификация, начавшаяся при Александре III и отчасти проводившаяся при Николае II. Она вызывала огульное неодобрение либеральных русских и большинства иностранных историков, но о.Николай ее защищал. Он указывал, что это был важный шаг для эстонцев - они начали учиться в русских школах, усваивать русский язык, это означало, что они могли покинуть район, где выросли и где были связаны проблемами труда на землях бывших господ, перед ними открывалась вся Империя. Вопрос заключался в степени овладения русским языком, а жить можно было где угодно.

Отец Николай привел в пример собственную семью. Их было 3 брата: политический деятель, директор художественной школы Владимир, и он - священник. “Мы получили русское образование, и нам удалось продвинуться. Константин Яковлевич попал в Санкт-Петербургский университет, а я дошел до Санкт-Петербургской Академии. Вот какая была картина!” Меня это поразило, и позднее, когда я уже специально занимался русской историей и, ссылаясь на о.Николая, высказывал эти взгляды, они казались довольно смелыми. Но мне они казались справедливыми. Я жалел, что потом он больше у нас не преподавал. Вернулась прейли Эско, и мы опять начали зубрить.

Вторым замечательным явлением на нашем горизонте был Сергей Михайлович Шиллинг - национальный секретарь русского меньшинства

в Эстонии, который сменил на этом посту Алексея Кирилловича Янсона и, так же как он, хотя в другой плоскости, был близок с учительским союзом. Сергей Михайлович был незаконным сыном княгини Шаховской, жившей в монастыре в Пюхтицах. Он окончил училище правоведения, хорошо знал эстонский и другие языки. Взгляды у него были гораздо более устойчивые, чем левые социалистические взгляды Янсона. Я уже довольно хорошо знал Сергея Михайловича как заведующего гимназической библиотеки, которая находилась не в нашем доме, а в эстонской гимназии. Она была настолько велика, что перевезти ее представлялось невозможным. Эстонская гимназия любезно предложила оставить библиотеку там: мы можем ходить туда раз в неделю менять книги. Все это попало в руки Сергея Михайловича. Он сейчас же выдвинул несколько библиотекарей, в том числе и меня. Я попал в библиотекари по рекомендации Веры Константиновны, заведующей библиотекой, которая была когда-то в Морском собрании, а потом принадлежала Обществу русской школы в Эстонии. Я помогал там разбирать библиотеку.

В нашей гимназической библиотеке мы быстро наладили картотеку, ознакомились с состоянием шкафов, расположением книг, Сергей Михайлович всегда при этом присутствовал. Я стал у него правой рукой. Он любил вести разговоры, ставя проблему и стремясь определить мнение учащихся. В 6-м и 7-м классе я много дискутировал с ним. Он уже знал, что я хорошо учусь, играю во многих спектаклях и пишу в местной русской прессе. Помню одну интересную историю. В 7-м классе, когда всем нам было по 17-18 лет, у нас учился Конрад Геррец, старше нас, вероятно, на три года - громадная разница в наши годы. У него была незаконная связь, и, как только он окончил гимназию, то женился, был даже ребенок, сначала незаконный, а потом усыновленный. Это нас повергало в почтительное восхищение. По характеру он был трагик во всех смыслах, считал себя великим талантом и действительно был одарен и играл во многих спектаклях в нашей школе. Потом он стал актером в русском театре и, главное, в Эстонском драматическом театре. В роли Бертрана, рыцаря Печального образа, он был центральной фигурой нашего спектакля “Два мира” Майкова. Этим он обязан был умелому руководству режиссера Льва Александровича Эберга. Геррец много раз выступал с декламациями на вечерах, на Дне русской культуры всегда читал трагические вещи. Например, прочел “Двенадцать” и вызвал настоящую сенсацию, хотя бы уже потому, что знал поэму наизусть. Позднее, когда я уже читал “Двенадцать” и думал над интерпретацией, я понял, что она у него была неважная. Он слишком трагически ревел. Он читал “Скифы” Блока, Маяковского. Тогда Маяковского мало знали и очень плохо понимали, но поскольку читал Геррец, мы рукоплескали. Интересны были его разноцветные глаза: один - желтый, как у кота, другой - зеленый. И волосы у него были артистические, такая шевелюра наверх. Он был человек декоративно-артистический.

Декоративно, потому что подчеркивал свой артистизм. Было даже странно, что он все еще учится в нашем классе, вместе со скромными юношами. И вот в один прекрасный день неожиданно разыгрался скандал. В чем было дело, я сейчас даже не помню... какая-то чепуха. Геррец в классе заспорил с Гавриловым. Гаврилов стал ему возражать, Геррец вдруг размахнулся и ударил Костю по лицу. В этот момент вошел преподаватель, и товарищи бросились на Гаврилова и Геррeца, насильно усадили их, и урок прошел в очень нервной обстановке, потому что все очень переживали. Костя сидел через парту от меня, сзади, я несколько раз оборачивался и видел, что он в состоянии полной истерии, губы дрожат, и катятся слезы. Вообще он был человек донкихотского типа, и, конечно, такое оскорбление, как удар по лицу, он снести просто не мог. Когда раздался звонок, учитель вышел из класса и начался, как всегда, грохот - все встают и разминаются - Костя побежал по проходу к 1-му ряду. Геррец сидел перед самым учительским столом, Костя его окликнул, тот повернулся, и Костя его ударил по лицу. Геррец вскочил, зарычал, и вообще было такое впечатление, что он сейчас всех съест и Гаврилова проглотит. К счастью, рядом были сильные и спокойные люди вроде высокого Саши Реймана, кто-то из наших спортсменов, так что Гаврилова схватили, оттащили и бросили обратно на его место. Геррец считал, что это подлый удар сзади, и требовал, чтобы Гаврилов извинился и класс принял меры. Мы все считали, что это неблагородно, но, с другой стороны, у обоих был нервный срыв. Это был последний урок, и после уроков мы остались решать, что делать. Класс разделился: одна группа, восхищавшаяся Геррецом как великим талантом, набросилась на Гаврилова и требовала, чтобы он не только извинился, но и покинул класс. Я лично, и ко мне сразу примкнул староста класса, сказал, что это вздор, человек в 7-м классе, идет последняя четверть, еще год, и он окончит гимназию, почему он должен бросать ее из-за глупейшей драки. Мы все прекрасно знаем, что Гаврилов не бандит, и должны найти способ прекратить скандал. В конце концов выбрали троих - меня, старосту и представителя группы, поддерживавшей Геррeца, одного из спортсменов, очень уравновешенного человека. Я предложил обратиться к Сергею Михайловичу Шиллингу - он не преподавал у нас в классе и у него нет личных отношений с этими учениками, он национальный секретарь русского меньшинства в Эстонии, понимает законы и читает в восьмых классах обществоведение. Мы отправились к Сергею Михайловичу. Библиотека в этот день не работала, но я знал, где он живет. К величайшему изумлению Сергея Михайловича и жившей с ним домохозяйки, я попросил его пожертвовать 20 минутами, чтобы мы могли изложить суть дела. Сергей Михайлович, как всегда, отнесся к делу серьезно. Он сказал, что все обдумает, записал адреса обоих скандалистов и обещал ответить нам завтра после уроков. На следующий день оба виновных прибыли в класс, Геррец сказал, что класс "трусит настолько, что не принимает мер против тех, кто

нападает сзади". И эти слова, конечно, подлили масла в огонь, потому что Гаврилов все это переживал как новое оскорбление. Уроки отвлекли нас, а потом появился Сергей Михайлович. Он попросил обоих виновников происшествия покинуть класс и побыть в коридоре, изложил суть дела классу и весьма виртуозно принял мою точку зрения. Я был очень удовлетворен, и мой авторитет после этого вырос. Он сказал, что это прискорбное явление, но оно должно быть ликвидировано не путем административных взысканий. Обе стороны должны признать, что поступили неправильно и вместо аргументов перешли к кулакам. Эта формула всем понравилась. Он сказал, что вчера беседовал с обоими и в конце концов они согласились это сделать перед классом. Так и произошло. Геррец и Гаврилов вошли в класс, и Сергей Михайлович произнес обдуманную речь, в которой сказал, что класс обсудил происшествие и надеется, что предварительно выработанная формула приемлема для обоих и потому никаких последствий класс не хотел бы видеть. У обоих есть свои достоинства и свои недостатки, которые они так ярко продемонстрировали вчера. Лучше всего будет, если они извинятся друг перед другом и выразят сожаление, что вместо аргумента высказывания они перешли к аргументу кулака, сожалеют об этом и надеются больше к такому упрощенному методу обмена мнениями не прибегать. Оба героя были довольны, пожали руки, и все было забыто. В 8-м классе Сергей Михайлович преподавал обществоведение. Оно было новинкой в школах того времени. Он пришел на первый урок и поразил нас. Мы и раньше удивлялись, что он разговаривал с нами, как со взрослыми, как с равными. И первое, что он сделал, - вынул роман Толстого "Воскресение" и прочел начальную страницу, где описано, какая замечательная весна, замечательная природа, как хорошо создан Божий мир и как люди стараются сделать его неприятным, друг на друга набрасываются, доставляют дуг другу неприятности, и отсюда идет знаменитый переход к тюремным делам, главной теме романа. Прочитав вступление, он тут же дал первый комментарий - что в сущности человеческое общество всегда стремилось к тому, чтобы ввести какой-то порядок во взаимоотношениях между своими членами, и путем сосредоточенного и точного анализа он показал, что лучший способ - руководиться правом, законами, иначе будут править эмоции. В одном случае правильные, в другом - неправильные, может быть, даже произвол. Может быть опасное превышение власти одной или другой группой. И если нет определенных законов, то общество будет очень близко к тому, которое описывал Толстой. Каждый раз, когда он читал, для меня лично был праздником: он буквально открывал нам глаза на все. Все было продумано, в коротких формулах. Самое главное записывалось на доске - даты, имена, существенные вещи. Мы получили полное представление о том, как в течение веков складывались правовые отношения, чтобы не было конфликтов между отдельными членами общества. В частности, он

остановился на Римском праве, которое оказалось в целом ряде пунктов отлично сформулированным и принципы которого вошли в Кодексы большинства цивилизованных государств. Он показал, как постепенно отмирали теории средневековья, когда был только признак Благодати, почивший на определенных членах династии, покуда они были у власти. Конечно, все это постепенно, шаг за шагом менялось в разных странах, общество все больше и больше стремилось выразить свои чаяния в сборниках законов. Упомянул он и об английском праве, указал на целый ряд сборников на Западе, на “Русскую Правду”, на сборник Ивана Третьего, законы, изданные Иваном Четвертым и Соборные Уложения царя Алексея Михайловича. Много недель шел курс, и картина получалась очень интересная, конкретная, шаг за шагом мы выясняли, как важно обществу раздумывать над этими проблемами. Мы с восторгом узнали, что право в России после реформ правительства Александра Второго было одним из самых гуманных и совершенных в мире. К тому же нам понравилась установка московского профессора Петражицкого, который утверждал, что в сущности в мире нет виноватых - каждое преступление возникает по социальным или психо-физиологическим причинам, и во всяком случае приходится принимать во внимание много привходящих обстоятельств, прежде чем выносить приговор, особенно малолетним преступникам. Увлекательнейшим образом и очень конкретно, но избегая всякого рода политических экскурсов, Сергей Михайлович показал, как право меняется от страны к стране. В чем разница конституций английской, Соединенных Штатов, шведской, германской, и французской. Было время, когда я очень хорошо знал, к удивлению многих юристов в Праге, где какое конституционное право действует и в чем его отличие от других государств. Такой курс драгоценен, особенно для тех, кто, как я, потом занимался историей, литературой - он многое пояснял в структуре современного общества, показывал, насколько важна преемственность и как трудно иногда расстаться с накапливающимися предрассудками. Ретроспективно вспоминаю Сергея Михайловича с большой благодарностью. Позднее я с ним сотрудничал несколько раз, и всегда он оставлял впечатление исключительного человека, потому что интересовался проблемами по существу и хотел решить их наилучшим образом.

“ВАЛЕНСИЯ”

Наш класс был обществом веселых молодых людей с воображением. Выслушав теории Сергея Михайловича, мы сделали свой вывод. Из его изложения явствовало, как может возникнуть государство. Нужны 4 фактора: территория, народ, который занимал бы эту территорию, внутренняя организация государства и признание его извне другими государствами. Мы быстро решили: территория у нас есть - наш класс, население тоже, это мы. Внутренняя организация - после больших дебатов

решили, что устроим республику, но для удовлетворения монархически настроенных соучеников, там будет жить вдовствующая императрица, ею, между прочим, провозгласили нашего поэта, Виктора Эбергардта, который менее всего походил на старую даму. Это был молодой энергичный человек из военно-морской русской семьи, к несчастью, быстро погибший. Окончив гимназию, он поехал в Бельгию, где утонул чуть ли не на третий день после приезда. Он считал себя замечательным пловцом, поэтому не боялся. Вот судьба! Но в 8-м классе мы еще не знали о его трагическом будущем. Он веселился, как мы все, и предложил ввести гимн. В то время были популярны песенка и танец "Валенсия". Мы сейчас же подхватили эту идею, она как бы прикрывала нас, мы не хотели дипломатического конфликта с правительством Эстонии по поводу того, что без ведома парламента на территории Эстонии возникло новое государство! Получился такой мотив:

Валенсия! Восьмой класс, последний класс! Счастливая страна.

Президент у нас Валоиц, он горд, как сатана. Валенсия!"

И потом шел по алфавиту список класса. К сожалению, я мало помню эти остроумные и забавные стихи. Начиналось с Андреева, потому что я в тот момент был единственным на "А" в классе. "Есть у нас Андреев Н. - газетный репортер. Валенсия! Он артист всех школьных сцен. Ужасный резонер! Валенсия!" Не помню очень остроумный стишок о Марке Бархове, сыне директора, человеке с большим шармом, но очень легокомысленном. Учился он кое-как и всегда цитировал "Евгения Онегина": "Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь". Он всегда числился в черных списках за разные проделки. Например, Эско он довел до белого каления тем, что построил электрическую машину, опыт по физике. "Могу я построить электрическую машину? Могу". И построил. Она издавала страшно неприятный скрежещущий звук, действующий на нервы. Он поместил ее за печкой. Было трудно определить, откуда идет звук. Когда на эстонских уроках запускали эту машину, она окончательно сбивала Эско с ее смутной педагогической линии. Она спрашивала: "Что это такое, что это?" И Марк с совершенно серьезным лицом объяснял - это на улице сваривают трамвайные рельсы. Объяснение идиотское, при сварке нет такого звука. Был такой поразительный случай, когда его заметил, отметил и запомнил Николай Федорович Роот, художник, декоратор и наш учитель рисования, которого мы очень любили и который был глух и подслеповат. Это не мешало ему занимать много лет пост учителя рисования. Он был очень культурный человек, много знал о живописи, и сам был талантлив, представитель русской богемы в хорошем смысле. Позднее я с ним поддерживал отношения, когда был уже студентом. Николай Федорович в один прекрасный день слышит шум в классе и, поправляя чей-то рисунок и объясняя, что в нем неправильно, он не оборачиваясь, кричит: "Бархов, вон из класса!" В этот момент открывается

дверь и в класс с грохотом входит Марк Бархов, который, конечно, должен был быть на уроке, но околачивался в коридорах гимназии или бегал в соседнюю лавочку. Марк с места в карьер подошел к Николаю Федоровичу и начал на него нападать: "Вы несправедливо относитесь ко мне, Вы обвиняете меня в проступках, которые я не совершил. Меня вообще в классе не было, а Вы говорите, что я шумел. Это несправедливо!" Весь класс умирал от хохота, а Николай Федорович совсем был сбит с панталыку и даже не заметил, что Марк, в сущности говоря, виноват, что его вообще не было в классе, хотя урок шел уже 10 или 15 минут. Но Николай Федорович сказал: "Знаете, Бархов, за Вами уже установилась такая репутация. А я не могу прислушиваться к голосу каждого шалуна в классе. Я учитель не пения, а рисования". Мы с тех пор не раз повторяли: "Я учитель не пения, а рисования".

Следующий стишок гимна "Валенсия" касался моего и общего друга Жени Белиовского, который охарактеризован безжалостно, но метко.

"Кто умнее всех без слов? Кто любит умные слова?
То Белиовский философ - пустая голова".

Женя был страшно недоволен, но мы все находили, что это очень остроумно. Костя Гаврилов до окончания гимназии носил черные гимназические куртки старого образца, какие носили в свое время реалисты. Он был всегда бледен - наследственная черта. Рано начал седеть, к 18 годам половина головы была седой. Носил он очки, конечно. Говорю, "конечно", потому что большинство об очках и не думало. Был он знающий, трудолюбивый, отличный товарищ и очень популярный, несмотря на столкновение с Геррецем, которое в конечном счете прибавило популярности обоим. Публика любит хэппи-энд, как сказал мой отец, когда я рассказывал ему эту историю, на этом построен успех всех современных фильмов. И ваши молодые люди, говорил отец, утешаются, видя "нераздельную дружбу" двух бывших врагов. Впрочем, они и раньше дружили, оба жили в Коппеле и ездили вместе в школу. О Косте было сказано:

"Кто у нас анахорет? Любитель умных пыльных книг?
то - Гаврилов наш, аскет, безумный девственный старик".

Костя тоже страшно обиделся и сказал, что это слишком. Но это все было правдой. Он и был анахорет, и любитель книг, и, девственник, как и подавляющее большинство класса, кроме Конрада Герреца и, может быть, прибывших из России двух наших друзей, которые были чуть старше нас. Они репатриировались, как тогда выражались. Один был Женя Улк. Его отец был эстонского происхождения и выехал с сыном и с дочерью. Оба они были немного старше, чем другие члены классов, в которые они поступили, они потеряли время в Советском Союзе. Женя пришел к нам в 7-й класс и очень быстро и хорошо себя поставил. Он был талантливый физик и математик. У него вся техника вдруг делалась осмысленной. Так как он был из полуэстонской семьи, то отлично знал

эстонский язык, и это сразу дало ему независимость. Он достаточно знал немецкий, чтобы не отстать, не знал немецкую литературу, но быстро нас нагнал. Хуже шли у него упражнения по русскому языку. Тут он не смог конкурировать с нашими "писателями", которых, как кто-то ядовито сказал, Пушкин давно уже заклеймил словами: "Марает он единым духом лист". Это вырвано из контекста, ибо относится к стихотворству, но очень веселило всех. Женя обладал замечательным юмором. Он смешил всех во время классных происшествий. Вдруг сделает меткое замечание, да еще нарочно с украинским акцентом, все хохочут, и конфликта как не бывало.

В 8-м классе появился Володя Шарыгин, который позднее принял фамилию Шарыгин-Буш. Потом он стал только Бушем. Его выписал дядя, доктор Буш. Говорят, он был хороший врач в Нымме. Кто-то умер у Володи в семье, и его решили перебросить в Эстонию, чтобы дядя его усыновил. Советское правительство согласилось, поскольку Буш был эстонец. Было сказано, что и Володя имеет эстонскую кровь, хотя неизвестно, была ли она в нем. Впрочем, в последнем классе, а главное, после окончании гимназии, Володя сделал сногсшибательные успехи в эстонском языке. Года через 2-3 я слышал, как инженеры-эстонцы с восхищением говорили о филологическом таланте Владимира Буша, который знал эстонский гораздо лучше них. Володя был красив, имел оглушительный успех в параллельном классе женской гимназии, как и Женя Улк, у которого были даже усики, и мы все его называли "папашка". У Володи были черные глаза, вьющиеся черные волосы, блестящий взгляд, розовые щеки. Начитанный, хорошо играющий на сцене, он и стихи читал хорошо. Он отличился в пьесе Тургенева "Месяц в деревне", где я не участвовал, и могу со стороны сказать, что он действительно играл талантливо. Оба они, как советские молодые люди, иначе подходили к жизни, поэтому я и предположил, что они уже вкусили с древа познания добра и зла и знали, что такое женская любовь, хотя и не распространялись на эту тему. Тогда эта тема не была предметом общественных и салонных разговоров. Володя охотно выступал во всяких литературных диспутах и много читал. Обычно я резко с ним расходился, потому что его суждения и формы выражения были тривиальны. Он не шел в глубь проблемы, а всегда скользил по ней. Но это имело большой успех у публики. Когда он защищал "Дело корнета Елагина" (бунинская вещь, в которой описано убийство), его выступление кишело ультрабульварными словечками, принятыми тогда в желтой прессе: "торжество пола" и т.п. Это мне не нравилось. После войны он сделал великолепную карьеру в США, оказался там таким же талантливым инженером, каким был в Эстонии, женился по большой любви на Марусе Бараниной из нашего параллельного класса, дочери Петра Петровича Баранина, депутата парламента от Причудья, старообрядца, который каждый раз проходил в Парламент на старообрядческих голосах. Я знал Петра Петровича, бывал несколько раз у них в доме, Маруся была

очаровательная женщина. Мы все очень скорбели, когда в Соединенных Штатах Володя неожиданно умер. Пришел со службы, принял душ, поехал на прием, там выпил рюмку шерри и вдруг упал замертво. Это поразило всех, кто его знал. Приезжие дали нашему классу знания о Советском Союзе. Особенно Женю Улка несколько раз на уроках расспрашивали педагоги о разных аспектах его советской жизни, на что Женя всегда отвечал с замечательным юмором и большой картинностью. Оба они входили в группу, которая позднее стала у нас называться “академической”. Мы ее создали в 8-м классе. Это было добровольное объединение “ударников”, которые по воскресеньям часов в 10 собирались в гимназии и разбирали вместе проблемы, иногда довольно сложные, которые тревожили наше сознание. Мы по математике тогда проходили не только дифференциальное исчисление, но начинали интегральное. По физике, по химии были головоломные проблемы. Словом, любые вопросы, которые возникали, и даже с эстонским языком. Потому что иногда то, что сообщала, или, вернее, то, чего не сообщала нам учительница эстонского языка, ставило нас в тупик. В академическую группу, председателем которой я был весь 8-й класс, входили все, кто интересовался знаниями по существу: Андреев, Белиовский, Гаврилов, Рейман, Прохоров, Шарыгин, Улк, человек 8-9. Потом к нам присоединился Линдеман. Это начинание поразило директора гимназии Григория Васильевича Бархова, которого очень не любили. Мы его принимали, может быть, потому что его сын учился у нас. Григорий Васильевич в наказание приглашал нерадивых, ленивых, опаздывающих в школу к 8 часам в воскресенье, наш единственный свободный день. В субботу тоже были занятия. Он раза два пришел к нам и поразился, что есть энтузиасты, которые приходят в 10 часов и занимаются математикой. Он как раз попал, когда Улк объяснял формулы по дифференциальному исчислению, послушал, покивал и ушел. Потом моя мать, которая в то время была представителем родительского комитета в педсовете гимназии, сообщила, что Григорий Васильевич, человек старой закалки, не очень любивший хвалить, с большой похвалой отозвался об инициативе 8-го класса, который занимается группой, стараясь усвоить материал, полученный на уроках.

Возвращаясь к теме “независимой Валенсии, счастливой страны” 8-го класса, я вспоминаю забавные, действительно спонтанные шутки, которые нас веселили. Однажды мы с друзьями были в русском театре. Ставили развеселую комедию фарсового характера “Моя кузина из Варшавы”. Главную роль играла Лилия Штенгель. Мы не принимали там участия, потому что было решено ввести в 3-м акте дивертисмент. Это иногда делалось в комедиях, чтобы дать возможность выйти на сцену и выступить целому ряду талантов, которые не могут быть заняты в текущем репертуаре. Выступал Орлов, разыгрывавший мимические сцены. Потом вдруг заиграли “Валенсию”, танец тогда популярный, и пара стала танцевать на сцене.

Тогда, к недоумению публики, в разных концах зала (в большинстве случаев в партере - мы по своим контрамаркам садились на хорошие места) человек 10-11 моих товарищей встали и, покуда играли "Валенсию", стояли смирно. Публика ничего не понимала. На меня, например, шикали, кричали: "Сядьте! Ах, эти современные болваны, которые ничего не понимают. Вы мешаете смотреть на сцену!" Меня чуть не побили. Но у нас было неписаное правило: не объяснять и не возражать, потому что гимн выше того, чтобы объясняться с презренной, ничего не понимающей массой. И мы не реагировали. Потом обсудили: все получилось очень логично, потому что у нас есть население, территория, есть организация, туда включался гимн, определенный распорядок, но нет признания со стороны других государств. Шиллинг указывал, что это приходит самым последним, часто правительства целого ряда стран признаются десятки лет только де факто. Мы поняли, что Сергей Михайлович, как всегда, прав и что эпизод в театре подтвердил его теорию. Много лет спустя я ему это рассказал. Сергей Михайлович страшно заинтересовался и принял все это всерьез. Он сказал: "Послушайте, это замечательно. Теоретически, конечно, вы были правы. Можно было построить такое государство. Но тут надо было начать признание де факто, например, уже с директора. На это никаких шансов не было. Так что вы были обречены". Но то, что мы взяли от него логику рассуждений и, превратив в шутку, развернули в некое явление, его воодушевило, и он сказал, что в некоторой степени чувствует оправданность того, что читал обществоведение в нашей гимназии. В других классах он не имел такого успеха, как в нашем. Вообще над ним любили посмеяться, говорили, что он такой осторожный, все обдумывает, морщит лоб, взвешивает каждую фразу. Почему-то многих это раздражало. Но, по-моему, это хорошая черта, она диктовалась лучшими побуждениями, и мы в нем ничего странного не находили. Наоборот, мыслящий человек, сосредоточенный и в то же время исключительно любезный, готовый обсудить любую точку зрения, а опровергать ее, не обижая высказавшего это мнение. Он получил хорошее образование, был воспитан в дореволюционных манерах. Интересно, что в качестве секретаря русского меньшинства в Эстонии ему приходилось поддерживать отношения с советским посольством и он сумел взять с чиновниками верный тон, не капитулируя перед ними и, наоборот, не третируя их.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУЖОК. ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН. УЧИТЕЛЯ.

Из других преподавателей продолжал играть формирующую роль Владимир Сергеевич Соколов, наш словесник. По его предложению я занялся в 7-м классе Куприным и даже снесся с ним, он жил в то время в Париже. Сенсацией в гимназии стал его ответ мне. Но ответил Куприн по-купрински. Он ничего не хотел говорить сам: "Обратитесь к Петру

Моисеевичу Пильскому", - он в тот момент жил в Ревеле. "Он,- говорит, - лучше всего все помнит и все знает обо мне". Я читал купринский доклад дважды в нашем кружке и затем на объединенном заседании большого литературного кружка, который был старейшей литературной организацией за границей, он существовал с прошлого столетия. Обычно большой литературный кружок собирался на Татарской улице у Марии Ильиничны Падве, бессменного секретаря кружка. У нее был сын Владимир, отличный музыкант, пианист и скрипач. Пильский предложил на объединенном заседании мне читать доклад, а ему - воспоминания о Куприне. Пришло довольно мало народу, потому что заседание было в другом помещении, но, тем не менее, это произвело большое впечатление: впервые знаменитый критик Пильский соблаговолил читать с каким-то типом, да еще явно молокососного периода.

Владимир Сергеевич безусловно сыграл большую роль в моем развитии, потому что несколько раз оказывал мне доверие авансом. Он выдвигал меня не только как хорошего стилиста в классе, но и как докладчика, артиста, как будущего журналиста, и последнее произошло следующим образом. Вдруг в 4 часа дня в воскресенье было объявлен поэзо-концерт Игоря Северянина, который жил в Тойла, курортном месте между Нарвой и Йевве. Он воспевал Прибалтику: "О, Балтика! О, Сканда! Я с тобой!" Период эго-футуризма, когда он эпатировал публику до революции и во время революции, уже прошел. "Ананасы в шампанском" теперь, пожалуй, не подходили к эмигрантской жизни. В Тойла он имел, как говорили злые языки, тринадцатую жену, эстонку, поэтессу, которая очень хорошо вдруг оседлала Игоря Васильевича и не позволяла ему искать четырнадцатую жену. Я пошел на поэзо-концерт. Народу было много. Все преимущественно из гимназии, кое-кто из родителей, педагоги и, между прочим редактор-издатель, я еще не был с ним знаком, Ляхницкий, из ежедневной газеты "Последние Известия". Он сидел в 1-м ряду, потом повернулся в полоборота и с интересом рассматривал зал. Когда я ближе узнал нравы газеты, то понял, что Ляхницкий мало общался с ревельским обществом, поэтому для него, вероятно, было событием скопление русской молодежи. Игорь Северянин оказался другим, чем мы предполагали. Я ожидал увидеть изломанного эстета, а перед нами вдруг появился высоченного роста, косая сажень в плечах, так нам показалось, по крайней мере, плотный, загорелый, с обветренным лицом, нестарый человек. Вероятно, ему было сорок с небольшим. И что больше всего нас поразило - это его костюм. Одет он был не по-городскому, в рыбацкий свитер и высокие рыбацкие сапоги выше колен. Мы похлопали ему, его представил Владимир Сергеевич Соколов, поскольку это шло под эгидой гимназического литературного кружка, сказал, какое это для нас "событие", он не употребил слово "честь". Когда Северянин стал читать, он вторично нас взял в плен, потому что содержание его поэзии было неожиданным. Никаких изломов, которые пугали или

эпатировали русское читающее общество, никаких "Я - гений, Игорь Северянин! Я объэкранен! И повсесердно утвержден!" - ничего подобного. Была хорошая, искренняя и сильная поэзия:

О, Сканда-Балтика! Невеста Эрика!
Тебе я с берега
Дарю венок...

Это было очень уместно для публики в Ревеле. Был тогда в ходу популярный невинный танец фокстрот, который в те времена казался довольно-таки распущенным. Он написал стихи о культуре, которые нас очень поразили: "Культура, культура... И в похотных тактах фокстрота..." Поскольку молодежь часто бывает пуритански настроена, успех был потрясающим. Мы были в восторге. Боже, как он заклеймил то, что не привилось в русской гимназии в тот момент. Мы не включились еще в модерную музыку, в модерные танцы. Позднее это было, но не тогда. И замечательные стихи о природе он читал -"Поэза майских дней". Все это читалось наизусть:

Какие дни теперь стоят!
Ах, что это за дни!

Цветет, звенит, щебечет сад,
Господь его храни!

И нет кузнечикам числа,
Летящим на восток.
Весна себя переросла
И рост ее - жесток... (Май 1914, Тойла)

Я цитирую только отрывки, которые тогда же запомнил на всю жизнь. Некоторых стихов, которые он читал, я никогда так и не встретил в печати. Рев был потрясающий. Купил он нас окончательно и навсегда стихами, обращенными к России, где была строчка: "В Воскресенье свое всех виновных прощает Россия!" И хотя мы, гимназисты той поры, в подавляющем большинстве своем полностью отрицали большевизм и коммунизм, потому что все видели, и не только отвлеченно, но и практически, на судьбах наших семейств, на развале, который охватывал Россию и в котором мы были щепками гонимыми, эти строки соответствовали нашему общему настроению - надо быть великодушными, и суть России не в расправах, не в жестокости, не в суровости, а во всепонимании и всепрощении. Успех был громадный. Северянин был, видимо, доволен, сиял, кланялся, потом встал редактор, полуобнял его за плечи, и они вышли из зала вместе с директором, потом начали выходить и мы. Когда я шел по лестнице, вдруг кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Это был Владимир Сергеевич Соколов. "У меня к Вам дело. Редактор сказал, что они не смогли прислать репортера, который написал бы о поэзо-концерте

Северянина. Между тем отчет необходимо поместить в газете. Сегодня воскресенье, и он просит, чтобы завтра часам к 5 текст был доставлен прямо ему. Тогда он попадет в вечерний набор. Я думаю, лучше всего будет, если Вы напишете". Я был польщен и немножко испуган. Сказал, что сделаю все возможное. Владимир Сергеевич добавил: "Пожалуйста, не пишите слишком длинно, иначе будут сокращать. 300-400 слов, не больше". И объяснил, сколько это примерно страниц от руки (машинки мы тогда не употребляли) - получалось 2 страницы с гаком.

Я пришел домой и принялся за работу. Мне пришлось переделать раза два. К сожалению, текст не сохранился. Но он был искренний и как будто хорошо написан, потому что почти все напечатали, за исключением нескольких строк. Выбросили мои замечания о том, что Северянин расстался со своим эго-футуристическим прошлым. Возможно, сочли это нахальным для столь молодого репортера-критика. Эта первая рецензия была началом моего регулярного сотрудничества с "Последними известиями". Подписана была заметка Н.А. или Н. А-в, или Николин, псевдоним уже мною употреблявшийся, я не помню, но она имела большой успех. Владимир Сергеевич сказал, что это очень хорошо, и моя слава еще более "утвердилась" в веках! Позднее, уже когда я был в университете, я мысленно не соглашался со многими оценками и подходом Владимира Сергеевича к литературе. Он был в плену социологического толкования литературы, что было понятно - литература занимала довольно скромное место в реальном отделении русской гимназии. Например, в 7-8 классах мы имели 2 часа в неделю занятий по русскому языку и 5(!) часов по эстонскому языку, так нас старались подтянуть до необходимого уровня к выпускным экзаменам. Понятно, что волей-неволей приходилось свертывать многое, что мог бы сказать учитель. Хотя сам он хорошо понимал структуру произведения и его архитектонику. Позднее, когда я узнал формальный метод, я с интересом отметил, что ряд элементов и некоторые утверждения Соколова походили на некоторые тезисы формалистов. Хотя он был шире, он понимал, что литература не только игра формы, как думали формалисты, а выражение писательского сознания. Он ценил социальные, национальные и прочие тона, которые звучали в литературе, особенно в эту эпоху. Надо с благодарностью отметить и то, что у Владимира Сергеевича была великолепная библиотека, которую он неустанно пополнял. Среди множества книг особенно великолепно были представлены публикации XX века. Эта библиотека нам очень помогала, потому что как только он давал тему, он приглашал ученика или ученицу к себе домой и предлагал обычно стакан чаю. Когда мы приходили, на столе уже лежали справочники и библиографические указатели по русской литературе, затем он начинал одну за другой доставать с полок книги и давать вам домой, прочесть. Владимир Сергеевич считал, что докладчик должен быть информирован о предмете, но дорогу должен найти сам. Это не значило, что вы должны

повторять его мнения, ничего подобного. Часто получалось интересное, деликатное, но, как мы говорили, "ледовое побоище". Владимир Сергеевич начинал задавать каверзные вопросы докладчику, цитировать критиков, которых тот не употребил или не понял. Это был полезный семинарский подход к литературе.

С благодарностью вспоминаю, что прочитал целый ряд докладов в этом кружке, в частности, о "Раненой совести" -Вересаеве, так его назвал один из критиков. Это было любопытно, потому что не входило в нашу программу. Я занялся также с пользой для себя поэзией К.Р. - Великого Князя Константина Константиновича Романова, очень неплохого поэта. Главное, он интересовался многими философскими темами, темы христианства, темы, затронутые в "Фаусте", находили отклик в его произведениях. Доклад мой о К.Р. вызвал много похвал, на нем присутствовал Георгий Густавович Гейнрихс, он даже специально мне написал и несколько раз говорил, какое огромное впечатление произвело на него то, что я так серьезно занялся этим вопросом, и на фоне в общем скромной поэзии К.Р. смог показать интересные западные влияния в русской литературе, как эти темы освещены с православной точки зрения. У К.Р. была драма "Иосиф Арифмафейский", о Христе. Страшно любопытные мотивы. Не берусь точно сказать, сколько докладов я читал, возможно, меньше, чем мог бы, но меня это каждый раз обогащало, вводило в мир большой критики и часто, что важно, в мир современной критики. Со многими критиками я так и познакомился, как с Пильским или профессором Арабажиным, который однажды приехал к нам читать интересные лекции. Он был мне знаком по целому ряду своих работ. Свою роль сыграли такие критики, как Юлий Айхенвальд, они давали эстетическое толкование авторам, часто отбрасывая принятый социологический подход. А главное, мы входили в эту тематику, читали и потом, когда шли доклады других членов кружка. Ценились критические выступления, даже не столько критика, сколько умение задавать вопросы.

Владимир Сергеевич всегда был доволен, когда я ставил вопросы докладчикам. Они иногда вдруг терялись от моих вопросов. Владимир Сергеевич, может быть, был недоволен, что они терялись, но был доволен, что такие вопросы задал ученик. Его противники, а у него как у яркого педагога и яркой личности их было немало, ставили ему в вину якобы предопределенность тем в политическом смысле и стремление принять советскую действительность. Я сам слышал такие заявления в доме моего друга Вовы Заркевича. Председатель родительского комитета Алексей Константинович Байов, человек правых взглядов, никогда не был в кружке Соколова, но априорно говорил, что по темам можно судить о запахе пищи. Мне он это не говорил, но его жена, мать Вовы, несколько раз на это намекала. Кроме того, у них на квартире жил хороший журналист из "Последних Известий", Ярослав Воинов. Позднее он уехал в Парагвай, к нашему разочарованию. Он мне сказал: "Да-да-да, Соколов, конечно...",

намекая на то же, что и Боев. Но я ему решительно возразил и сказал, что это абсолютно неверно, он никогда не направляет темы докладов, мы имеем полную возможность трактовать материал, как хотим, а он дает нам всю критику, какая существует по вопросу, и что, по-моему, он делает правильное дело, потому что он учит нас, как подходить к литературе. Он не стремится навязать свою точку зрения, а хочет научить нас работать по литературным памятникам. Ответ несколько озадачил Воинова, и он стал ко мне хорошо относиться, хотя до этого воспринимал меня как головастика-гимназиста. Культурные журналисты, как Георгий Иванович Тарасов или Петр Моисеевич Пильский, таких вещей не говорили. Но в Ревеле было много правых элементов, которые были непрочь высказать подобное отношение к литературе вообще и преподавателю-словеснику в частности. Читал у нас Юрий Павлович Иваск, хотя Соколов не разделял многих его точек зрения, Иваск в тот период был в восхищении от всего, что было связано с Зинаидой Гиппиус и Мережковским. Соколов совсем не разделял его восхищения, но, тем не менее, поощрял выступления Иваска и считал, что его взгляды любопытны, но старался вопросами и замечаниями расширить базу, на которой строился доклад. Эти идеологические обвинения, по-моему, были нелепы, по крайней мере, в отношении наших занятий в литературном кружке. Конечно, если считать Блока воплощением революции, а его трагедию "Розу и Крест" большевистской, тогда вопрос другой!

К сожалению, гораздо меньшее впечатление производил историк Александр Семенович Пешков. Андрей Васильевич Васильев в Нарвской гимназии и Николай Иванович Немчинов в частной гимназии общества "Русская школа в Эстонии" были более интересными, чем наш Пешков. Сам по себе знаменитая фигура - член правительства Лианозова, состоявшего при генерале Юденича. По профессии он был, видимо, действительно учитель. Историю знал, этого отрицать не могу, но преподавал скучно. У него был старый подход. Он точно знал, что мы проходим и по какому учебнику. Придя, начинал рассказывать следующую главу, рассказывал близко к учебнику, иногда удивительно близко. Мы даже удивлялись, неужели выучил наизусть. Вероятно, нет, у него был такой ограничительный ум. Это было очень скучно. Экскурсы Отца Николая Пятса и вопросы, которые мы обсуждали с Владимиром Сергеевичем Соколовым, я запомнил на всю жизнь, а то, что говорил Александр Семенович, умирало вместе с уроком. Казалось даже, что он опасался, когда при ответах мы оказывались более знающими или излагали материал, который не входил в учебник. Не то чтобы он нас останавливал, ничего подобного, но такое было впечатление, что он не в восторге. Вероятно, считал нас слишком молодыми. Оживлялся он, только когда под конец урока оставалось 5-7 минут. Тогда он начинал расспрашивать о СССР сначала Женю Улка, а потом Володю Буш-Шарыгина как выходцев из Советского Союза. То, что происходило там,

его искренне интересовало. Он улыбался и расцветал, переживал все, что те рассказывали, начиная с того, как милиционер может в Москве или в любом городе оштрафовать вас на рубль, если вы бросите бумажку на тротуар. Он редко меня спрашивал, за все время раза два, далеко не каждый год. Он знал, что я интересуюсь историей и многое знаю. Однажды он начал меня спрашивать о французской революции. Я очень много читал об этом и мог изложить много материала. Александр Семенович испытывал прямо-таки муки. Но он был человек доброжелательный, хорошо относился к ученикам. Как председатель Центрального учительского союза он все время сотрудничал с Шиллингом. Он был арестован и исчез бесследно, после того как советские пришли в Эстонию. По-видимому, его арестовали, как бывшего министра и заметную общественную фигуру. Кончина его - вероятно, тяжкая, он был слабого здоровья, - примиряет меня с его недостатками как преподавателя.

Особые отношения сложились у нас с Зябликом ("Зяблик с юга прилетел"), Иваном Харитоновичем Степановым, которого мы не любили. Он был очень самоуверенный господин, имел успех у женщин, довольно грубый успех, общественность его считала ловеласом. Он несомненно был музыкально одарен, но без личной культуры. Был груб с певчими. У моего отца, который никогда не имел никаких конфликтов, были крупные столкновения со Степановым в церковном хоре. Отец даже ушел из Никольской церкви и перешел в кладбищенскую. Но потом тот принес извинения, и отец вернулся. Степанов был хороший организатор хоров, и это нам нравилось. У меня оказался второй бас, чего я никогда не ожидал. Мы все пели с удовольствием - он умел это поставить. Но невероятными были его теоретические уроки, скучные и невразумительные. Те из нас, кто знал основы музыкального искусства, как Саша Рейман и Шура Прохоров, сказали, что он самым пошлым и элементарным образом излагает введение, которое слушал на 1-м курсе в консерватории. Когда Степанов сообразил, чей я сын, он проявил галантность, сказал, что очень уважает моего отца. Затем, определив, что у меня второй бас, ввел меня в гимназический хор. Зная, что я печатаюсь и выступаю на сцене, он всегда относился ко мне очень внимательно, как к персоне незаурядной и никогда не задевал. Позднее даже разыгралась забавная история, по Гоголю. Объединенные хоры под управлением Степанова должны были петь духовный концерт, и он через Ивана Николаевича Тараканова спросил, не могу ли я написать рецензию. Я не знал, смогу ли это устроить, но, придя в редакцию, обратился, как всегда, к истинному редактору "Последних известий" - секретарше редакции, Нине Ивановне Голубевой, гражданской жене Ляхницкого и, между прочим, ученице дяди Миши в Ямбурге. Она сохранила о нем самые лучшие воспоминания и, когда узнала, что я его племянник, стала ко мне относится еще лучше, чем раньше. Я сказал: "Я пишу театральные рецензии, и на литературные вечера, и на лекции, но

никогда еще не писал о концерте. Я слышал, что будет духовный концерт, нельзя ли мне попробовать написать рецензию?" Она сказала: "Почему же нет? Я это устрою". И я пошел на концерт с редакционной карточкой.

Концерт был в огромной немецкой кирке, чтобы публика могла сидеть. Степанов понимал, что такое хоры, и требовал от участников точности - получалось отлично. Отец, который считал Степанова зазнайкой и грубияном, лишенным светских манер, признавал, что он хороший дирижер и умело руководит духовным хором.

В гимназических кругах у Степанова была невысокая репутация, несмотря на то, что он хорошо проводил концерты и писал музыку для разных представлений в гимназии, по-моему, удачную, даже если, как злые языки уверяли, он брал что-то от других. Если и брал, то, вероятно, не целиком, а брал кусок и вокруг него обстраивал свои кулисы. Но злые языки, во-первых, все время проезжались на тот счет, что карьера Степанова построена на пламенной любви к нему нашей инспектрисы Зинаиды Николаевны Дормидонтовой, которая была старше Степанова, разведенная, и будто бы без ума от него. Одно время Степанов жил у нее на квартире, но потом съехал. Он сам давал пищу для этих разговоров, потому что несколько раз грубо разговаривал с ней при людях. Специалисты говорили, что Зинаида Николаевна, наверное, страшно хочет, чтобы он был ее пламенным почитателем, но его от этой мысли бросает в жар и в холод, потому он и съехал на другую квартиру, но она ему покровительствует по-прежнему. У него было много пошлых похождений и романов, о которых сплетничали в городе. Но это меня мало касалось. В рецензии я похвалил программу концерта, очень хорошо выдержанную, похвалил дирижера, который сумел вдохновить и объединить своих певцов в общем порыве вокального искусства. В двух случаях я допустил маленькую критику: один раз часть хора на четверть или восьмую такта опоздала вступить. Это не было заметно, но все-таки шероховатость была. В другом случае слишком было все крещендо, поэтому пропали нюансы, которые лучше прозвучали бы, если бы дирижер попридержал басы.

Я употреблял музыкальную терминологию, и это произвело впечатление автора, знающего дело. Я даже слышал, как говорили: "Знаете, Степанова по заслугам и похвалили, и в то же время покритиковали"! Я знал, что никак нельзя выдавать свое авторство - меня съели бы живьем. Но кончилось все неожиданно. Опять пришел Иван Николаевич и принес мне письмо от Степанова. В конверте была его карточка, на другой стороне было написано: "С большой благодарностью" - и прилагалось 3ОО крон. Это была не большая, но и не маленькая сумма. Мама давала уроки за 50 крон в час. Посещение концерта мне ничего не стоило, все равно я бы пошел туда, даже не будучи репортером, рецензия взяла у меня часа полтора. Само собой разумеется, это была взятка, данная именно по Гоголю, но после события, так что она теряла характер взятки и скорее могла быть

поощрением. Мы никогда не подали друг другу вида, что были в заговоре относительно рецензии на его духовный концерт.

Наш классный наставник, учитель немецкого Оскар Иванович Пилеман был милейший человек, пожилой русский немец, очень бесцветный. Я пришел к выводу, что нельзя в таких гимназиях, как наша русская, делать классным наставником нерусского. От этого проигрывал немецкий язык, потому что все классные дела ему приходилось разбирать по-русски, и на это он ухлопывал большую часть урока. Тем более, что мы насобачились и подсовывали ему даже несуществующие дела, только бы он нас не спрашивал! Он впадал в панику, начинал размахивать руками. Он был немножко анекдотического типа. Его жена, которая поставила меня на немецкие рельсы, была решительной женщиной, а он - милый, обходительный человек и очень нерешительный. Немецкую грамматику мы проходили в основном по хорошему учебнику Глезер и Пеццент, который время от времени дополнял преподаватель, а с литературой было куда хуже, именно оттого, что ему не хватало времени - слишком много обязанностей было у него как у классного наставника. Мы читали отрывки из разных авторов XIX века. Мы не пошли дальше Гейне, очень немного читали Гете, много Шиллера. Благодаря этому Шиллер для меня оказался загубленным как поэт и драматург. Он слишком ассоциировался со школьными программами и необходимостью пересказывать своими словами его трагедии. К сожалению, у нас не было современной немецкой прозы. Может быть, она не предусмотрена была программой, но когда я очутился в Чехословакии и в Германии, я поразился, что современный немецкий язык мне гораздо менее понятен, чем язык XIX века.

Мы совсем не знали делового языка современной Германии. И все-таки судьба хранила нас и Оскара Ивановича Пилемана от катастроф. Однажды - единственный раз за всю мою учебу в гимназии - к нам приехал министр. Он, к неудовольствию директоров гимназий, выделывал всякие трюки: появлялся на урок неожиданно и приводил в ужас преподавателей. Он и в русскую гимназию приехал неожиданно, пошел по классам. Мы ничего не знали о том, что он приехал или приедет, и как раз начался урок немецкого языка, и Оскар Иванович кого-то разносил по-русски за какие-то художества. Вдруг открылась дверь, вошел директор, а за ним маленький рыжеватый человек, директор по-немецки представил ему: “Это наш учитель немецкого языка, герр Пилеман”, - а ужаснувшемуся Оскару Ивановичу и не менее испуганному классу объявил, что это министр народного просвещения, который хотел бы лично ознакомиться с постановкой обучения у нас в гимназии. Я ждал, что Оскар Иванович упадет в обморок, но он был живуч, хотя и побледнел от волнения. А министр - “какой класс, а, такой-то, проходите литературу, да” - пошел по классу. Подошел к Конраду Геррецу, нашему знаменитому артисту, и спросил его по-немецки - какую немецкую пьесу и какого автора он считает наиболее интересной. Тот моментально

ответил - Шиллера, "Коварство и любовь". Министр спросил: "Почему именно эту пьесу?" - "Там много сценических эффектов, и я хотел бы в ней играть, потому что люблю театр". Все было сказано по-немецки очень хорошо. Министр кивнул в знак согласия и подошел к следующему ученику. Следующий попался Папашка - Женя Улк, он и к нему обратился по-немецки: "Как Вы думаете, какой язык нужно больше изучать в вашей гимназии, немецкий или русский?" Папашка ответил тоже очень хорошо по-немецки, сказав, что, конечно, надо обращать больше внимания на немецкий язык, потому что это русская гимназия и все говорят дома по-русски, а он сам выехал 2 года назад из Советского Союза и для него русский язык не проблема, но, конечно, остается проблемой немецкий. Министру это понравилось - в ответе не было национализма - и он спросил, почему они выехали из Советского Союза? Улк сказал: "Я по отцу эстонец, и мы оптировались, потому что в Советском Союзе жить невозможно. Мой отец работает на железной дороге, а я теперь должен учиться в русской гимназии, потому что мой главный язык все-таки еще русский". Это министру тоже понравилось. Он кивнул, перешел к следующему ряду, подошел к Белиовскому и спросил: "Кто из немецких философов, по-Вашему, имел самое большое влияние на европейскую мысль?" Белиовский на это ответил тоже очень хорошо. Он сказал, что немецкая философия вообще повлияла на европейскую и на русскую мысль, но он думает, что наибольшее влияние было у Иммануила Канта и его "Критики чистого разума". Название он сказал по-немецки. Это очень понравилось министру, он сказал: "Зер гут", - и обратился к четвертому. Белиовский сидел наискосок за мной, и я дрожал, вдруг спросят меня и я зашьюсь. Передо мной наискосок сидел Карл Берзин, у него отец и мать были немецкого происхождения. Хотя они были обрусевшие немцы, но говорили по-немецки дома и часто ездили в Германию. Министр спросил его: "Бывали Вы в Германии?" - Да, бывал". - "Что Вам там понравилось?" И Карл затараторил и стал объяснять, что ему понравилось в Берлине и что он видел в Баварии. Тот с удовольствием минут 5 слушал, как ораторствует Берзин, потом повернулся к Оскару Ивановичу и сказал: "Очень хорошо. Спасибо, герр Пилеман",- сказал всем по-немецки "Большое спасибо, господа. До свидания",- и ушел.

Взрыв восторга был во всем классе. Оскар Иванович в изнеможении сел на стул, потому что страшно волновался. Директор тоже волновался, но такое блестящее впечатление не произвел ни один класс. Все произошло случайно, но очень удачно. Задай он те же вопросы в другом порядке, и те же самые люди затруднились с ответом, а так они говорили на свои собственные темы. Наш гимназический законоучитель был Отец Иоанн Богоявленский, соборный протоиерей, настоятель Александро-Невского Собора с Вышгорода. Он был высокоинтеллигентный человек, академик и даже писал в разных духовных изданиях. Когда он пришел, то сразу завел очень

нам понравившиеся богослужения в начале каждого учебного дня. В начале каждой четверти года, в начале и в конце года были большие богослужения. Богослужения каждый день происходили даже при участии дьякона и маленьких прислужников в стихарях, которые раздували кадила.

Одним из них был Шура Прохоров, потому что Отец Иоанн хорошо знал его отца как регента хора в своем соборе. Говорил он просто, но не так ясно, как Отец Павел в Нарве. У него было больше красноречия, чем ясности мысли. Что касается его преподавания в старших классах, он мало занимался Катехизисом, но много комментировал Евангелие, рассказывал об истории церкви и все старался ставить и обсуждать разные богословские проблемы. Общая тенденция у него была научить мыслить в категориях, которых требует богословие. Богословие, на его взгляд, не есть математика, и написать на доске уравнение Бога невозможно, но, тем не менее, нужно осознать, что идея Бога пронизывает весь мир, и наша задача как маленьких богословов - попытаться приблизиться к пониманию того, где, как и почему Господь Бог проявляет себя в мире. Задача была необъятной и грандиозной, но педагогически и религиозно правильной. Опять-таки я слышал много нападок на Отца Иоанна из правых кругов, его считали сравнительно левым священником. Но он был классом выше, чем Отец Василий Черносерский, который был у нас перед ним. Меня он очень почитал, потому что я один из немногих знал, что написано в Катехизисе. У меня была хорошая память, и я все легко запоминал. Но это была лишь первая степень изучения. Отец Иоанн был человек более высокого полета. Любили ли мы его - трудно сказать, но мы относились к нему с большим уважением, и те, кто исповедовался у него, говорили, что он многое понимает и не формалист. С другой стороны, он очень хорошо понимал значение обряда, красивой службы, организованного пения. У нас на маленьких литиях и молебнах каждый день пели. Вначале были неурядицы, Отец Иоанн поговорил с Зябликом, и тот прошел с нами песнопения, которые поются на службах, чтобы мы не посрамили земли русской и пели бы, понимая, что поем, и на хорошем музыкальном уровне. Наши "мыслители" естественно задавали Отцу Иоанну всякие глупые вопросы. Один из знаменитых вопросов, который веками на Руси ставился всем преподающим закон Божий. Это вопрос, существует ли Бог. Спрашивали: "Бог вездесущ?" - "Вездесущ".- "Бог всемогущ?" - "Всемогущ". - "А может Бог сделать такую коробку, где бы Бога не было?" Отцу Иоанну тоже задали такой вопрос. Он очень смеялся, но потом долго и серьезно, посвятив этому несколько часов, объяснял неправильность упрощения логики, вырывания ее из контекста всей формулы о качестве Божества.

Зинаида Николаевна Дормидонтова, собственно говоря, была инспектор женской гимназии, у нас инспектором по-прежнему был Столейков, хотя обязанностей у него было уже гораздо меньше, ибо директор сам любил р-р-распекать провинившиеся классы. А у нее были проблемы, которые,

вероятно, требовали женского вмешательства. Со мной она всегда была любезна и мила. Я ее потом очень хорошо знал. Она была очень хороший человек, энтузиастка своей профессии. Была ли она хорошим педагогом? Это вопрос другой, спорный. Вопрос оценки. Я у нее никогда не учился, так что не имею права говорить об этом. Учебники, которые она издавала, были обычно не для гимназии, а для элементарных школ, на меня они впечатления не производили. Да я, грешным делом, даже и не вчитывался в них. Репутация у нее была человека справедливого и скорее доброго, чем строгого. А у директора наоборот - более строг, чем добр. И, кроме того, она любила поддерживать тех, в ком, как она выражалась, чувствовался огонек. Ее дочь Таня училась в параллельном классе и вышла замуж за Женю Белиовского.

Зинаида Николаевна оставила след в моей биографии главным образом тем, что однажды - это было в 7-м классе перед Рождеством [12.12. 1925 г.] она обратилась вдруг ко мне: "Не можете ли Вы что-нибудь придумать? Класс, не наш параллельный, а более младший, у них вечер, и нет никакой пьески. Нужна короткая пьеска в стихах". Я подумал и придумал: написал единственное свое произведение, если не в стихах, то во всяком случае в ритмической прозе, которое называлось "Механические куклы". Идея заключалась в том, что часовщик разочарован в людях и решает создать механических кукол, которые будут разделять его радости, и он не будет нуждаться в живых людях. Он это делает, и куклы начинают танцевать. Но потом они портятся, починить их невозможно. Мораль - неправильно забывать людей и верить в механизм кукол. Получилась интересная музыкальная вещица. Единственная роль со словами была роль автора, он же комментатор и старый часовщик (это читал я). А танцевали две ученицы: Нина Горцева и Оля Тамм. Обе учились в студии Литвиновой. Этот пустяк имел успех. Публика была в восторге. Уж я не помню, бисировали мы или нет, но мы ставили эту пьесу еще на двух вечерах. Потом нас даже приглашал родительский комитет. Они устраивали дивертисмент в пользу гимназии и пригласили нас с этим номером в помещение русского клуба на Нарвской улице. Это так и остался мой единственный опыт в ритмической прозе, довольно удачный, и сделал я все за полтора дня. Вначале у меня было хоть шаром покати, идей никаких. И вдруг родилась эта мысль. Многие, начиная с моих родителей, поразились, как это мне удалось. Я эту вещь не показывал дома, не советовался с матерью или с отцом -во-первых, им некогда было, а во-вторых, нужно было им показать уже законченную вещь, на сцене. Эта постановка сблизила меня с Зинаидой Николаевной, которая была в упоении: "Как талантливо, и неожиданно, и приятно..." Вообще рассыпалась в похвалах, на этот раз мы обошлись без музыки Ивана Харитоновича - музыку подобрали сами. Мой текст говорился в ритме танцев кукол. Позднее, когда Владимир Сергеевич перешел в Юрьевскую гимназию директором, а Зинаида Николаевна переняла от него руководство

литературным кружком, она неизменно приглашала меня, когда я приезжал, и я, уже в качестве знатного гастролера, выступал в том же нашем любимом литературном кружке. Она сохранила традицию, созданную Соколовым и отмеченную в стихотворении Жени Белиовского в журнале "Плоды":

Люблю тебя, Владимира творенье,
И да простят мне вольный мой язык,
Тебе пишу стихотворенье,
Купель стремлений молодых,
Раченьем неустанным Соколова
Уже крестивший и иных.
Желаю процветать тебе я снова,
О, творчества младого покровитель.
Курю охотно фимиам тебе, священная обитель".

ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ.

Учителем гимнастики и физкультуры сначала был Владимир Сергеевич Утехин, а после него 2 бывших офицера русской армии, которые не произвели впечатления на наш класс. Владимир Сергеевич, сам бывший армейский офицер, получил педагогическое образование в Праге, в русском педагогическом институте имени Яна Амоса Каменского. Там же он, по-видимому, наблюдал и, может быть, участвовал в деятельности "соколов". "Сокола" - чешская организация, которая имела и русское ответвление в разных странах. Сокола сыграли важную роль в формировании национального движения в Чехословакии и стремились не только к чисто гимнастическим достижениям, но преследовали также идеологические цели - пропаганду национальных интересов. Этот мотив Владимир Сергеевич воспринял. Он был высокого роста, приятный человек и, конечно, отличный гимнаст. Преподавали нам гимнастику в великолепном зале спортивного общества "Калев", в 5 минутах ходьбы от нашей гимназии. Зал был прекрасно оборудован: кобылы, кони, лестницы, параллельные брусья, и наша гимнастика перестала быть только маршем, а стала занятиями на снарядах. Интересно, что Владимир Сергеевич поддерживал русскую линию - мы как можно лучше должны выступать на внешкольных состязаниях, именно потому что мы Русская гимназия. И мы усвоили это и охотно участвовали под его руководством в групповых движениях на гимнастическом празднике весной 1924 г. Когда он исчез из нашего класса, мы стали тяготиться гимнастикой, отлынивать от нее. Я без удовольствия ходил на занятия. Мне было неинтересно. К счастью для меня, в начале 7-го класса врач нашел у меня какие-то дефекты в сердце и запретил физические упражнения. Этот запрет был возобновлен в следующем году. Что это было, я не мог понять, сердце у меня, по-моему, было хорошее. Но это уж дело медицины, во всяком случае, я был доволен - это освобождало меня для собственных занятий. Все уходили, а я сидел в классе и занимался

тем предметом, который меньше всего был подготовлен в этот день. Значение гимнастики и спорта у нас сильно преувеличивалось. Я предпочел бы, чтобы ввели больше игр, чем занятий на снарядах, которые требовали известного гимнастического азарта. Лучше бы нас учили играть в теннис или больше внимания уделяли футболу или баскетболу. У нас было сплошь строевое учение, прыжки, подтягивания на брусьях, которые, по-моему, не столь интересны и не столь важны. Что важно в спорте - это чувство команды, умение помочь друг другу, именно это надо было развивать. Это лучше делал Владимир Сергеевич Утехин и совсем не понимал второй преподаватель. Гимнастические наши достижения я особенно высоко не ставил.

Я почти не имел прямых отношений с нашим директором, Григорием Васильевичем Барховым, который был очень хорошим преподавателем математики. Его немедленно прозвали "Дид", то есть "дед". Почему дали ему украинское прозвище, когда он был типичный северный человек, не знаю, но, как всегда бывало в гимназии, если уж прозвище дадут, оно так и остается за учителем. Вероятно, на это толкнула его борода. Она придавала ему более почтенный возраст, чем был на самом деле. Его жена, Мария Васильевна, была педагогическим деятелем в отставке. Она всегда участвовала в каких-то обществах. Я встречал ее имя в газетах. Их старший сын в наше время был студентом консерватории в Таллине. Затем наш одноклассник Марк и младшая дочь. Директор наш был человек старой закалки, требовательный к ученикам, коллегам и к самому себе. Каникул у него никогда не было. Он ходил в гимназию круглый год, потому что, как я уже упоминал, по воскресеньям он приглашал виновных к 8 часам решать с ним математические задачи. Занимался он с утра до вечера. Вероятно, отчетности было очень много, и отчетность в большинстве случаев была по-эстонски. У него была милая секретарша, владевшая тремя языками, к которой многие из нас были неравнодушны. По легенде Дид был без ума от нее. Но она скоро вышла замуж и была счастлива. Григорий Васильевич любил разносить виновных после утренней молитвы. Там же он всегда призывал гимназистов к разным действиям, если такие предстояли, - междушкольный концерт, междушкольные спортивные состязания, посещения школы комиссиями. Однажды он разбранил своего сына Марка, потому что кто-то из учителей пожаловался на него за множество прегрешений. Вообще он хорошо был осведомлен о жизни гимназии, поэтому, вероятно, у меня не было с ним конфликтов. Он знал, что я никогда не опаздывал. Это была черта, взятая от отца и матери. Во-вторых, как ни странно, ему нравилось, что я долго ходил с открытыми коленями. Во время посещения нашей академической группы Дид узнал, что я являюсь ее председателем. Он засчитал это в "приход" мне. Моя репутация на экзаменах уже была известна: все экзамены прошли весьма удовлетворительно, даже просто хорошо. Он подошел ко мне, когда я писал

сочинение, прочитал первую страницу, которая у меня уже была готова и лежала отдельно, с видимым одобрением. Словом, у него явно было хорошее мнение обо мне.

После экзаменов, но еще до выпускного акта, до банкетов мы должны были послать от каждой половины гимназии по одному человеку вместе с директором к главе государства. Это была традиция, установленная эстонскими президентами, которые в конце академического года принимали представителей всех средних школ, угощали их, говорили короткое напутственное слово и тем самым как бы устанавливали контакт с будущей, уже начинающей работать на пользу государства интеллигенцией. Неожиданно накануне этого дня ко мне подошел инспектор и сказал, что завтра я в хорошем костюме, непременно со значком выпуска должен пойти с директором к главе государства. Я удивился - обычно это была привилегия старост выпусков. Я даже имел смелость спросить инспектора, не ошибается ли он. Инспектор с недоумением поглядел на меня. “Неужели вы полагаете, что я могу шутить на такую тему?” - спросил он. Я извинился и на следующий день явился в указанное время и, к моему удовольствию, увидел Тамару. Оказалось, она представляет женскую гимназию. Мы оба предстали перед директором. Он оглядел нас довольным взглядом, сказал: “Чудно! Пошли”. И мы двинулись пешком на Вышгород. Это было недалеко, но все-таки характеризовало Григория Васильевича, потому что многие эстонские директора приезжали с учениками на такси. Григорий Васильевич оказался обходительным человеком и все время что-то весело рассказывал. Я даже поразился: он знал, оказывается, много о Ревеле, знал историю улиц и умел забавно это рассказать, так что вызвал несколько раз не только мой смех, но и поощрительные улыбки прекрасной дамы. “Прекрасная дама”, кстати сказать, была очень элегантна. Она походила на черкешенку и представляла почти исключение из всего выпуска - большинство были блондинки, рыжеватые или каштановые, а Тамара была кавказского типа, с замечательной фигурой, красивыми ногами, глазами с поволокой, казавшимися томными и сулившими Бог знает что, блаженство в раю, с красивыми длинными волосами, заплетенными в две косы, иссиня-черные. Она была стильно красива. Прошло 50 лет, и недавно мне пришлось видеть фотографии из Советского Союза: она до сих пор сохраняет замечательную элегантность. Злые языки утверждали, что именно красота, полная контрастность Тамары другим девицам и вызвали решение директора. Не могу знать его мотивов, но выбор был вполне достойный. Училась она очень хорошо, тоже получила “cum laude” и своим внешним видом никак не могла поставить гимназию в ложное положение. Мы благополучно прибыли в дом президента, который оказался гораздо более вместительным, чем казался снаружи, увидели несколько сотен молодых людей из разных учебных заведений Эстонии. Все друг друга стеснялись, держались чинно, чопорно. Мы сначала прошли по

залам, где все было готово для приема, и вошли в большой зал, где собралось человек 400. Вышел глава государства и произнес небольшую, но сердечную речь, с экспрессией, не очень частой в эстонском обиходе. Он ничего нового не сказал, приветствовал нас со вступлением в новую жизнь и призывал работать на пользу республики. После этого мы все стройно и с энтузиазмом спели гимн: "Мое отечество, мое счастье и отрада, как прекрасно ты...". Потом нам дали по бокалу вина, фрукты и торты. Попробовав того, другого, пятого, мы с чувством облегчения покинули президентский дом, в котором невольно каждая двоица лепилась к своему директору. Директора обменивались репликами, а выпускники не рисковали поднять голос в этой святая святых Эстонского государства. Оттуда мы сейчас же направились к фотографу и сделали очень удачный снимок - посередине директор, слева от него я, справа Тамара. После этого официальные наши фотографии, на которых было написано, что это выпуск 1926-27 г., директор Городской русской гимназии, Тамара Голицынская и Николай Андреев, появились в домах у Голицынских, у нас, в канцелярии и в директорском кабинете.

Последний год гимназии, чрезвычайно напряженный, подходил к концу. Позади остались экзамены. Учительница эстонского языка сказала, что у меня была только одна ошибка и она не могла повлиять на снижение отметки. Я получил высший балл, хотя, по совести говоря, до сих пор считаю, что эстонский язык никогда не знал на высшую отметку. Другие экзамены прошли совсем гладко. Мне казалось, что финальное сочинение было менее блестящим, чем могло бы быть, но, возможно, я просто устал. На выпускном акте мне пришлось выступить от нашего класса. Я помню это, к сожалению, не совсем отчетливо - слишком волновался в это утро, которое подвело итог периода жизни. Кончалась средняя школа. Был торжественный молебен. Хорошо пел гимназический хор под управлением Зяблика. Отец Иоанн говорил слово, выступали директор, председатель родительского комитета и представительница женского выпуска, последним оратором был я. Во время исполнения речи я ушел от подготовленного текста. Построена она была на цитате из Блока:

О, весна без конца и без краю -
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

(Заклятие огнем и мраком, 1907)

Лейтмотив был: мы, как рыцари средневековья. Школа подготовила или старалась подготовить нас к тому, чтобы мы могли выйти в жизнь и, если нужно, принять бой. Сумеем ли мы это сделать, покажет будущее, школа сделала все, что могла, и сделала хорошо. Я подчеркнул, что у нас царила редкая дружественность. Не было бюрократического контраста между педагогами и учащимися. Наоборот, были контакты, творческое

общение, и мы чрезвычайно благодарны. А если мы не использовали все возможности, которые были, это уже наша вина, а не промахи наших педагогов. Ничего оригинального тут не было, но, когда вы прощаетесь со школой, ничего нового и не скажешь. По-видимому, это было сказано хорошо, потому что я видел, что некоторые прослезились, и, очевидно, вид у меня был вдохновенный. Мои родители были приятно поражены серьезностью речи. Отец сказал, что странно видеть в собственном сыне современного Демосфена! Я выступал и раньше. Когда приезжал Нарвский оркестр балалаечников, я был в 6-м классе и впервые экспромтом говорил речь и, кажется, сказал удачно, растрогав гостей, потому что я их превознес и подчеркнул достижения Константина Григорьевича Вережникова как хранителя одной из лучших русских традиций струнных ансамблей, где простые инструменты, но сложные мелодии. С той поры за мной установилась репутация человека, умеющего говорить экспромтом. Выступления на литературных судах в литературном кружке и на театральной сцене помогли мне говорить ясно, громко и не боясь публики. В 7-м классе меня даже пригласили выступить в необычном спектакле, неутомимой постановщицы феерических школьных зрелищ Виламовой из 19-го училища, главной начальной русской школы Таллинна. Они ставили "Садко" странным образом, почти без пения, потому что им это было не под силу, отдельные хоры пели удачно, но солисты чаще говорили речитативом. Это давало возможность занять очень много людей. Меня пригласили на ответственную роль Гусляра, я должен был открыть этот феерический спектакль особым гуслярным сказом: "Высота, высота поднебесная. Глубота, глубота - океан-море". Я делал вид, что играю на гуслях, на самом деле оркестр подыгрывал мне в такт. Получилось очень хорошо. На всем этом фоне моя последняя речь прозвучала как естественное продолжение моего не только ораторского, но и артистического опыта.

Затем состоялся ряд банкетов, прощальный вечер, банкет с вином и колоссальная прогулка окончивших в Екатериненталь. Наша группа закончила свои похождения в квартире Карлуши Берзина, который жил недалеко от меня на Салонной улице, позднее ее переименовали в Эдсмони. Его богатых родителей в тот момент не было, они уехали. Квартира была в распоряжении Карла, и он нас пригласил после прогулки и угощал. Папашка, естественно, пришел с нами и спел много романсов, он хорошо сам себе аккомпанировал на пианино, спел и знаменитую песню, которую мы все любили, хотя и не разделяли ее идеологии:

"Наш паровоз, вперед лети,
в коммуне остановка.
Другого нет у нас пути.
В руках у нас винтовка..."

Эта песня если не самого военного коммунизма, то из фильма о нем. Она очень элементарная, и Женя ее исполнял с подъемом.

У меня появился целый ряд проблем: стало ясно, что я уеду из Эстонии. Хотя каким образом, еще не было определено. Главное, не было денег. Инстинкт заставлял меня искать возможности отъезда, и родители это полностью поддерживали. Эстония была малое пространство с малыми возможностями: я мог получить техническое образование и стать инженером средней руки. Ограниченность технического продвижения в Эстонии была очевидна. Кроме того, меня совершенно не прельщало сделаться специалистом по бетонным мостам и заниматься ими всю жизнь. В Эстонии инженеры всегда были в руках владельцев фирм, постоянно шло притеснение служащих. Я ощущал это на судьбе отца. Его эксплуатировали и ходу ему не давали по всем причинам сразу - и по национальным, и из-за отсутствия документов, и из-за возраста. По педагогической части это делали его коллеги, а по технической - его начальники, инженеры. Мне хотелось заниматься историей литературы и, может быть, историей тоже. По истории литературы я больше знал и уже несколько раз проявлял себя. Юрьевский-Тартуский университет мог дать только литературное образование: основы славянской филологии. Преподавали там в то время молодой доцент Стендер Петерсон, приехавший из Петербурга, и лектор Правдин, неплохой знаток различных аспектов русской литературы. Но и славянская филология, и русская литература были в ограниченном масштабе. История была или чисто эстонская, или читалась отчасти с немецкой точки зрения. Меня же интересовал только русский подход к истории. Поэтому тартуский вариант не годился. Можно было бы пойти на юридический факультет. Но русские адвокаты не нужны были в Эстонии: слишком мала была база для русской адвокатуры. Рассчитывать русскому на юридическую карьеру в Эстонии было бы опрометчиво.

Второй вариант предложил не я и не мои родители, а дедушка, Николай Ефремович Андреев, продолжавший жить в своем граде Торжке и поддерживавший с нами интенсивную переписку. (К несчастью, письма его все погибли). Он писал подробно, беспощадно критикуя тот строй, который разрушал дело его жизни, земское дело. Он был сознательным противником того эксперимента, который проделывали в России новые власти. Обо мне он все время писал одно: “Не приехать ли моему дорогому тезке для высшего образования сюда, в Петербург или в Москву? (Там были дяди). Здесь он сможет получить, вероятно, лучшее образование, если интересуется историей или историей литературы. Нормы приема студентов не ограничены”. Дяди не очень разделяли дедушкин оптимизм. Все трое - дядя Коля из Ленинграда, дядя Миша из Москвы и дядя Сережа из Торжка - этот пункт не развивали, а у дяди Коли появился даже такой мотив, что поскольку я нахожусь за границей, то, может быть, следует и дальше использовать заграничные возможности. Он в свое время получил образование в Гейдельберге и высоко ценил возможность учиться за пределами отечества. Это была интересная подробность. Мои родители

выступили оппонентами дедушки, и с ними были согласны все знающие люди, с которыми они говорили на эту тему. Считалось, что мой отъезд означал бы отрыв от родителей, вероятно, навсегда. В начале НЭПа и до 1925 г. довольно часты бывали поездки туда и обратно, но теперь оттуда приезжало все меньше людей. Уже в 1927 г. люди выезжали из Советского Союза в Эстонию нечасто и с большим трудом даже к родным. Туда можно было ехать - очевидно, приветствовался привоз валюты. На всех границах по-прежнему стояли арки, на западной стороне которых было написано: "Привет трудящимся Запада", а на внутренней, советской стороне: "Коммунизм сотрет все границы". В ожидании этого видно было уже в 1927 г., что НЭП начинает слабеть. Так хором утверждали все, кто внимательно следил за развитием советской политики. И все, с кем мои родители говорили, считали, что там я могу попасть под удар очень быстро, потому что у меня другие навыки, привычка к свободному обмену мнениями, меня могут счесть продуктом буржуазной культуры и это было бы очень опасно. Поэтому советский вариант уже к Пасхе отпал. Возник западный: Франция или Бельгия. В этих странах можно было получить стипендию. Правда, было серьезное препятствие - я совершенно не знал разговорного французского языка. Я только год изучал его в Нарвской гимназии и потом иногда почитывал по-французски, но только детские книжки. А ехать без знания французского было бы полной утопией. Люди, знающие положение во Франции, говорили, что нечего и соваться. Была еще возможность - Бельгия, куда можно было поехать и, может быть, устроиться при помощи католической организации, как и произошло с некоторыми соучениками, в том числе с Шурой Прохоровым, который получил стипендию в Лувенском университете как сын православного дьякона. Он окончил университет в Лувене и стал инженером. Но это было исключительное явление и, кроме того, надо было заниматься французским, который Шура учил добавочно вместо латинского языка. А я занимался латынью. Этот вариант тоже отпал. Из тех, кто туда уехал, один Шура и вышел в люди. Эбергардт, ставший студентом Льежского университета, утонул, кто-то третий сразу вернулся из-за языкового барьера. Находясь в университете, заниматься элементарным изучением языка оказалось не по силам.

Германия отпадала: жизнь там была чрезвычайно дорога и стипендий никто не давал. Там был русский институт даже с русским языком преподавания, но бесперспективный - нужно было получить не только диплом, но и возможность работы, а Германия таких возможностей не представляла. Туда ехали для получения лучшего технического образования. Например, в Берлинский политехникум поехал Саша Рейман, который был очень талантлив в механике, и получил там звание инженера. Я с ним виделся несколько раз в последующие годы, проезжая через немецкую столицу. Он не вернулся в Эстонию, немецкая промышленность была для него гораздо заманчивее, чем скромные индустриальные возможности

Эстонии.

Оставался еще один вариант - чешский, который оказался наиболее реальным. В Чехословакии по целому ряду причин в начале 20-х гг. сложилась проэмигрантская ситуация. Первый президент Чехословацкой республики, профессор Масарик взял под свое покровительство ученых, высланных из Советского Союза, чехословацкое правительство решило помочь русским студентам, выброшенным в недоучившемся состоянии за границу из-за гражданской войны, закончить образование. Была создана так называемая "Русская акция", и чехи дали тысячи стипендий русским студентам. В Праге образовался большой студенческий центр, и рядом с ним возник целый ряд мощных русских просветительных и исследовательских организаций.

Интересно отметить, что в Чехословакии работали две средних русских школы, одна в самой Праге, в ней было много учащихся. Об этой гимназии шел разговор еще до 7-го класса - не послать ли меня туда доучиваться. Но я решительно воспротивился переходу из гимназии в гимназию и был прав, потому что если бы меня туда перебросили, я оказался в невыгодном положении с чешским языком. К тому моменту, когда я мог попасть в Прагу, положение стало сильно меняться. Если в начале 20-х гг. Владимир Сергеевич Утехин, получил стипендию, окончил там русский педагогический институт и вернулся к нам как педагог-физкультурник, то в 1927 г. акция начала свертываться. Молодежь больше не принимали, а те, кто въезжал, давали подписку, что не будут просить стипендий. В 1927 г. была лишь одна возможность въезда для меня: через сельскохозяйственный и кооперативный институт с русским языком преподавания. Они продолжали еще рассылать предложения получить в Праге звание инженера, инженера-агронома, инженера-кооператора, и эти звания прельщали, они представляли нечто конкретное. В то же время преподавание было обещано по-русски. Они брали на себя оформление въездных виз. За год до моего окончания школы туда поехали Костя Теннукест (он был на год старше) и Володя Римский-Корсаков из того же выпуска, большой приятель и Кости Гаврилова, и Конрада Герреца, и Юрия Павловича Иваска, которые все жили в Коппеле. Костя был старостой, одной из ведущих фигур предыдущего выпуска нашей гимназии, он был из обеспеченной семьи и поступил на философский факультет. Володя получил стипендию, так как очень хорошо занимался химией. Это всех воодушевило, создалось впечатление, что при счастливом развитии дел можно даже получить финансовую поддержку на месте. Эти "ходоки" нам что-то написали, поддерживая нас в желании поехать в Прагу. Затем они приехали. Мы как раз только что окончили гимназию, они много рассказывали, и впечатление было такое, что Прага очень интересна. Огромное количество русских, русские центры, русские организации, и хотя жизнь несколько дороже, чем в Эстонии, но не такая дорогая, как в Германии, во Франции или в Бельгии. Они

добавили, что чешский язык быстро начинаешь понимать, но заговоришь не сразу. Обо всем этом я стал думать еще с начала 8-го класса, когда уже осознал, что нелепо было бы углублять и развивать всякие лирические истории, какая у меня была с Соней Леппер, потому что девушки ждали, что вы на них женитесь, окончив гимназию. Я же, по всей вероятности, должен был уехать. Иначе пришлось бы влачить жалкое материальное состояние в Таллине, работая в газете. Хотя безусловно я получил бы место, потому что все редакторы ценили меня, но едва ли это были бы златые горы. И я стал сворачивать отношения. Кроме того, в 8-м классе появились другие девушки, которые старались привлечь меня. Лирическая сторона жизни, долго сдерживаемая, вдруг стала выплескиваться наружу. Девушки уже играли важную роль в нашем подсознании и сознании, но отношения были скорее романтические, чем сексуальные. Сексуальное развитие шло медленно. Очень трудно в 18-19 лет быть мудрым Соломоном. Да и Соломон всегда попадал впросак как раз с женщинами. Тем не менее, я был осторожен, и хотя теперь больше интересовался девушками, но интерес шел вширь, а не вглубь.

Самым крупным явлением на лирическом фронте оказалась сестра Жени Улка, Рита. Она оптировалась вместе с отцом и с братом. Мать их уже умерла. Была она смешанных кровей: мать немка, отец эстонец. Дети были совсем обрусевшими. Женя появился у нас в 7-м классе. Потом прошел слух, что у него замечательная сестра. Через некоторое время он пригласил меня зайти к ним, и я познакомился с Ритой, миловидной блондинкой с дивной светлорусой косой по пояс. Приятная, живо реагирующая на все, она любила похохотать и в то же время была склонна к серьезным разговорам. Я в то время был по горло занят текущими делами и особого внимания на нее не обратил. Я знал, что вокруг нее крутится масса молодых людей, начиная с Жени Белиовского, который страшно страдал по ней. Я не крутился, и это, видимо, обратило на себя внимание Риты. Она училась на класс ниже нас, хотя была, как потом выяснилось, на год старше. Из-за всяких пертурбаций и плохого знания эстонского ее не могли поместить в соответствующий класс. Но она быстро вошла в общую жизнь, выступала в студии выразительного чтения Зильберт-Новицкой, появлялась на всех собраниях и вечерах. Несколько раз мы встречались в разных гостеприимных домах, где Рита всегда была очень мила.

ЛЕТО 1927 ГОДА.

Встречаясь, мы разговаривали, и однажды Рита спросила: "Вы женитесь на Соне Леппер сразу после окончания гимназии?" Вопрос ее меня крайне изумил. Я сказал: "Жениться? Конечно, нет. Мы с Соней хорошие друзья. Но какие же могут быть у меня планы насчет женитьбы?" Тогда Рита засмеялась и сказала: "Вы плохо себе представляете психологию девушек. Если Вы два с половиной года, а может быть, даже больше, провожаете

Соню после театральных представлений, лекций, балов, то что она может думать об этом? Только, что Вы глубоко ее любите и, конечно, при первой возможности женитесь на ней". Надо сказать, эта точная формула, которая уже была у меня в подсознании, возможно, стимулировала процесс постепенного отхода от Сони. Я действительно начал вдруг понимать, что если продолжать эти отношения, то Рита, пожалуй, будет права. (Только гораздо позднее автор понял, что Рита сказала это, чтобы занять Сонино место!) У Сони будут надежды, которые мне придется, вероятно, обмануть. Все яснее становилось, что мне придется продолжать образование вне Эстонии. Несмотря на это, Рита явно приближалась ко мне, и мы все чаще виделись, она явно показывала, что любит бывать в моем обществе. Настоящее лирическое сближение началось только в конце 8-го класса и приняло активный характер. Я считал его своим первым настоящим увлечением. Все остальное, включая мою глубочайшую симпатию и нежность к Соне Леппер, было пробой пера. К Рите я вдруг испытал новые для меня чувства, и они все усиливались после окончания гимназии. Вероятно, свою роль сыграло победоносное ощущение конца. Я был всюду отмечен как герой, и в газетах и в списках учеников, окончивших с наградами, всюду фигурировало мое имя. Я приобрел вес на общественно-литературном поприще. Большой литературный кружок как раз в июне устроил конкурс прозаических произведений, и меня пригласили в жюри, куда входили председатель кружка, Георгий Иванович Тарасов, Мария Ильинична Падве, секретарь кружка, Николай Федорович Роот и я. Мы дали первые две премии, причем, мне выпало на долю быть в союзе с Тарасовым, с которым мы опять дружески сошлись. Наша точка зрения в жюри победила. Мы дали первую премию за умело стилизованный рассказ. Жюри не знало, от кого он поступил, но когда вскрыли конверт, оказалось, что первая премия досталась Василию Акимовичу Никифорову-Волгину, молодому талантливому прозаику из Нарвы, и очерку "На рейде" Павла Михайловича Иртеля, который впоследствии стал не только частым гостем прибалтийских изданий, но и единоличным редактором "Нови", превращенной им в журнал. Из-за всех этих событий я был на виду. И Рита, такая впечатлительная, все укреплялась в оценке моей личности. Она оказалась превосходным стратегом и тактиком и к концу этой серии празднеств устранила всех соперниц и оказалась наиболее близкой ко мне. Мы бывали всюду вместе, почти рука об руку. Это увенчалось тем, что мы поехали в Печоры, где пережили кульминацию наших отношений, потому что ехали уже как свободные люди. Это была смешанная поездка бывших и будущих абитуриентов, большая и веселая компания. Там была церковная служба, были прогулки, чудная погода, хоры местных мальчишек, которые в первый же вечер, как мы приехали: "Ах, как хорошо, дорогие соотечественники! Ну, сыграйте какую-нибудь песню. Давай частушки. И пошла писать губерния:

Тамара, Тамара. Не бери ты меня спать.
Я мальчишка беспокойный, разломаю всю кровать.

Мы ребята-ежики,
по карманам ножики,
револьвер на поясу,
по две гири на весу.

Нас ругают,
Нас и хают,
А мы хаяны живем.
А мы хаяны-отчаянны,
никогда не пропадем.

Все это, с одной стороны, оживляло, а с другой, пугало. Стихия! Каждый раз в Печорах мы встречались со стихией, не похожей на наши литературные представления о народе и о Руси. Но в лирическом плане посещение было важно, у нас, как гимн, осталось гумилевское стихотворение:

Ветла чернела. На вершине
Грачи топорщились слегка,
В долине неба синей-синей
Паслись, как овцы, облака.
И ты с покорностью во взоре
Сказала: "Влюблена я в Вас".
Кругом трава была, как море,
Послеполуденный был час.
Я целовал посланья лета -
Тень трав на розовых щеках,
Благоуханный праздник света
На бронзовых твоих кудрях.
И ты казалась мне желанной,
Как небывалая страна,
Какой-то край обетованный
Восторгов, песен и вина. <1920>

Эта сцена происходила за печорским кладбищем, где мы гуляли, и объяснение в любви отодвинуло меня от забот, померкли даже вопросы, что случится со мной, будут ли деньги, поеду ли я за границу. Хотя я сделал уже все представления, но денег пока еще не было никаких. Здесь и сказалась инициатива Риты, видно было, что она человек более опытный, чем мы, благодаря ее советскому опыту жизни и тому, что она все-таки была на год старше. (У нее даже был жених в Советском Союзе.) Она поняла мою ситуацию и поговорила обо мне с двумя женщинами: Зинаидой Николаевной Дормидонтовой и Маргаритой Карловной Кайгородовой. Рита как бы подтолкнула их подумать, не образовать ли фонд, чтобы я мог поехать за

границу и поступить в Чехословакии в университет, как Теннукест. Все это мне было неизвестно, и только в сентябре я вдруг узнал, что дело идет на лад и что у меня будут деньги. Маргарита Карловна проявила чудеса изобретательности. В какой степени ей помогала Зинаида Николаевна, не знаю. Вероятно, она не особенно хотела это афишировать, поскольку была педагог и оказывать внимание одному окончившему означало создавать прецедент. Но Кайгородовы очень хорошо ко мне относились. По крайней мере, уже года 4 я у них систематически бывал. У них проходили вечера "Красной лампы": в гостиной была красная лампа и устраивались литературные чтения. Маргариту Карловну я знал, потому что она приходила к Маресевым и Мизернюкам. У нас установились единственные в своем роде взаимоотношения: мы верили друг в друга, ценили дарования друг друга, интересовались духовным ростом всех членов кружка. Туда ходили многие, но не все врастали в этот кружок. Я, например, многим ему обязан - целый ряд литературных суждений легче было сначала высказать в гостиной, чем сразу в большом кружке в гимназии или в самом большом, на Татарской улице, у Марии Ильиничны Падве. К тому же у Кайгородовых была чудная атмосфера. Анатолий Дмитриевич был очаровательный человек, природный дипломат и когда-то даже готовился к карьере дипломата. Кроме того, он умел гадать, возможно, это было влияние его восточных увлечений. Он был не только художник, но и отличный музыкант. У них часто бывали трио или квартеты, которые входили иногда в программу чтений у красной лампы. Иногда разбирались новинки, иногда классика, шли дискуссии, и постепенно молодые вовлекались во все более сложные проблемы. Все это делалось спонтанно, дружески, никто никого не хотел поучать, никто не руководил и не наставлял. Просто были дружеские рассуждения на темы, связанные с литературой и культурой, которые интересовали всех. Постепенно выяснилось, что Ирина Кайгородова пишет стихи. Нина не входила в кружок, но как младший член семьи иногда позволяла себе остроумные замечания. Нас всегда угощали чаем с сухарями. Иногда давали ужин, но всегда скромный - денег у них было мало. У них была хорошая квартира, которую им бесплатно сдавала сестра Маргариты Карловны в одном из своих домов почти напротив гимназии, в боковой улице. Анатолий Дмитриевич стремился подработать как художник, что было, конечно, трудно. Он давал уроки рисования в разных школах, в том числе и в немецкой гимназии. Но это давало мало денег. И они все время нуждались. Поездка на Валаам, стихи Ирины о Валаамском монастыре,- все нас связывало. Они с интересом относились к моим докладам и выступлениям на сцене, были внимательными и добрыми друзьями. И теперь они воплотили идею Риты, то, что многим казалось верным - собрать для меня деньги. Они сумели обеспечить мне полтора года учебы, заплатить за нашу первую поездку в Прагу и обратно и за обратную поездку в начале второго года. К счастью, позднее я в Праге получил

стипендию. Таков был результат появления в моей жизни Риты Улк. Потом это у нас с Ритой называлось "Повесть лета 1927 года". Она даже вела дневник, который позднее мне показала. Ей хотелось высказаться, а объясняться на эту тему было не с кем. Отец ее любил, но не вмешивался в дела дочери, а брат поехал на практику. Это было нам на руку, потому что иногда можно было встречаться у них дома, сидеть на веранде, в летние месяцы полной цветов и чудных запахов, а к осени - яблок. Все это было красивым оформлением к чувствам, которые испытывали мы оба. Все другие мои увлечения поблекли.

Между выпускными экзаменами и прощальными банкетами, после поездки двух абитуриентских классов мы встречали гостей - группу учеников и преподавателей Гельсингфорской русской и отчасти Выборгской русской гимназий, которые за 2 года до того столь сердечно принимали нас. Эту группу возглавлял популярный среди нас Николай Александрович Вокресенский. В тот момент, к моему большому сожалению, закрылись "Последние известия", и я начал сотрудничать с "Нашей газетой", новым органом, который издавался при сотрудничестве профессора Михаила Михайловича Курчинского и Леонида Максимовича Пумпянского, а редактировался новой для Ревеля фигурой - выписанным из Берлина бывшим редактором газеты "Копейка" (было такое очень популярное издание до революции в Петербурге), Худяковым. Там сотрудничал и Осипов, который жил у нас во дворе. Я попал туда, потому что писал о гимназии и о культурной жизни. Туда же перешли многие из "Последних известий".

Гости приехали на блестящей, нарядной "Ариадне", Владимир Сергеевич Соколов, другие преподаватели, которые были с нами в Финляндии, многие участники этой экспедиции встречали их в гавани, и я успел поговорить с Вознесенским, так что уже к вечеру в "Нашей газете" появилась моя заметка о приезде гостей из Гельсингфорса, причем она начиналась словом "Вчера", хотя это было в тот самый день вечером, - номер датировался завтрашним днем. Вечером был прием в гимназии, ужин и банкет в их честь. Я показал Вознесенскому свежий номер газеты, и он очень удивился "оборотистости" начинающего журналиста и обратил внимание как раз на слово "вчера", а потом сообразил, сказав "Ах, как все быстро, замечательно, как это вы успели все сделать в этой сумятице дня?" Он записал в моем альбоме грустное замечание: "Нельзя светить, не сгорая (Глеб Успенский)." Боюсь, что Николай Апександрович Вознесенский в этом случае был оправданно пессимистичен. Затем произошло событие, которое нас всех поразило и стало психологическим барьером между нашей старой жизнью, связанной с гимназией, и новой, где-то мерцающей, пока еще не реализованной. По возвращении из Печор Соколов уехал на 4 или 5 недель в Советский Союз. Вернулся оттуда в августе. И вдруг совершил попытку самоубийства. Нашел его Костя Теннукест. Пришел,

ему никто не открыл. Он нажал на дверь - незаперто. Владимира Сергеевича он нашел в кабинете, лежащим в луже крови, рядом был небольшой револьвер.

Его повезли в больницу, и выяснилось, что во-первых, у него была семейная трагедия. Его жена, эстонка, была настолько красивой и эротичной, что я, например, просто стеснялся на нее смотреть. Держалась она вызывающе. Она ушла от мужа к какому-то высокопоставленному чиновнику министерства просвещения. Личная драма Соколова усугубилась тем, что он, поехав в Советский Союз, был поражен (это был 1927 г.) бедами, которыми была полна русская жизнь. Кого бы он ни встретил из старых друзей и новых знакомых, ни в ком он не нашел ни веры в будущее, ни в какую бы то ни было социальную справедливость. К тому же он был опечален уходом нашего выпуска. Это был последний близкий ему выпуск. Как он потом мне говорил, последние, кто умел писать по-русски, был наш класс, потом пошли полуэстонские люди, которые писали по-русски примитивно. Поэтому у него и здесь не было никакого интереса.

После неудавшегося самоубийства он ушел в длительный отпуск, после его назначили директором гимназии в Юрьеве, где он когда-то был преподавателем. Потом он женился на русской, сначала на одной, потом на другой... Но его частная жизнь была уже вне поля моего зрения. Мы все очень переживали это происшествие и установили посменное дежурство у его кровати, что, кажется, его подбодряло, когда он приходил в себя. Он долгое время был без сознания, бредил. И хотя опасность для жизни уже миновала, он долго не возвращался в полное сознание из-за сотрясения мозга от выстрела. Здесь я убедился в том, насколько бренна и трудна человеческая жизнь. Владимир Сергеевич, такой, казалось, жизнерадостный, энергичный, оказывается, был одинок внутренне и чрезвычайно несчастен. А мы, те, кто его окружал, ничего не замечали. Рита и другие девушки правильно отнеслись к этому. Их, конечно, не пускали дежурить, но они старались встретить нас после дежурства, послать ему цветы.

Это было второе сильное переживание лета 1927 года, которое еще более подчеркнуло значение лирического начала в человеческой жизни. К концу лета, уже в сентябре, выяснилось, что в Прагу безусловно едут Костя Теннукест и Володя Римский-Корсаков. Они даже уехали раньше нас. Мы с Костей Гавриловым уехали позднее, к началу университетского триместра, в октябре. У меня была задержка с визой. Я формально просился в институт. Чешским консулом был Владимир Черношек, обходительный человек, женатый на русской. У него были две красивые дочки, которые учились у нас в гимназии, младше нас. Он очень сочувствовал мне и хотел, чтобы я поехал в Чехию. Я хорошо знал членов консульства, они все были русские легионеры в прошлом, и их дети тоже учились у нас. Но был целый ряд предписаний - не хотели впускать русских. Мне пришлось подписаться, что, приехав в Прагу, я буду жить на собственные средства, которые

обеспечиваются моими друзьями. Те это подтвердили, и мой отец должен был дать подписку, что на этот год во всяком случае я не буду просить там стипендии. Я подписался получил визу, и мы с Костей стали активно готовиться в путь-дорогу если не за три моря, то за одно Балтийское, в Европу, на Запад!

Решение уехать за границу сразу стало отдалять от нас эстонскую реальность. Началась гимназия, и та же Рита удалилась в 8-й класс. Мы с Костей Гавриловым присутствовали на молебне, как это делали многие выпускники, но потом было чувство полного отчуждения. Они все ушли в классы, с нами очень мило поговорили некоторые преподаватели, а потом мы были уже лишние и могли говорить только с швейцаром, Федором Лукьяновичем Сухановым, которого мы всегда звали "дядя Федя". Он был очень популярен в гимназии, и я писал о нем в газете "Вести дня" в связи с 30-летним его пребыванием в гимназии. При нем сменилось 15 директоров и большое количество учителей. Он пережил много режимов, оставался и звонил в конце каждого урока, и у нас была даже такая поговорка: "Вся моя надежда: Федор да звонок", потому что обычно учителя начинали спрашивать в конце урока и звонок всегда был приятной неожиданностью. Мы поговорили с Федором. Он любил подпустить цинические замечания в адрес всех учителей и не-учителей. И в то же время он был человек старой закваски и большой чуткости.

Видеться с Ритой было уже трудно: у нее были уроки, а я еще продолжал маячить на горизонте. Свидания становились короче, случайнее. Это не снижало их интенсивности, наоборот, чувство, что я скоро уеду, все больше и больше волновало, меня, во всяком случае. Я вдруг начал осознавать, что через некоторое время все это исчезнет. Я буду где-то, и что там будет, за морем, в новой стране Чехословакии, никто сказать не мог. Может быть, будет полное фиаско всех моих планов и я вернусь к разбитому корыту. Это все нервировало. Для меня лично было совершенно очевидно, что никаких торжественных обещаний, клятв на будущее давать пока нельзя. Связывать кого-либо, даже и самую любимую девушку, в тот момент мне казалось опрометчивым и просто несерьезным. Я был предан этому чувству и верил в чувства с ее стороны. Если они выдержат испытание разлукой, то мы посмотрим, что и как будет в новой обстановке. Так я подсознательно решил. В заслугу себе и моей партнерше я должен сказать, что грехопадения не было. Анатолий Дмитриевич Кайгородов в свое время правильно определил, гадая мне по руке, что во мне разумное начало преобладает над чувственным. Мне тогда еще показалось, что это скучное определение - в молодости скорее хочется слыть, по примеру "безумству храбрых поем мы славу", неограниченным в эмоциях человеком, но определение было верным. Летом 1927 г. это качество, по-моему, сыграло нужную роль.

ПЕРЕЕЗД ИЗ РЕВЕЛЯ В ГЕРМАНИЮ. МОРЕ. БЕРЛИН.

В конце концов выяснилось, что мы уезжаем 15 октября на торгово-пассажирском судне "Веламо", что значительно дешевле, чем на других судах. Мы плывем на Штеттин, а из Штеттина по железной дороге через Берлин едем в Прагу, где на вокзале в определенный час нас встретят Володя Римский-Корсаков и Костя Теннукест. Причем Костя даже нашел хорошую комнату, "квартиру", как он называл, для нас обоих, но не в Праге, где, во-первых, было гораздо дороже, а во-вторых, иностранным студентам не очень разрешалось сразу селиться в Праге, в особенности мне, как нансенисту. Мы будем жить в деревне, в 40 километрах от Праги. К тому же Костя узнал, как записаться на философский факультет и что университетским властям решительно все равно, если я при этом буду студентом Русского института сельскохозяйственной кооперации. Любопытно, что в то время, даже мысленно прощаясь с любимым городом Таллином - тогда мы все его звали Ревель - я все не понимал, как можно отсюда уехать.

Но жизнь шла, все наши товарищи пошли в политехникум, у них учебный год начинался в сентябре. Они уже приобрели белые фуражки политехникума, и этим Юра Дементьев и Виктор Линдеман сразу отделились от нас. Они уже ходили на лекции, преподавание там шло на эстонском языке, по-русски были лишь отдельные курсы. Они все стали записываться в корпорации. Некоторые попали в корпорацию "Слава", где состояли также Владимир Сергеевич Соколов и Ларионов. И началась эта странная эстонская манера - пьянствовать. Это меня всегда удивляло, но что поделать, традиции не мы устанавливали, не нам их кончать. Одним словом, у них был свой путь. А некоторые наши девушки вообще исчезли с горизонта.

Я пошел в Русский театр покупать билеты для родителей и встретил своего прежнего классного наставника, географа и математика Виталия Петровича Болбукова из частной гимназии. Он мило со мной разговаривал, называл меня на Вы, спросил, что же я буду делать и не пойду ли в актеры. Он имел самое высокое мнение о моем театральном даровании. Это меня удивило. Я относился к своим актерским попыткам с сомнением, к тому же считал, что будущего у русского актера за границей не может быть, поскольку почти нет русской аудитории. Потом встретил знакомого из журналистского мира, и он сказал: "Это Вы Николин? Значит, теперь войдете в редакцию нашей газеты?" Эти варианты будущего мне казались временными и ненужными. Пока я только окончил среднюю школу. Говорят, это самое счастливое состояние: вы все знаете все и во всем уверены, и кажется, что весь мир лежит перед вами. Правда, мне хватало критического сознания, чтобы понять, как много еще надо узнать.

Подошло время прощаться. Мне дали деньги и обещали прислать еще. Предполагалось, что я не вернусь в Таллин до будущей весны. На этот год у меня деньги будут, не очень много, даже очень мало - минимум в буквальном смысле слова. В Чехословакии я убедился в этом. Но это давало базу. Мои родители очень грустили, потому что я остался последним из детей. Теперь их сын настолько вырос, что уезжает на долгий срок. Что с ним будет, как все произойдет? Они полностью поддерживали меня и считали, что надо покинуть эстонскую провинцию. Прага казалась подходящей, по крайней мере теоретически, там было много русских учреждений, где уровень должен быть высоким, поскольку, к счастью для меня, советские власти выслали многих университетских профессоров. Мама обеспечила меня бельем и всем необходимым. У меня был приличный костюм. Гимназическая фуражка уже отжила свое, и я купил другую, из темно-коричневой кожи, какие носят моряки. Мне она очень нравилась, и она мне шла. Мне вообще всегда шли фуражки, придавая известную, как мне потом сказала одна милая женщина в виде комплимента, “скандинавскость”. Все скандинавы мне казались блондинами. Я блондином не был, но если я ей напоминал скандинава, то Бог с ней.

Все было готово: 2 чемодана, еда. Это была замечательно интересная черта русских - готовить столько еды, как будто вы уезжаете в пустыню Гоби, где ничего не будет и потому надо иметь все уже готовое. Я не сопротивлялся, только просил разные любимые блюда, которые можно было хранить. Мы рассчитали, что путешествие продлится 3 дня. Напутственный молебен в Никольской церкви отслужили и плавающих и путешествующих благословили. Костя, естественно, присутствовал тоже. В конце концов наступил день отъезда. По правилам мы должны были уехать в 2 часа 30 минут. Мы прибыли заранее, но оказалось, что пароход все еще грузился. Везли цирк, который был перед этим недели 2-3 в Таллине и теперь ехал в Германию. Долго грузили клетки с животными. Затягивали их брезентом. Это было сложное предприятие. Пассажиров пустили на палубу только в 6 часов вечера. А до этого времени мы толкались около пакгаузов. К нам многие приходили прощаться. Я был тронут. Я был, оказывается, популярной фигурой, и множество молодых людей пришло проститься, пожать руку, поцеловаться и пошутить. Пришло много девушек, много моих товарищей и даже кое-кто из педагогов. Зинаида Николаевна Дормидонтова тоже пришла. Я настаивал, чтобы родители шли домой, но они ни за что не хотели. Они хотели дождаться отправления парохода. Я боялся, что они простудятся, уже был октябрь. Перед отходом я встретился еще с целым рядом лиц, которые ехали в Прагу. За день до отъезда, когда я пришел прощаться с Сергеем Михайловичем Шиллингом, он познакомил меня с Юрием Владимировичем Назимовым, о котором говорил раньше и был очень высокого мнения. Назимов, химик по образованию, имел стипендию и уже учился в Праге. Он был из псковской семьи, женат был

на дочери печорского врача Гроздова. Гроздовых я уже слегка знал. Назимов, оказывается, ехал тем же пароходом. Ужин нам дали еще в гавани: когда в 8 часов вечера пароход все еще продолжал грузиться, раздался гонг, и объявили, что надо идти ужинать, по-видимому, повара больше не хотели поддерживать кушанья горячими. Это был первый мой ужин на большом пароходе. Пассажиров было мало, хотя все каюты были полны. Офицеры, правда, не все присутствовали, но они посменно приходили питаться, потом прошел капитан и со всеми говорил. Это был финско-шведский пароход, более финский, чем шведский, хотя были люди, говорившие по-шведски, и надписи были на 2-х языках. Столы уставлены были по шведскому манеру яствами, вы шли и брали все, что хотели. Мы брали много, потому что, несмотря на волнения и душевные расстройства, к вечеру уже были голодны. Костя, я и Назимов оказались вместе и немножко поговорили. Юрий Владимирович тогда меня поразил двумя чертами (потом я его хорошо знал). С одной стороны, серьезной вдумчивостью. Его замечания были осторожны и умны. И затем великолепным юмором.

Мы опять вышли на палубу, уже было темно, и провожавшие нас ушли. Я настоял, чтобы они ушли, и правильно сделал, поскольку мы вышли только в 10 часов из совершенно спокойной ревельской бухты. Появилась луна, и на море легла эффектная лунная дорога. Таллин медленно стал уходить, и постепенно исчезли все его огни. Мы прошли мимо островов с батареями и вошли в Финский залив, в открытое Балтийское море. Я лег спать около 12, а когда проснулся, то сначала даже не понял, в чем дело, потому что все ходило ходуном, как будто мы переворачиваемся. Чемоданы лежали в особых сетках, которые меня вечером удивили. Теперь выяснилось, что благодаря этим сеткам, чемоданы не могли упасть нам на голову. На Балтийском море была буря. Это было мое морское крещение.

Спал я полуодетым, оделся и быстро вышел на палубу. Было часов 8 утра. Палубы были совершенно пусты. Перекатывались волны, так что нужно было быть очень осторожным и держаться за канаты, которые всюду были протянуты, иначе вас могло бросить, вряд ли за борт, но так, что можно было ушибиться. Отмечу мимоходом, что весь пароход, почти все пассажиры болели, но я не болел, покуда не увидел болящих. Я не пошел вниз, потому что офицер, увидев меня, послал меня завтракать. Все время была вкусная горячая еда. Я поел, и он сказал, что на море полезно есть много. Во всей громадной кают-компании, которая вечером была переполнена, сидели только двое моряков, капитан и два пассажира, кроме меня. Капитан что-то приветливо сказал, помахал рукой, приветствуя, что ли, будущего моряка. Бедный Костя, несмотря на то, что он из военно-морской семьи Пилкиных (брат его матери, урожденной Пилкиной, был известный адмирал, у Юденича командовал флотилией), сделал ошибку: не пошел сразу наверх, и его внизу страшно укачало. Юрий Владимирович вообще не показывался весь

переход, появился, лишь когда мы вошли в Штеттинскую бухту. Из-за бури мы опаздывали на 20 часов. Надо было бы описать пережитую бурю очень поэтично - нечто грандиозное и страшное, громаднейшие валы вод, причем вода в Балтийском море зеленоватого оттенка, как бутылки. Все это грохочет, бесконечно идет белая пена, бьет, потом бух - весь нос чуть ли не до капитанского мостика идет под воду, потом выныривает, и все повторяется. Не представляю, как чувствовали себя бедные животные из цирка. Наверное, их всех укачало. Трагедия морских путешествий подобного типа заключается в том, что вы скоро перестаете наблюдать за другими, и вас интересует собственная судьба. Когда я к концу первого дня неосторожно сошел вниз посмотреть, что там делается, и увидел болящих, я тоже заболел. Но все кончается на свете. Кончилось и наше морское путешествие, мы подошли к германским берегам, буря утихла, и мы прошли через Свинемюнде и другие бухты и каналы в Штеттинский залив. Очень интересно было смотреть. Как только мы приблизились к Германии, увеличилось количество всевозможных построек технического назначения. Всюду, куда ни посмотри, высились фабричные трубы, стояли верфи для постройки кораблей. Когда мы вошли в Штеттинский порт, пассажиры пришли в себя и вылезли на палубу. Я, например, даже был в состоянии пойти в кают-компанию и выпить горячего. Но не все догадались это сделать.

Штеттин поразил нас не только количеством судов, этого мы ожидали, не только множеством явно торговых или технических зданий, которые были заняты под портовые нужды, это тоже было понятно, но и длиннейшими немецкими словами, которые были написаны на различных указателях дорог, на стенах заборов и пристаней. Эти грандиозные технические слова меня несколько напугали, потому что ничего общего не имели с традицией герра Пильмана и нашими упражнениями над трагедиями Шиллера. Это был совершенно новый для меня технический немецкий язык, который, казалось, был непреодолимо труден. Потом, конечно, мы быстро акклиматизировались, но первое впечатление было ошеломляющим. Мы, Костя и я, с испугом друг на друга смотрели. Я его спросил: “Ты понимаешь хоть слово?” Он говорит: “Должен признаться, что нет”. Мы выразили наши сомнения Юрию Владимировичу, который хорошо знал немецкий, он счел это нормальным, но немножко повеселился и сказал, что между средней школой и реальностью большой разрыв. Вы приезжаете в современную Германию и не можете понять, что написано на вокзале, такой язык вы никогда не встречали на уроках немецкого языка и литературы. Это было во всех языках, так что когда я сам стал преподавать русский, то непременно вводил хотя бы раз в месяц один практический урок: таможня, поезд или покупка в магазине молока. Иначе получался разрыв мечты и действительности.

Мы вышли в Штеттине благополучно. Таможня была поверхностна и любезна. Они просто проверили наши визы. Визы были транзитные. У нас

с Гавриловым были нансеновские паспорта, и мы имели право оставаться в Германии, только покуда действует виза, а она ставилась из расчета на трое суток. Но мы вообще не собирались там оставаться, только узнали, когда идет поезд на Берлин. На пароходе выяснилось, что с нами едет группа валаамских монахов. Оказывается, с той поры, как мы ездили на Валаам, пошли слухи, что вводится новый стиль, и часть монахов - старостильники - решили покинуть Валаам, считая грехом отказаться от старого стиля в церковных вопросах. Они уезжали в Югославию, где были старостильные и даже русские монастыри. Что монахи делали на пароходе, не знаю. Я их не видел даже на первом ужине. Они, очевидно, считали эту еду греховной. Но теперь, когда мы сходили с парохода, они объявились целой группой, и тут же нам пришлось им помогать с немецким, ибо что их ни спрашивали, они не понимали. Костя сейчас же, как ястреб, бросился на таможенников и все им объяснил. После этого монахи нас зауважали. Мы все погрузились в поезд на Берлин. Ехали мы днем. Видели все время чахлую природу и очень много построек, все индустриализовано: всюду телефоны, провода, электрические фонари. Это совпадало с нашим представлением о Германии как передовой индустриальной стране. Мы примчались на Штеттинер Банхоф и вылезли. Вокруг монахов собралась куча народа. Русские монахи в Германии тогда были редкостью. Вид у них был действительно экзотический: скуфейки, рясы, высокие сапоги, огромные бороды, сундучки, которые они тащили на плечах. Берлинцы в те времена были насмешливая публика. Им кричали что-то задорное и страшно веселились на их счет.

Юрий Владимирович уже предупредил, что на вокзале мы не увидимся, он сразу помчится на подземку, чтобы посетить друзей, и потом поедет другим поездом из Берлина в Прагу. А мы с Костей немножко растерялись. Надо было переехать на другой вокзал, на Дрезденер Банхоф. И как поступить? Монахи, которых было человек 9, имели самый заброшенный вид, испуганы страшно, ничего не понимали, что происходит, по-немецки ни бум-бум. Но и мы тоже мало что соображали. Пока мы там стояли, молодые люди, прыгавшие вокруг, как обезьяны, вдруг сообразили, что это "руссен". Они исчезли, и вдруг появился полицейский, а ко мне подбежал молодой человек и сказал, что он говорит по-русски. Действительно, подошел очень милый, высокий, розовощекий, улыбающийся полицейский. Был еще период демократической, догитлеровской полиции, и полицейские всегда улыбались.

Он подошел к монахам и что-то сказал им по-русски. Те страшно обрадовались и бросились к нему чуть ли не с поцелуями. Мы с Костей потом долго голову ломали, что же он такое сказал. Мы подружились с этим полицейским и, приезжая на Штеттинер Банхоф, нарочно старались его увидеть. Он был на русском фронте и был короткое время военнопленным у русских. Русские ему понравились, и он выучил несколько русских слов

и фраз. От этого у него получались с точки зрения берлинцев необычайные филологические богатства. Он нам объяснил все, что нам надо сделать, и вообще взял нас под свое покровительство. Во-первых, повел в буфет 3-го класса, ибо посмотрев на монахов, он явно решил, что в 1-й класс их вести нельзя, они там всех распугают. Это было как раз то, что нам надо было, мы выпили чаю и успокоились. Посмотрев на расписание поездов и определив, что мы поедем вечерним поездом на Прагу, Ханс сказал, что у нас есть время и он даст нам сигнал, когда ехать, и поможет погрузиться в транспорт, который нас перебросит на Дрезденский вокзал. Все так и получилось, он даже определил стоимость проезда и настоятельно советовал взять 2 такси для нас всех: для монахов и для нас с Костей с нашим багажом, объяснив, что в автобусе так много народу и так много багажа, что дешевле не будет, зато ехать очень трудно. Мы, конечно, последовали его совету. Тут нам удалось выяснить, что же он такое сказал монахам. Он сам повторил это в буфете 3-го класса. Я невольно вспомнил повесть Короленко “Без языка”, описывающую, как украинский землероб приезжает в Новый Свет за счастьем и буквально погибает оттого, что ни единая человеческая душа не понимает его и он не может ни с кем объясниться. Когда я читал эту повесть, то никак не мог предположить, что буду свидетелем и участником в деле того же рода. А сказал он монахам так: “Ну что, братцы”? и пустил по матушке. Он искренне был уверен, что это дружеское русское приветствие, которое употребляется в разных случаях жизни, и там даже упоминается мама - “Муттер”! Мы с Костей были настолько ошеломлены его пониманием этой формулы, что даже не рискнули ее опровергнуть. Видимо, когда-то кто-то над ним посмеялся, или же его знания русского языка настолько были условны, что он все превратно понял, но во всяком случае, когда он это сказал и потом тарарахнул по матушке, монахи почувствовали себя на родной почве, бросились к нему, лобызали его, крестили и признали его, так сказать, в доску своим. Я не прибавляю ни одной мелочи к этому анекдотическому происшествию.

Случилась еще одна забавная вещь: дорогой Костя был очень ученый человек и естествоиспытатель со всех точек зрения. Перед отъездом он начитался всевозможных брошюр, из которых вынес, что в цивилизованных странах велик процент венерических заболеваний и что их, между прочим, можно иногда получить путем употребления одной и той же посуды для питья. Он объявил мне, что нельзя пить из кружек, и когда я умирал от жажды и, увидев кружку на цепочке, хотел выпить, то Костя подбежал, вырвал кружку, вылил все содержимое, угрожал мне физической расправой и требовал, чтобы я шел в буфет и заказал чаю или пива, которые утолили бы мою жажду. Я ценил его познания, но считал их необычайно преувеличенными. Позднее он признал, что погорячился и та литература, которую он читал, недостаточно объясняла целый ряд явлений!

Выпив чаю, мы пришли в себя. В нашем распоряжении было около двух часов. Монахи задремали вокруг своих чемоданчиков и сундучков, а мы с Костей как прыткие и неутомимые путешественники отправились посмотреть Берлин. Далеко мы не уходили и решили обойтись без автобусов, хотя Ханс объяснил весь маршрут и сколько это стоит. Но мы на этот раз только ходили. Там были большие улицы, огромное движение, необыкновенные двухэтажные автобусы, причем по берлинской манере некоторые были наверху без стекол, только с крышами над пассажирами, а иногда даже и без крыш. Все катилось бесконечным потоком. На всех углах были постовые, регулирующие движение, в некоторых местах даже сигнальные огни. Но их в то время было еще мало. Идучи по Берлину, я вдруг увидел страшное зрелище, видимо, жертв катастрофы. Два трупа лежали неподвижно посереди тротуара. Все осторожно их обходили, но никто не трогал. Я подумал: "Боже мой! Вот результат этой механизации движения, но как бесчувственны люди!" Когда мы приблизились к ним, эти двое вдруг встали. Оказалось, что мы, как истинные провинциалы, "наши за границей", впали в невольный мираж. Они действительно лежали неподвижно и казались двумя трупами без голов, потому что это были два монтера, которые что-то налаживали в электротехнической трубе, наполненной проводами. Они свешивали туда головы и руки, так что издалека было впечатление неподвижных трупов. Мы приехали на Дрезденский вокзал часов в 6 и дождались поезда, в который погрузились около восьми. Мы должны были приехать в Прагу в 6 часов утра. Оказалось, что в поезде довольно много народу. Нам не удалось сесть всем вместе. В наше отделение, кроме нас, сел еще один монах, а другие монахи сели в два разных отделения вблизи нас. Было много немцев, которые тогда в международных поездах держались замкнуто. Позднее, когда я ездил в Германию, они, наоборот, были очень разговорчивы. Замкнутыми были скорее англичане.

У меня начала сказываться страшная усталость, результат подъема последних недель в Эстонии плюс утомление от поездки, и мне все снились волны, перекатывающиеся через наш поезд, я видел бедных животных под попонами-брезентами и недоумевал, как они переживают эти ледяные волны, которыми их окатывает море каждые пять минут. Вперемежку мелькали лица всех моих близких и тех, с кем я хотел быть в тот момент.

Сначала я долго не мог уснуть и подводил итог берлинским впечатлениям: когда мы оставили монахов и пошли в центр города, у меня была определенная цель - по скверной русской традиции редактор "Нашей Газеты" Худяков просил меня передать пакет кому-то в Берлине. Мы с Костей нашли дом. Я вошел, поднялся. Это было в районе каналов, на ответвлении Шпрее. Я страшно устал. Вышла миловидная дама и пригласила меня зайти. Я был в знаменитой кожаной шапке и демисезонном пальто, и поверх ботинок в калошах, потому что в Прибалтике в то время уже шли

дожди. Нужны были или высокие сапоги, или калоши. Но поскольку я ехал в европеизированную часть мира или в саму Европу, я обязательно должен был носить калоши. Я настолько устал, что заколебался, снимать мне эти калоши или не снимать, и так долго колебался, что так и вошел в калошах в гостиную. Дама, по-видимому, была слегка ошеломлена, но по-светски ничего не сказала. Вид мой ее явно озадачил, но она мне задала несколько вопросов, а я о Худякове не так уж много не знал. Худяков был новая фигура. Я гораздо больше знал об Александре Соломоновиче Изгоеве, который был в последнее время автором передовиц и фактически политическим редактором "Последних известий". После этого он перешел в "Нашу газету" и писал передовые там. Я даже с гордостью могу сказать, что в какой-то мере он руководил мной почти 2 года. С Изгоевым у меня было интересное общение, он был живой человек, хотя уже не молодой и сбитый с толку русской революцией, но, тем не менее, полный энергии и ума. Мне дали писать очередные заметки о литературном кружке, и я написал по поводу одного доклада. Моя заметка, к несчастью, попала в руки Осипова, который, как я уже говорил, обладал замечательной способностью дилетанта писать или исправлять то, о чем не имел ни малейшего понятия. Он изменил текст так, что получилось, что молодой человек, кажется, Костя Теннукест прочел удивительный доклад в связи с Блоком и впервые в критической литературе что-то будто бы осветил. Это была полная ерунда. Но заметку напечатали, и на нее обратил внимание Пильский, сотрудничавший с Изгоевым и Худяковым. Я в тот момент принес другой материал. Они вызвали меня и спросили: "Вы писали эту заметку"? Я сказал: "Первоначальный текст - да. Но напечатано это не в моей редакции". - "А в чьей же?" - "В редакции Осипова". Они друг на друга посмотрели, и при мне ничего не сказали, но было видно, что они так и думали. Осипов был безобразный дилетант. Я часто встречался с таким типом в эмиграции. Бывшие полковники, храбрые, но ничего не понимающие в нюансах печатного слова, ничего не умеющие написать, часто хорошо подвизались.

Но о Худякове я знал мало. Я знал, что с ним в общем носятся, что он старается делать все как можно проще, потому что газета пошла в деревню. Рижская газета "Сегодня" шла в деревню плохо, потому что была большой, а крестьянское население не очень интересовалось подробностями латышской, литовской и международной жизни. Они искали что-нибудь о своей жизни. "Последние известия" погибли, потому что были слишком культурно-городской газетой, к тому же в известной степени белогвардейской, жившей идеологией времен армии Юденича. На этой почве погиб и ряд других газет, которые существовали короткое время и иногда даже имели успех, так как они базировались на идеологии Белой армии и писали о городской жизни. "Сегодня" была высококвалифицированная газета, утренний выпуск ее был на 8 страницах, вечерний - на 6, и давались еще

2 страницы местной хроники, "Вести дня". Эти издания побивали всякую информацию. И другие органы должны были исчезнуть.

Но "Наша газета" пыталась построить свою стратегию на ином. Она хотела опираться, во-первых, на русскую общественность Эстонии, на парламентскую фракцию. Все русские парламентарии участвовали в этой газете. Это повышало интерес к ней. Затем она давала подробные сведения о заседаниях парламента, всегда выделяя то, что особенно могло интересовать русскую деревню. Давалось много сведений по провинции, у нее всюду были свои сельские корреспонденты. И отдельные села-деревни вдруг получали, пусть маленькую, но все-таки заметочку о какой-то стороне их жизни. Это тоже было интересно. Газета на этом хотела удержаться. Были и общекультурные статьи. Я давал, кроме хроники, театральные рецензии, отдельные статьи на литературные темы. Редакция отнюдь не избегала политики, Изгоев писал очень интересные обзоры об эмиграции и о Советском Союзе. Из номера в номер давалась интереснейшая хроника, отчасти из советских газет, отчасти из антисоветских источников. Получалась интересная комбинация. "Газетное пюре",- как шутил один сотрудник. Пюре готовил Худяков, уже немолодой человек, разочарованный революцией. Когда-то, как редактор газеты "Копейка", он был хорош. Иногда бывал очень беспринципным. Мне Сергей Михайлович Шиллинг рассказывал, как он попал однажды в газету из-за собственного доклада в начале войны, когда, выступая как представитель юристов, он сказал, что война всегда тяжела для народа, и надо надеяться, что мир будет достигнут как можно скорее". "Копейка" вырвала это из контекста и дала под заголовком: "Господин Шиллинг требует мира! " Таким был Худяков до войны. После войны он переменился. Кто была та дама, к которой я должен был сходить, не знаю. Что он ей посылал? Вероятно, что-нибудь приятное, потому что в Эстонии было много вкусных продуктов. Дама была очень любезна и хотела угостить меня чаем. Но я вежливо отказался, объяснив, что мы только что приехали, и, стараясь смягчить впечатление от калош, что мы должны сейчас же ехать дальше, меня ждет товарищ и надо перевезти монахов с одного вокзала на другой. На этом мы расстались. Я ушел. У нее была громкая литературная фамилия. К сожалению, совершенно ее забыл. В свое время помнил и даже хотел написать полуюмористический фельетон о самом себе -"В мокроступах в Европу".

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА

Перед шестью часами утра кондуктора прошли по вагонам и прокричали, что мы подъезжаем к Праге. Поезд вошел в Вильзоновский вокзал. Было ровно 6 часов утра. Октябрь. Темно еще, но все залито электричеством. Над вокзалом стоял пронзительный запах, ибо утром все вокзалы в Праге обмывали раствором карболки. Этот запах у меня долго ассоциировался с въездом в Чехословакию. Много лет спустя я покидал Чехословакию, и меня преследовал другой запах - искусственного бензина из дерева, тоже очень острый. На платформе мы увидели высокого и представительного, розовощекого, черноокого, черноволосого Володю Римского-Корсакова, который всегда держался статно и горделиво и умел выступать как представитель выпуска, гимназии и даже России. Рядом с ним - фигурку Теннукеста, знаменитого Костю Теннукеста, который имел "пальму первенства" и, по-моему, никогда ее не заслуживал, потому что был скверный актер с сентиментальным надрывом, с растопыренными пальцами рук, которые означали у него наплыв страстей! Чем больше он растопыривал пальцы, тем сильнее переживал. Но здесь он был в другой роли -наш человек в неизвестной стране. Покуда таскали вещи, мы определили, что пойдет на хранение. Перетащили их на другой вокзал, Масариковский, с которого нужно было ехать в деревню Уезд Надлесы, где нас ожидали нанятые нашими друзьями квартиры. Мы с Костей вошли в новую жизнь. Настроение было печальное, я устал. Все, что было в Эстонии, казалось замечательно милым, неповторимым и совершенно недоступным. Приходилось брать себя в руки и начинать борьбу, неизвестно еще за что. Сама Прага от усталости мне сначала не показалась. Мы быстро поняли, что это город другого типа, чем Берлин - много движения, не очень много автобусов, больше трамваев. Улицы были полны трамвайных линий, трамваи все время звонили, много шло автомобилей, грузовиков. Поразили меня надписи. Например, вначале удивила надпись "Позор" - почему позор? На одной из молочных надпись: "Горьки млеко". Горькое молоко? Что за странности? На булочной: "Черствый хлеб". Сухой хлеб? Почему? Странная страна. Я выпил молока, оно по случайности было пригоревшим. Потом я не пил этого теплого молока вообще, хотя выяснилось, что это была ошибка молочника, которую никто не заметил.

Мы разделились. Володя взял шефство над Костей и повел его регистрироваться, а мы с Костей Теннукестом пошли в деканат философского факультета. По-чешски я, конечно, ничего не мог сказать. В чешском консульстве в Таллине я даже не слышал никогда чешской речи, все говорили по-русски. В деканате я немножко трусил - все было серьезно,

солидно, всюду чешские объявления, в которых я ничего не понимал. Я безумно устал и чувствовал, что засыпаю. Секретарь смотрела документы и что-то говорила Косте. Он мне передал, что все будет в порядке, но надо пойти к почетному эстонскому консулу, который должен подтвердить, что я именно Андреев, тогда она подпишет бумагу, по которой я буду принят в университет без экзаменов, ибо я окончил гимназию "cum laude", то есть "с отличием", таких сразу освобождают от платы на первые 3 месяца (вносится лишь маленькая сумма за регистрацию). Мы пошли к консулу, который работал в Легиобанке и оказался любезным человеком, отлично говорившим по-русски. Он был чех, но представлял эстонские интересы. Это была почетная должность. Он обрадовался, что представился случай кому-то помочь, моментально заполнил бумагу, поставил огромный штемпель с эстонским гербом, с удовольствием подписался, и мы пошли обратно в деканат. Бумаги забрали, сказали, что все устроят, но я должен вернуться завтра. Мы ухлопали довольно много времени - Прага небольшой город, но хождение туда и обратно было довольно длительным.

Мы встретились с Володей и Костей Гавриловым в "Русском очаге" графини Софьи Владимировны Паниной, который представлял собой великолепную библиотеку с прекрасным читальным залом, который каждое утро наполнялся свежими газетами со всего мира, включая главные советские газеты. Рядом с читальней был буфет, где можно было закусывать или даже обедать. Во многих комнатах помещались различные учреждения, проходили заседания разных обществ. Рядом была чертежная, где студенты могли пользоваться чертежными столами. Приятная атмосфера, приближавшаяся к домашней. Наконец, можно было вымыть руки с мылом. Во всей Праге, куда бы мы ни приходили, была проточная вода и нигде не было мыла. Здесь было и мыло, и полотенце, и все для общего пользования. Нам дали чай и даже пирожки. Это стоило пустяки. В читальне я успел посмотреть заголовки нескольких русских газет и понял, что я сюда, конечно, буду заходить. Я спросил, как далеко это от моих будущих центров учебы. Оказалось, посередине - близко и от института кооперации, и от философского факультета. Была уже вторая половина дня.

Мы поехали "домой" и приехали на маленькую станцию, откуда нужно было идти больше 2-х километров лесом по хорошо утоптанным дорожкам, это и был Уезд Надлесы. С поезда шло довольно много народу, но никто не пытался помочь нам нести чемоданы, которые мы, кряхтя и охая, тащили вчетвером. У каждого было минимум по 2 увесистых чемодана. Оказалось, что Володя и Костя Гаврилов на полдороге нас бросают, потому что они жили в студенческом доме "Оздравовно" (бывший санаторий). Когда-то там жили выздоравливающие русские студенты, а теперь просто сдавались комнаты. Нам оттуда было идти еще полтора километра, на самый конец деревни, которая раскинулась очень вольготно. Мы свернули с главной

дороги, справа шли поля, а слева кирпичные новостройки. Предпоследняя была наша, в ней Теннукест снял для нас комнату у бывшего чешского легионера в Сибири - чехи называли их "русские легионеры" - Франца Ивановича Мусило и его русской жены Федосьи Ивановны. Мы были искренне рады, дотащившись, наконец, до этого домика.

Там было тепло. Хозяин тоже только что приехал из города с работы. Он был строительный рабочий. Пройдя кухню, где они ужинали, мы вошли в свою комнату, большую, теплую, обставленную по-городскому. У нас были отличные кровати, между - ночные столики, был стол для еды, его можно было использовать и для работы, были еще маленькие столики, за которыми можно было работать, и шкаф. Отопление входило в квартплату, но керосиновое освещение было наше, потому что хозяйка сказала, что она мало освещает свою комнату, рано ложится спать, а мы, мол, люди ученые, может быть, будем сидеть долго. Недостатком домика и всех этих новостроек были уборные во дворе, зимой это было неприятно. Но что поделать? Я уже имел опыт в этом отношении. Договорились, что хозяйка будет кормить нас дважды в день, утром и вечером. И она это делала очень хорошо: утром давала кофе с молоком, масло, хлеба, сколько хотите, и горячее - яичницу, или свинину или горячие сосиски. Это уже было чехословацкое влияние. Во всяком случае, мы получали зарядку и могли совершить длинное путешествие через деревню.

Деревня была населена большим количеством русских эмигрантов. Жили тут представители академического мира, и наш профессор истории, знаменитый Александр Александрович Кизеветтер. Квартира была удачная, но цены выше, чем мы рассчитывали в Ревеле. Отчасти это была ошибка Теннукеста, что он и признал - он равнялся на прошлогодние цены, а они поднялись. В месяц разница была большая. Если у студента не хватает каждый месяц 50 крон, за год получается большой дефицит. Мне не хватало на дневное питание. Я платил за квартиру, конечно, получил студенческий билет, все это стоило денег. Я и так уже всюду ходил пешком. Мы приезжали на вокзал и не садились в трамвай, а тащились еще полтора километра до университета. Получались грандиозные каждодневные марши туда и обратно. Белье, к счастью, стирала хозяйка, и оно все время было в порядке. Позднее, когда я стал жить в Праге, была возня с прачечными, которые рвали белье. Этого не было у Федосьи Ивановны. Вообще она проявляла к нам материнские или, скорее, тетушкины чувства, по возрасту она не могла быть нам матерью. Мы ей были даже приятны, потому что она могла посплетничать с нами о вещах, которые совершенно не интересовали ее мужа. На другое утро мы с Костей сразу отправились в местную полицию. Это была чистая проформа. На основании прописки мы получили студенческий билет на проезд до Праги и обратно. Это значительно снижало расходы на транспорт. Затем отправились опять в деканат. Там все уже было оформлено, и мне вручили студенческий индекс, то есть

книжку для записи лекций, которые вы будете слушать, на 1-й лекции вы получаете подпись профессора, а в конце триместра вторую его подпись, что вы действительно слушали лекции. Лекции стоили денег, но мне не пришлось платить - по договору с Эстонией я как окончивший "с отличием" не платил. Меня просто приняли на 1-й курс. Я ни разу не платил за лекции, потому что каждый раз сдавал минимум, который полагался, а иногда и больше, чем минимум, для освобождения от платы. Был такой порядок: если вы сдавали каждый триместр известное количество зачетов на две высшие отметки - отлично, "выборне", или очень хорошо, "вельми добже" - и слушали определенное количество лекций, вас освобождали от платы за следующий триместр. У меня получилось очень удачно: я заплатил только за регистрацию и стал студентом Карлова университета, "Старославнохо учени Карлова", это действительно была большая честь.

Прежде чем выбирать лекции, я попросил Константина отвести меня в мой юридически главный Русский институт сельскохозяйственной кооперации, директором которого был профессор Маракуев, чтобы оформиться и там. Я не собирался сообщать, что стал студентом университета. Это их не касалось. Но визу-то я получил через них. Институт оказался в центре города, в отеле "Беранек". Дирекция сидела там же. Там все было приятно, все были русские. Профессор Маракуев оказался симпатичным, очень пожилым, как мне тогда казалось, господином. Позднее, 18 лет спустя, когда он был значительно более пожилым, я был в большой дружбе с ним. Маракуев оказался донским казаком по происхождению. Очень образованным. Я даже удивился: по книжкам и по картинкам мне казалось, что казаки всегда скачут с пиками. Маракуев никаких пик не имел и, по-видимому, не так много ездил верхом. Он был специалист по сельскому хозяйству и кооперации, имел много трудов и был уважаемой личностью на юге России. У него был секретарь, очаровательный человек, как иногда бывает у донских казаков, с украинскими чертами - пушистые усы и "ховорил" он украинским говором, что придавало ему особую окраску. Я сказал, кто я такой, Маракуев с удовольствием на меня посмотрел и сказал: "Александр Павлович, посмотрите бумаги этого мальчика". "Мальчик" был недоволен - я казался себе взрослым, завоевывающим новый мир, а тут - "мальчик". С другой стороны, было приятно, что они сейчас же по-дружески ко всему отнеслись. Объяснили, где и когда идут лекции. Они начинались через 2 дня, так что я не опоздал, и были после обеда, очень удачно, потому что в Карловом университете большинство лекций было утром. Я мог спокойно, не нарушая ритма лекций, ходить на те и на другие. Единственным исключением были лекции Кизеветтера, который читал всегда после обеда. Но это было раз в неделю, и один раз в неделю можно было манкировать появлением в институте. Мне быстро выправили документы, и я стал действительным

(двойным!) студентом - "ржадный послухач". У чехов все длилось долго и ставили массу печатей, а здесь кончилось через 10-12 минут. Мне объяснили, кто что читает, дали список лекций. Такой же список я получили в Карловом университете, только там была огромная книжка, а здесь списки, напечатанные на машинке.

Так я вступил в студенческое звание и сразу осознал, что и в том и в другом случае не прерывал связей с русской культурой, а наоборот, стал ее расширять и углублять в самом себе. Кооперативный институт был построен исключительно на русских силах. Это был любопытный коллектив, который работал с увлечением. Программа была большая, основной курс - 2 года. Экзамены я все сдал. Третий год был специализированный - надо было писать дипломную работу. Этого я не делал. Потом объясню, почему. Был целый ряд общеобразовательных предметов, причем скоро выяснилось, что объем знаний, полученных в гимназии, позволял мне добавить для программы этого университета знания лишь по математике. Были курсы общей ботаники, описательной и систематической ботаники. Преподавал ее большой специалист, профессор Владимир Сергеевич Ильин. Математиком оказался сам Маракуев. Читался очень интересный курс политической экономии, который много мне дал. Введение в политэкономию читал отличный лектор и теоретик Дмитрий Николаевич Иванцов, профессор Харьковского, кажется, университета. Он читал общую теорию права и введение в разные права, читал гражданское право и основы уголовного права. Другие права чрезвычайно увлекательно читал Аркадий Николаевич Фатеев из Юрьевского университета. По экономической географии и некоторым отраслям экономических наук, специально связанным с Россией, читал доцент Петр Николаевич Савицкий, один из лидеров евразийцев. Интересный и конструктивный ум. Я многим обязан общению с ним. Историю кооперативных движений читал профессор Тотомианц. Он все время странствовал, и его называли "блуждающий Тотомианц", он читал курс еще в Берлине и в Париже. Читал очень хорошо. Он был почти слеп и узнавал всех своих слушателей по голосам. По тому, как ему сдавали экзамены, он запоминал слушателя на всю жизнь. Редко путал голоса. У него был заместитель, тоже с Украины, Константин Николаевич Храпченко. Он у нас много читал. И, кажется, от него и исходило прозвище "блуждающий профессор". "Он блуждает, подробности ему рассказывать некогда, поэтому вам придется послушать меня". Финансовое право читал профессор Вилков. Бухгалтерию, и основы счетоводства, и все, что нужно для введения в кооперативное дело, читал Александр Александрович Зеньковский, брат Отца Сергия Зеньковского, знаменитого философа, автора "Истории русской философской мысли". Александр Александрович был брату полной противоположностью: он, по-моему, никакой философией не обладал, но был величайший практик, читал талантливо, и мы слушали его с интересом. Могу по совести сказать,

что лекции в институте не были для меня потерей времени. Они расширили мой горизонт. Почти каждый лектор написал свой курс, и они были размножены на ротаторах. Зачеты и экзамены, которые мы сдавали весной, запечатлевались в памяти, и я должен сказать, что целый ряд понятий о хозяйстве, организации общества я получил, благодаря моим русским преподавателям, и получил в хорошей форме, потому что они уже имели опыт социалистических теорий в России и относились к ним критически - очень сдержанно. Например, Савицкий не отрицал их целиком, но делал так много оговорок, что ясны были пределы их реального значения. А на Западе не знали этого м не хотели учиться на советском опыте, поэтому на практике получались нелепости уже в западном масштабе. В институте училась Зина Реннинг из Ревеля, появилась ее подруга Валя Липп. Она жила как раз у нас на Поска, я ее знал. Девушка с ясным, мужским умом, великолепной памятью, отлично училась. Была любимицей профессора Одинцова, он восхищался ею, ибо какой вопрос он ни ставил аудитории, Валя Липп могла ему сразу ответить со всеми подробностями. Он прочил ей большое экономическое будущее (но в советское время она провела 18 лет в лагерях - <ред.>).

Быстро выяснилось, что посещать регулярно нужно не все лекции, система была, как в русских учебных заведениях - зачетная. Когда вы были готовы, вы могли просить профессора вас экзаменовать. Это могло быть и через 2 месяца, и через 3, и через полгода. Поэтому не было курсовой нагрузки, какая получалась в чешском учебном заведении. Когда я не мог присутствовать на лекциях, это не вызывало нареканий. Я с интересом отметил, что 3-й год, когда кончаются обязательные курсы и пишется дипломная работа, у некоторых превращался и в 4-й, и в 5-й. Однако центр тяжести лежал на первых двух годах, когда вы входили в проблемы кооперативного движения, русской экономики и сельского хозяйства России.

Несмотря на мой интерес к этим предметам, главное внимание я обращал на философский факультет Карлова университета. В России мы назвали бы его, вероятно, историко-филологическим, к программе которого добавились философские предметы. Но здесь все объединялось словом "философский". Курсы длились 4 года. Выбор предметов был свободный, поэтому можно было получить довольно однобокое образование. Если вы хотели стать славистом, то ассистенты давали вам указания, на какие предметы лучше записаться в первую очередь. Первый мой триместр был записан с указаний Константина Теннукеста, возможно, не лучшим образом. Он записал, конечно, русские лекции, что было естественно, и русские семинары, но прибавил к ним специализированный курс, который в общем никогда мне не понадобился, потому что требовал знания славянских языков, а у меня его тогда и в помине не было. Это был курс Мурка по славянскому фольклору, ненужная и несвоевременная запись. В то же

время Теннукест еще не дошел до понимания, что нужно прослушать основные курсы - введение в философию, вернее, семинар по нему, который вел профессор Козак, или введение в славянскую филологию, которую читал профессор Вейнгарт. Их мне пришлось позднее вписать. Каждый триместр вы на свое усмотрение вписывали новые курсы или лекции. Лишь после Рождества я стал понимать, что мне нужно и что не нужно на философском факультете. Первые впечатления были грандиозные: лекции читались на высоком уровне. Францев читал то по-русски, то по-чешски. Начинал, скажем, по-чешски, потом переходил на русский язык, кончал опять чешским. Он все время проделывал этот трюк. Может быть, оттого, что аудитория у него была самая смешанная, было много чехов. Францев был мне очень полезен, потому что, во-первых, читал конкретно и за ним легко было следить, даже когда он читал по-чешски, к тому же главную мысль, сказанную по-чешски, он потом выражал по-русски и наоборот, получалась большая помощь в понимании чешского языка. Его материал мы быстро усваивали. Ляцкий читал по-русски, часто очень остроумно. У него было мало чехов. К нему должны были идти люди, которые вполне понимали русский язык, а таких среди чехов в мое время было мало. У Ляцкого была отвлеченная, иногда трудно уловимая манера. Но интересная. Часто он высмеивал кого-нибудь из критиков, ядовито прохаживался насчет тематики авторов. Настолько потрясающее впечатление произвел его семинар, что я даже помню, когда он начинался: в два часа во вторник. Я пришел туда и поразился: во-первых, он происходил в большом кабинете Ляцкого, где стояли 24 стула, все заняты и даже кое-кто сидел на полу, скрестив ноги по-турецки. Ляцкий был в хорошем настроении и объявил, что предметом сегодняшнего семинара, первого в сезоне, будет обсуждение нового, модного в Советском Союзе метода критики, так называемого формального метода. Будет прочитан доклад, а затем наш коллега Ростислав Владимирович Плетнев будет вести дискуссию. Плетнев, уже окончивший университет аспирант, писал докторскую работу о природе у Достоевского. Диапазон его знаний и интересов был велик, и он был значительно старше - на 4-5 лет. Он был потомок знаменитых Плетневых из окружения Пушкина. Ростислава Владимировича я потом хорошо знал, но с первого дня он меня поразил размахом памяти. Он прочел интересный доклад, не только назвав пункты, сформулированные формалистами, но и рассказав, как они постепенно развивали свои теории и к чему пришли. Надо признаться, что подобной эрудиции я тогда еще не знал. Он цитировал десятки мнений известных людей, наизусть называл десятки публикаций, указывая обычно год и место опубликования, приводил огромное количество цитат, и все было не только ясно, но и чрезвычайно интересно - мы понимали, что перед нами действительно новый подход к литературе. Что же есть литература - главным образом продукт технических приемов, которые идут от автора к

автору и усложняются с веками? Или же это, как мы раньше понимали, только настроение автора, выраженное в той или иной форме? Я так грубо ставлю ту проблему, как она нам и предстала. В прениях я не принял участия, сидел тише воды и ниже травы, я был совершенно незнаком с авторами и с теориями. Вопросы задавали старшие студенты, в том числе русский чех по фамилии Железный, который гнусавым голосом задал несколько каверзных вопросов. Задал вопросы Жорж Докс, с которым мы позднее подружились. Какая-то девица, которая много занималась филологией и потому знала все теории Потебни, настаивала, что Потебня играет решающую роль в теориях формализма. Ростислав Владимирович отвечал на все вопросы и на критику с большой убедительностью и с множеством ссылок и цитат. В общем он как будто соглашался, что формалисты заходят слишком далеко и, хотя теория эта интересна и в некоторых случаях верна, но объяснять литературу только склонностью авторов непременно перещеголять своих предшественников в употреблении приемов, было бы до известной степени авантюрой.

Я вышел с семинара с головокружительным чувством своего ничтожества. Боже мой! Какие знания! Какой язык! Ляцкий и Плетнев плюс еще эта девица фигуряли понятиями, оттенками понятий, о которых я ничего не знал, и мог только верить, что они существуют. Это боевое крещение заставило меня серьезно отнестись к литературоведению. Чтобы быть литературоведом, надо много знать и систематически работать.

Евгений Александрович Ляцкий, наш профессор по современной русской литературе - под этим термином понималась литература XIX века - и руководитель семинара, объявил темы, которыми могли бы знаниматься студенты. Меня привлекла тема: "Гоголь как историк"[1]. Евгений Александрович мимоходом пояснил, что тема спорная и разработана не полностью. Я подумал, что, может быть, это интересно, потому что я любил Гоголя и мне казалось, что это будет углубление материала. Тем более, что я перед этим, ввиду того, что шли лекции по Гоголю, кое-что читал из биографических материалов, в том числе книгу Котляревского. Евгений Александрович сказал, что даст мне рекомендательное письмо к директору Славянской библиотеки. Я даже не слышал, что была такая библиотека. Она находилась в Стромовке, в отдельном доме. Библиотека была замечательная и уникальная по подбору книг. В ее основу легла частная библиотека библиофила, до революции очень состоятельного человека, Владимира Тукалевского, человека левых убеждений, близкого к эсерам. Его библиотека была за границей, и он ее продал Министерству иностранных дел Чехословацкой Республики, которое не только дало хорошую сумму за библиотеку, но и обязалась назначить его директором библиотеки до его отставки. Это было уникальное назначение, и Тукалевский пополнял

[1] *Доклад напечатан посмертно в Записках русской академической группы в США XIX, 189-202, 1986, New York.*

библиотеку, усиленно скупая русские книги. Их вывозили из Советского Союза. Оттуда, например, вывезли и включили в Славянскую библиотеку проданную после ареста академика Платонова его личную библиотеку, которая таким образом попала в Прагу.

ПЕРВЫЙ ГОД СТУДЕНЧЕСТВА.

Позднее Славянскую библиотеку перевели в Клементинум. Это было гораздо удобнее - рядом с университетом, в центре города, но своеобразие библиотеки ушло, потому что раньше она была автономна, и даже не верилось, что это часть имущества Министерства иностранных дел, а не собственность, как прежде, Владимира Николаевича Тукалевского. В 1927 г., когда я туда пришел, меня встретила секретарша, которую я потом много лет знал как любезную и знающую библиотекаршу, всегда помогавшую найти нужную библиографию. Посмотрев на меня и на письмо, она сказала: "Сейчас доложу Владимиру Николаевичу", и тот сразу вышел ко мне. Он был небольшого роста, черный, с пронзительными глазами, и по внешнему виду никак нельзя было угадать, что он библиофил и знаток книг и редких изданий, русских и заграничных. Относился он к своей библиотеке со страстью, и основная его цель была не допускать в библиотеку непосвященных людей, недостойных ее. Он с места в карьер принялся уговаривать меня уходить, говорил, что это далеко, что мне невыгодно сюда ходить, все эти книжки есть в других русских библиотеках и он просто не видит, зачем меня послал Евгений Александрович Ляцкий: "По рассеянности профессорской послал". Я был слегка смущен, потом вспомнил, что мне говорили о нем как о чудаке, и не поддался на его агитацию, а наоборот, серьезно и спокойно ему объяснил, что уже просмотрел все, что относится к Гоголю в других библиотеках, и ничего там нет, поэтому, если выполнять семинарскую работу, то надо идти в глубину. А глубина может быть достигнута только при помощи книг, которые собраны им в этой библиотеке. Это его смягчило, но он сказал еще несколько странных вещей: "Если мы дадим Вам разрешение, то Вы не можете курить в этом доме - здесь нельзя курить, а во-вторых, нельзя, чтобы книги были запачканы жирным...". На это я ему спокойно, даже улыбаясь, сказал, что не курю, жирного не ем и с собой никогда еды не ношу. Это его почему-то успокоило, и он сказал секретарше: "Удовлетворите его книжные интересы" - и после этого я действительно провел там много часов, читая главным образом не Гоголя - Гоголя я уже знал - но о Гоголе. Из этого увлекательного чтения вырос мой доклад, где я стремился не осмеивать Гоголя-историка, как это делали Венгеров и другие мои предшественники по теме, а реабилитировать его и показать, в чем была прелесть Гоголя, почему он стремился к обобщающим текстам, а не к мелочному перечню фактов, под которым, Венгеров, видимо подразумевал знание истории. Доклад я читал во второй половине февраля,

к концу семестра.

Перед этим я пережил глубочайший кризис и даже собирался покончить самоубийством, считая, что я бездарный человек, но кончать с собой не хотелось! Это было от отчаяния, отчасти от усталости, от ежечасной перегруженности делами: все время в разных концах города, несмотря на молодость и легкость ног, быстроту движения - это все-таки утомляло.

Доклад прошел блистательно. Ляцкий был в восторге, Плетнев открыл прения по докладу похвалами в мой адрес, и другие нашли много достоинств, которых я не замечал в своем докладе, но они их открыли, после чего я сообразил, что они и правда там были. Я имел большой успех, это было рождение моего положения в университете: неизвестный малыш, появившийся из Прибалтики, вдруг превратился в подающего надежды студента, у меня завелись друзья, начиная с Плетнева, меня заметили все старшие студенты, и Ляцкий дал мне самую высокую награду, какую можно было дать за доклад, - 100 чешских крон, первый приз за семинарские работы. Это было вывешено на доске в Славянском семинаре, все стали считать меня подающим надежды гением, и вариант самоубийства, который я таил от всех, отпал. Во втором семестре у меня был не менее сенсационный успех в семинаре Францева.

Профессор Владимир Андреевич Францев был член трех академий: российской, польской и чешской, читал разные курсы, как, впрочем, и Ляцкий. В его ведении были славянофилы, о которых он сам написал. Он вел семинар о русской драме XVIII и XIX веков. Я у него читал о "Горе от ума" Грибоедова, доклад, который мне тоже принес успех. Францев, правда, был скуповат и дал мне только 50 крон за доклад, но, тем не менее, дал. А главное, это была большая моральная победа, потому что он был требовательный и немножко капризный руководитель семинара. Доклад мой о Грибоедове вызвал почему-то сенсацию, хотя ничего там оригинального не было. Я просто собрал весь известный мне материал по "Горю от ума", оттуда вытекла тема: "Есть ли комедия Грибоедова оригинальное произведение или реплика мольеровских комедий?" Я показал, что в прошлом веке и в начале нынешнего Веселовский, который много писал о западном влиянии в русской литературе, выдвинул тезис, что комедия Мольера "Мизантроп" повлияла на "Горе от ума" и герой "Мизантропа" Альцест - прототип Чацкого. Однако в нашем веке появилось несколько других работ: во-первых, "Грибоедовская Москва" Гершензона, замечательно интересная, со множеством иллюстраций, представляющая собой любопытную попытку показать фон грибоедовской комедии. По мнению Гершензона, комедия была портретна, повторяла ряд живых персонажей, и он приводил много доказательств этому. Мольеровскими традициями Гершензон не занимался, он просто показал, что грибоедовская Москва существовала и получила отражение в комедии "Горе от ума". Самой важной была работа Пиксанова. Он начал писать на эту тему еще

до революции, и незадолго до того, как я стал готовить доклад, выпустил в Советском Союзе книгу "Грибоедов и Мольер", где убедительно показал, что теория Веселовского несостоятельна и Грибоедов был во многих чертах совершенно оригинален. Даже такие мелочи, как субретки, которых Веселовский счел срисованными с субреток мольеровских комедий, как показали Гершензон и Пиксанов, существовали в реальной Москве той эпохи, - русские камеристки, старавшиеся походить на француженок. Это было очень любопытно, я все это изложил и сделал вывод, что Пиксанов прав. Доклад вызвал огромный интерес, все были поражены, я полагаю, просто потому, что не читали работ, которые я излагал, и приписывали систематизацию изложения мне, а не авторам, которыми я занимался. Францев был очень доволен. Его капризность происходила от блуждающей почки, когда в организме шел болезненный процесс, он делался несносным, мог накричать ни за что ни про что на студента и сделать отрицательный вывод, хотя материал того не заслуживал, все это знали и побаивались. Но ему это извинялось, потому что это был результат болезни.

По истории пока никаких больших побед у меня не было, хотя на лекциях Кизеветтера я присутствовал и сдал зачет с удовольствием. Павел I и Александр I попали в первый триместр, но он меня все спрашивал об Александре I, и тут я установил интересную особенность Кизеветтера: он требовал, чтобы студенты повторяли е г о, кизеветтеровские формулировки и выводы, это меня удивило, потому что позднее я не всегда был с ним согласен. Но это, конечно, была с моей стороны дерзость, и я вполне понимаю, что педагогически он был прав, желая оставить в умах слушателей определенную схему русской истории. Схема была либеральная, та самая, которой Кизеветтер служил всю жизнь. На следующий год у меня была крупная победа в семинаре профессора Горака, где я читал доклад о "Хаджи Мурате" Льва Толстого на фоне двух факторов: с одной стороны, толстовская традиция кавказского рассказа, с другой, отталкивание в этом произведении от его дидактических стремлений, которые в то время были очень сильны. Я начитался текущей советской литературы на эту тему и поразил Горака, который, по-моему, не читал целого ряда этих публикаций. Горак меня зауважал и тоже дал мне высшую награду, 100 чешских крон. Так я установил свою репутацию у трех главных славистов: Ляцкого, Францева и Иржи Горака, которые, по сути, должны были заниматься мной не только как студентом, но если бы я захотел остаться при Университете, они сыграли бы в этом важную роль. Позднее оказалось, что я имел хорошую репутацию у самых разных преподавателей, которые между собой редко соглашались, например, Францев и Ляцкий постоянно конфликтовали.

В июне, когда мы держали зачеты за год, я сдал вдвое больше, чем требовалось, и все на "выборне", то есть на "отлично". Ко мне пришел встревоженный староста русской секции и сказал: "Дорогой коллега, я

должен серьезно с Вами поговорить, с глазу на глаз". Я даже испугался - что случилось? что я такого натворил?.. Он сказал: "Ваши великолепные успехи на экзаменах и то, что Вы сдаете так много, ставят нас в трудное положение - это показывает, что другие студенты мало сдают (нужно было получить 6 часов для высшей отметки, а у меня вышло 12 часов лекций). Создается впечатление, что другие ничего не делают, поэтому мы Вас призываем, ради Бога, не то что Вы не будете сдавать, но, может быть, вы будете меньше сдавать в следующем триместре, чтобы не ставить коллег в глупое положение!.." Я был ужасно смущен, никак этого не ожидал, и в следующие годы старался сдать минимум, перейдя часа два, не больше, и всегда на высшую отметку.

Поскольку я очень интересовался литературой, по приезду в Прагу я постарался выяснить, где и что в литературном отношении делается, и очень быстро узнал, что есть литературное общество "Скит", некоторые добавляли "Скит поэтов", потому что большинство членов были поэты. За разговором выяснилось, что Теннукест уже туда сходил и даже читал стихи, но потерпел неудачу - стихи не произвели впечатления, и он чувствовал себя обиженным и обескураженным. У меня стихов не было, но литературное общество меня интересовало, и я пошел туда. Они собирались в Русском педагогическом бюро - именно в этом учреждении родилась идея, которая распространилась потом по всей эмиграции: празднество Дня русской культуры в день рождения Пушкина. Это был поистине национальный праздник русской эмиграции, потому что объединял в с е х, хотя позднее сумели и здесь, конечно, вызвать раскол, и стали выдвигать Владимиров день, но эта идея не победила - в основном День русской культуры был связан с Пушкиным. Бюро представляло собой 3 комнаты, битком набитые разными изданиями, текущими журналами, книгами, газетами.

Мы собирались вечерами, и этот книжно-газетный фон даже представлял собой своеобразную, неповторимую и, в общем, подходящую обстановку. Посередине, за столиком, освещенным электрической настольной лампой, сидел маленького роста, с бородкой, с огромным лбом, очень похожий на некоторые портреты Достоевского, Альфред Людвигович Бем. Его позднее называли профессором, но он, строго говоря, профессором не был. В прошлом он работал в Академии Наук в качестве библиографа, и потом, в эмиграции, это очень ему мешало, в том смысле, что у него не было преподавательского стажа в России, и дорогие коллеги за границей всеми силами мешали ему получить пост. Но он, в конце концов, стал великим специалистом по Достоевскому и в результате сделал докторскую о Достоевском по-чешски, то есть его книги по-чешски были засчитаны для доктората, он стал доктор Бем, что уже было хорошо в условиях заграницы. Но формально он оставался лектором и читал русский язык для начинающих. Он был великий знаток не только истории русской поэзии, но и поэтики.

Кроме того, у него был огромный интерес и любовь к живой поэзии, он приехал в Чехословакию из Варшавы, где также участвовал в литературной жизни, там под его эгидой было общество "Таверна", в Варшаве были русские литераторы, и он там выступал как теоретик русской художественной прозы и поэзии. Он был хороший литературный критик, и было интересно слышать его мнение, он всегда стремился сказать по существу и объективно, не считаясь ни с личностью, ни с тенденциями автора. Он просто разбирал произведение, которое читалось в Скиге, с точки зрения того, как оно написано: технически хорошо или плохо, если плохо, в чем отрицательные стороны, если хорошо - что именно хорошо, что следовало бы доработать, и совпадают ли идея и форма произведения. Можно было вести дискуссию, и Бем старался вовлечь в дискуссии всех, кто приходил в Скит, где он был руководителем. Сам Скит возник раньше. Много позднее я подружился с Сергеем Миличем Рафальским, который даже специально написал мне письмо о начальных, до-Бемовских стадиях развития Скита в Праге. Это верно, что до Бема уже было много других авторов, но он придал делу стабильность, он стал вести журнал заседания: кто выступал, что обсуждали, как обсуждали. Эти материалы до сих пор якобы хранятся в одном из архивов Праги, и когда-нибудь кто-то напишет по ним интересную работу. Когда я туда пришел в 1927 г., актив Скита состоял, вероятно, из человек 20, я привык видеть 14-16 членов Скита на собраниях. Ходили туда многие таланты, из них самый блистательный, как мы считали тогда, Вячеслав Лебедев, и не менее блистательный, но более молодой, Алексей Эйснер. Когда я пришел в первый раз, мне все очень понравилось, я слышал, как обсуждались стихи. Как раз читалась "Поэма Временных Лет" Вячеслава Лебедева, одна из жемчужин не только эмигрантской, но и русской поэзии этого периода в целом. "Поэма Временных Лет" - о русской революции. Мало есть произведений, которые т а к трактовали бы тему и с таким мастерством передавали бы то, что хочет выразить автор. Я был поражен: это было рождение великого поэтического произведения, написанного талантливейшим поэтом, переживал весь Скит, хвалили автора и в то же время придирались к отдельным мелочам. Вспыхивали споры, правильно ли употребить такой эпитет и что он означает. Меня бросало в жар и в холод, это было великолепное введение в критику. Я никогда не забуду боевого крещения в Скиге, именно на опыте этой поэмы. Я на всю жизнь с благодарностью запомнил все, что говорили там и Бем, и Эйснер, и Фотиев, и другие авторы, то, что отвечал сам поэт. Это была живая, творческая дискуссия, на высоком уровне, игра живыми, только что рожденными образами, созданными на великолепном русском языке и говорящими о главной русской трагедии - революции. Я воспарил: у меня есть такое психологическое состояние: если меня поднимают, как это было, например, когда я слышал стихи Игоря Северянина на гимназическом вечере, это дает мне что-то творческое. Тут я был поднят просто на облака,

до такой степени меня зажгло. Бем очень мило ко мне отнессе и спросил нас - меня и Хохлова, мы вместе пришли - пишем ли мы. Хохлов что-то промямлил, он, по-моему, не писал, я сказал, что пишу: я писал прозу, но не стихи. И Бем сказал: "Было бы интересно почитать". Это было заманчивое предложение, и я его использовал. Я написал, буквально за один день - вечером родилась идея, и на другой день я ее разработал окончательно - рассказ "Младшая сестра", который был опубликован в следующем, 1928 г. в "Нови", в Таллине. Рассказ я посвятил Вере Горцевой. Я получал много писем из Таллина, и среди них было одно от нее, где звучала жалоба: какая она несчастная, она младшая сестра, старшие сестры живут куда свободнее, более независимо, с ними все считаются, а с ней - никто, ее считают маленькой. Это и толкнуло меня написать рассказ о младшей сестре, и я даже, к великому соблазну гимназисток, посвятил его "Вере Г." Я читал рассказ в Скиту, скорее уже в 1928 г., его встретили очень хорошо, признали у автора умение обращаться с материалом, отсутствие пустых фраз и выразительный язык. Сам Альфред Людвигович был поражен некоторыми деталями.психологии действующих лиц, которые я мимоходом набросал, и даже с удивлением вопрошал: откуда у него такие знания, откуда? Я полагаю, это было недоразумение, никаких особых знаний не было, была реальная картина Прибалтики. Употребил я прием сна, который помогает завязке и развязке. Во всяком случае, все с удовольствием потирали руки - это в Ските был знак, что человек дебютировал обещающе. Но в Скит меня еще не приняли. Только в июне 1930 г. я стал полноправным членом Скита, хотя перед этим несколько раз читал и выступал в разных амплуа. Приняли меня, забегая вперед, за рассказ "Жена", который содержал скрытые ядовитые выпады против некоторых членов нашего литературного содружества. Но этого как будто не заметили, а если заметили, то не подчеркивали.

Что касается общей картины Праги, то мы, русские студенты, много общались между собой, что было естественно в чужом городе, населенном иной народностью. Первый круг, конечно, был тот, который говорил на русском языке, в широком смысле слова русская колония. Потом шли уже специфические наши объекты, как философский факультет или кооперативный институт, библиотеки, которые питали нас книгами. В более узком смысле, конечно, главным было, откуда приехали люди. Так, явочным порядком, были румынская, польская и эстонская группы русских студентов, не говоря уже о латвийской и других. Это не значило, что мы держались все время вместе, но невольно чувствовали друг к другу больше доверия, ожидали большего понимания от людей, которые или знали вас, или учились в той же школе и представляли себе, что такое Эстония и эстонское русское общество. С этой точки зрения, например, я сразу почувствовал узы взаимных интересов с Юрием Владимировичем Назимовым, хотя он был значительно старше меня, с Темой Товарковским,

который был старше меня на 2 или 3 года, с Игорем Крюковым, сыном купца и старосты Никольской церкви в Ревеле. Там мы не общались, а тут оказалось, что мы друг к другу хорошо относимся, это получилось спонтанно. Естественно поэтому, что к нашим первым ходокам, Володе Римскому-Корсакову и Косте Теннукесту добавился Герман Хохлов, из саратовских Хохловых. Его родители попали под лишенство, он был вывезен в Эстонию, но учился не в нашей городской, а в частной гимназии, которую окончил в том же году, что и мы. У него был советский паспорт, неизвестно, на каких условиях он въехал в Чехословакию, вероятно, никаких условий ему не ставили, и он тоже записался в Институт кооперации и на философский факультет. Поселился он в Уезд Надлесы, в доме, где жили мы с Костей Теннукестом, за стеной, у других хозяев. С одной стороны, Хохлов глубоко интересовался литературой, любил посещать литературные доклады, знакомиться с литераторами. Это было в русле и моих интересов. С другой стороны, оказалось - это мое мнение, но я думаю, в воспоминаниях его необходимо высказать - он сыграл отрицательную роль в нашем коллективе. Он был нехорошим, недобрым человеком, он не был идеалистом, как все мы, у него был озлобленный и задирающий ум, дар интриги, он любил натравить одного члена коллектива на другого, а потом с удовольствием наблюдать конфликт. Это быстро выяснилось. Он использовал полное отсутствие мудрости у Кости Теннукеста, который к тому же был болен в 1-м триместре, а так как он плохо себя поставил в предыдущий год, то получилось, что он не котировался ни среди студентов, ни среди профессорского состава на философском факультете. Герман Хохлов это начал раздувать, ловко наступая ему на мозоли, и, когда выяснился мой успех, он стал противопоставлять ему меня. Я был моложе Кости, но уже достиг успехов на факультете, которых Хохлов не достиг, в сущности, он даже к ним не стремился, наоборот, он прославился ужасным скандалом: когда он заполнял формуляр для экзамена - он тоже хотел освобождения от платы - то вместо "ржадный послухач", действительный студент, написал "жадный", то есть "никакой" слушатель. Это выставили напоказ на доске в Славянском семинаре, и он прославился как не владеющий языком! Хотя тот же Плетнев сказал: "Это неплохо! Он действительно "жадный послухач", "никакой не студент". Он оказался более богемой, чем студентом. Позднее он немножко проявил себя в семинаре у Ляцкого, но главным образом не как докладчик, а как оппонент по некоторым докладам. Он так и не овладел чешским языком и в институте кооперации тоже ничего не сделал. Я, по крайней мере, прослушал полный курс, хотя и не писал дипломной работы. Он и того не сделал, он был обеспеченный лентяй, склонный покутить, много ходил в кино, тогда кино было чрезвычайно популярно, и он действительно хорошо знал режиссеров, артистов, он и в Ревеле ходил в кинематограф значительно больше, чем мы. Я ходил редко и только на прогремевшие

фильмы. В Праге он ходил просто каждый день и меня пытался увлечь, но у меня просто не было на это денег, так что я, может быть, раз в неделю соблазнялся фильмом. Он вел разлагающую деятельность, он и Володю Римского-Корсакова вовлек в это, и на Костю Теннукеста влиял, но, самое неприятное для меня - он осознал меня как противовес себе: человек тех же интересов, но другой направленности - и он начал кампанию против меня. Вначале я этого не замечал, понял все позднее, когда уже другие обратили на это внимание, на 2-м и 3-м году.

В то время он действовал главным образом на Костю Теннукеста. Я с Костей не мог сойтись близко, у нас разные характеры. Он изображал из себя мистика, имел какие-то видения по вечерам, говорил грудным голосом, у него был Будда, которому он курил фимиам. Мне страшно это надоело, и я сказал: "Вот что, Костя, если ты хочешь, чтобы я остался в этой комнате, пожалуйста, прекрати разговоры с Буддой после 12, я хочу спать, у меня назавтра рабочий день". Я так составил себе расписание, чтобы ложиться не позднее 12, иначе было слишком утомительно. Костя страшно обиделся, брюзжал, кричал, но я сказал: "Не будем портить отношений: я не вмешиваюсь в твои верования, поклоняйся кому угодно, но чтобы это было введено в нормы времени". Костя согласился и перестал после 12 разговаривать с Буддой грудным голосом.

Сочельник мы встречали в Оздравовне. Была вечеринка, пришли не только Володя и Костя Гаврилов, но и Володина невеста Вера, ее старшая сестра Нюра, было много соседних с Оздравовной людей, которых я тогда не знал по именам, была большая и веселая застолица. Устраивали ее русские, так что была вкусная еда, водка и вино, конечно, потому что вино было в Чехословакии очень дешево. Когда все развеселились, я вдруг заметил, что какая-то странная сумятица произошла вблизи меня, и Володя Римский-Корсаков и Костя Гаврилов, которые были хозяевами и потому совсем не пили или пили меньше других вдруг вытащили Костю Теннукеста, протащили его на двор - была морозная декабрьская ночь - и пустили на него холодную воду из помпы колодца. Потом его вытерли и в одной из комнат, в Володиной, кажется, положили спать. Когда я спросил, что случилось, они сказали: "Ничего, просто Костя перепил, и мы его приводили в себя..."

Но еще на вечере Хохлов мне говорит со своей улыбочкой: "Ну, что ж, на этот раз Вам повезло!" Я говорю: "В чем? Мне всегда везет, я родился в сорочке". - "Да, - говорит он, - Костя Вас хотел пырнуть финским ножом, но не сумел и этого сделать. Володя и Костя увидели, вырвали у него нож, окатили водой и бросили протрезвиться. Интересно, как он вас сильно ненавидит! Что Вы ему сделали?" Я ничего не сказал, очень удивился. На следующий день я спросил Володю, насколько серьезно то, что мне сказал Хохлов, и Володя, помявшись, сказал, что да, Костя, кажется, хотел ударить меня ножом. "Почему?"- спросил я, страшно удивившись. "Ну, этого я не

знаю, очевидно, он тебя не любит". Подумав, я не стал разговаривать об этом с Костей Теннукестом, свел к тому, что, бывает, человек лишнего выпьет и вот что получается.

Но с Теннукестом произошла история, еще более печальная: весной я готовился к одному из экзаменов по праву в Институте кооперации, экзамен был на следующий день, я очень старался охватить материал. После обеда пришел Костя Гаврилов, и я ему говорю: "Хорошо, что зашел, пожалуйста, возьми у меня бумагу и вопросник, который я составил. Задавай мне эти вопросы и следи, правильно ли я отвечаю". Одним словом, мы были погружены в это дело, когда вдруг распахнулись двери, было 5 часов вечера, вошел пьяный Теннукест, с ним Герман Хохлов, тоже выпивший. Теннукест с ложной мелодекламацией сказал: "Вот образец, сидит и учит, грызет гранит науки, - это показывая на меня, - хочет быть самым умным, самым знающим, день и ночь учится". Я поглядел на Костю и говорю: "Костя, у меня завтра экзамен, пожалуйста, не мешай, идите лучше в сад или на горку - там напротив была такая милая горка - идите туда с Хохловым, и мы с Костей придем, когда закончим". Теннукест сказал: "Ты мне будешь указывать, как я должен поступать! Этот номер тебе не пройдет! Что ты воображаешь!" И он начал страшно ругаться. Герман Хохлов стоял тут же, смотрел на все это с удовольствием и хихикал, а Гаврилов в изумлении смотрел то Теннукеста, то на меня. Я опять вежливо сказал: "Костя, пожалуйста, прекрати! У меня считанные часы, мне нужно еще повторить все - иди на горку". Тогда Теннукест с руганью бросился к стене, там у него висели разные эмблемы около Будды и знаменитый финский нож. Он выхватил нож из ножен и бросился на меня, причем я даже не понимал, что он это делает всерьез, но Костя Гаврилов вовсе не считал это шуткой. Он действовал решительно: подставил ему подножку, и Теннукест рухнул вместе с ножом. Тогда Гаврилов вырвал нож и сказал, что есть предел всякому идиотству, и размахивать ножом здесь нельзя, кончится тем, что он кого-нибудь ранит. Хохлов встал и пьяным голосом сказал Теннукесту: "Вот видишь, я тебе всегда говорил, что ты только подножка для Андреева, он вытирает о тебя ноги, как о половик". Я был в изумлении. Но Костя Теннукест вдруг стих, как многие полуистеричные люди, решимость Гаврилова на него, очевидно, подействовала, и этим дело кончилось.

Жить с Костей Теннукестом на одной квартире я больше не мог, и мне нужно было на будущий год стараться переехать на другую квартиру. Это было непросто, осенью я на некоторое время получил комнату в Оздравовне, где жили Володя и Костя Гаврилов, но прожил там недолго, потому что стремился попасть в Прагу, чтобы экономить время, и это мне удалось. История с Теннукестом меня изумила. Зная его много лет, я всегда думал, что он мягкий человек, но его стремление хвататься за нож - пусть и в пьяном виде - было очень неприятно: где гарантия, что он опять не напьется

и не пырнет меня! Хотя, может быть, тут же и раскается... Он писал стихи, которые вызывали в Ските хохот:

Пронизало зарево и твердь
Паланкин, алмазами расшитый,
Проклиная сумрак пережитый,
Вас приветствую, сиятельная Смерть...

Бем и Эйснер воскликнули: "Это набор слов, вообще ничего не значащих". Тогда я еще не вполне понимал значение Хохлова. Когда летом мы все вернулись на каникулы в Эстонию и он пришел единственный раз к нам и просидел часа полтора около маленького столика карельской березы у окна, где обычно сидели мамины учащиеся или гости, как Никифоров-Волгин или Игорь Северянин, мои родители в один голос сказали: "Какой странный, болезненный молодой человек, болезненный, в смысле психологическом. Мы очень надеемся, что это не твой близкий друг!" Хохлов не был близким другом и очень скоро стал настоящим врагом. Об этом мне тоже, к сожалению, придется для полноты картины рассказать.

Тем временем большие затруднения возникли в отношениях Кости Гаврилова и Володи Римского-Корсакова. Они считались друзьями, хотя Володя был старше и стремился доминировать над Костей. Во 2-м триместре выяснилась неприятная история: Володя имел в Эстонии, как мы все считали, невесту, Нину, ставшую позднее его женой, но в Праге он попал в сети местных красавиц, и некая гимназистка Вера (фамилию я уж не буду говорить) сделала так, что он стал ее женихом. Эта Вера, довольно симпатичная девушка, жила в Моравской Тршебове в пансионе и появлялась только на каникулах. Весь ее цыганский налет: сентиментальные песни, подыгрывание на гитарах, мечты о романтике - все сыграло свою роль и сбило Володю с толку. Такое бывает: была одна невеста, стала другая, но у Володи получилось еще сложнее - и первая и вторая невесты были далеко, а рядом была старшая сестра Веры, Нюра - редкостно некрасивая, но телесно очень выразительная. Она стала любовницей Володи и забеременела от него. Нужно было спасать положение - делать аборт. Аборт стоил дорого, и деньги дал Костя. Сам он сел буквально на пищу святого Антония: стал есть много хуже, чем я, мне хоть было гарантировано питание и утром и вечером, а у него, бедняги, вообще питания не было, акридами питался преимущественно. История была ужасная. Я ее рассказываю, чтобы люди потом поняли, начиная с моих детей, как складывалась психология их отца. Меня поразила, во-первых, грязь всех этих историй: иметь одну невесту, завести другую, спать с третьей - это было, по-моему, недостойно. Володя вообще, как мне казалось, недостоин того ореола, какой имел в гимназии: его, например, обожал Григорий Васильевич Бархов, именно потому что он - Римский-Корсаков. Здесь же он проявил себя как простоватый, не контролирующий свои поступки человек, притом страшный эгоист, потому

что он брал у Кости деньги, не моргнув глазом. Понимал, что у Кости нет других денег, кроме тех, которые он получал от отца два раза в год. Это произвело на меня ж у т к о е впечатление. Лично для меня и Володя Римский-Корсаков, и Костя Теннукест, и Герман Хохлов стали отходить все дальше и дальше, и наоборот, Костя Гаврилов, с его исключительным благородством в дружбе, с его настоящим донкихотством, стремлением помочь во что бы то ни стало, стал мне гораздо дороже. Мы уже были друзьями в гимназии, а теперь стали еще ближе, потому что я восхищался мужеством Кости. К счастью, примерно в это время мои дяди сложились и прислали мне денег, и я буквально заставил Костю взять у меня немного из этой экстра-получки, которая не была грандиозна, но все-таки дала нам какую-то передышку. Костя работал чрезвычайно серьезно, весь день сидел в лаборатории и на лекциях, вечером составлял свои записки и читал специальные книги, углубляя свои знания, работал он не за страх, а за совесть и должен был питаться как следует.

Летом, когда мы поехали в Эстонию, выяснилось, что у нас нету больше особенной спайки ни с Костей Теннукестом, ни с Римским-Корсаковым, а Герман Хохлов был мне во многих отношениях странен, я еще не определил тогда всей его сути и даже обвинял себя, что, может быть, преувеличиваю его отрицательное влияние на Теннукеста. Но я был рад, что мы не поехали вместе. Зато с нами поехал в Эстонию из Праги очень милый человек, японец, его звали Микео Сато Сан. Интереснейшая фигура: он женился на русской эмигрантке в Харбине, дочери одного из предводителей дворянства. Ее семья отступила вначале в Сибирь, а оттуда в Манчжурию. Он имел от нее сына - миленький, очень похожий на отца, совершенный япончик, но очаровательно говоривший по-русски. Ее родители тем временем оказались в Праге, и она приехала туда вместе с мужем. Он поступил на философский факультет, как и мы, но позднее, чем мы, и ходил только на русские лекции. Чешский язык он игнорировал, мы даже не понимали, в чем дело, потом поняли, что он приехал усовершенствоваться в русском языке. По-русски он говорил замечательно, с оттенками, без всяких грамматических ошибок, с превосходным произношением. В этом смысле он был человек очень одаренный. Микео Сато Сан с сыном и женой и с тещей и тестем жили тоже в Уезд Надлесы. Он очень мило держался, хорошо относился ко мне, старался со мной разговаривать, однажды спросил: “Куда Вы едете на лето?” Я говорю, что еду в Эстонию. - “Ах, в Эстонию, а что там?” Я ему сказал, что там много русских и я там учился, он страшно заинтересовался: “А можно мне тоже поехать?” Я говорю, что, к сожалению, не могу его пригласить к себе, потому что у нас только одна комната. Он ответил, что это значения не имеет: “Я сниму себе в отеле - я недели на 2-3 поехал бы посмотреть, меня это очень интересует”. И действительно поехал вместе со мной и с Гавриловым. Уже в поезде в Берлин мы попали в купе, где один из пассажиров, художник, взял альбом

твердой бумаги и набросал картину: “Япония, восходящее солнце - Ниппон”. Микео радостно засмеялся, кивнул головой, по-немецки он не говорил, а тот не говорил, конечно, по-русски. Потом этот человек сделал набросок фортов и внизу подписал - “Порт-Артур”. Микео вдруг пришел в страшное волнение, он стал объяснять, а мне пришлось переводить, что Порт-Артур был присоединен японцами правильно, потому что он не нужен русским и очень нужен японцам. В Берлине мы с Костей его сопровождали в японское посольство. Когда подъехали к посольству, оказалось, что вокруг стоят тысячи две таких Сато Санов. Видимо, японское правительство систематически посылало их в разные страны изучать языки. Микео Сато Сан ушел в посольство, мы подождали, потом он вышел, мы прогулялись по Берлину и вернулись на вокзал, потому что ждали поезда на Штеттинер Банхоф. Наш пароход из Штеттина шел в полдень следующего дня. На вокзале мы по очереди сторожили чемоданы и решили, что лучше остаться там ночевать. Нам сказали, что раз у нас билеты на утренний поезд, можно ночевать в пассажирском зале. Мы начали устраиваться. Я вдруг случайно заметил, что за нами как будто следят: одни и те же лица появляются то там, то сям, один из них вошел в зал, где мы сидели, и кашлянул, как будто прочистил горло. В ту же секунду с разных концов зала раздался такой же звук “хрр” - по крайней мере, человек 8-10 отозвались на этот таинственный сигнал. Я говорю: “Вы понимаете, что за нами следят?” На это Сато Сан невозмутимо ответил: “Да, да, они следят за нами весь день”. Это мне крайне не понравилось, я подумал, может быть, это уголовная организация хочет нас обокрасть, а если они подозревают в чем-то этого японца, то при чем тут мы? Может, они следят за японцем, потому что он ездил в посольство? Тогда-то я вспомнил, что говорили частным образом в Праге. Мне стало ясно, что он стал изучать русский язык не потому, что сильно им интересовался, а по предложению своего правительства. Наблюдение за нами так меня раздражило, что я попросил японца остаться с чемоданами, а мы с Костей отправились прямо в полицию на Штеттинер Банхоф. Мы искали нашего приятеля Ханса, который встречал монахов осенью 1927 г. Но Ханса не было, он появился только на другое утро и сердечно нас приветствовал. Зато полицейские, его приятели, были любезны, и двое из них вышли вместе с нами на станцию. По-видимому, после нашего обращения в полицию все подозрительные типы, которые таскались за нами с самого, по словам японца, утра, хотя я заметил это только часов в 5-6 дня, исчезли, и мы провели остаток вечера спокойно, гуляя в окрестностях вокзала по очереди, парами, затем спали более или менее уютно в пассажирском зале и утром уехали в Штеттин. До самого отъезда я все-таки нервничал, боясь неприятностей из-за японца. Возможно, он был агентом японского правительства. (Так оно и оказалось. Через некоторое время Сато Сан бросил семью и вернулся в Японию - <ред.>)

Мы погрузились на пароход и поплыли, и вокруг нас уже пошла зеленая волна Балтики, и мы все больше и больше шли на северо-восток. Ехали мы самым дешевым образом, не в каютах, а на палубе, но это не играло большой роли, потому что в наше распоряжение давали пассажирские раскидные кресла, очень удобные, и даже морские пледы. Я, сидя в кресле, мысленно подводил итог первого года. Итак, первый год нашего с Костей нашествия на Прагу начинался под знаком романтики, в том духе, как написал в мой альбом Николай Федорович Роот:

Опять весна, абитуриенты,
Банкеты, тосты, комплименты,
Приветственных речей слова,
А жизни новая глава
Для нас уже начнется завтра.

Теперь эта глава "завтра" началась, и началась она, как видно, при добром сочувствии друзей. Инициатива Риты, принятая Маргаритой Карловной Кайгородовой, дала мне деньги, без которых я не попал бы в Прагу. Жизнь в Праге, в этой странной деревне, Уезд Надлесы, где кончалась цивилизация и начинались поля, на которых работали на волах и на коровах местные фермеры, восклицая "Цо! Цо! Цо!", и эти рогатые двигатели плугов и возов проявляли исключительную медлительность. Меня это веселило, я мог наблюдать это даже из окна, если оставался днем дома у Феодосии Ивановны. Этот период, когда все было под вопросом, как будто преодолен удачно. Я стал студентом, возвращался со славой, проявил себя не только в изучении истории литературы, но сдал ряд экзаменов и в Русском институте сельскохозяйственной кооперации, и все на "отлично". У меня появилась уверенность, что я могу учиться, и по своему положению, которое я завоевал среди многочисленных русских и чешских слушателей философского факультета, я оказался на вершине. То же и с Русским институтом. Кроме того, благодаря наличию Русского свободного университета, все мы, и я в том числе, занялись такими дисциплинами, как введение в философию, история последней мировой войны, которая очень меня интересовала, текущие события советской литературы, о которых мы не много знали до отъезда в Чехословакию. Это все были плюсы. Плюсом было и то, что Евгений Александрович Ляцкий, например, оказал мне ряд важных для меня актов внимания. Он сказал, что с осени возьмет меня в штатные преподаватели на курсы русского языка при Русском свободном университете, которые он возглавлял. Когда он мне выплачивал деньги от имени Славянского семинара за доклад "Гоголь как историк", то, посмотрев на меня, вдруг сказал: "Я очень надеюсь, что эта награда даст вам возможность купить цивилизованную европейскую шляпу и вы расстанетесь с этой фуражкой, которая наводит многих русских на мысль, ничего общего не имеющую с вашей сущностью". Хотя это была типичная фуражка финских и шведских моряков, русские эмигранты по невежеству считали

такую кожаную фуражку чекистской. Некоторое время шел слух, что, кажется, я из чекистов, очень молодой, но чекист, приехавший в Прагу! До Ляцкого, очевидно, эти слухи доходили. Затем он, поколебавшись, вдруг говорит: "Вы не обидитесь, если я Вам предложу мой старый костюм?" Костюм был, между прочим, новехонек и очень мне подходил. Он дал его мне, и я его вез с собой, чтобы мне его переделали хорошенько, уже по мерке. Было очевидно, что никакая Эстония, никакой Юрьев, никакие знаменитости в Таллине, русские и эстонские, не могли состязаться с тем академическим активом, который в изобилии был представлен в Праге. В тот момент Карлов университет был приманкой для лучших славистов Европы. Здесь было много славистов, не только чешских и словацких, но и югославских, как, например, профессор Мурко, председатель "Славянского института", важнейшей национальной организации. Он же был редактором международного славяноведческого журнала "Славия". Он не был чехом, он был словинец, австрийской еще выучки. Лекции он читал с закрытыми глазами, и, если не знал, как это сказать по-чешски, то говорил по-немецки и тогда удивленно открывал глаза. Слушатели, у него их было очень мало, с почтением понимали, что это вполне естественный акт для человека, который много лет преподавал в Венском университете, до появления Чехословацкой Республики. В Чехословакии, в Карловом Университете в частности на философском факультете был очень верный принцип: лекции шли на разных языках. Русские читали по-русски, поляки по-польски, югославы по-сербски, болгары по-болгарски, а некоторые имели комбинированные курсы и кое-что читали по-чешски, но это уже было делом техники. Важно было, что студенты должны более или менее понимать лекции на разных славянских языках. Это было не так трудно, как мы сначала полагали, и это была отличная идея - вы переставали бояться чужого славянского языка и в конце концов не только хорошо понимали его, но и чувствовали. Это был один аспект, к нему нужно прибавить плеяду преподавателей института кооперации. Русский свободный университет каждый вечер давал лекции на самом высоком уровне. Читали в большинстве случаев замечательные специалисты, и это было великолепным дополнением к основным курсам. На 2-й год я начал ходить в философское общество и надолго сохранил привилегию присутствовать на его заседаниях. У меня установилось личное знакомство с Сергеем Иосифовичем Гессеном, к которому в свое время мне дал рекомендательную визитную карточку Леонид Моисеевич Пумпянский. Сергей Иосифович оказался милейшим человеком, нежной души, мы встретились сначала на заседаниях, на его лекциях, а потом он меня пригласил: "Хотите прийти к нам как-нибудь в воскресенье пообедать?" Я пошел туда пешком, была чудная осенняя погода, я шел довольно долго - это не так уж далеко, но было гораздо проще идти по пустынным дорогам, обсаженным фруктовыми деревьями по старой австрийской манере, и

самое удивительное - все было полно фруктов: груши, яблоки, и никто не крал. Я тоже ничего не брал, хотя мне и хотелось унести несколько штук в подарок Гессену, но я боялся, что выйдет скандал. Оказалось, что его жена, Нина Лазаревна, урожденная Минор, происходит из известной семьи еврейских социалистов. Два его сына были тогда еще молоды, старший, Женя, позднее начал писать очень хорошие стихи, я был с ним в большой дружбе. Младший был еще совсем малыш. Сергей Иосифович дружески разговаривал со мной, расспрашивал о Пумпянских и об Эстонии, он лелеял мечту, которая осуществилась через некоторое время, - поехать с лекциями в Прибалтику. Он интересовался, что я читал по философии, но я читал очень мало, все прикладное. Меня он поразил тем, что когда я его как-то спросил, с чего начать ознакомление с философией, он подумал, подумал и говорит: "Я бы на Вашем месте начал с произведений Паскаля". И сделал несколько замечаний о философии Паскаля, которые были, вероятно, очень меткие, но я Паскаля тогда еще не читал. Меня поразило, зачем вдруг из всего курса философии вырывать такую штуку, я бы на его месте рекомендовал прочесть по-русски введение в историю философии (Ван дер Билт, например, был в переводе на русский язык) с изложением систем. Сергей Иосифович увлекался в то время Достоевским, писал целый ряд работ о Достоевском и о Толстом, а главным образом занимался писанием большой работы "Основы педагогики", куда вводил много философских рассуждений, не просто давая указания, как надо учить, а пытаясь подвести философскую базу под различные теории образования, которые существовали в мире. Он меня поражал, в нем было как бы два человека: когда он начинал говорить, то вдруг зажигался и уходил от реальности. Нина Лазаревна это знала и подсмеивалась над ним, может быть, даже ядовито подсмеивалась. У нас с ним был хороший контакт позднее, даже уже в нацистский период, перед этим он уехал в Польшу и разошелся с женой, а Нина Лазаревна как еврейка подвергалась гонениям во время немецкой оккупации. У меня сохранялись до последнего момента отличные отношения с ней и с ее старшим сыном Женей, который остался с нею в Праге.

Большой вклад в мою жизнь внесла литературная обстановка в Праге, и не только разборы на заседаниях Скита поэтов, не только лекции специалистов по литературоведению, но и чисто личное общение. После того, как я прочитал мой рассказ "Младшая сестра", у меня объявились литературные приятельства: меня вдруг заметили, в том числе очень интересные люди. В той же деревне, где я, жили два выдающихся молодых автора, поэт Вячеслав Лебедев и прозаик Василий Георгиевич Федоров, женатый на обрусевшей чешке, милой молодой даме, которая души не чаяла в своем Васеньке.

Василий Георгевич был любопытным собеседником, главным образом потому, что был по-настоящему сатирик, вся его сущность была сатирическая,

хотя он не чуждался и бытовых описаний. Одно из ранних его произведений, которое произвело сенсацию, - "Роман о сапогах". Кратчайшее, на трех страницах, остроумнейшее произведение, и затем знаменитая его "Кузькина мать", повесть, напечатанная в "Воле России" и обратившая на себя внимание необычайной свежестью и сюжета, и языка, и громадным юмором, и смелостью приемов, потому что само название как бы намекало на ругательство "покажу вам кузькину мать", но на самом деле ничего плохого не заключало - описывалась мать Кузьки. Я наслаждался разговорами с ним. У меня были записи некоторых его вещей, потому что мы иногда ездили вместе в поезде, и он любил пройтись по поводу выдающихся деятелей нашей эмиграции и окружающих, у него был хороший юмор, я старался записать, но и записи, и все те деятели погибли. Интересно было внимание со стороны Лебедева: он мало хвалил прямо, но всем своим поведением давал понять, что считает меня причастным к тому загадочному явлению, которое можно определить как "цех писателей". Третьим из тех, с кем я потом дружил, был Алексей Владимирович Эйснер, автор знаменитой "Конницы" и других прекраснейших стихотворений. Он потом и останавливался у меня несколько раз. Он был на 2, может быть, даже на 3 года старше меня и любил иногда это подчеркивать, довольно резко говоря, что "все это, знаете, очень мило, но вот вы, ребята, маленькие, а я большой!.."

Общение с этими людьми литературного мира, с литературными критиками, литературные разборы новых произведений, как в Ските, прения о качествах того или другого произведения - все это вдруг поставило передо мной с большой силой проблему т а л а н т а, которую раньше я как-то меньше ощущал. Получалось, что просто писать мало - пишут многие, мало печататься - печатаются многие, но многие не таланты, они и пишут и печатаются по разным другим причинам, не от таланта. Это сыграло большую роль в моем литературном развитии, я серьезно старался уже тогда обдумывать свои произведения, которые уменьшились по количеству, но, как мне казалось, стали улучшаться.

Еще более сильным и важным аспектом пражских впечатлений было постоянное присутствие в Праге русской темы. Проблема России присутствовала день и ночь, она освещалась с точки зрения разнообразных политических мнений и в то же время с высот знания. Мне было важно и интересно дополнить те отрицательные впечатления, которые у меня были из-за отца и мамы, плюс впечатления гражданской войны, дополнить их общими построениями - что будет с НЭП-ом, даст ли он России свободу или это один из призрачных этапов призрачной эволюции? Большинство людей в Праге склонялось к тому, что режим остается прежним и, может быть, будет даже огрубление режима. Тогда мы, конечно, не представляли себе, что это может выразиться в формах сталинщины, но ощущение такое было. Это отразилось даже в некоторых моих корреспонденциях из Праги.

Тогда были столкновения между евразийской и западнической концепциями понимания событий. Евразийская концепция для меня была новинкой, и вначале я к ней относился отрицательно, позднее кое-что из нее принял, может быть, отчасти в результате иного, более сложного понимания истории России. К нему подталкивала вся пражская действительность, и с этим никакой подход в Эстонии, ни справа, ни слева, не мог равняться - там все было на эмоциях, а в Праге мнения сталкивались на основе анализов, и это меня увлекло. Наконец, еще один пражский аспект - проблема Православной Церкви.

Прага была единственным местом скопления русской эмиграции, где не было разделения на несколько епархий, как в большинстве центров русского рассеяния, где действовали разные юрисдикции - или синодальная церковь, или церковь, подчиняющаяся Константинопольскому патриарху - тогда прямых подчинений Московскому патриарху за границей не было, а если и появлялись, то это были персональные увлечения, но не явление церковной жизни. В Праге во главе православной русской жизни оказался епископ Сергий (Королев), который попал в Чехословакию не по своей воле. Он был деятелем на Холмщине, еще до 1-й мировой войны, сотрудником архиепископа Евлогия, который был потом в Париже митрополитом. Они старались повлиять на униатов, которые в XVI, отчасти в XVII веке появились в пределах тогдашней Польши, чтобы те вернулись в лоно православия. Это отчасти удалось, но, с другой стороны, во время первой мировой войны монастырь, где тогда был архимандритом о. Сергий, эвакуировался в Россию. После окончания войны он вернулся в Польшу, на прежнее пепелище, и оказалось, что монастырь частично разрушен поляками.

Архимандрит Сергий был возведен в епископское звание патриархом Тихоном, но поляки не разрешили ему оставаться в Польше, считая, что он ведет пропаганду православия, которая не совпадала с интересами Польской Республики. Он перешел границу и приехал в Прагу, никого там не зная. Это и была, очевидно, его жизненная миссия, потому что он остался в Праге на очень долгий срок и сделался главой русской православной церкви, которая именно благодаря ему удержалась от раскола. С Владыкой я познакомился осенью 1927 г. В день рождения моей матери - как раз был день службы - я пришел в церковь и сказал, что хотел бы, чтобы кто-нибудь отслужил молебен. Это дошло до владыки, который вышел и спросил: "Почему Вы хотите служить молебен?" Я объяснил, что это день рождения моей мамы". - "А кто Ваша мама, кто Вы?" Владыка заинтересовался, отслужил молебен, а много лет спустя я узнал, что произвел на него громадное впечатление и он даже рассказывал в разных местах, в том числе в Берлине, откуда я это и узнал, что вот какие бывают еще русские молодые люди - помнят о своих матерях и служат молебны в дни их рождения. С этого момента у нас с Владыкой установилась дружба, он меня

запомнил и приглашал заходить к нему по четвергам, когда у него был большой прием для всех, кто хочет прийти. Он обычно давал чай с тортами, с вареньем - что ему приносили в подарок, то он и ставил на стол. Пироги были очень вкусные, но я редко туда ходил, потому что это было очень далеко, и на церковные службы я редко ходил, потому что жил в тот год за Прагой. По воскресеньям вообще не ездил: поезда были неудобные, к тому же это был единственный день, когда можно было отдохнуть. По субботам тоже очень часто были всякие занятия, так что я далеко не каждую неделю ходил в церковь. Владыка Сергий Пражский сразу завоевал мое сердце тем, что в нем не было ни тени формализма, он все сразу понимал и старался душевно подбодрить человека. Служил он очень строго, истово, с большим внутренним напряжением. Он умел создать атмосферу, у него были великолепные молодые иподьяконы - Бадя Новгородцев, Иван Сергеевич Георгиевский и другие. Был отличный хор, и каждый раз, приходя в церковь, я чувствовал в душе праздник и понимал, что мои родители сейчас молятся обо мне и у нас получается молитвенное общение, несмотря на тысячи километров, нас разделяющих.

Таков был мысленный итог, который я подвел на пароходе, близясь впервые опять к Ревелю. И тут же вставал вопрос о лирике: я поддерживал отношения с многими, многие мне писали. Конечно, больше всего привлекала Рита, она написала много интересных писем, она вообще была искусница писать письма. Я ей отвечал, как умел. К весне писем стало меньше, я даже Косте сказал: "Странно, что так мало писем!" Он сказал: "Ты забываешь, что она кончает гимназию". Ах да, она должна была кончать гимназию, я как-то забыл впопыхах, что и другие тоже должны оканчивать гимназии.

ЛЕТО 1928 г. И НОВЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД.

Чем ближе я подъезжал к Ревелю - возвращение "блудного сына", хотя ничего предосудительного я за этот год не сделал и в лирическом смысле вел себя безукоризненно - тем все больше проникался желанием увидеть героиню повести лета 1927 года. Вошли в бухту, выросли церкви, начиная с Олаф-кирхе, уже виден маленький Кадриорг, мы входим в гавань, и, я вижу, вдали стоят родители. Костя тоже машет руками, говорит - сестры пришли!.. Японец с хладнокровным видом ничего не говорит, но деловито, все запоминающими глазами оглядывает. Наконец, вожделенный момент - мы на земле, и мама с отцом передо мной, обнимают меня: их первенец, единственный оставшийся, вернулся после первого года в далекой Чехословакии, в далеком университете. Теперь уже разговор пойдет по существу, а не то что в этих оборванных, неполных письмах: всегда чего-то не допишешь...

Приехал Юра на велосипеде, тоже мило меня приветствовал, Костя сейчас же отпочковался, Юру отправили с японцем, потому что для японца была уже заказана комната, и мы сговорились, что я зайду за ним на

следующий день. Мы сначала пошли, но потом взяли такси, отец сказал: "Один раз живем, деньги существуют для того, чтобы их тратить, как сказал Карл Маркс!" Он постоянно повторял эту шутку. Мы сели в такси и в мгновение ока приехали в наш милый Екатериненталь. Первое впечатление от Ревеля было, что все как-то уменьшилось - дистанции сократились, парки не столь грандиозны, как казались прежде, дома стали совсем маленькими. Было два слоя впечатлений: один - радость от возвращения домой и полное чувство безопасности в родительском доме - безопасности в психологическом смысле, потому что Прага - это все-таки какие-то военные действия на всех фронтах, а теперь я вдруг был в глубоком тылу и мог стать самим собой. Здесь было все прекрасно. Второй слой - мои личные дела, которые приняли неожиданный характер, не тот, о котором я мечтал, плывя на пароходе. Повесть лета 1927 года оказалась и правда хронологически ограниченной: Рита еще весной вышла замуж. Сначала это произвело на меня очень сильное впечатление, я даже пролежал несколько часов неподвижно на нашей кушетке. Это был урок - не верить женщинам, я усвоил его на много лет вперед, и это определило мое отношение ко многим новым лирическим ситуациям: я стал более осторожным и, может быть, более циничным, чем прежде, оценивая чувства новых героинь.

Некоторое время прошло под знаком японца, который был мил, забавно разговаривал с папой о необходимости русского мира с Японией - не Советского Союза, а вообще России с Японией, о том, что нужно забыть события русско-японской войны и что Порт-Артур был нужен Японии, а нам не нужен - это был его лейтмотив. Мы показывали ему Таллин, затем по моей рекомендации он поехал в Нарву, Юрьев и Печоры - его интересовали только русские районы. Проездив три недели по Эстонии, он появился и поехал из Ревеля поездом в Ригу и Варшаву, которые его тоже интересовали.

Совершенно новую тему внес Сергей Михайлович Шиллинг, который появился у нас вскоре после моего приезда и был страшно мил, даже курьезно внимателен, интересовался в подробностях работой разных русских организаций в Праге, я прочел ему целый доклад о Русском свободном университете, потому что формально в Эстонии тоже был Русский народный университет, правда, он почти не действовал, но в этот момент он перешел в ведение Сергея Михайловича, и он собирался возобновить его деятельность. Он выдвинул интересную идею: День русской культуры праздновался в Ревеле в октябре, хотя он и был связан с именем Пушкина, но его перенесли на начало учебного года, потому что в мае шли экзамены и было трудно организовать празднество. Сергей Михайлович решил кое-что сделать: до сих пор выходила газета "День русского просвещения" или сборничек "Ко дню русской культуры", в которых писало главным образом старшее поколение. "Знаете, - сказал

он,- кажется, уже все темы исчерпаны в этих сборниках, авторы одни и те же, они перефразируют самих себя, и на фоне Ваших рассказов мне пришла в голову мысль - а что если сделать такое издание силами молодых?"

Я сейчас же загорелся, Сергей Михайлович объяснил, что формальным издателем был бы Комитет Дня культуры, но гарантом издания был бы он, а меня взял бы редактором, потому что я знаю литературную среду заграницы. Конечно, я согласился, это было крайне интересно и сразу дало содержание лету: сейчас же начались писания коротких объявлений, что издание планируется, высылайте материалы на мой адрес, потом начался сбор материалов, уже был июль - у нас оставалось только 2 месяца. И мы это сделали. Я говорю "мы", хотя все, в сущности, сделал я, Сергей Михайлович был в этом отношении великодушный издатель, однако все же ввел некоторые вещи, которые я сам не вводил бы, если бы полностью отвечал за издание. Во-первых, он настаивал на названии "Новь", и скрепя сердце я на это согласился, хотя мне оно не нравилось, потому что ассоциировалось с романом Тургенева и с народническими настроениями. Мне хотелось дать новое название, но он усматривал здесь глубокий смысл. Второй удар был еще худшим - он предложил дать эпиграф из Короленко: "А все-таки, все-таки впереди огни". По целому ряду соображений, в том числе потому что я брал разный литературный материал, который ему не очень нравился, я уступил, хотя считал, что такой эпиграф ослабляет наше издание, делает его более элементарным. Но, может быть, это и была его тайная цель: лучше пойдет, привлечет внимание деревни, этот эпиграф был доступен сельской интеллигенции, сельской молодежи. Он объяснил, что мы не можем сделать чисто эстетический, оторванный от почвы, городской, изнеженный по материалу журнал - мы должны стремиться к тому, чтобы он обнаружил интересные тенденции, если они есть, выявил таланты и в то же время дал бы толчок к оформлению лица молодежи, потому у нас был большой отдел "Объявления молодежи". Сначала туда давали обширную информацию, потом пришлось все сокращать и сокращать - не было места, а в ходе работы выявилось, что необходимо иметь объявления, иначе, только на розничной продаже, без подписки, совершенно химерически было бы окупить издание.

Из-за объявлений сокращался материал, так что я сразу встал перед многими техническими проблемами. Тем не менее, все говорили, что издание получилось живым и сравнительно интересным. Кроме технической работы, которую я выполнял - мой опыт газетной работы мне очень помог - я написал передовую статью, которая понравилась Сергею Михайловичу, она называлась "Слава зодчим русской культуры", и был дан целый ряд портретов, даже больше, чем я хотел бы, юбиляров этого года. Но Сергей Михайлович находил, что это делает издание более популярным, опять-таки равняясь на не очень изощренную читательскую среду. Тут он был

прав, портреты нравились, под ними давались даты, и объяснялось, в чем дело. "Сейте разумное, доброе, вечное!" Поскольку шел юбилейный год Толстого, я написал о Толстом - не очень зрелую, но в каком-то смысле необычную статью "Да здравствует весь мир!", взяв в название слова молодого Николая Ростова. Исчерпать философию Толстого я не собирался, но хотел подчеркнуть в Толстом признание м и р а, жизненного материала, который всех интересовал. И это мне удалось. Когда юбилей начался, я еще был в Ревеле, мы тогда давали анонсы, 3 рассказа Толстого издал Учительский Союз, на самом деле Сергей Михайлович Шиллинг. Было объявление о Дне русской культуры, который проходил под знаком Толстого.

По просьбе Сергея Михайловича я сделал целый ряд объявлений с портретом Толстого и попытался их устроить в разные магазины, чтобы выставили в окнах. Как правило, магазины брали охотно, и эстонские, и немецкие, и русские, и помещали на видном месте, и я наслушался комплиментов в адрес Толстого, теории которого считались нереалистическими, утопическими, но искренными. Говорили, что это человек, который говорил и писал так, как думал. В Толстом искали в тот момент принятия мира - не какой-то одной стороны мира, а вообще: "Да здравствует весь мир", какой существует, таков был лейтмотив статьи. Я поместил в газете и свой рассказ "Младшая сестра", и он имел хороший прием. В "Нови" принял участие Герман Хохлов, от которого поступило очень слабое, по-моему, стихотворение, но он очень просил его напечатать, и мы выполнили его просьбу, включили и его сомнительную статью о Есенине, поскольку не было советских материалов, то я решил, что такая статья будет полезна.

Кроме того, там принял участие, дебютировал, Сергей Александрович Левицкий, будущий знаменитый философ, в то время еще безвестный студент, полный комплексов. Он написал кратчайшую статью о Достоевском и озаглавил ее ужасно сложно, и я предложил заменить заголовок, написать "О Достоевском" или "Заметки о Достоевском", чтобы не было так тенденциозно. Неизвестный мне автор - я знал его теоретически, но еще не был с ним знаком - впал в страшное расстройство нервной системы и почти со слезами умолял оставить так, как у него, иначе это разрушит все, что он думает. Поговорив с Сергеем Михайловичем, мы решили, что статья небезынтересна, и оставили странный монументальный заголовок, который шел бы скорее к книге, чем к короткой газетной заметке. Для меня лично очень полезным оказалось знакомство вблизи с типографской техникой, с процессом набора, подбора определенных шрифтов, перемены отдельных слов - всем, что раньше было для меня чем-то отвлеченным. Я несколько дней просидел в типографии "Пяэвалехт", с восторгом наблюдая за работой отдельных наборщиков и машин. Замечательным образом этот опыт мне помог в скором времени, когда я оказался сотрудником Института

Кондакова в Праге и как раз на мою долю выпали контакты с типографией. Знакомство с типографским делом продолжалось в 1929 и 1930 гг., и объем моих знаний все увеличивался. Мимоходом констатирую, что события моей жизни, как я нередко отмечал, имели свою логику и никогда не были лишними.

Конец увлечения Ритой ознаменовался как бы возрождением. Эта история отдалила меня от многих моих друзей, особенно от тех, кто стремился за ней ухаживать, они чувствовали себя обойденными соперниками. Теперь все было в прошлом и не мешало мне возобновить дружеские контакты. Кроме того, в Ревеле было много девушек, которые с удовольствием хотели общаться со мной, не развивать романы на острие ножа, но просто общаться,- я считался любезным, неглупым и даже остроумным человеком. Я вызвал, например, сильные эмоции со стороны Инны Раудсеп, очень милой девочки, во многом большой противоположности Рите. Ее внимание ко мне достигло кульминации в акте ее отца, начальника движения эстонских железных дорог, крупного инженера. Я уже готовился к возращению в Прагу, деньги на отъезд опять собрала Маргарита Карловна, и выходило, что это даст мне возможность жить еще полгода, а что дальше, неизвестно. Однако я не собирался прерывать успешно начатое образование.

Когда я прощался с Раудсепами, у которых много раз бывал и где все любили шутить и веселиться, Иннин отец вдруг говорит: "Я хотел Вам что-то сказать...", увлек меня в свой кабинет и сказал: "Вы сейчас уезжаете, и я слышал от Инны и от других, что у Вас неблестящее финансовое положение, в прошлом году Вам обеспечили весь год, а в этом нет, но позвольте сказать Вам следующее: когда-то в ранней молодости некто оказал мне поддержку - в какой-то момент дал сумму, которая дала мне возможность окончить курс. Я бы очень хотел, чтобы Вы приняли такую же сумму от меня, потому что знаю, что Инна к Вам хорошо относится, и мы с Амалией Генриховной любим, когда Вы приходите к нам, как Вы шутите... Так что примите это не как вмешательство в Ваши частные дела, а просто как акт дружбы... И в будущем, когда Вы станете на ноги и у вас, возможно, будет такая же ситуация, когда надо будет кому-то помочь, Вы вспомните об этом моем подарке и сделайте подарок кому-нибудь другому, и мы будем квиты". Я был искренно тронут, тем более, что знал, что инженер Раудсеп вовсе не принадлежит к породе сентиментальных людей и не любит разбазаривать деньги. Я, конечно, понял, что он делает это, потому что предполагает, что его дочь серьезно интересуется мною, но показывать, что я думал, я не собирался. Я искренне поблагодарил, сказал, что это подарок неожиданный и тем более ценный, и что, конечно, я так и поступлю, во всяком случае я никогда в прошлом году не кутил и не собираюсь кутить, а если будет случай, то вспомню его поступок и попробую подражать ему. В общем, мы оказались довольны друг другом, и он передал мне конверт с не очень

большой, но и немаленькой суммой, приблизительно 200-300 чешских крон, что дополняло мой бюджет и давало возможность спокойно прожить по крайней мере до января ввиду денег от Маргариты Карловны. Нужно сказать, в Эстонии об инфляции еще понятия не имели, поэтому я получал очень маленькую сумму, которой заведомо не могло хватить.

1928 год увенчался для меня присутствием в октябре на акте Дня культуры, который состоялся в театре "Эстония" при большом количестве публики. По моей рекомендации артист де Бур великолепным образом прочитал рассказ Толстого "Три старца", общее слово о значении Толстого сказал Сергей Михайлович - он писал введение к некоторым переизданиям рассказов Толстого и был в курсе его проблематики. Потом выступали хоры - все, что полагается в этих случаях. Получился не длинный, но импозантный праздник русской культуры.

Мы с Костей поехали в Прагу на этот раз через Варшаву, сухопутным путем, мне очень не хотелось попасть опять в бурю и пережить ощущения, дважды уже испытанные, а варшавский путь был мне еще неизвестен. Удалось все преодолеть, визы были получены, труднее всего было с латвийской - латыши не любили пропускать через свою границу бесподданных русских, но я был студент, у меня была виза в Чехословакию, и я благополучно проехал. В Варшаве было очень интересно: это был полурусский город в том смысле, что было большое русское влияние, начиная с языка: в большинстве старшее поколение владело русским. Официально русский язык уже был гоним, и поляки были весьма националистически настроены, но чувствовалось, что город когда-то был частью Российской Империи, здесь встречались разные ветры: с одной стороны, на Маршалковской, одной из самых шикарных улиц Варшавы, французские магазины, французские духи. С другой стороны, собственно польская цивилизация, неразрывно связанная с католицизмом. С третьей стороны, еще чувствовался город империи, даже в меню была смесь: и парижские, и польские, и немецкие блюда, венский шницель и русские биточки. Она мне понравилась, не видом - вид был странный, как бы две Варшавы в одной: великолепная и рядом, за мостами, разрушенными со времен первой мировой войны, полностью не восстановленными, была разбитая Варшава. Странная смесь, как во всей Польше, с одной стороны, утонченности, изящества, а с другой, примитивизма и бедности.

Мне это бросалось в глаза и было интересно: во мне все еще жил русский человек, ищущий следов Империи. В Варшаве мы были от поезда до поезда - приехали утренним поездом, а вечерним уже уехали, провели там 12 часов, но впечатление осталось. Я отправился в редакцию газеты "За свободу", которая помещалась, Бог знает на каком этаже в варшавском предместье, но, конечно, там не оказалось ни Философова, ни Арцибашева, которых я рассчитывал увидеть, зато была любезная секретарша, не очень молодая, немножко утомленная дама. Я ей в виде визитной карточки дал "Новь",

указав, что я Андреев, и спросил, интересуют ли их материалы из Праги. Она сказала, что они были бы рады.

Я позднее посылал туда материалы и о Ските поэтов, и об отдельных писателях, в том числе о Евгении Николаевиче Чирикове. Беседа с ним была в 1929 г., я ее подписал Н.Николин и хорошо помню, как я его посетил в профессорском доме на Бубенче, в верхнем этаже, так что к Чирикову надо было лезть почти на небо. Евгений Николаевич удивился, что я такой молодой, и с интересом отнесся ко мне, хотя на мои вопросы не всегда мог хорошо ответить. Позднее по случаю 85-летия Василия Ивановича Немировича-Данченко я имел с ним интервью и тоже написал статью, которая была напечатана, как и корреспонденция о съезде Русского Христианского движения в Печорах, и другие заметки, которые время от времени я посылал. Дело в том, что газета ничего не платила, если б платили хоть немного, это бы стимулировало, но они не могли оплачивать даже почтовые расходы, самое большее - присылали мне номер своей газеты с моей статьей. Это было хорошо для славы, но не для покрытия почтовых расходов.

Начиная второй год учебы в Карловом университете, я должен был решить, каким образом мне более или менее встать на ноги. Ясно было, что при всем расположении ко мне эстонских меценатов повторные акции невозможны - в первый раз многие приняли участие, теперь - гораздо меньше. Маргарита Карловна дала мне понять, что все держится на даяниях одного человека - русской дамы, госпожи Вахман, жены директора крупной фабрики, приятельницы Маргариты Карловны. Она слышала мои доклады или видела меня на сцене, поэтому дала на второй год сумму, которая могла мне помочь, но будущее мое было темно и неясно...

Я перестал жить с Теннукестом и переехал в Оздравовну, где нашлась для меня комната, Теннукест тоже туда переехал. Наши отношения с ним были вполне хорошими, несмотря ни на что, и как один из немногих сохранившихся памятников той поры приведу его шуточные стихи обо мне, которые он тогда с удовольствием поместил в мой альбом:

Андреева восторженный покой
Сначала Барская смутила -
Она к нему благоволила,
И счастью быть не за горой,

(Вера Дмитриевна Барская, очень красивая студентка, наша коллега, позднее вышедшая замуж за Кирилла Дмитриевича Вергуна.)

Но раз январскою порой Брюнетку Таню он увидел.
Хоть он измену ненавидел,
Решил быть твердым, как гранит,
Принял холодный важный вид,
Но сердце было не из глины.

(Таня Бездек, наполовину русская, на другую - чешка, очень симпатичная

студентка, действительно мне нравилась, и я дружески с ней общался.)

Наш холостяк (так звали академика Францева)
тогда читал Про старорусские былины,
На них Андреев раз попал

(тут я шутя сердился и говорил, что это клевета, - будто я не ходил на лекции, я ходил, и, в частности, на Францева систематически, но этого требовали размер и строение стиха. Францев цитировал много забавных текстов русских былин, иногда даже не совсем пристойного звучания, с намеками.)

И вдруг Танюшу увидал -
Она заливисто смеялась,
Внимая Францева словам,
И сердце Коки сладко сжалось:
Вот ходик - сущий, сущий срам.
Души томящая заминка:
Кто лучше: Таня иль блондинка?
Так наш Андреев рассуждал,
Домой задумчиво шагая.
Эх, всем нам месяц отсиял,
И где ты, юность золотая?

Переселение в Оздравовну было для меня только началом движения в Прагу. Во-первых, я решительно отказался жить с Теннукестом, во-вторых, стремился сократить движение по этой деревне - уходить в бесконечность, в поля каждый день делалось все более обременительным. Оздравовна была ближе к станции, но цель была переселиться в саму Прагу, получить право въезда туда, потому что с нансеновским паспортом, выданным в Эстонии, я имел право жить только в пригородах. И нужно было произвести определенную юридическую комбинацию, чтобы получить другой, уже чехами выданный нансеновский паспорт, который дал бы мне возможность жить в самой Праге. Чтобы осуществить въезд в центральную Прагу, я повидался с русским специалистом по паспортным делам - доктором юридических наук Иваном Степановичем Яковеней, знатоком всевозможных юридических комбинаций, которые приносили его клиентам удовлетворение, а ему гонорар. Он устраивал прописки, обмен паспортов, визы в страны, которые слышать не хотели о въезде эмигрантов даже на самое короткое время. Он все умел. Он поговорил со мной и сказал: "Да, это можно, но это будет стоить 150 крон, потому что нужно заплатить в нескольких инстанциях". Это была приблизительно половина того, что я получил в подарок от инженера Раудсепа: судьба, видно, знала, зачем дала деньги. Я решил, что игра стоит свеч - невыносимо дальше жить за тридевять земель и каждый день мучиться. В Оздравовне уже не было ужина, который нам давала Феодосия Ивановна, нас не ждала теплая комната - нужно было все делать самому. Но когда вы возвращаетесь

поздно вечером, вы ничего не будете делать, даже печку топить, а просто ляжете спать, накрывшись всем, что у вас есть теплого, и это страшно утомляло.

Я чувствовал, что нужно скорее переехать в центр Праги и сократить эти ужасные поездки. Евгений Александрович Ляцкий исполнил свое обещание и два раза в неделю я должен был преподавать вечером на курсах русского языка при Русском свободном университете. Гонорар был очень скромный, но он был бы совершенно бессмысленным, если бы каждый раз нужно было тащиться еще десятки километров домой. Хотелось жить в центре города, где была масса возможностей: вы могли ужинать, например, в столовой ИМКА, где были сравнительно дешево, вы могли пойти в еврейскую студенческую столовую, где была дешевая и хорошая еда, или в чешские студенческие дома - там было дороже, но еда была очень хорошая. При моем нансеновском паспорте, выданном в Таллине, каждый раз требовалась виза на въезд в Чехословакию, а если обменять его на чешский паспорт, то въезд был бы автоматическим, а в Эстонию меня пустили бы, потому что у меня там родители. Яковеня все разыграл мастерски: он взял у меня паспорт, а через некоторое время вызвал меня, отдал паспорт и сказал, что дело налажено и завтра я должен поехать в деревню Мокропсы, там пойти к местному представителю регистрации иностранцев, он уже в курсе дела, он возьмет у меня паспорт и даст мне другой, с пропиской, будто я живу в Мокропсах, и этот паспорт я сразу должен привезти Яковене. Я все сделал и действительно, все было налажено - тот человек только посмотрел фамилию и сказал, что все в порядке. В паспорте было вписано, что будто бы я уже 2 года живу на Венкове и паспорт теперь обменен на другой, причем выставлен другой номер, так что уже нельзя было найти ни входящих, ни исходящих: номер на номере и номером погоняет. Я приехал к Яковене, который только спросил: “Где Вы живете”? И меня прописали в Праге 12, Бубенеч. Я уже нанял комнату, безумно холодную, но другой в тот момент не было. Утром вода замерзала у меня в кувшине. Но и зима была исключительно холодная. Однако “судьба Андреева хранила”, я был молод, здоров и не простудился.

Приближалось Рождество, и у меня появилось много новшеств. Жорж Докс, который жил с Темой Товарковским в самом центре Праги, в Праге 2 - а я прописался довольно далеко оттуда - уезжал на три недели к невесте Мусе в Бессарабию (позднее она вышла замуж за князя Долгорукого). Муся была очень милая девушка из зажиточной семьи и все время присылала Жоржу продуктовые посылки, и сама, приезжая, привозила массу вкусных вещей. Жорж мне предложил пожить с Темой. Конечно, я хотел. Тема был из дружественной семьи, и он тоже был рад, что я у него буду жить. Потом он тоже уехал на какое-то время, а у меня получилось веселое Рождество, главное, теплое. Самый страшный холод я пересидел в этой теплой и приятной квартире. Я первый раз проводил Новый Год в условиях

Большой Праги, а Прага любила праздновать: шли фейерверки, музыка играла всюду, а главное, потом был полицейский час, от половины 12 до половины второго, - такое джентльменское соглашение, что полиция не вмешивалась - и можно было делать на улице что угодно при условии, конечно, что вы никого не обижаете. Мы с Темой и какими-то его приятелями пошли на новогодний ужин в одном из ресторанов около Люцерны. Получилось, что ни у кого из нас не было дамы - у меня вообще не было дамы, у Темы дама сидела в Эстонии, а у других, хотя дамы и жили в Праге, но были в отъезде, так что мы вчетвером очень мило поужинали, выпили вина, потом гуляли по Праге, и было очень весело.

Тогда же, в конце 1928 г. произошло событие, которое определило всю мою жизнь. В ноябре я был на лекции, и, когда мы выходили из зала, Докс мне сказал, что меня хочет видеть доктор Расовский. Я не знал, кто такой доктор Расовский и отнесся к этому довольно холодно, я очень устал в тот день, ничего не ел с раннего утра, когда, согласно договору, хозяйка этой неимоверно холодной комнаты давала мне кофе и рогалик - булку в виде подковки. Передо мной был небольшого роста, худощавый, не очень красивый, интеллигентный человек, который сказал: "Меня зовут Расовский, я секретарь профессора Калитинского, который является директором семинариума имени академика Кондакова". Надо признаться, что я и к этому сообщению отнесся безразлично - я никогда не слыхивал фамилии Калитинского и что-то смутно слышал о семинарии имени академика Кондакова, но в тот момент не мог даже осознать, что именно. Тем не менее, я вежливо сказал, что я к его услугам. Расовский сказал, что профессор Калитинский хотел бы на следующий день со мной побеседовать и если мне удобно, мы могли бы встретиться опять после лекции. Мы сговорились, что он придет завтра в 4 часа и отведет меня к Калитинскому. Я спросил: "Зачем я нужен профессору Калитинскому?" Расовский ответил: "Это он сам определит в разговоре, думаю, что он будет осведомляться о Ваших академических интересах, чтобы, может быть, предложить Вам работать по линии семинариума имени Кондакова". "Но,- сказал он,- это я Вам говорю в частном порядке, Вы завтра сами все услышите от профессора Калитинского". Я поблагодарил за информацию, доктор исчез, и я пошел по своим делам. Те, кого я спрашивал в тот вечер и на следующее утро о Калитинском и о семинарии имени академика Кондакова, мало что могли сказать конкретного, и сведения, полученные мною, были отрывочными и мало говорили о сути дела. Я узнал, что академик Кондаков, который умер 4 года тому назад в Праге, был великий ученый, поэтому в его честь продолжался его семинарий, а теперь был издан его труд "Русская икона". Калитинский - московский профессор, очень энергичный человек, который сумел устроить издание "Русской иконы" и занимается проблемами, интересовавшими академика Кондакова.

На следующий день в 4 часа я был в том же положении, что и вчера,

то есть не смог пообедать, просто потому что у меня оставалось очень мало денег, а надо было заплатить за паспорт, за комнату, за разные бытовые вещи вроде стирки. Расписание лекций было такое, что в полдень хватало времени только съесть рогалик и выпить четверть литра молока. В 4 часа снова появился доктор Расовский, и мы пошли с ним через Карлов мост - красивейший, древнейший мост в Праге, полный всевозможных исторических фигур и символических зверей - любопытное средневековое произведение. Я предпочел слушать речи моего чичероне, а не говорить сам, да он меня особенно ни о чем и не спрашивал. Мы вошли на Малу Страну, и по ее узким, тоже средневековым улочкам пошли наверх, по огромной лестнице поднялись на Градчаны. Это один из подъемов на Градчаны из города - большие, широчайшие ступени. На Градчанах мы пошли в район старых дворцов: не официальных дворцов, которые знать строила позднее и где во время Республики помещалось, например, в Чернинском дворце Министерство иностранных дел. Там были чудные своды, мы как раз шли под ними, и вдруг Расовский говорит: "Мы пришли". Мы вошли в странный внутренний двор, каждый этаж имел свою лестницу, балкон, много было квартир или комнат, открывались двери на эти балконы, и оттуда вела лестница вниз: распространенная в Праге и, вероятно, во всех средневековых городах система построек. Мы прошли во второй этаж, вошли через дверь, выходящую на балкон, и там оказались две небольшие комнаты: первая, в которую мы вступили, была полна книг, я даже не успел их рассмотреть, затем мы вошли в другую комнату, там тоже было очень много книг, несколько столов и шкаф.

Здесь помещался семинарий имени Кондакова и жили его директор, профессор Александр Петрович Калитинский, а также Дмитрий Александрович Расовский, его секретарь. Жилплощадь у них была очень ограниченная, как у всех в Праге в то время. Было приятно тепло, и сейчас же мне дали чай с булочками и с маслом, что тоже было очень приятно, потому что я был голоден. А.П.Калитинский раньше работал директором Московского археологического института и был женат на знаменитой Марии Николаевне Германовой, артистке Художественного театра. Возможно, что он ехал вместе с ней и, попав в район действий Белой армии, они оказались за границей. При жизни Кондакова, который умер в Праге в 1925 г., Калитинский был при семинарии Кондакова, в который входили не только студенты, но и целый ряд профессоров, в том числе историк Георгий Владимирович Вернадский. После смерти Кондакова они решили продолжать его исследования и семинарий. Если раньше это был просто семинарий Кондакова, то теперь он стал семинарием имени Кондакова, они издали великолепный сборник памяти почившего академика, которого специалисты высоко ценили. Археолог, академик Жебелев в своих "Очерках по истории русской археологии" назвал Никодима Павловича Кондакова "архистратигом" русской археологии и русской истории

искусства, не говоря уже о том, что Кондаков сыграл важнейшую роль в мировом изучении Византии, поскольку первым дал хронологическую схему развития эпох византийского искусства. Он изучил - чего до него как-то не догадались сделать - византийские миниатюры в рукописях, которые все были датированы, и получилась схема развития, потому что миниатюры отражали главные черты искусства эпохи, в которую создавались.

Кое-что мне кратко об этом рассказал Александр Петрович Калитинский, объясняя, что такое семинарий имени Кондакова. Рядом с ним сидели два его молодых помощника, один с довольно нервным лицом, с усиками, интеллигентного вида - Николай Михайлович Беляев, историк искусства, другой - Николай Петрович Толль. Толль мне показался очень мрачным в тот момент, он был молчалив, суров на вид, тщательно выбрит, волосы слегка вьющиеся, стоящие наверх, он смотрел на меня как бы с осуждением: что, мол, тут изображаете из себя?.. Беляев улыбался, а Калитинский был вежлив, любезен и проницателен, время от времени с интересом задавал вопросы: что именно я изучал и почему, какие у меня интересы. Я ему объяснил, что моя задача стать славистом, с упором на русский материал, на русскую литературу, пока я занимался новейшим периодом, а что касается старого периода, то делалось мало, в рамках факультета. Он все выслушал благосклонно. Мы выпили чай, и он сказал, что теперь покажет то, что, в сущности, определяет будущее существование Семинариум Кондаковианум, а именно "Русскую Икону" - и кратко рассказал историю того, как Кондаков собирал материал по этой "Иконе", как, будучи академиком, заказал ряд цветных клише в Праге перед войной - потому что проектировал это издание в рамках Императорской Академии Наук.

Кондаков занимался изучением иконы 30 лет, и его рукопись приехала с ним в эмиграцию. Оказалось, что за время войны чехи изготовили цветные клише и обратились затем в Советскую Россию, в Академию Наук, говоря, что заказ исполнили - пожалуйста, платите и получайте клише. На что Академия Наук в лице каких-то легкомысленных представителей партии, ответила, что им не нужны цветные клише икон и у них нет средств заплатить за этот заказ, который был сделан до советского периода. Чехи не знали, что делать, они предлагали клише даже Папе Римскому, но тот отказался. И тут произошло чудо: Кондаков оказался в эмиграции, сначала в Болгарии, где его очень высоко ценили, ибо в одном из своих капитальных исследований, а они у него все были капитальные - об археологическом путешествии по Македонии - он показал болгарский, не сербский характер македонской культуры и тем самым как бы оправдывал исторические притязания Болгарии на Македонскую территорию. Болгары были так обрадованы, что даже наименовали в его честь улицу. Но в Софии он оказался в полном кризисе: Болгария перед этим была на стороне Германии, очень бедная страна, ничего решительно не имела, делать там Кондакову

было нечего, он нуждался и думал, не уехать ли во Францию. Об этом узнал президент Чехословакии. Президент Масарик в 1890-е гг. выставил свою кандидатуру на пост профессора или доцента славяноведения Санкт-Петербургского университета. Его кандидатура прошла, и, в частности, его поддержал академик Кондаков. Затем разыгралась дипломатическая история: об этих выборах узнало императорское министерство иностранных дел и пришло в ужас: с их точки зрения это означало демонстрацию против Австрии, ибо Масарик уже проявил себя как чешский национальный деятель и был в оппозиции австрийскому правительству по ряду вопросов. Выборы его в качестве профессора Санкт-Петербургского университета по славяноведению были бы с точки зрения австрийских властей вызовом Австрии, и министерство иностранных дел рекомендовало министерству народного просвещения не утверждать его кандидатуру. Академики, в том числе Пыпин и Кондаков выразили кандидату свое уважение и сожаление, что не смогли провести его кандидатуру. Масарик это благодарно запомнил.

Он хорошо понимал трагедию русских ученых, которые после большевистского переворота оказывались не у дел, их истребляли, им приходилось бежать за границу. Поэтому Масарик старался помочь ученым, и по его инициативе был учрежден целый ряд личных стипендий для крупных русских ученых. Узнав, что Кондаков бедствует в Болгарии, он его пригласил как гостя Чехословацкой Республики, дал ему персональную пенсию и устроил курс его лекций в Карловом университете - Кондаков читал по-русски, в сущности это был единственный синтетический курс по истории средневекового искусства и культуры, - и даже устроил ему индивидуальный курс занятий с собственной дочерью, доктором Алисой Масарик, которая интересовалась историей искусства. Таким образом, Масарик сделал все, что возможно было в этих условиях сделать, и теперь, когда Кондаков умер, он с большой симпатией относился к идее продолжения изучения средневековья и Византии в том направлении, в каком это делал Н.П.Кондаков. Президент постарался опять обеспечить персональные стипендии - например, для профессора Калитинского как директора семинария имени Кондакова. Затем он устроил продолжение стипендий отдельным молодым ученым, которые только что окончили университет. К таким относились Беляев и Расовский. Николай Петрович Толль получил деньги по американской линии. Президент, который был в сущности, тем, что мы определяем как христианский демократ, возможно, даже левее, нечто вроде христианского социалиста, считал совершенно невероятным, чтобы устоял советский режим, лишенный всякой внешней и внутренней логики, опиравшийся на голое насилие, отрицавший мораль, вековые тенденции русского общества, христианскую культуру, которая лежала в основе развития России. В политике это проявилось в том, что во время его президенства Чехословакия не признала де юре советского правительства. Она признавала его только де факто. Помощь молодым

ученым, по мысли Масарика, была работой на будущее: в один прекрасный момент Россия придет в нормальное состояние и русские эмигранты из Чехословакии вернутся на родину. Если они получили образование в Праге, имели контакт с чешской культурой, с чехословацкими культурными и политическими кругами, это будет на пользу обоим странам. Поэтому он решил учредить, кроме всего прочего, при Кондаковском Институте две стипендии для молодых, которые могли бы стать, по его мнению, такими учеными - полезными именно для будущих сношений Чехословакии с Россией. Как мне позднее рассказал сам А.П.Калитинский, узнав о решении Масарика, он обратился за информацией, чтобы ему указали имя или имена русских студентов философского факультета, если возможно - не старше второго года. Он спросил академика Францева, профессора Ляцкого, Сергея Иосифовича Гессена, с которым был в дружбе и знал, что он много занимается проблемами педагогики и интересуется молодежными кадрами, и, в-четвертых, он обратился в Бюро русских студенческих секций. Профессор Калитинский и весь его штаб были поражены: все 4 инстанции назвали одно и то же имя, только одно - мое. Это их так потрясло, что они решили сразу меня вызвать, результатом чего и была миссия Расовского. И вот я сидел перед ним. Когда мы просмотрели "Русскую Икону" и я ничего не сказал, Александр Петрович заметил: "Мы все идем ужинать, господа, к княгине Наталье Григорьевне", - и объяснил мне, что княгиня Яшвиль, во-первых, большой друг покойного академика Кондакова и отчасти его ученица по иконописи, во-вторых, она деятельно работает по организации семинария имени академика Кондакова и уже установила целый ряд иностранных контактов, которые могут быть полезны для будущего семинара и уже были полезны при создании сборника памяти умершего академика. Все - профессор Калитинский, доктор Беляев, доктор Толль, доктор Расовский и я встали, вымыли руки (что мне понравилось) и отправились по темным улочкам Градчан в одну из вилл вблизи той улицы, где был Семинарий. В этом доме, к моему удивлению, в подвальном этаже, оказалась квартира княгини Яшвиль.

Княгиня Яшвиль предстала передо мной как дама с живым, интеллигентным лицом, проницательными добрыми глазами, очень уже пожилая, там была и ее дочь, которой было около сорока,- Татьяна Николаевна Родзянко. Она была замужем за старшим, кажется, сыном председателя Государственной думы. Мне позднее сказали, что нервность Татьяны Николаевны - у нее было породистое интеллигентное лицо, но очень нервозна была, иногда хохотала нервически - и глубокая седина княгини появились в один и тот же момент, когда в 1918 г. в Киеве пьяная солдатня одновременно убила двоих только что вернувшихся из австрийского плена офицеров - сына княгини Яшвиль и ее зятя, Родзянко. Но тогда я об этом не знал и был очарован прежде всего очень добрым отношением, которое я, в сущности, ни разу не встречал в Праге до тех пор, потому что

общался главным образом по-деловому. Здесь меня усадили, сразу стали угощать какими-то очень приятными русскими, незамысловатыми, но вкусными блюдами, дали вина, и княгиня спросила, как прошла наша беседа. Александр Петрович сказал, что удовлетворен, он узнал все, что надо, и, между прочим, сказал: "Николай Ефремович посмотрел "Икону", но ничего не сказал по ее поводу. Я видел, что она произвела на него впечатление, но комментария не слышал..." Я даже смутился, хотел было объяснить, почему я не давал комментария, но промолчал. И это было к лучшему.

Из разговора Толля, Беляева и Калитинского - Расовский главным образом помалкивал - с княгиней выяснилось, что я, видимо, серьезный кандидат, и Александр Петрович сказал: "Я полагаю, у нас не будет расхождений, а программу дальнейших занятий мы с Вами разработаем дня через 2, вы, если сможете, приходите в Семинарий днем. Я поблагодарил их, не особенно будучи уверен, хорошо или плохо мое привлечение к этой работе: я совершенно не понимал, какая это работа и насколько я смогу в ней преуспеть. Я понимал, что это уже не литература, в которой я силен, это связано, очевидно, с серьезными проблемами, с материалистическим подходом к изучению древности - иконопись, археология, история - тоже в другом аспекте, чем нам читал ее Кизеветтер. Но об этом я пока ничего не говорил. Я был рад и видел, что все они замечательно милые и прекрасные люди, в чем я потом убедился - первое впечатление было очень верное - все дружески ко мне относились, видимо, им нравились, во-первых, моя молодость и моя серьезность, мое нежелание попасть впросак на первых же шагах и даже осторожность, с которой я ел.

Хотя я был безумно голоден, но старался не наброситься на еду и как можно осторожнее вести себя за столом, потому что знал, что княгиня и Калитинский принадлежали к высокому кругу русской жизни, поэтому нельзя было показать себя неучем за столом. Это я нарочно подчеркиваю, потому что осторожность была мне свойственна в те годы - да и теперь, может быть, свойственна, но теперь, на закате жизни, я уже меньше смотрю вперед, а тогда я считал себя хуже других и старался брать с них пример. Потом мы ушли, и, кажется, им понравилось, что я поцеловал руку княгине и Татьяне Николаевне, и поцеловал совершенно естественно, не заученным медвежьим приемом. Мы вышли оттуда, и я прошел тем же путем до их жилища, Толль исчез в направлении Дехтица, Николай Михайлович жил в другом направлении, а я пошел через весь город в свою холодную квартиру, в район Бубенеч, и, шагая, обо всем этом размышлял: интересно складывается судьба - мне предлагают стипендию, размер которой я все еще не знал. Александр Петрович сказал: "Я Вам дам все данные, когда мы окончательно ударим по рукам".

На следующий день я провел быстрые консультации с моими близкими друзьями по линии землячества, и меня полностью поддержал и настаивал,

чтобы я серьезно отнесся к этому, Костя Гаврилов. Герман Хохлов провокативно сказал: "Ну да, если Вы этим займетесь, то потеряете то, в чем уже имеете преимущества - литературу". То есть он не то что давал отрицательный совет, но не выражал энтузиазма. У меня не было возможности спросить никого из людей вроде профессора Ляцкого, я не считал возможным с ними разговаривать в то время и очень серьезно думал, как к этому отнеслись бы родители. Я увидел в этом, может быть, замысел судьбы, потому что как раз деньги у меня кончаются, и, несмотря на то, что Евгений Александрович Ляцкий любезно предложил мне некоторую секретарскую работу у себя и к тому же я преподавал дважды в неделю на курсах русского языка при Русском свободном университете - все это были капли в море. Если бы мне предложили стипендию и, как Александр Петрович сказал, квартиру в том же доме, это было бы решением проблемы. Я рассказываю об этом подробно, потому что я был очень еще молод и решать такие жизненные проблемы было трудно - хорошо это или плохо, выйдет из этого что-нибудь или ничего не выйдет? Совершенно неизвестно. Я не очень церковный человек, это всю жизнь было моим недостатком, но я верующий. И я горячо помолился в тот вечер и просил Бога вразумить и направить меня именно тогда, через день, когда я буду разговаривать с Калитинским.

Когда этот день настал, я был восхищен всем, что случилось. Я пришел утром, как он предложил, около 11 часов, и увидел опять эти комнаты, опять везде был порядок и тепло. Доктор Расовский в этот момент упаковывал книги, которые были уже выпущены Кондаковским институтом и рассылались в разных направлениях. Я поразился - были приготовлены картонные коробки для "Русской Иконы", так что упаковать ее было просто и в то же время надежно, специальные картонки были приготовлены для упаковки "Сборника" в честь Кондакова, который де факто был осуществлен, уже когда он умер, хотя его готовили к 85-летию академика.

Александр Петрович был просто обворожителен. Он вообще обладал большим шармом: очень высокого роста, видна была породистость, и в лице, и в манерах он был большая индивидуальность, всюду обращали на него внимание. Недаром за него вышла одна из первых красавиц Москвы, Германова, замечательная актриса. Они все обдумали, и моя кандидатура прошла. Он сказал мне следующее: во-первых, я получу комнату. Ее, возможно, придется делить с другим студентом, которого пока нет, он предполагал, что выпишет из-за границы русского студента, которого встретил в Польше. Покуда я живу на стороне, я буду получать 650 крон в месяц - это было что-то невероятное - в 2,5 раза больше, чем сумма, которую я получал из Эстонии. И пока у меня никаких специальных нагрузок не будет, за исключением того, что меня просят договориться с Расовским и приходить два раза в неделю, скажем с десяти до часу, чтобы помочь ему с упаковкой книг и чтобы он меня ввел в почтовую и, может быть,

корреспондентскую деятельность. Все члены Семинария тоже работали технически, это была предпосылка: все. Что касается перспективы, он выдвинул две возможности. Одна - программа-максимум - перейти на археологию и историю. Другая - программа-минимум - остаться славистом и добавить разные предметы: "Что Вы думаете по этому поводу сами?" Я сказал, что я человек очень осторожный, все будет зависеть от моей работы, и я думаю, что нецелесообразно терять ту почву, которую я уже завоевал, меня уже знают слависты, и потому переходить на археологию, в которой я неизвестно как себя поведу, едва ли нужно. Это первое. Второе - я и сам собирался расширять программы, лекции по византийскому и русскому искусству я уже записал, принес индекс, показал, что я на них хожу, но пока не сдавал. Если нужно, то я смогу сдать и экзамены. Это им понравилось. Александр Петрович сказал, что это превосходно, и добавил, что они еще обдумают этот вопрос, но он склоняется к моему решению, которое считает реалистическим. И если нужно добавить курсы, чтобы я лучше себя чувствовал в рамках Кондаковского Института, то, может быть, целесообразнее и быстрее сделать это не в университете, а при Семинарии имени Кондакова. "Например, введение в археологию - Николай Петрович Толль может рекомендовать книги и провести занятия. История русской археологии: пожалуйста - один из нас рекомендует книги, проведет беседы, чтобы у вас была ориентация. Определенные задания по византийскому материалу - то же самое". На этом мы как будто и договорились.

К моему восторгу 1 декабря мне заплатили 650 крон. Это кардинально решало проблему, и я мог себя чувствовать более надежно. Я написал об этом родителям, прося и их совета, и получил от них письмо, в котором они боялись принимать на себя решение, но думали, что это хорошо. Если я буду углубляться в материал по древностям, тем более будут основательными мои знания по новейшим периодам, потому что все стоит на историческом фундаменте. Мне понравилась эта точка зрения, она мне давала аргументацию. Я нарочно позволил себе рассказать это более или менее подробно, потому что это было крупнейшее событие в моей жизни того периода и в конечном счете - всей моей жизни. Я с интересом отмечаю, насколько я был пойман врасплох этим великодушным предложением. В сущности говоря, я должен был гордиться, что меня выбрали. Но у меня этого чувства не было - я был обеспокоен и даже напуган, смогу ли я все это делать? Я видел перед собой знающих людей, которые оказали мне доверие, и это доверие обязывало меня. С другой стороны, сильно менялась программа моей деятельности - становилось ясно, что Институт кооперации отходит назад, я уже с большим трудом мог попадать туда на лекции, но старался сдать все зачеты за два года. Даже с моими нормальными лекциями было трудно, потому что нужно было 2 или 3 раза в неделю приходить утром в Семинарий. Попытки переставить эти часы на послеобеденное время не увенчались успехом, потому что технически все

работали только до обеда, а потом уже занимались своими научными проблемами. Это ставило меня в трудное положение - я еще был студентом. Конечно, я уже мог не являться на какие-то лекции, но все-таки это было опасно, так что путь мой не был усеян розами, было много шипов, но в конце концов я эти трудности преодолел. Не было торжества, в духе, как мы всегда смеялись, "Гей, славяне!" - такого чувства не было, потому что стояло много проблем: как сохранить свободу, непосредственность студенчества и обязанности в отношении Семинара имени Кондакова? Признаюсь, я даже грустил по студенческой вольности, которая теперь мне казалась потерянной. На самом деле потом все образовалось, и я сумел удовлетворить свои различные интересы. Но первые месяцы было трудновато, хотя, вероятно, это давало закалку характеру. Мне многие завидовали - я вытащил лотерейный билет, но думаю, что едва ли большинство справилось с трудностями, которые мне пришлось преодолевать.

В январе 1929 г. прибыл второй стипендиат. В Праге других кандидатов не было, поэтому Калитинский обратился к совсем не известной личности, Евгению Ивановичу Мельникову. Тот был на 2,5 года моложе меня, окончил гимназию в одном из "трущобных", как он говорил, уголков Польши. Отец его умер, у матери была еще дочь. Учился он хорошо, и диплом у него был хороший, и, когда он приехал, то горел желанием заняться любой отраслью университетского знания.

SEMINARIUM KONDAKOVIANUM

Евгений Иванович был вселен в те же "полторы", как мы их называли, комнаты, которые находились этажом выше канцелярии, библиотеки и склада изданий Семинариум Кондаковианум, куда я приходил 2 или 3 раза в неделю, чтобы помочь Расовскому в его почтовых обязанностях. Евгений Иванович был милый и любезный человек, за все годы, что я с ним жил, а жил я с ним лет 8 в одной комнате, у нас не было ни одного конфликта, хотя это свидетельство не только его хорошего характера, но и моего! Мы всегда были друг к другу внимательны. Мне было даже выгодно, что он со мной жил, потому что он был домосед, редко выходил по вечерам, а если выходил, то на общественные события вместе со всеми членами Семинара или вместе со мной. Обычно он сидел дома и всегда отапливал помещение. Так что когда я возвращался, комната оказывалась хорошо протоплена. Раз в неделю приходила уборщица, которая все мыла, а мы поддерживали ежедневный уровень. За все годы я не имел к нему ни малейших нареканий. Он держался деликатно, был скромный и честный. Забегая вперед, скажу, что он кончил программу-максимум: его направили на археологическое отделение, и он написал докторскую работу по классической археологии. Но по существу он был филологом. Профессор Калитинский искал археологов, а нашел филологов. Филолог Евгений Иванович был отличный,

он выучил чешский язык лучше, чем кто-либо из членов Семинара, и, когда я вел Институт, то мог всегда на него положиться - если он напишет чешское письмо, его не надо показывать чеху, оно будет грамматически и идиоматически удачно. Классическая археология была для него тупиком, он там сделал все, что мог, но у него не было инстинкта археолога, что очень быстро почувствовал Николай Петрович Толль, у которого этот инстинкт был. Даже покойный Н.П.Кондаков публично хвалил его в своем Семинарии, сказав, что у него есть данные настоящего археолога, потому что он видит, понимает, чувствует м а т е р и а л, а археология есть наука о материальных вещах, а не об отвлеченных, духовных проблемах. Толль быстро почувствовал, что Евгений Иванович подпадает под другую формулу Кондакова, который сказал, особенно имея в виду немецкую археологическую науку, что удивительно, как на свете много архиолухов и как мало археологов. Это немножко ядовитое обобщение Николай Петрович быстро распространил на Мельникова. Когда Мельников начал работать над темой, Толль обнаружил, что он не понимает, что такое археология. Но благодаря акции Масарика и профессора Калитинского Мельников получил высшее образование, оторвался от русской почвы в Польше и превратился в ученого средней руки, с филологическим уклоном, что я с интересом отметил по его публикациям, когда уже был в Англии, а он был под советским контролем в Чехословакии.

Когда он приехал в Прагу, он многих поразил как фигура комическая: он приехал из Польши, трепеща от ненависти к польским порядкам и от восторга перед идеей, что он русский. В его черную гимнастерку была вшита широкая лента русских национальных цветов: белый, синий, красный. Мы поразились: мы все были русские националисты, все были патриоты, но такой демонстрации мы не ожидали. Поэтому, когда он пришел в "Русский очаг", все с удивлением, с интересом и с насмешкой смотрели на него, потом - с сожалением, как на недоросля, до такой степени наивного, что он старается демонстрировать каждую минуту направо и налево, что он русский. Это казалось диким и незрелым. Но я лично отнесся к Евгению Ивановичу - как мне казалось, во всяком случае - с деликатностью и никогда ничего у него не критиковал, включая этот значок. Я вполне понимал его чувства, потому что бывал в Польше и знал о польских притеснениях русских, знал реакцию русских на это. В этом отношении панская Польша преуспела: она восстановила русских против правительства в Варшаве. Но я считал, что Евгений Иванович сам должен все понять, без нажима со стороны. Если на него давить, то получится травма. К сожалению, не все разделяли мою точку зрения, несколько раз он встретился с открытой насмешкой. Он очень переживал, задумывался вечером, упорно молчал. Потом я ему сказал: "Не обращайте внимания на такие вещи, младшее поколение даже не понимает, что русских могут притеснять как русских, потому что в Чехословакии ничего такого нет. Не беспокойтесь, не принимайте к сердцу этого". Он, кажется,

был благодарен, и в один прекрасный день лента исчезла, а потом все об этом забыли. Хотя злые языки и вспоминали, каким Мельников появился из Польши - я возразил, что это вина не его, а вина Польши, что она может образованных, окончивших среднюю школу потенциальных польских граждан обращать в своих врагов.

Дмитрий Александрович Расовский, с которым мне довелось много и близко сотрудничать в Институте имени Кондакова, начиная со стадии Семинария имени Кондакова, был для меня фигурой огорчительной. Он был хороший человек: работоспособный, преданный делу, любопытный в своем подходе к историческому материалу, талантливый исследователь. Самой трудной чертой его было то, что он не совсем был искренним, а когда вы живете близко к такому человеку и должны с ним сотрудничать и все время чувствуете двойную его природу, это затруднительно. Начали мы с ним дружески, и покуда я был студентом, он, я полагаю, был чрезвычайно ко мне лоялен. Но позднее, когда я стал доктором философии и действительным членом Института, выяснилось, что Дмитрий Александрович не очень одобряет мои успехи в некоторых областях и потому относится ко мне отрицательно. У нас было несколько столкновений, но это долго оставалось между нами, потому что он был очень хитрый человек, а я не считал возможным свои личные проблемы делать достоянием гласности, даже в пределах членов Семинария. Хотя он считался хорошим ученым, старшие члены Семинария относились к нему без особого увлечения, а Толль и Беляев, признавая его научные достижения, в то же время отрицательно относились к нему как к человеку. С Калитинским Расовский был подобострастен, и тот никогда не понял его сущности и поэтому оказывал ему большое доверие. Ему также покровительствовал Георгий Александрович Острогорский, который сыграл большую роль в его дальнейшей жизни. Княгиня Яшвиль говорила - я много раз это слышал - какой он преданный человек, как хорошо работает, с каким достоинством держится. Но то, что он держался с подчеркнутым достоинством, выдавало его комплексы: он был редкостно некрасив, хотя лицо интеллигентное, напоминал ученого ослика, это всегда бросалось в глаза, и не только мне. Это сказывалось, по-видимому, на отношении к нему женщин и девушек всевозможных: его уважали, но не стремились сближаться с ним. Хотя это все ерунда, и лично я тоже был, вероятно, виноват, в том, что не шел навстречу, но надо сказать, что меня утомляло его двурушничество. Я даже однажды ему сказал: “Я вижу Вашу тактику - Вы хотите, чтобы я ушел из Семинария, предупреждаю Вас, я не уйду. А если будете настаивать, я это сделаю предметом гласности”. Он как-то сразу увильнул, и интриги пошли глубже, он вообще был интриган. Он был не лишен героизма: учился в каком-то кадетском корпусе в Москве, потом, когда все закрылось и стало невмоготу, он, рискуя, Бог знает чем, прошел через Польшу и все границы - времена были аркадские, можно было пройти - а он был такой незаметный,

мышинообразный ослик, который всюду проходил и его никто не замечал. Он появился в Чехословакии, где тогда еще давали стипендии, и написал работу о Владимире Мономахе - что тот отнюдь не был под властью религиозных представлений, а наоборот, проводил в своих сочинениях весьма светские мотивы. Эта точка зрения, которая теперь господствует, тогда была новой и привлекла внимание Вернадского. Так Расовский вступил в контакт с кругом Семинариум Кондаковианум, где был очень полезен, потому что работал, не щадя своего времени. Он уже достиг цели, уже был доктором, и вопрос был в том, чтобы развивать дальше этот Семинарий, тогда был шанс расти вместе с ним. Это была его предпосылка. На нас он смотрел, как на неизбежное зло. Он был позднее в полной оппозиции к Мельникову и долгое время колебался в отношении меня, но в конце концов перешел в оппозицию и ко мне. Его трагическая смерть - он погиб в 1940 г. - во многом примирила меня с ним, но не изменила фактов, а факты были иногда чрезвычайно огорчительные.

Одним из важных членов Института - я все его называю "Институт", хотя это позднейшая форма организации нашего учреждения, вначале это был Семинарий имени академика Кондакова - был Николай Михайлович Беляев, я его знал уже как доктора философии. Он специализировался по иконографии, византийской и русской. Он был старше нас лет на 10 или 8. И был фигурой очень любопытной: очень нервный, живо реагирующий на то, что его интересует, не очень уравновешенный в своем поведении, так что готов был иногда и попьянствовать, иногда поиграть в карты. От него веяло личной неустойчивостью. Он был офицер Белой армии, сын инспектора артиллерии, генерала Беляева, и племянник того Николая Тимофеевича Беляева, который стал известным историком по варяжскому вопросу. Высококультурный человек, это сразу чувствовалось, но мало пригодный для работы с молодыми, потому что он как бы не понимал, что молодым надо дать время, дать постепенно родиться их знаниям, а не мгновенно максимально погружать их в материал. Я лично поэтому не очень старался что-то от него получить, но с интересом рассматривал его работы. Тогда он действительно зажигался, и было интересно слушать его мнение и смотреть на его методы работы.

Он обладал свойством быстро сходиться с людьми, хорошо говорил по-французски и удовлетворительно по-чешски, так как получил степень уже в Карловом университете, что было полезно Институту. От него исходило полезное культурное влияние, он делал много интересных замечаний. Он иногда неожиданно приходил к нам и, как Евгений Иванович говорил с досадой, начинал "мешать работать" - вваливался, сидел часа полтора, совершенно не считаясь с тем, что мы заняты. У него в этом отношении был странный подход. Но его рассуждения были интересны, например, когда мы говорили о Толстом, он чрезвычайно высоко ставил Андрея Болконского и целый ряд его черт считал образцовыми. Он рассказывал о гражданской

войне, где его роль мне была не очень ясна, потому что едва ли он много успел повоевать, но все-таки воевал. И княгиня, и Татьяна Николаевна считали его талантливым человеком, он им и был, но неуравновешенным, крайне опасным, я бы сказал, для руководства,- никогда нельзя было поручиться, что он действительно проведет ту линию, о которой вчера говорил. Присутствие Александра Петровича Калитинского прекрасно на него действовало, он занимал свое место и не выскакивал. Но стоило тому уехать, начинались его выходки. Он погиб трагически, случайно, хотя в этом была своя закономерность для судеб этого ученого учреждения.

Совсем другим был Николай Петрович Толль, которого я сначала побаивался, а потом очень оценил. Он вообще по природе своей скептик, и первое, что замечал, - что все плохо, все не то, и кандидаты не те, и знания их никуда не годятся. С другой стороны, он отлично понимал, что происходит с людьми. Он мне дал, например, "Введение в археологию" и целый ряд археологических проблем, которые нужно было разработать, я это сделал на материале, который он советовал, а кроме того, взял еще что-то. На экзамене присутствовали Калитинский, Беляев и Николай Петрович, с таким видом, что, мол, не стоит даже и время тратить на Андреева. И вдруг Андреев не только все знает, но и все разобрал. Когда Толль показал фотографии разных древностей - это всегда была трудная часть экзамена - и оказалось, что я все знаю и древние вазы сидят у меня в памяти, Николай Петрович был изумлен. При этом он обнаружил, что я прочел не только то, что он упоминал, но и целый ряд справочников, включая немецкие, так что я знал гораздо больше, чем он предполагал. Это его поразило, и он сказал: "Да, видно, видно, что Вы работали". Калитинский очень меня хвалил, и Беляев тоже признал, что я на уровне. После этого у нас с Толлем установились лучшие отношения. Позднее Николай Петрович сыграл огромную роль в выборе темы для моего доктората, и я ему крайне обязан. Я тогда плохо понимал, что, собственно, мне выбрать, чтобы это было связано и с древним периодом русской письменности, по которой я формально писал свою диссертацию, и, с другой стороны, чтобы вопрос не был совершенно чужд Институту имени академика Кондакова. Толль выдвинул тему "Дело дьяка Висковатого как литературное и идейное явление", и она оказалась замечательной, моя работа произвела впечатление и до сих пор не сошла со сцены. Она явилась новым соединением идейных проблем века, в данном случае XVI века, которым я занимался специально, и иконографического материала, русской иконописи. Подходом к этому новому я всецело обязан Н.П.Толлю. Назвав тему, он дал мне полную свободу, и, когда я время от времени сообщал ему, как идет исследование, он был очень полезен при обсуждении материала: он отлично видел правильность направления исследования. Это инстинкт материала, о котором говорил Н.П.Кондаков, и он у Толля действительно был. Он более чем кто-либо научил меня исследовательскому подходу внутрь, вглубь.

Беляев прибавлял к этому знания об иконописных типах, об эволюции отдельных композиций, что тоже было полезно. Но первенство здесь у Толля. К тому моменту, когда мы познакомились, он уже был женат на сестре Георгия Владимировича Вернадского. Женились они, видимо, по взаимной большой любви. Они меня пригласили как-то ужинать, и, когда я пришел к ним, то был озадачен - у них по восточному обычаю не было мебели. Николай Петрович в это время увлекался Востоком, так что все сидели на цыновках и каких-то неудобных подушках. Толль отлично готовил, дал алкоголь, но сидеть было неудобно. Позднее, когда его жена окончила медиицинский факультет и получила практику, у них стало больше денег, они переехали на другую квартиру и там, слава Богу, вернулись к западному стандарту. Я даже шутя сказал, что вижу победу Запада над Востоком и приветствую ее, потому что сидеть в креслах или на диванах много удобнее. Николай Петрович был доволен моим замечанием, но сказал: "Чего можно ожидать от Вас, типичного западника!"

Сам он принадлежал к евразийцам и был в большой дружбе с целым рядом выдающихся евразийцев. Евразийским историком был Г.В.Вернадский. Большое влияние на Толля, как и на многих людей того времени, оказал Петр Николаевич Савицкий, лидер евразийцев. Знакомство с Толлем было большим приобретением для меня, так как теперь я попал в исследовательскую среду. Она была чрезвычайно полезна, она выковала во мне настоящего исследователя. Каждую пятницу, за малым исключением, устраивались заседания Семинария, иногда приглашались специалисты, если был какой-нибудь специальный доклад, и происходили обсуждения новых книг. Разбирали важные этапы исследований членов Семинария и подвергали их строгому анализу, причем меня поразило, что никто не обижался, если даже их критиковали. Во-первых, человек, которого критиковали, мог спокойно ответить. А в случае неотразимой критики мог сказать: "Я обдумаю этот вопрос и через некоторое время скажу, согласен ли я с вашей критикой". Такой подход мне казался конструктивным. Это была уже исследовательская ячейка, в которую мне посчастливилось попасть. На этом фоне были особенно огорчительны мелкие личные столкновения.

Особое место занимал А.П.Калитинский. Он был отличный организатор, прекрасный психолог, но более того - он был крупнейший методолог, может быть, лучший, какого я встретил в этот период своей научной жизни. Его работы не были широкими по диапазону и стремились к большей детальности, даже углубленной узости, если можно выразить таким образом их сущность. Все они отличались замечательной методологической выдержанностью. Поэтому обычно его теории невозможно было опровергнуть - нравится или не нравится, но материал был продуман и представлял собой нечто методологически цельное. Ученый высокого класса может не знать подробностей вопроса, но он сразу увидит основу

подхода к любой теме. Он был незаменим на заседаниях семинара, когда вдруг самым дружеским образом, двумя-тремя вопросами - обычно вопросами, чтобы докладчик понял, а не со стороны ему указали - вдруг выяснял, что подход к данной теме не полностью продуман, есть уязвимые места и подход надо пересмотреть или дополнить. Это было очень полезно, потому что конкретно показывало увлеченному фактическими подробностями исследователю его методологические просчеты - сужение базы или, наоборот, неоправданные обобщения, что в научной работе всегда опасно. Этому Калитинский учил замечательно. Он регулярно ходил в Историческое общество, и я по его примеру стал туда ходить и позднее был избран туда. В Философском обществе Калитинский мог задать и задавал докладчику 2-3 вопроса, которые вдруг вгоняли того в жар и в холод, потому что становилась очевидна непродуманность схемы и метод повисал в воздухе. Он вдруг выдергивал один кирпич из-под ног, и все здание кривилось и падало. За это его даже побаивались и не очень любили те докладчики, которым попадало. А бывало и наоборот: его замечания как раз чрезвычайно поддерживали докладчика.

В моей памяти ярко вырисовывается замечательный открытый диспут в Историческом Обществе по поводу популярной темы - тайны старца Феодора Кузьмича: был это Александр I или нет (незадолго перед тем за рубежом вышли 2 книги на эту тему)? Русское Историческое общество устроило открытую дискуссию с вступительным докладом доцента Саханева и при участии в прениях таких знатоков, как Кизеветтер, Завадский и другие. Общая тенденция и докладчика Саханева, и главных оппонентов сводилась к отсутствию доказательств того, что Феодор Кузьмич был Александром I, и профессор Кизеветтер не без пафоса даже говорил, что Император Всероссийский не иголка, чтобы его могли потерять в стоге сена и что все это легенда. Профессор Завадский считал, что целый ряд доказательств тождества Феодора Кузьмича и Александра I на самом деле -произвольно подобранный материал, который может укрепить точку зрения верующих, но не объективную истину. Было очень интересно, собралось много народу. Профессор Калитинский задал всего 2 вопроса; он сказал, что остается непонятным следующее: если это не Александр I, о чем как будто свидетельствует ряд косвенных доказательств, то кто этот таинственный Феодор Кузьмич? Покуда нет ответа на этот вопрос, легенда будет оставаться. Второй вопрос -почему, если в этом не было нужды, император Николай I немедленно после того, как он оказался неожиданно для себя на престоле, посвятил столько внимания обстоятельствам смерти Александра I? Почему целый ряд документов затребован был в Петербург? Почему были приняты странные меры предосторожности - чем это объясняется? Поведение Николая I как будто свидетельствует о том, что правительство в чем-то не было уверено, чего-то боялось, но чего? Декабрьское восстание было уже сломлено, революционной ситуации в России уже не

было - чего боялись? Откуда такое напряжение во всем, покуда останки императора Александра I везли из Таганрога и погребали в Петропавловском соборе? Это нужно проанализировать, потому что впечатление такое, что современники думали иначе, чем наши аналитики. Затем третий момент: Кизеветтер думает, что тайна не могла быть соблюдаема многими людьми, но он, Калитинский, полагает, что как раз на таком высоком уровне и при такой преданности Императору, какая существовала тогда, подобные тайны могли удерживаться. Он сослался на ряд примеров XVIII века: мы до сих пор не знаем целого ряда подробностей именно потому, что лица, которые их знали - небольшой круг - считали себя связанными молчанием. Под его методологическим воздействием выступил Н.М.Беляев, который не согласился с анализом портретов и посмертных масок, данный Саханевым, и сказал, что, наоборот, по его мнению как историка искусства, они подтверждают тождество портретов Александра I и маски Федора Кузьмича. Это произвело большое впечатление, и, кажется, устроители были недовольны, потому что вдруг почувствовали себя, как всегда бывало при выступлениях Калитинского, немножко в воздухе. Его методологическая сила была уникальна! И я благодарен ему по гроб жизни за то, что в те юные годы он направил мое внимание на важность методологии. Когда я сам стал руководить исследованиями, я всегда обращал внимание, на то, "как" пишут работы кандидаты. Менее существенным было "что" - "что" меняется, "что" - это точка зрения, истолкование, но к а к толкуют материал, каким методом - это существенно. Здесь Калитинский внес большой вклад в мое понимание научной работы.

К сожалению, он покинул нас довольно трагически в 1930 г. Это произошло совершенно неожиданно, в разгар его деятельности. У Калитинского было трудное личное положение. Его жена, Мария Николаевна Германова, мать их сына, который учился тогда в Швейцарии, красавица, артистка Художественного Театра, перестала жить с Александром Петровичем и стала подругой очень богатого индуса, который мог создать ей приятные условия жизни и обеспечить ее сына в Швейцарии. Александр Петрович получал приличную, но невысокую академическую пенсию. Его сильно удручала эта ситуация, он ее скрывал, но лица, близкие к нему, знали, что это его гложет день и ночь. С другой стороны, здоровье Масарика становилось все хуже, предполагалось, что он скоро уйдет в отставку, и было ясно, что в связи с общим изменением отношения к Советскому Союзу финансирование Семинария станет проблемой. Надо было попытаться из маленькой группы ученых превратить все дело в более открытый для общества Институт имени Кондакова, который широко поддерживали бы разные лица. Надо было завести всевозможные группы членов: членов-благотворителей, почетных членов и действительных членов, а главное, надо было найти новые источники финансирования. Калитинский очень много на эту тему писал и думал. В какой-то момент появилась

надежда, что Институтом заинтересуется знаменитый художник Николай Константинович Рерих, который в то время здравствовал в Америке, где в его честь были создан музей и общество. Был шанс, что Рерих примет на себя звание почетного председателя, а директорами будут Калитинский и Вернадский. Будет целая серия изданий, и тех, что уже были в Семинаре Кондакова, и те, которые, может быть, появятся в связи с новыми задачами, - возможно, появится даже более популярная серия. Планов было много, но условие было одно: нужны деньги, без денег все оставалось планом. А летом - я находился в Эстонии у родителей, вдруг в газетах пошли телеграммы, что с Калитинским что-то случилось, предполагалось даже в какой-то момент, что его похитили большевистские агенты, но оказалось, что у него был нервный кризис и он совершил или пытался совершить некий, не очень подходящий к его личности поступок и попал под арест. Когда это выяснилось, он был в глубокой депрессии, и его отправили отдыхать в Париж. Он больше не вернулся в Прагу, хотя, надо отдать справедливость чешским властям, отнеслись к нему очень гуманно и обеспечили его содержание вплоть до смерти. Это был удар для всего Семинариума, который еще не был реорганизован, а главное, началась борьба за власть.

Покуда был Калитинский, было естественно, что он стоит во главе, перед этим был Вернадский, и они были дуумвират. Теперь Вернадский жил в Соединенных Штатах и мог быть только духовным вождем. Может быть, больше шансов имел Толль, потому что много работал по изданиям, и, кроме того, он был археолог. Но Н.М.Беляев вовсе не собирался идти под Толля, а Толль не собирался идти под Беляева. Был большой конфликт, который меня мало касался, он происходил на высшем уровне и главным образом лег на плечи княгини, которая вместе с дочерью всеми силами стремилась смягчить и урегулировать проблемы. Кончилось все очень грустно, и, как всегда, предопределением. Беляев уже предпринимал отчаянные и не очень корректные действия: решительно объявил войну Толлю, не хотел признавать увещеваний Вернадского в письмах, отрицал роль княгини, которая хотела мирного исхода конфликта, и вступил в сношения с некоторыми чешскими профессорами, которые не прочь были поддержать Беляева, если он введет их в Институт Кондакова. Но в этот момент Беляев вдруг исчез. Оказалось, он погиб. 23 декабря 1931 г., в канун Сочельника, его сбил на улице случайный грузовик. Видимо, при нем не было документов, и потом его нашли в морге. Это произвело просто страшное впечатление: конфликт был решен, но какая судьба - почти греческая... Мы содрогнулись. Это очистило дорогу Толлю, у него не было конкурента. Толль не собирался захватывать власть, он хотел иного - найти директора. У нашего Института Кондакова, который начал уже переформировываться, появился устав, заместитель директора - Толль, а директора не было. В конце концов его нашли - Александр Александрович Васильев, академик, специалист по византийской и арабской истории. Он

был в Соединенных Штатах, но согласился, вначале даже не заезжая к нам, стать директором. Это решило проблему: Толль остался заместителем, княгиня стала казначеем, Расовский - секретарем. Я к тому времени почти окончил университет и имел в Институте библиотекарские и разные другие функции, хотя главная моя задача была, конечно, кончить докторскую работу. Забегая вперед, хочу с благодарностью вспомнить, что, несмотря на свое трагическое исчезновение, Калитинский остался с нами в хороших отношениях и переписывался со всеми. Когда я опубликовал в 1932 г. в 5-ом "Сборнике" часть своей докторской диссертации "О деле Дьяка Висковатого", он написал мне интересное и очень важное письмо, подробно анализируя мою работу, и очень ее одобрил.

Говоря о тех, кто играл большую роль в Семинариуме Кондаковианум, а потом в Кондаковском Институте, я должен сказать о княгине Яшвиль и поставить ее даже во главе всего коллектива. Это была необыкновенная женщина, которая едва ли может быть создана новейшими условиями развития России. Она принадлежала к аристократии и была дама в самом высоком понятии этого слова. Происходила она со стороны отца из шотландского рода Филипсон, ее предки перешли на службу в Россию в XVII веке и сделали карьеру главным образом в армии. Во второй половине XIX века ее отец был генерал-лейтенант, наказной атаман войска Кубанского - Филипсон. Довольно забавно звучит, что у кубанцев был наказной атаман, но это значит, что он был назначен правительством. Это был абсолютно русский человек по духу, служил Империи не за страх, а за совесть. Но английская или, вернее, шотландская ветвь сохранилась в том, что они дома пестовали наряду с русским и живой английский язык. Это обстоятельство сыграло роль, когда княгиня оказалась за границей после революции. Она была из редких русских, которые тогда свободно владели английским.

Трагическая гибель сына и зятя произвела на нее такое страшное впечатление, что она сразу поседела, и с тех пор никогда не снимала траура. Ее жизнь была удивительным сочетанием благородства, высоких идеалов и непрестанного труда. Княгиня не брезговала ничем, и все, к чему она прикасалась, получало оттенок благородства, потому что она работала от чистой души и для чистых целей. Я не идеализирую ее нравственный облик - я имел счастье знать ее 11 лет, и все это время она была воплощением доброты, мудрости и удивительной душевной ясности. Она прошла феноменально интересный жизненный путь: вышла замуж по любви за князя Яшвиля, и так как Яшвили происходили из заговорщиков, которые убили Павла I, то в годовщину его убийства, 11 марта, княгиня всегда т а й н о служила панихиду. Я это знал, и даже сам дважды присутствовал на этих панихидах. Это не было актом лицемерия, жестом - нет, это было глубочайшее душевное движение, и она, и Татьяна Николаевна считали участие их предка князя Яшвиля в убийстве Павла I

не только антихристианским, но нелояльным в отношении императора, несовместимым с понятиями монархизма, а княгиня была монархистка в самом благородном смысле слова. Она полагала, что есть высшая воля, которая при короновании смягчает и просвещает духовную природу даже недостойных людей. Поэтому она от души молилась о прощении грехов князя Яшвиля и даже, мне кажется, полагала, что трагические обстоятельства, которые выпали на ее долю, рикошет того огромного греха, который был содеян 11 марта в начале XIX века. Вторая черта ее была абсолютное бескорыстие. В прошлом чрезвычайно богатая помещица, она не обращала только в свою пользу или в пользу своей семьи огромные имения, но всячески старалась поднять уровень крестьянства. Как человек, который хорошо знал крестьян и тогдашнюю русскую жизнь, она считала, что гораздо интереснее и плодотворнее изучить хорошее ремесло, быть хорошим мастером. В своих имениях она устраивала школы, которые помогали создавать деревенских кустарей, и часть средств обращала на поддержку художников. У нее, кстати сказать, годами жил знаменитый художник Нестеров и другие, кому она старалась помочь, потому что понимала, что развитие художественного таланта часто идет медленно и нельзя человеку в одно и то же время зарабатывать на пропитание и писать картины, выражающие его душевные движения. Интересно отметить, что прототипом отрока на одной из картин Нестерова, "Видение отроку Варфоломею", была тогда еще очень маленькая Татьяна Николаевна. Княгиня дружила с графом Бобринским, который старался по той же линии развивать русскую крестьянскую массу, она сочувствовала княгине Тенишевой, которая действовала в том же направлении в другой области России. Она создала художественно-промышленную школу в одном из своих имений и стремилась развить ростки таланта у одаренных крестьянских юношей и девушек. Во время первой мировой войны она работала в Красном Кресте, как большинство аристократок той поры, и была послана с миссией в Австрию как представитель Русского Красного Креста для ревизии лагерей русских военнопленных на территории Австро-Венгерской империи. Ее послали потому, что она не знала немецкого языка. Она отлично знала французский и английский, но по-немецки не говорила. Поездка по Австро-Венгрии дала ей возможность встретиться с тогда еще не подозревавшими свое будущее чешскими деятелями, которые теперь, в Республике, играли важную роль и с удовольствием вспоминали внимание и простоту, с которыми княгиня Яшвиль относилась к ним, уважая в их лице представителей другой славянской нации. К тому же в ее имении на Волыни служил, кажется, управляющим член будущего чехословацкого дипломатического корпуса, Иосиф Иосифович Гирса. Его брат одно время был товарищем министра иностранных дел, а затем короткое время министром иностранных дел и играл важную роль в этом министерстве. Когда она попала с одной из волн эмиграции в Грецию, Масарик, узнав о

ее неопределенном положении, пригласил ее в качестве гостя Чехословацкой Республики и дал ей личное обеспечение, которое позволило ей жить, хотя и не работая ради куска хлеба, но в очень скромном полуподвальном помещении. Княгиня много времени посвящала художественным работам, которые она продавала. Татьяна Николаевна давала уроки английского языка, на который начинался все больший спрос и который в то время был очень редким явлением и в Чехословакии. В Семинарии, а потом в Институте княгиня, хотя не была ученым, всей душой старалась помочь ученым заниматься их профессией. А так как она ничего для себя не искала, то могла просить разных лиц обратить внимание на издания Института, купить их, позднее - стать членами общества, называемого Институтом имени Кондакова. Эта ее роль и ее репутация бескорыстия имела первенствующее значение. Кроме того, она была верующая женщина и всегда строго соблюдала все церковные обряды, старалась из своих скудных средств помочь больным, возила подарки одиноким, престарелым, даже в чехословацкие тюрьмы, если там оказывались русские преступники из беженцев.

Что касается Института Кондакова, она оказывала полное доверие всем, кто там работал, и всячески старалась им помочь, создавая духовную и психическую обстановку, подходящую для такой работы. Когда были кризисы, например, конфликт между Беляевым и его женой или когда профессор Калитинский был в очень трудном положении, когда были сложности из-за столкновений между Беляевым и Толлем, княгиня проявляла удивительные объективность, мудрость, а главное, душевную приветливость, стараясь разрядить их страсти и привести все к доброму согласию. Я считаю огромным моим личным приобретением, что в течение 11 лет я не только все более хорошо знал княгиню, все более преклонялся перед ее деятельностью, но что она увидела во мне достойного организации человека и оказывала мне все большее доверие, считая, что я веду в Институте и в частной жизни такую линию, какую следует вести начинающему русскому ученому.

Возвращаюсь к 1929 году, который начался для меня уже в иных материальных условиях, под защитой и руководством Семинария имени академика Кондакова. После беседы с профессором Калитинским я умножил число исторических курсов и даже ввел для пробы некоторые археологические предметы, чтобы понять, как и что делают в условиях университета. Опять большая удача была у меня в семинаре профессора Горака, где я читал доклад о “Хаджи-Мурате” Толстого и защищал тезис, что Хаджи-Мурат чрезвычайно важен для инстинктивного, органического отношения Толстого к миру, и этот органический подход был в полном контрасте с его идеологическими построениями. Я довольно хорошо знал и предыдущую, и новейшую, советскую литературу на эту тему. Горак был удовлетворен моим докладом и дал мне награду - 75 крон. Думаю, это было

справедливо: доклад был интересный, но опирался он в большинстве случаев на чужие изыскания. В моем докладе о Гоголе собственных заключений было гораздо больше. Я готовил заметку в 3-й том "Семинариум Кондаковианум". Меня спросили, что бы я мог написать, и, подумав, я сказал, что мог бы выяснить вопрос, насколько Чехов в своих письмах описал личность Кондакова. Эта тема всем понравилась. Неопубликованных писем у меня не было, не были собраны все письма, но опубликован был целый ряд его высказываний о Кондакове. При этом я спросил Калитинского, нельзя ли запросить по ряду пунктов Ольгу Леонардовну, которая знала реакцию Чехова на Кондакова. Я написал ей письмо с припиской Калитинского, где он просил помочь мне, молодому ученому - он ее хорошо знал как партнершу жены, М.Н.Германовой, по работе в Художественном Театре. Но ответа не было. Однако мне удалось снестись с доктором Альтшулером-старшим, знакомство с которым доставило мне большое удовольствие, потому что он лечил обоих моих дедов в Торжке. Он обоих помнил, Николая Ефремовича даже очень хорошо. А мне указал на мемуары Петрункевича, кажется, где упоминается мой дедушка Николай Ефремович. Вообще, он оказался джентльменом, интеллигентом старой русской школы, который всем интересовался, был ко всем внимательным и все помнил. Публикация выглядела как несколько страниц добросовестной сводки, я написал вступление, где оправдывал собрание биографического материала о Кондакове. Кондаков, оказывается, в свое время в Ялте играл Пимена в "Борисе Годунове" - забавная черточка, которая не была нам раньше известна. Статья произвела впечатление, мои коллеги удивлялись быстрому восхождению моей звезды, даже Герман Хохлов, как всегда, двусмысленно пробурчал: "Ну, что же, Вы существовали для того, чтобы написать эту статейку". Я все больше удивлялся его мало маскируемой неприязни ко мне, но некогда было обращать на это внимание.

В том же 1929 г. началось мое общение с Марком Львовичем Слонимом. Он уже не жил в Праге, где был раньше литературным редактором эсеровского журнала "Воля России". Его невеста погибла под автомобилем премьер-министра: увидев Марка Львовича, она стала перебегать улицу не глядя, а там мчалась машина. Это так подействовало на Марка Львовича, что он покинул Прагу и переехал в Париж. Но он оставался редактором журнала и имел много связей с эсерами, которых в Праге было много, там был центр организации, и он время от времени приезжал в Прагу и выступал с публичными лекциями. Наше знакомство произошло на одном из литературных собраний в Земгоре. В тот раз он говорил о советской и эмигрантской литературе. Говорил интересно, без всяких записочек, великолепно владел словом. Главная идея у него была: смотрите, как здорово - какая плеяда прозаиков и поэтов возникает в Советском Союзе, несмотря на сложности с режимом, а в эмиграции молодых очень мало. Он назвал Сирина-Набокова, назвал Газданова и, между прочим, Василия

Федорова, пражанина. Заседание проходило в читальне Земгора, пришло много народа, Слоним был известен как хороший докладчик и интересный обозреватель советской литературы, которой все страстно интересовались, но не все поспевали читать. Василий Федоров был в зале, даже покраснел и чуть не заплакал от удовольствия, что его тоже назвали в активе молодой эмигрантской прозы. Потом начался обмен мнениями. Председательствовал Б.Г.Архангельский, довольно видный эсер, за председательским столом сидел и заведующий эсеровской читальней и библиотекой. Вопросы были неинтересные, потому что мало кто вдавался вглубь, и вдруг неожиданно я услышал, что мне дают слово, - оказывается, я инстинктивно поднял руку. Я немножко струсил, но уже было поздно отступать, и я выступил, сказав, что все сказанное М.Л.Слонимом, интересно, но с одним пунктом я позволю себе не согласиться: нельзя сказать, сколько за границей талантливых молодых авторов, потому что они себя не могут проявить - им негде печататься, вот когда журналы будут принимать не только потому, что это знаменитый писатель из России, а еще потому, что проза интересна, тогда и выяснится наш литературный актив. И я думаю, что Марк Львович сделал бы большое дело, увеличив количество печатающихся молодых авторов за границей. Я был молодой, никому не известный человек, рядом сидели несколько коллег, изумленных моей храбростью. Я сел и был в ужасном состоянии, думал - Боже мой, хорошо бы удрать, что же я натворил. Но удрать было трудно, потому что я сидел около окна и надо было протолкаться по ряду, поднять нескольких человек, сидевших в пальто, тогда все обратили бы внимание, что я удираю. Так что я удирать не стал, а вопросы Марку Львовичу продолжались. Потом я увидел, что он спрашивает Архангельского и заведующего читальней о чем-то, и оба мотают головами. Я догадался, что он пытается установить мою фамилию. Главный его ответ был мне, он назвал меня "мой критически настроенный коллега". Так было принято тогда в университетской среде, потому что большинство молодежи были студенты. Вначале он довольно резко сказал, что с интересом слушал критику, но во многом я не прав, потому что толстые журналы не лаборатория для молодых авторов, молодые должны печататься или пробовать силы вне больших журналов, а вот когда они обретут свой почерк, их примут толстые журналы. Он напомнил, что в 1928 г. они начали устраивать конкурсы молодых авторов и кое-кого уже выявили и начали печатать. Вдруг из контекста вышло, что я прав по существу и что, конечно, нужно всеми силами расширить фронт молодых авторов за границей. Он меня очень похвалил, сказал, что было интересно и приятно, что в этой аудитории раздался молодой голос и это была не просто критика, но конструктивная критика.

Я вышел оттуда героем, коллеги начали меня поздравлять, хотя перед этим делали такой вид - Боже мой, мы его не знаем, что он натворил! И многие другие стали меня признавать. Это было в марте, а в начале лета,

в июне, я получил приглашение на литературный чай "Воли России", его адресовал уже прямо мне казначей, интеллигентный эсер, армянин по происхождению, большой почитатель Слонима. Был интересный для меня вечер, я увидел, например, Калинникова, автора романа "Мощи", который мне лично не понравился. "Мощи" были написаны в ключе разоблачения религии, по-видимому, по этим причинам были опубликованы в Госиздате, и он стал знаменит - немногие эмигранты печатались в то время в Советском Союзе. Я встретил там еще целый ряд замечательных людей, которых и раньше немного знал, но после моего выступления на меня обратили внимание такие поэты, как Вячеслав Лебедев и Алексей Эйснер. Эйснер слушал меня, когда я читал рассказ "Младшая сестра", и он, и Вячеслав Лебедев тогда меня хвалили, теперь они еще больше меня приняли. Литературный чай "Воли России" был большим событием, ко мне подошел Слоним, познакомился и сказал, что надеется, что я приму участие в их критическом отделе. И действительно, через некоторое время мне прислали из редакции книги, на которые я написал рецензии, и в 1930 г. их начали печатать. Это подбодрило меня, и, когда наступило лето, оказалось, что академические успехи у меня хорошие, в Кондаковском семинарии все в порядке, и мне великодушно дали трехмесячный отпуск с июля.

Когда я приехал в Ревель, мы стали планировать "Новь" 2, тут мне пришлось писать ряд статей - кроме передовой, я писал о 85-летии Немировича-Данченко и Репина, о Чехове, потому что было 25 лет со дня его смерти. К 10-летию со дня смерти Леонида Андреева я написал статью "СОС! спасите наши души", своеобразие которой заключалась в том, что я старался использовать названия его произведений как гамму его эволюции, его взглядов, его движения. Затем я написал об Аверченко под псевдонимом К.Рем, остальные как будто подписал Н.А. Было очень много работы, у нас уже был опыт, и номер, который появился к концу лета, получился удачный. Мне его хвалили с разных сторон.

В начале лета произошли интересные события. Во-первых, я поехал на большой съезд Русского Христианского Студенческого Движения в Псково-Печорский монастырь. Вероятно, человек 200 приехало, присутствовали и местные. Во главе обители тогда стоял епископ Иоанн, из местных полурусских, обращенных в православие в XVI веке, но сам он был русской культуры, был офицером во время войны, потом принял постриг. Замечательный и молитвенник и деятель вообще, прекрасный оратор, которого понимал народ. Это особый вид красноречия. Влияние его было огромно. В том же, кажется, году эстонские левые партии возбудили вопрос о разрушении в Ревеле Александро-Невского собора - его называли символом русского империализма и указывали, что если такой символ был снесен в Варшаве, почему не снести его в Ревеле. И епископ Иоанн, который был членом эстонского парламента и отлично говорил по-

эстонски, устроил замечательную вещь - крестные ходы русского населения Печорского края, Принаровья, Причудья. Устроили даже два дня в защиту Александро-Невского собора. Он служил объединенное молебствие в защиту этого храма. Это произвело сильное впечатление на эстонцев, проект был положен под сукно, а позднее, когда президентом стал православный, Константин Яковлевич Пятс, вопрос отпал.

Епископ Иоанн был как бы хозяином, принимал съезд. Съезд протекал с замечательным воодушевлением. Я представлял прессу. Из Ревеля шли специальные вагоны, и в Тапсе присоединились ехавшие из Нарвы, в том числе Василий Акимович Никифоров-Волгин, с которым я впервые встретился. Мы разговорились, и, когда он узнал, что я Николин и время от времени пишу в прессе, он оживился, говорит: "Очень живо, живо пишете, поздравляю!" Мне было приятно, потому что это был голос, если угодно, специалиста, конкурента, хотя он был больше писатель, чем журналист. Съезд я описал, по-моему, в варшавской газете "За свободу", кое-что дал в берлинском "Руле" и, кажется, в "России и славянстве".

У съезда было два центра: с одной стороны, чисто религиозные православные переживания, которые не всем давались. Я лично, отнесся слегка критически к этой линии, мне казалось, что ее слишком подчеркивают, впадая в духовное неистовство. В прессе я, конечно, об этом не писал. Другая линия была более реалистическая, которую проводили епископ Сергий Пражский и владыка Иоанн Печорский. Владыка Иоанн даже высказал в одной из своих проповедей идею "Не лезь на небо в молодости заживо." Владыке Сергию тоже не нравилось подчеркивание экстатичности и избранничества молодых людей из Западной Европы. Их было немного, но много разных групп было из Латвии, Финляндии, из Литвы, были, конечно, и из Эстонии. Настроение было патриотическое, потому что монастырь, его намоленные стены, все полно и дышит историей, как и те прогулки, которые мы совершили в Старый Изборск, на Труворово городище, откуда смотрели на псковские крыши. Погода нам благоприятствовала, и в Старом Изборске мы услышали великолепного рассказчика и отличного историка и археолога, Александра Ивановича Макаровского, который, как и епископ Иоанн и епископ Сергий, вносил черты реализма и спокойствия, свойственного православному созерцанию. Это произвело на меня сильное впечатление, я с удовольствием провел время.

У меня уже было много друзей, в частности Аня, дочь Алексея Алексеевича Булатова, который много сделал для охраны памятников старины. Он писал как "Буслай" в газете "Последние Известия". Аня, ее подруга Таня Полторацкая и другие стояли и разговаривали, и вдруг Аня, она была очень красивая, милая девушка, очень русская, сказала: "Какой Вы счастливый! У Вас на все есть своя точка зрения, Вы все продумали и все понимаете, а мы нет, мы всегда удивляемся и идем толпой, то в одну

сторону, то в другую". Я был озадачен такой формулировкой - никогда не замечал, что имею какую-то особую точку зрения, это казалось естественным этапом моего развития. Я провел там чудные дни, зарядился и патриотическими, и религиозными чувствами, смутил спокойствие некоторых девичьих сердец, в том числе аниной подруги Тани, которая много лет спустя, во время второй мировой войны, написала моей матери письмо с необыкновенным, неприятно меня поразившим заявлением, что она осталась незамужней из-за меня. Я ее поцеловал на том съезде, и так как многие переживали съезд мистически, то она придала этому поцелую символическое значение. Я страшно огорчился. Таня была очаровательная девушка, и очень жаль, если я невольно испортил ей жизнь. Это вышло ненароком, не помню особого увлечения ею, она мне просто нравилась.

Я виделся там и с епископом Сергием, он и раньше, еще в Праге говорил мне, что будет в Эстонии и надеется меня увидеть. Он заезжал по дороге в Юрьев или в Нарву, а потом я немного поводил его по Ревелю. Здесь мы сошлись еще ближе. Одно из его личных желаний было посмотреть на рыбный ряд на русском рынке - Владыка знал толк в рыбе как монах. На рынке это сразу же поняли. В рыбном ряду было много русских причудских, принаровских торговок, и пошло по ряду: "Вот какой Владыка приехал! Вот так Владыка! В рыбке толк понимает!" - хотели ему подарить чуть ли не бочку разных рыб. Владыка руками и ногами отбивался, он остановился у кого-то, не могло быть и речи о том, чтобы туда принести рыбу. А я им шепнул: "А Вы пошлите владыке снеток в Прагу!" Это им понравилось, и Владыка потом получал каждый год партию снетков и всегда мне говорил: "Вот как меня помнят! Опять снеточки пришли!" А снеточки из Чудского озера были замечательные, их в свое время десятками тысяч тонн везли в Петербург. Теперь между нами и Ленинградом была граница, ничего нельзя было везти, местные снеток употребляли мало, и приходилось удобрять им огороды в причудских деревнях.

Владыка пришел и к нам домой и сию же минуту подружился с моим отцом. У него было мгновенное понимание человека, и он, увидев моего отца, у которого душа с Богом разговаривает, по давнишнему выражению няни, сразу установил с ним контакт. Он дважды к нам приходил и дважды сидел, гулял с нами и вообще оказался полон самих дружеских чувств к нам, и маму очень оценил. Он провел с нами, в сущности говоря, несколько дней. В миру его имя было Аркадий. Ефрем и Аркадий Новоторжские праздновались в один и тот же день, так что он радовался, что у них с отцом как бы особый, личный контакт. Вообще он у нас оценил все: что мы так скромно живем, что такой великолепный порядок и что угощали замечательно. Рыбки были поставлены, потому что мама уже знала об этой его любви и сама тоже любила рыбу, варенья были, и Владыка испытал большое удовольствие. Он мне сказал: родители у Вас чудесные, ни слова не говорят о том, как им трудно. Нелегко, нелегко: ну что ж, Господь Бог воздаст им за долготерпение и смирение.

На личном фронте он ознаменовался двумя событиями: во-первых, полным расхождением с Инной Раудсеп и, во-вторых, вступлением в наше общество нового члена, Виктора Франка, прибывшего из Берлина в Прагу для занятий русской историей.

Инночка была единственной дочерью чрезвычайно способного инженера Раудсепа и его жены, Амалии Генриховны. Раудсеп вернулся из Советского Союза, потому что был эстонец, хотя и русской культуры. Инна училась в нашей гимназии, в одном классе с Ритой. Она была чутка к литературе, этим и выделялась, кроме всего прочего, была мила, внимательна. У них часто собирались люди, потому что дом был гостеприимный, и отец и мать ее считали, очевидно, что улыбка помогает пищеварению. Лирические отношения у нас с Инночкой возникли как раз после кризиса с Ритой Улк и после того, как ее отец вдруг дал мне деньги. В 1929 г. на Пасху они приехали в Прагу. Отец ехал на конференцию, взял с собой дочь, они заехали на короткое время в Прагу, и мы собрались на обед, которым они нас угощали. Пришли Костя Теннукест, Костя Гаврилов и Сережа Левицкий, который в это время появился в Праге, тоже из нашей гимназии, и, как всегда, все много смеялись. По-видимому, Инна поняла, что лирическое напряжение ушло, я по горло занят и душевно отхожу от Ревеля. Она написала милое письмо об этом - что когда мы их провожали и они садились в машину, чтобы ехать на вокзал, она мысленно попрощалась со мной как со старым другом. Мы сохранили знакомство, но лирическая нота уже не вернулась.

Появление Виктора Франка я описывал в статье "Блуждающая судьба" ("Новое Русское Слово", Нью Йорк, 14.X.1973) и в пересмотренной статье в сборнике "Памяти Виктора Франка" (Лондон, 1974). Мы моментально подружились, как это бывает в молодости - вдруг вы чувствуете полное доверие к человеку и делаетесь друзьями. Я впервые встретился с высокообразованным человеком из интеллигентной семьи. Отец его был великий русский философ, и при этом они были чрезвычайные политические консерваторы, в хорошем смысле слова, что выгодно отделяло их от просто реакционеров, которыми была полна Прага, и от либеральных демократов. Эта позиция ярко проявилась в статье Виктора "Москва в 1830 году", напечатанной в "Нови" 3. Его появление расширило круг общавшихся между собой людей из эстонского землячества и тех немногих, кто был включен в этот круг,- в какой-то степени Евгений Иванович Мельников, с одной стороны, с другой стороны, друзья и коллеги Кости Гаврилова, Лев Владимирович Черносвитов, милый человек, которого мы все звали дядей Левой, Николай Алексеевич Раевский, несмотря на то, что они были старше. Весной 1930 г., когда я опять ехал через Берлин, у меня уже была новая точка опоры: семья Франков. Виктор взял на себя представительство нашего издания "Нови", которую проектировалось опять издать осенью

1930 г., и в Берлине как представитель редакции вступил в общение с целым рядом лиц, начиная с Сирина - Владимира Владимировича Набокова, у которого он попросил фотографию для статьи в журнале, с берлинскими поэтами, которые откликнулись и дали нам ряд качественных произведений. Само собой разумеется, в "Новь" 3 был приглашен пражский Скит поэтов. Вообще третья "Новь" оказалась почти на уровне международного журнала: первая была все-таки очень местная, второй выпуск был лучше, но все-таки прибалтийский, а теперь был уже европейский журнал, и даже кто-то извне Европы прислал свои произведения. Мы с гордостью смотрели на это издание. Я обратился к Сергею Михайловичу Шиллингу, который по-прежнему являлся нашим патроном и гарантом, и уговорил его опубликовать состав редакционной коллегии. В первых двух номерах редколлегия не называлась, мое имя как редактора тоже не упоминалось. Теперь я думал, что нужно это закрепить. Я даже немножко перестарался, потому что включил в редколлегию мертвых душ в известном смысле слова, которые как литераторы себя не проявили. Но было неизвестно, как долго я смогу продолжать издание, приезжая из Праги, и хорошо бы местные люди продолжали эту традицию. У нас появились интересные фигуры, например, Ирина Кайгородова, которая выступала когда-то со стихами, а теперь печаталась как рецензент - она дала, например, хорошую рецензию на книжку Вячеслава Лебедева "Звездный Крен". Вступил в редколлегию и Костя Гаврилов, были введены братья Прохоровы и даже Борис Мизернюк. Он прямого отношения к редактированию не имел, но был полезен как техническая сила: совсем неплохо организовал распространение - 3-й номер разошелся хорошо. Мне довелось присутствовать на дне русской культуры в Ревеле, когда Сергей Михайлович открывал заседание и выдвинул идею "Нови" как издания полностью молодежного. Третья "Новь" нашла отклик и в прессе - довольно пространно написал о ней Петр Пильский в газете "Сегодня", хотя и допустил забавную ошибку: он приветствовал этот сборник молодежи, пожалев, что в нем есть все, кроме воспоминаний, а воспоминания были: отрывок "Орехов" из книги Н.А.Раевского "Добровольцы". Он описывал военный эпизод, участником которого был. Я лично очень много работал над этим номером: мне принадлежит передовая "Смена поколений и единство культуры", в основу которой положена незамысловатая идея, что меняются поколения, отдельные вкусы, но остаются незыблемыми те принципы, на которых строилось веками здание русской культуры. Мне принадлежал рассказ "Жена", написанный весной 1930 г., за который я был принят в Скит поэтов как полноправный член и который нравился Бему. Альфред Людвигович нашел в рассказе интересные литературные закономерности, но не заметил главного - сатирического аспекта. В "Нови" я его опубликовал под псевдонимом К.Рем: дядя Рем - от Ефрема, так звали отца в нашем дворе, а "К." - Кока. Это все потому, что моя фамилия уже шла под

громадной статьей о Сирине, с той самой фотографией, которую Виктор получил от Набокова, и мне не хотелось оставлять впечатление, что я переполняю номер. А мне принадлежали еще некоторые рецензии - на "Вечер у Клэр" Газданова, еще я писал о театре под псевдонимом Корсунский, о Куприне - как Н.А-в и другие заметки. К тому же мне хотелось иметь нелицеприятное суждение о рассказе, а его не было бы, подпиши я свою фамилию. Это издание дало мне очень много, чрезвычайно меня воодушевило, и я с огромным интересом проводил время в типографии.

Трагическая история с профессором Калитинским разыгралась в мое отсутствие и никак меня лично не затронула. Она глубоко поразила всех, кто об этом слышал в подробностях, но в целом, благодаря княгине Яшвиль и отчасти президенту Масарику, она не получила огласки и была ликвидирована более или менее благополучно. Но после его исчезновения еще более остро встал вопрос перестройки. Институт нужно было переделать. Н.П.Толль повел дело решительно и усилил контакты с рядом ученых, в частности, с Георгием Александровичем Острогорским. Это был молодой блестящий византолог, уже прославившийся некоторыми работами, самым положительным образом отмеченными и в западноевропейской, и в советской прессе. Он был в то время доцентом в Бреслау, а так как это недалеко от Праги, мы время от времени, по крайней мере раз в год, приглашали его читать доклад. Осторогорский был милый человек, женатый на русской, позднее появилась миленькая дочь. Когда он приезжал, мы все радовались. Он держался хорошо, очень интересовался литературой, высоко чтил, в частности, Сирина-Набокова и понимал, почему этот автор - новое явление русской прозы. У меня с ним сразу нашелся общий язык.

Трагедия Беляева, попавшего под грузовик, не только поразила, но и сплотила весь: уход Калитинского, смерть Беляева были жуткие потери. Позднее был упразднен Николай Викторович Кузьминский, одно время привлекавшийся к работам Кондаковского семинария и составлявший указатель для "Русской Иконы". Он много работал над этим, но оказался нетворческой фигурой. Это был именно знающий филолог, но он не подходил к типу Семинария, потому что ничего не написал, только докторскую работу, где описал деятельность Срезневского. Работу давал ему Францев, который ему покровительствовал. Кузьминский довольно хорошо знал чешский язык и мог грамотно писать письма, позднее только Мельников превзошел его в этом отношении, остальные писали по-чешски плохо, с русскими оборотами и часто с грубыми ошибками. Но после того, как Кузьминский составил указатель, он перестал интересовать руководство Института. Постепенно выяснилось, что у Мельникова скорее филологический талант, чем археологический. В области истории искусства я имел больше успехов при сдаче экзамена у Окунева, неизменно получая "отлично". Позднее, когда я познакомился с его семейством, его старшая дочь даже рассказывала, что ее отец был очень расположен ко мне и

сказал: "Какой-то молодой русский студент, Андреев, явно понимает и чувствует материал". Я себя все-таки никогда историком искусства не чувствовал и думал, что центр моих интересов лежит в области идей.

СКИТ.

Эта эпоха слегка описана с позиций скитовца в воспоминаниях Вадима Владимировича Морковина, члена Скита, по профессии инженера-водника. Но главный его интерес лежал не в технике, а в литературном мире. Он описал, видимо, много позднее деятельность Скита и отдельных скитовцев. Благодаря любезности Глеба Петровича Струве, я получил часть его воспоминаний, относящихся непосредственно к Скиту, где несколько раз упоминаюсь я. Хочу воспользоваться случаем и опровергнуть одно измышление, касающееся меня. Морковин сообщает, что я был влюблен в жену Василия Георгиевича Федорова, на это его навело нечто общее в героине моего рассказа "Жена" и жене Федорова. Она была чешка, обрусевшая под влиянием мужа, из зажиточной семьи, замуж вышла вопреки воле родителей, а те отомстили - не дали ни копейки приданого. Она героически билась как рыба об лед, чтобы удержаться на поверхности вместе со своим обожаемым и очень талантливым мужем. Но, он, как все писатели за границей, особенно молодые, не мог рассчитывать на то, что его деятельность окупит их существование, и положение у них было не блестящим. Я был у них однажды, только на чае, и Василий Георгиевич рассказал много интересного. Но, во-первых, герой моего рассказа вовсе не Федоров, Федоров талантливый человек, его прозу я высоко ценил и восхищался его наблюдательностью и юмором. Герой моего рассказа - бездарный прозаик, это уже первая разница, и центр не он, а жена, ее психология - тут меня интересовала по существу тема чеховской Душечки, которая, как известно, приспосабливалась к тому мужчине, который был ее партнером в данный момент. Но здесь даже этого нет - моя героиня приняла мужа и остается ему верна при всех обстоятельствах. Поэтому настоящая человеческая сила в ней, а не в нем, он изображает из себя то, чего на деле у него и нет,- преуспевающего талантливого писателя. Она же выдерживает жизненный напор, повседневный кризис. Эта была суть рассказа. Он был построен, как верно отметил А.Л.Бем, на параллелях - начинался введением, комментарием на эту тему и кончался в той же атмосфере, тоже комментарием. А внутри был эпизод, который окружение толковало несправедливо,- на самом деле это было утверждение подлинной любви жены к мужу. Хотя я и не был женат, это несущественно, авторы не обязаны описывать только пережитое ими. И я просто не хотел бы, если мемуары Морковина увидят свет, чтобы этот эпизод был неправильно понят - мол, Андреев был влюблен и потому в своем рассказе "Жена" опорочил мужа и возвеличил жену. Это пошлое, поверхностное и неправильное решение, внутренне мне чуждое.

1930 и 1931 годы были у меня эпохой творческого кипения. Ретроспективно я вижу, как много я написал рецензий, статей, откликался на литературную жизнь и в то же время углубленно работал над материалом, который должен был лечь в основу моей диссертации, времени даром не терял. Причем это все уживалось - я себе с трудом представляю, как все это разноплановое, разнохарактерное, из разных областей, соединялось в такой творческий клубок, из которого вдруг вытекал целый ряд проявлений моей личности: как критика, как литературного наблюдателя, как начинающего историка и просто как студента, поглощающего огромное количество новых знаний. Эта эпоха была очень плодотворной, мне 22, 23, 24 года, у меня подъем творческой энергии, воображения и смелости. Постепенно главное внимание сосредоточилось на докторской теме. Она представляла многочисленные затруднения, отчасти естественные для каждого, кто впервые занимается исследованием, но и особо трудности для меня - моя диссертация впервые строилась не только на письменных текстах, но и на свидетельствах памятников искусства, иконописи. Это был совершенно новый шаг. Я столкнулся с множеством зияющих моих незнаний текста, непонимания фона развития некоторых вещей в средние века. Мне пришлось много прочесть "вокруг" темы, чтобы уяснить, на чем и как я должен сосредоточиться. Это процесс мучительный, тут мало могли помочь мои ученые коллеги, потому что я шел во многом вслепую и только в 1931 г. начал отдавать себе отчет, что именно в литературе, которую я собрал по вопросу, существенно и что нет, что должно быть опровергнуто и на что можно опереться.

В конце 1931, а может быть, в январе 1932 г. я сделал первое предварительное открытое сообщение в рамках Института о проблемах, которые возникли у меня при изучении дела дьяка Висковатого. Были приглашены некоторые специалисты: Антоний Васильевич Флоровский, специалист по XVI веку, Евгений Филимонович Максимович и Николай Львович Окунев. Был и актив нашего Института. Я читал доклад часа полтора. Это не была детальная разработка темы, но было определено, по-моему, что там случилось, что происходило, что неверно у некоторых весьма авторитетных историков. Например, даже Соловьев неверно писал об этом. Было просто удивительно, что они не понимали существа дела. Затем я сделал ряд гипотетических выводов, которые могли бы быть целями или отдельными точками будущего подробного текста. Первым в прениях выступал Флоровский, который указал на то, что его восхищает прежде всего смелость мысли: что я н е порабощен, как часто бывает с начинающими исследователями, мнениями предшественников, но смело рассматриваю и пересматриваю их, опираясь на свое понимание материала. Это методологически очень существенно для исследования, и, хотя он возразил в ряде мелочей, подробностей, которые ему казались еще не доказанными, в целом он принял мою концепцию. На ту же тему говорил

Окунев, который не касался общих методологических проблем, но сосредоточился на чисто иконописных деталях и подтвердил некоторые мои наблюдения. Это было для меня тоже очень ценно. Наиболее скептичным был Максимович, который одобрил то, что я делаю, но ряд пунктов ему казалось невозможным доказать, как, скажем, новгородское влияние в Москве через Сильвестра и другие. Я был обрадован выступлениями - они не опровергали моей концепции, зато давали подробности к тому, что я уже наметил. Интересна была и позиция Толля, воодушевленного моим подходом к теме и реакцией ученых. Он подчеркнул, что существенно пересмотреть или доработать многие проблемы, в частности, XVI в. в связи с развитием русского искусства, и что в моей работе он видит обещающее начало этих исследований.

Я не только довел свою диссертацию до победного конца - она частично была напечатана в 5-м томе "Семинариум Кондаковианум" - но и продолжил обзор ряда явлений, связанных с иконами или фресками XVI в., и хотя мне не удалось довести до конца план по московскому периоду, потому что я принужден был покинуть Прагу, тем не менее, я, в сущности, наметил важную, до тех пор вовсе не изученную задачу: отражение и развитие идей Московской Руси в иконописи. Я так и не написал обобщающих работ на эту тему по обстоятельствам моей жизни, но, по существу, то, что я пытался сделать, по-новому объясняло многое. Отчасти делалось понятным, почему XVI век столь богат публицистикой, политическими трактатами, вопросами защиты Православия, почему он в области иконописного творчества тоже оказался важным этапом и ввел новые идейные понятия, которые до XVI века не нашли выражения в русских иконах, а потом появились и даже расширились. Это важная черта. К сожалению, я был оторван от наших коллекций, от нашей великолепной библиотеки, которая помогала ориентироваться во всех деталях, и, когда я попал в Англию, было невозможно вернуться к этой исследовательской линии полностью, поэтому я развил другие, также связанные с Московской Русью. Любопытно, что только 40 лет спустя советская наука более или менее полностью не то чтобы приняла мои теории - такой чести советские ученые, как известно, никогда и никому не оказывают, они только самих себя признают - но, тем не менее, они не смогли пройти мимо ряда моих утверждений. Первым обратил внимание на мои работы <автор, по-видимому, имеет в виду "Историю византийской живописи" - ред.> - и я вспоминаю его с чрезвычайной благодарностью - академик Лазарев, он начал цитировать меня еще в те времена, когда я находился в советской тюрьме. Если бы он знал об этом, то, может быть, воздержался бы от цитирования, но это была первая брешь в замалчивании зарубежных ученых. А в 1972 г., через 40 лет после того, как я начал свои изыскания, появилась работа О.И.Подобедовой "Московская школа живописи при Иване IV" (работы в московском Кремле 40-70-х гг. XVI в.), которая очень скромно говорит о Московской

школе, но цитирует почти все мои работы, в примечаниях каждый раз с похвалой указывая на полноту библиографии, на важные подробности, и т.д. Я был очень рад, но обстоятельства жизни так сложились, что я никогда не смог дойти до дискуссии на эту тему. Если ко мне вернется зрение

<не суждено было - ред.>, мне очень бы хотелось написать обобщающую книгу "Россия в XVI веке", и там между прочим по-новому сформулировать результаты моих работ, пионерских в целом ряде случаев, и дать новое освещение целому ряду фактов развития культуры Московской Руси. Когда том 5 "Семинариум Кондаковианум" был опубликован, я с удовольствием и с благодарностью отметил положительную реакцию ряда ученых на мою работу. Не только профессор Калитинский написал мне подробное письмо, хваля мои методы и результат, но и другие обратили на них внимание, как, например, Владимир Владимирович Вейдле, мне совсем неизвестный - я знал, что он искусствовед и литературный критик - написал в "Современных Записках", лучшем эмигрантском журнале, рецензию на том 5-й и посвятил целый абзац моему исследованию, чрезвычайно высоко его оценивая и говоря, что я окончательно решил эти проблемы. Любопытно, что работа обратила на себя внимание Русского Института при Ватикане, оттуда специально приехал ученый монах познакомиться с профессором Андреевым и был, кажется, удивлен, что профессор Андреев совсем еще молодой человек явно непрофессорского вида. За ним стояла фигура Аммана, который занимался историей русской церкви. Доктор Игорь Смолич, специалист по русской церкви, работавший тогда в Берлине, заинтересовался моей работой, профессор сэр Эллис Миннс из Кембриджа тоже обратил на нее внимание и написал мне очень интересное письмо. Одним словом, я попал вдруг как бы в большой фарватер, на меня обратили внимание - человек еще молодой, но, кажется, подает надежды, работа отлично документирована, ставит интересные проблемы и находит выводы, до сих пор не вполне принятые или совсем не известные науке. Это было маленькое событие в академическом мире, хотя, конечно, мало кто его заметил из людей непричастных, ведь и мир-то академический велик, в нем много подразделений и разных секций. Но те, кто меня рекомендовал в Семинариум Кондаковианум, теперь уже Институт Кондакова, кажется, были удовлетворены моим дебютом в печати как научного исследователя.

В декабре 1932 г. моя диссертация уже была принята, и я был допущен к устным экзаменам на звание доктора философии. Устные экзамены протекали в Праге в формах еще средневековых, это были ригорозумы, устные экзамены, они шли часами, по общим предметам - истории философии и основам психологии. Если вы не были философом, у вас все равно был обязательный ригорозум, который продолжался час, при комиссии. По главным предметам - у меня они формально оставались славистикой - ригорозум должен был протекать 2 часа, тоже при комиссии.

Первым я делал малый ригорозум, как это называлось, по истории философии. Надо было все сдавать по-чешски, а философия такой предмет, который, в сущности, знать невозможно: это же не конкретные сведения, вы можете знать общее направление автора, но едва ли в короткое время сможете справиться с нюансами мысли, это требует вживания в предмет и времени на освоение. Прежде всего нужно было выделить автора. Я случайно выделил (я не знал, что буду в Англии) Хьюма и более или менее подробно ознакомился с ним. Но, кроме того, надо было знать всю историю философии. Я читал ее и по-русски и по-чешски, был такой учебник Дртина "Очерки истории философии", в каком-то смысле полезный, но страшно водянистый, все философы тонули в терминологии и все были похожи, не за что было зацепиться. Мне очень помог Сергей Александрович Левицкий. Он был Божией милостью философ еще до поступления в университет и в Праге сосредоточился главным образом на учении Лосского и других идеалистов, вообще он считал себя учеником Лосского. Он долго по техническим причинам не мог держать экзамены, бесконечное число лет был вольнослушателем. Он даже не хотел мне давать уроки, а просто по-дружески помогал, и это была существенная помощь, например, он подробно со мной прошел того же Хьюма, помог мне усвоить немецких идеалистов Гегеля, Шеллинга. Очень полезны были его объяснения Канта и кантианства. Он знал все, за исключением марксизма, но марксизм в те времена на экзаменах не спрашивали, это была политическая доктрина, которая не интересовала историков. Попутно выяснились некоторые смешные обстоятельства, например, вышла книга о новейшей философии, где двое авторов излагали среди прочего русскую философию. Там был следующий шедевр: что Дмитрий Мережковский под влиянием учения Владимира Соловьева о панмонголизме написал книгу, в которой развивал идеи Соловьева, и эта книга называлась "Грядущий Хан". Можете себе представить, образованный читатель, что произошел страшный ляпсус, потому что речь шла о работе Мережковского "Грядущий Хам", ничего общего ни с идеями Соловьева, ни с панмонголизмом не имевшей. Громадный был скандал. Таков был тогда пражский уровень знания русской культуры и, в частности, русской мысли.

Главным экзаменатором был профессор Козак, ужасно неприятный человек, я не только его лекции слушал в свое время, но и в семинаре его участвовал и побаивался его, он был элементарный позитивист и не любил почему-то русских эмигрантов, считая их реакционным элементом. К счастью для меня, Козак уехал, кажется в Америку, в командировку на несколько месяцев. Экзаменовали меня люди в этом отношении безопасные, их интересовал уровень наших знаний, а не то, почему мы находимся в Праге, как ехидно спрашивал Козак. Экзамен прошел хорошо, я блеснул на Хьюме, правильно изложил Гегеля и даже сравнил его с Шеллингом, хорошо говорил о Канте. Еще мне задали общий вопрос о древней

философии, кажется, о Платоне. Единственная ошибка была у меня в том, что я путал термины "механитский" и "механиститский", не знаю даже, как по-русски это выразить. Разница мне была понятна, но все шло по-чешски и я устал, сказал неправильно, профессор исправил, я поправился и сейчас же сказал опять неправильно. Но они рассмеялись, и этот ригорозум я выдержал.

Итак, была принята моя диссертация, сдан малый ригорозум, и теперь оставался главный ригорозум. Его нужно было держать летом 1933 г. Это было дело серьезное и безобразное: надо было знать, во-первых, основы славянской филологии - я не был филологом, но вопросы могли задать. Во-вторых - все славянские литературы: школы, отдельные авторы, произведения, главная критика. Это был вопрос энциклопедического напряжения памяти. Потом шла история.

Формально она была сокращена для помощи славистам, была выделена чехословацкая история, но, конечно, всегда брали пункты, которые соотносились с предметом или эпохой вашей диссертации, и затем, так как вы русский, - контакты с Россией, нужно было представлять себе историю любой славянской страны - это всеобъемлющие знания, отличная память и очень ясная голова. Но я все годы хорошо работал и много знал. Тем не менее, пришлось записывать, я ввел такую систему: листы. Допустим, вы пишете "Гоголь", родился в 1809 г., умер в 1852 г., потом главные произведения, критика, как его рассматривали в XIX веке, как рассматривают в XX веке, как в Советском Союзе, как за границей. И так по всем авторам. Конечно, была надежда, что спросят кого-то из главных авторов, но мог быть вопрос и по второстепенным, тем более, что Горак, один из моих экзаменаторов, много читал второстепенных и третьестепенных авторов, даже неизвестно зачем, я всегда удивлялся, зачем подробности об авторах, которые неинтересны, это скорее иллюстрация русской общественной мысли, чем литературы. Горак читал курс сравнительной истории славянских литератур, и ему хотелось показать, по-моему, что бедная чешская проза XIX века имеет аналоги и в русской литературе. Я работал днями и ночами, и было ощущение, что чем больше я работаю, тем меньше знаю. К тому же в этот момент я испытывал лирическое чувство к Ирине Вергун, которая перепечатывала мою диссертацию. Я был занят интеллектуально, но хотелось и другой жизни, и я очень увлекался, даже на расстоянии, потому что времени не было ухаживать. Ирина была интересная девушка, и за ней многие ухаживали. Мне по контрасту нужно было боготворить милую девушку в противовес безумному количеству цитат, критиков и книжного хлама, который должен был сидеть в голове до экзамена. Накануне главного ригорозума я для контроля вытащил лист "Лев Николаевич Толстой", я его великолепно знал, специально им занимался, и читал, и писал о нем - и не мог вспомнить ничего, ни одного факта! Тогда я понял, что пора остановиться. В этот момент пришла жившая неподалеку Олечка

Рябикова, дочь покойного генерала, начальника военной разведки Русской армии. Мы были в хороших отношениях, даже некоторое время столовались у ее матери. Она сказала: "Пойдемте гулять, у Вас такой сумасшедший вид, что Вы умрете к завтрашнему дню. Плюньте на все и берегите здоровье..."

Ее слова совпали с содержанием открытки, присланной моим отцом и страшно рассердившей меня. Он тоже писал: "Плюнь на все, береги здоровье". Я тогда счел это неуместным юмором, но позднее вполне понял мудрость его подхода. Эти экзамены, треволнения судьбы -все была лотерея, на все была милость Божия, это же все условно, что вас спросят и как вас спросят. Наступил день ригорозума, была чудная погода, и я попал в переплет: сначала меня спрашивали разные профессора. Францев был болен, но были Горак - он был и декан и председатель экзаменационной комиссии, Ляцкий, профессор по чешской истории и еще один экзаменатор. Они не стали выслушивать ответы вчетвером, а разбили вопросы, и один шел к одному, другой к другому. Было 3 кандидата, и их поделили между четырьмя экзаменаторами. В конце концов я попал к Ляцкому, который задал мне несколько вопросов, я отвечал ему по-русски, что было очень приятно, и он сказал: "Не волнуйтесь, Вы все прекрасно знаете и проходите у меня "отлично".

Затем я попал к Гораку, который тоже хорошо знал меня и тоже спрашивал по-русски. Я даже удивился, но решил, что он просто хотел показать комиссии, как хорошо он говорит по-русски, а скорее всего сделал скидку для меня, поняв, что я очень устал. Я все знал, но на один вопрос я до сих пор не знаю ответа. Вопрос о ранних польских романтиках - я отвечал хорошо, он спросил, какая есть работа о них, я знал, что есть такая статья, которой я никогда не видел, назвал ее и рассказал содержание. Горак сказал: "Да, да, это хорошо, а какая там еще есть важная мысль?" Я понятия не имел, какая, сказал то же самое только иными словами, он одобрительно кивнул и сказал: "Хорошо, а что там еще есть?" Я в третий раз пытался объяснить то же только иначе, и он, наконец, отстал, но был разочарован. Позднее я понял, в чем дело: видимо, он когда-то на лекции это комментировал, а я там не был. Он принадлежал, к сожалению, к таким историкам литературы и экзаменаторам, которые любят слышать собственное мнение. С чешским историком разгорелся интересный спор, я знал все, что он спрашивал, начинал отвечать, и он меня останавливал и задавал новый вопрос. Потом он спросил: "Вы занимаетесь Московской Русью?" - Да. - "Какое влияние оказали гуситы на казаков?" Я случайно хорошо знал эту тему, потому что с интересом прочел специальную работу Ермолинского в "Трудах" одного из "Археологических Съездов". Статья была как раз направлена в другую сторону: он показывал, что на казаков влияли не гуситы, но степная традиция табора, защищенного обоза, как крепости, вокруг которой располагалась конница. И, скорее всего, степная традиция пришла от казаков к гуситам. Я сказал, что общепринятая точка

зрения такова, как профессор меня спрашивает, но есть специальная работа, и пересказал ее. Он этой работы не знал и был озадачен, оказалось, я знаю сторону вопроса, которой он как чешский историк не интересовался или до которой не дошел. Получился интересный обмен мнениями. На этом ригорозум кончился, это истязание продолжалось ровно 2 часа. Через минут 20 вышел декан Горак и объявил, что я и другие кандидаты прошли. "Поздравляем вас, паны кандидаты, с получением доктората, теперь уже официально идите в канцелярию университета обозначить день, когда вам торжественно дадут докторскую степень". Началось все в 10 часов, а теперь было уже 20 минут первого, я очень устал и только к часу пришел в ресторан на Вацлавском намести, один из русских ресторанов, где в то время собирались мои друзья во главе с Костей, были Левицкий и Мельников. При виде меня все ужаснулись: я был мертвенно бледный, и они подумали - неужели провалился. Костя с тревогой спросил: "Садись, ну как?", и я сказал: "Прошел экзамен, прошел..." Все страшно обрадовались, сразу потребовали водку, а мне было все равно, так я был измучен. После этого я пошел принять душ. Посреди города был хороший, дешевый душ, и я всегда раза 2-3 в неделю принимал душ, это длилось 20 минут, вы входили в кабинку, и со всех сторон била сильная струя. Это очень освежало. Потом я уехал домой и лег спать одетый. Проснулся и думаю: "Что же я сплю, часа 2 уже сплю. Бог мой! Ведь меня же приглашали к Толлю на ужин!" Я тогда рассердился, что Николай Петрович приглашает заранее, не зная результата, но он сказал: "Ну что Вы за человек: если выдержите, будем праздновать, если провалитесь, будем Вас оплакивать! И ругать экзаменаторов. Все равно нужно закусить и выпить".

У меня после душа были чистые волосы, я побрился, потому что успел обрасти, порезался несколько раз, пошел к ним, на что требовалось полчаса ходьбы. Пришел в 7.15, как нужно было, а когда позвонил и открылась дверь, Бог мой! - я и забыл, что нужно прийти в смокинге. Приглашены были несколько дам - Ирина Вергун, старшая дочь Окунева, Ирина, и третья девушка, все в длинных платьях, Николай Петрович в смокинге, Нина Владимировна, его жена, в вечернем платье. Катков Георгий Михайлович в смокинге и Гаврилов тоже в смокинге! А я один в Бог знает каком костюме - в рабочем! Я вырвался, сказал - я сбегаю сейчас! Но меня схватили и никуда не пустили. Заставили пить, а тут еще один удар: подали раков, я не знал, что с ними делать, но и виду нельзя было подать: торжественный ужин в честь молодого доктора, а доктор держится дураком, во-первых, пришел, не переодевшись, во-вторых, раков есть не умеет. Но мы выпили чего-то крепкого и приятного, так что мясо уже совсем хорошо пошло, и сладкое тоже. Главное, было приятно, что кончилась эта каторжная штука, я получу звание доктора философии и меня будут все именовать "Пане докторе". Как потом оказалось, это была новая глава в моеї жизни, потому что чехи любят чины, почитание, и "Пане докторе" - это уже было нечто. Это "пане докторе" осталось со мной на всю жизнь, потому что профессором я так никогда и не сделался.

На другой день я получил извещение из деканата: доктор Морхан,

любезный и веселый чех, извещал меня, что провозглашение меня доктором философии произойдет 30 июня в большой зале университета, и делал приписку - паны кандидаты, пожалуйста, свяжитесь со мной как можно скорее.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Я отправился к нему на следующее утро, и он меня встретил с улыбкой: "Поздравляю Вас со сдачей экзаменов, скоро мы Вас сделаем коронованной особой, но до этого Вы должны мне доказать, что родились" - и он принялся хохотать. То, что по-чешски называется "Крестный лист", то есть акт о моем крещении у меня не сохранился, он пропал в январе 1920 г., когда украли чемоданчик с нашими деньгами и со всеми документами. Я ему это объяснил. Он порекомендовал обратиться к православному епископу. Я пришел к Владыке, пригласил его на торжественную церемонию и попросил оформить документ. Он уже не раз это делал, и все было готово через 15 минут. 30 июня состоялась церемония. Был прекрасный день, и народу собралось довольно много, потому что производилось 14 докторов одновременно. По чешской традиции профессора, которые проводили церемонию, были в великолепных мантиях, а кандидаты в гражданских костюмах, без каких-либо лжесредневековых плащей. Моим главным промотором был профессор Пражак, очень милый человек, он читал хороший курс по чешской литературе, а позднее, при немцах, возглавлял национальный комитет, который руководил Пражским восстанием. Кроме Владыки и о. архимандрита Исаакия, из почетных гостей пришли графиня Панина, Николай Иванович Астров, последний городской голова Москвы, А.Л.Бем, присутствовал Е.А.Ляцкий, Горак участвовал в церемонии. Пришло множество моих коллег и все члены Кондаковского Семинария, который уже стал называться Институтом. Мне поднесли много цветов, и я был в недоумении, что с ними делать, но княгиня и ее сестра, матушка Вероника, которые шли сразу домой, забрали их, а я пошел сниматься. Потом у нас был легкий обед, и многие мои друзья приняли в нем участие. Но самым главным был прием в Институте, в помещениях, где жил Расовский и мы с Мельниковым. Было много закусок, огромное количество вина, пришло много народу, начиная с хозяев того дома, где мы жили студентами. Была приятная и веселая застолица, которая продолжалась довольно долго. К сожалению, не было Ирины Вергун, которая уехала накануне не то в Югославию, не то в Болгарию, но, тем не менее, веселье било ключом. Пришли телеграммы с поздравлением от моих родителей и от некоторых друзей из Эстонии. Все с огромным интересом, включая самого меня, смотрели на мой докторский диплом, который выглядел очень импозантно: на пергаментной бумаге, весь текст по-латыни, получалось Николаус Андреевум, который рожден в "Петрополис" вместо Петербурга. Неудивительно, что копия его, которую во время войны я держал в бумажнике, много лет спустя вызвала недоумение и расспросы советского майора госбезопасности, когда он выпускал меня из тюрьмы.

Теперь, я с удовольствием это подчеркиваю, все вокруг меня знали, я

на их глазах страдал много лет как студент, писал работу, появлялся в печати, танцевал на балах и стал доктором - это было достижение. Другие доктора Кондаковского Института были произведены в доктора уже давно, никто не был свидетелем их славы и подъема. Все сошлись на том, что это хорошее достижение. Это выразил генерал Виктор Васильевич Чернавин, близко входивший в дела Института, который был дружески настроен ко мне - мы много разговаривали, я его всегда именовал "Ваше Превосходительство", чувствуя, как ему приятно, что кто-то помнит, что он достиг генеральских чинов. Он хорошо сказал: "Николай Ефремович, поздравляю Вас, потому что Вы завершили какую-то эпоху Вашей жизни". Та же мысль была в поздравлении Калитинского и в письме родителей, в поздравлении С.М.Шиллинга и других моих друзей. Действительно, я оправдал доверие, которое мне оказывали, и хорошие рекомендации, которые мне давали, и получил научную степень. Об этом писал, поздравляя меня, дядя Коля, старший брат отца, который в свое время учился в Гейдельберге: "Я не сумел достичь степени доктора философии в Гейдельберге. Очень радуюсь, что это сделал ты, получив заграничный титул". Затем Н.П.Толль сообщил, что Институт Кондакова избрал меня в действительные члены, я буду занимать пост библиотекаря и числиться членом-исследователем, передо мной будут открыты пути исследовательской работы, и моя стипендия, которую мне выплачивала президентская канцелярия как студенту-кандидату, теперь переведена на меня как на молодого исследователя. Пока что дается та же сумма, не оговаривая предела во времени, и, вероятно, 2 или 3 года я могу заниматься исследованием. Это было очень приятное известие, и еще Институт решил дать мне большой отпуск - ясно было, что я сильно устал. Я попросил дать мне отпуск осенью, чтобы я мог захватить Рождество, то есть октябрь, ноябрь, декабрь. Это совпадало с общими планами: летом уезжали в командировку и Расовский, и Толль. Мне надо было до 15 или 20 сентября вести дела Института почти в одиночку, потому что княгиня тоже уезжала. Это давало мне возможность прийти в себя и подогнать мои литературные дела еще до отъезда в Эстонию. Между тем из Эстонии пришло письмо от С.М.Шиллинга, который предлагал мне прочесть курс лекций по современной литературе в Русском народном университете, главой которого он был и который время от времени устраивал открытые лекции. Подумав, я ответил, что могу, и мы договорились, что курс будет называться "Русская литература после революции". Каждая лекция должна была быть двухчасовой с перерывом посередине, таким образом 4 часа, то есть 2 вечера будут посвящены советской литературе, и 2 часа - один вечер - эмигрантской. Лекции давались на Медвежьей улице в здании еврейской гимназии, куда переехала русская гимназия и где вечером занимался Русский народный университет. Когда я приехал в Ревель, эти лекции были объявлены афишами, и впервые я там именовался "доктор философии Карлова университета в Праге". Это звание не все понимали, но видели, что это какое-то достижение, и я был фаворитом. Некоторые молодые люди получали за границей звание инженера и потом исчезали на фабриках в глубине Эстонии или в других странах, а я был на виду и должен был читать

курс лекций, свидетельствуя, что не напрасно был объектом общественной помощи.

В том же 1933 г. состоялось празднование 10-летия нашей русской городской гимназии, и меня попросили выступить от имени окончивших. Праздник был очень торжественный, в замечательном концертном зале "Эстонии". Народу было огромное количество, свыше 1000 человек. Я, кажется, сказал удачное слово. Говоривший от Попечительского комитета присяжный поверенный Иван Михайлович Горшков, он же член Эстонского парламента, подхватил мои мотивы - "он рад был слышать характеристики гимназии доктора Андреева и берет их за основу своей речи".

Начало моих лекций случайно совпало с тем, что накануне Бунин получил Нобелевскую премию, и перед началом лекций я, еще не входя на кафедру, сказал несколько слов о Бунине, о значении его литературной победы. Даже Толстому не дали премии, а ему дали, и так как он в эмиграции, это есть духовная помощь тем русским, которые находятся вне родной страны, но продолжают создавать ценности, привлекающие внимание всего мира. Это был основной мотив, я говорил минут 8-10, стоя перед кафедрой, а потом уже вошел на кафедру и начал курс. Начал я со слов Троцкого из его книги "Литература и революция": он писал в 1922 г., что если за 10 лет не будет создана качественно новая литература, иная, чем буржуазного типа, то значит методы, которыми работали пролетарские писатели - неправильны. Это был лейтмотив, я сказал, что через 10 лет все, что появилось качественного в советской литературе, шло в русле классики русской литературы, а остальное было или голым экспериментом, или просто недостаточно художественно выраженным материалом, который умирал вскоре после того, как появлялся. При этом я дал характеристику борьбы главных течений. В сжатом виде мои лекции были изданы в Таллине ко Дню русской культуры 1934 г. в "Вестнике Союза просветительных и благотворительных обществ в Эстонии". Получилась интересная, хотя и краткая статья, которая давала много правильных оттенков и диагнозов бурному и трагическому пути русской литературы после революции. После состоялась интересная дискуссия по поводу моих лекций, но так как это невозможно было сделать в рамках лекций, то я согласился на предложение Большого литературного кружка устроить дискуссию на Нарвской улице, где они заседали в квартире Марии Ильиничны Падве. Моим главным оппонентом выступил Юрий Павлович Иваск, который тогда исповедовал просоветские убеждения под влиянием Германа Хохлова, но он был плохо осведомлен о советских делах, и мне легко было его разгромить. Забавно, что после этого Иваск стал меня уважать, а раньше всегда держался надменно-презрительно: "Да, конечно, Андреев это что-то такое, но, знаете, он слишком реалистичный человек, а вот я, Юрий Павлович Иваск причастен то к мистике, то к марксизму, я не от мира сего, я даже не стопроцентно русский, но, тем не менее, понимаю русскую культуру гораздо лучше". Этот мотив в нем очень силен и неприятен, и вдруг он его утратил в отношении меня, когда я вежливо, но конкретно показал ему утопичность его точек зрения и основательность моих реалистических анализов.

Мне удалось остаться до 15 января, и я даже немного превысил срок, с согласия Института, так как мне нужно было прочесть в библиотеке Юрьевского университета, в Тарту, некоторые издания, которых не было в Праге и которые мне нужно было знать в перспективе своей работы. Я попросил отсрочку и поехал туда. Это была одна причина, а вторая состояла в том, что я очень веселился в Эстонии и завел несколько легких флиртов.

Вернувшись в Прагу в 1934 г., я почувствовал себя другим человеком: кончился учебный период, и надо было перестраиваться на работу. Опять возникли сложности. Но предварительно я хотел бы подвести итог и помянуть то, что получил от Карлова университета, и тех, кто способствовал моему образованию. От университета у меня остались в целом очень светлые воспоминания. Мне не пришлось платить за свое образование. Благодаря договору между Эстонией и Чехословакией я был принят в Карлов университет без экзаменов и специальных платежей. И меня все время освобождали от платы, потому что я учился хорошо. Добрые люди, благодаря Рите Улк и Маргарите Карловне Кайгородовой, обеспечили мне полтора года учебы, затем меня перенял Кондаковский Институт. Университет отнесся ко мне весьма либерально - это была вообще очень либеральная организация, они не настаивали, например, чтобы экзамены сдавались на государственном, чешском языке, но считали, что если вы славист, то нужно стремиться слушать, и говорить, и сдавать экзамены на разных славянских языках. Если вы хотели получить право преподавать в чешских школах, тогда надо было сдавать в обязательном порядке ряд предметов на чешском языке. Но если вы делали докторат, то было много других возможностей. Чехи хорошо понимали, что славяноведение наука международная, поэтому международным был сам преподавательский состав на философском факультете Карлова университета. Я слушал лекции по польской литературе на польском, по сербской литературе - на сербском, обзорный курс читался по-болгарски и даже по-украински, хотя профессор Зеленко, украинский преподаватель, старался как можно больше читать по-чешски, по-видимому, чтобы привлечь внимание чешских студентов. Это был широкий подход, какого не было, например, даже во французских университетах. Когда я появился, русских студентов было много, на философском факультете - до 120 человек. За 4 года моего пребывания в Карловом университете это число сильно сократилось и к моему окончанию русских студентов было человек 40.

Что дали мне отдельные университетские курсы или университетские профессора? Начнем с философии. Философски они мне дали мало, но начиная с терминологии и хронологии и определенных методов подхода к вопросу лекции и семинар Козака были небесполезны. Профессор Козак был, как я упоминал, неприятный человек, держался ужасно непедагогично, но что-то он нам давал. Самое благоприятное впечатление на меня производили лекции профессора Крааля. Он как раз был главным экзаменатором на философском ригорозуме. Но ядро философского образования я получил на лекциях профессора Лапшина в Русском народном университете, куда я ходил в Философское общество просто как

слушатель. Участвовать в дискуссиях я не посмел бы, но с интересом слушал, и это мне очень помогло и лишило страха перед философией.

Филологом я не сделался, но слушал лекции и ходил на семинар профессора Вейнгардта по введению в славянскую филологию, что дало мне общую ориентацию. Он читал неприятно, не увлекая, и желания стать филологом у меня не возникло. Нельзя объять необъятное. Большое впечатление произвели на меня лекции Мурка. Он чрезвычайно плохо преподавал предмет, слушатели его терялись. Курс в первом триместре, на который меня почему-то записал Теннукест, был полной потерей времени, потому что тогда я мало понимал по-чешски. Но на 3-й и 4-й год я слушал уже совсем другой курс, потому что понимал нюансы и интересовался сущностью того, что он говорил. Специалистом по славянскому фольклору я не стал, но приобрел уважение к этой дисциплине. Вместо фольклора я занялся иконоведением. По русской истории я, конечно, прослушал все курсы, которые читались при мне Кизеветтером, специалистом главным образом по XVIII, отчасти по XIX веку, и вполне усвоил его точки зрения и методы. Но когда писал докторскую, я от них отошел. Невольно, когда я его слушал, мне приходила на память карикатура из "Нового Сатирикона" Аркадия Аверченко, где Кизеветтер изображался в виде скрижали - но не Моисеевой скрижали, а скрижали Партии народной свободы, и эта скрижаль-Кизеветтер гласила: "Меня можно разбить на куски, но я не откажусь ни от одного слова, на мне начертанного". Приблизительно такая точка зрения и чувствовалась в его курсах. Так как он считал, с полным правом, что перед ним сидят не чистые историки, а больше слависты, то читал со свойственным ему красноречием обобщающие курсы, хотя и подробные.

У него была либеральная концепция, не всегда отвечавшая духу фактов, которые я узнал уже позднее, когда стал исследователем. Он, например, отрицательно относился к Ивану Грозному и ко всей его эпохе, усматривая, не без основания, множество зря пролитой крови и жестокости, которые, как известно, составляли "запах" эпохи, суть опричнины. Это я заметил, еще когда был студентом, и заинтересовался точкой зрения Р.Ю.Виппера, автора книги "Иван Грозный". Виппер рассмотрел эпоху Грозного с точки зрения не только внутренних русских событий, как это было принято до него, а на фоне европейских событий XVI века. Результат получился удивительно интересный: русские события вдруг оказались эхом западноевропейских, причем без всякого сговора между Москвой и Западом, просто это была тенденция эпохи. Это наблюдение Виппера поразило меня. Одновременно я нашел резкую и чрезвычайно, по-моему, несправедливую оценку этой работы в рецензии Кизеветтера в журнале "Современные записки". Позднее, занимаясь этой эпохой, я увидел, что он абсолютно не прав. Это ослабило его авторитет в моих глазах. В либеральной традиции истолкования русской истории несправедливой казалась оценка им целого ряда явлений, в частности в Московском периоде и явная, как бы сказать, суровость в отношении мероприятий правительства - как будто правительство России не заботилось о развитии страны. После я встретился со многими авторитетными людьми, которые не принимали манеры

Кизеветтера. Одним из них был Н.П.Толль, который вообще считал его прежде всего кадетским оратором, а потом уж историком. Примерно ту же точку зрения высказывал много позднее Борис Исаакович Элькин <душеприказчик П.Н.Милюкова - ред.>, хотя сам он был кадет, но относился к Кизеветтеру довольно скептически, считая, что тот ввел слишком много публицистики в свое изложение истории. Тем не менее, его лекции дали мне полную ориентацию в русской истории. Я уже окончил университет, когда он умер, и написал о нем некролог в "Нови" 5, но текста у меня нет, и я не помню, в какой степени был откровенен в некрологе.

Из других историков особенно был интересен профессор Бидло, настроенный чрезвычайно антирусски. Сам он был отчасти византологом, но читал курс чешской истории. Он защищал тезис, что Европа кончается там, где кончается католическая вера. Мне это казалось неверным, во всяком случае это не относилось ни к Киевскому периоду, ни к XVIII веку. С оговоркой это приложимо к Московской Руси. И все равно я считал это совершенно неверным. Наиболее основательным, хотя и довольно скучным, был профессор Новотный, который читал бесконечный курс по чешской истории. Я считал необходимым посещать его, хотя он издал все свои курсы, но мне было интересно живое изложение. Он был уже немолодой и делал ошибку - он именно читал курс, по тетрадям или даже по своей книге. Тем не менее, у него была громадная аудитория - он был добросовестный историк. История была представлена у нас не лучшим образом, я во многом дополнял свои знания, и позднее, да и тогда тоже, ходя в Русское историческое общество, где были первоклассные доклады и дискуссии. Конечно, я старался следить за советской историографией. Ведь это было время, когда советская наука все ревизовала, все излагала по-иному, чем было принято, и посмотреть на материал с другой точки зрения было даже полезно.

Что давал факультет? Я посещал курсы национальных славянских литератур и в большинстве случаев слушал их на разных славянских языках. Но центром моего изучения была русская литература. Она была вообще центром изучения на всем факультете. Тут нужно назвать трех людей: Иржи Горак, уже мелькавший в моем изложении, который читал сравнительную историю славянских литератур. В мой период это была исключительно история русской литературы, начиная с эпохи Радищева и Новикова. Безусловно, концепция Горака не была марксистской, но была публицистически-радикальной. Он плохо понимал или совсем не понимал такие явления, как славянофильство или литературу, связанную с проблемами церкви. Даже при анализе Достоевского он не особенно интересовался его религиозными воззрениями, во всяком случае на лекциях. С моей точки зрения это был несомненный минус, курс получался однобоким, но он этого, видимо, не понимал. Дело в том, что был он хорошим оратором и мог прекрасно удерживать внимание слушателей, у него были большие аудитории, множество чешских студентов, читал он с большой экспрессией по-чешски и при этом все время занимался пропагандой русского языка, что мне очень нравилось. Например, делал такие заявления: "Русский язык - царский язык! Послушайте, какая полнота звука: "Бултых в воду!"

- в каком другом славянском языке вы найдете такое образное выражение? В этом отношении он был интересный человек, мне нравилось, что он читал много русских текстов, но читал он их плохо. Воображая, что отлично читает по-русски, он делал множество элементарных ошибок в ударении. В чешском ударение всегда на первом слоге, и он не успевал полностью переключаться в русскую тональность. Пока он читал какой-нибудь отрывок, мы отмечали, сколько раз он ошибся в ударении. Вторая вещь, которая меня удивляла, в изложении не было пропорциональности авторов или литературных событий. Я настолько привык что есть первый, второй и третий классы авторов, что мне казалось, нет надобности иностранной аудитории в библиографиях второстепенных и третьестепенных русских авторов, не интересных художественно, не оставивших следа в русской словесности. Кое-кто считал это влиянием советской радикальной критики. Вряд ли. Ему самому было интересно читать об этих авторах, и о них было легко читать, потому что они мало написали, произведения их были коротки, как и статьи о них. Начав читать Толстого, вы тонули в бесконечности его романов и в бесконечном списке работ, посвященных Толстому. У Горака же получалась аномалия: он читал две лекции о Толстом и в том же триместре 8 часов посвящал третьеклассному поэту Надсону. И не только горячо говорил о нем, но и много цитировал. Я подозреваю, потому, что он хорошо понимал элементарные тексты Надсона. С другой стороны, Надсон ему, может быть, импонировал ему сочетанием гражданских и религиозных мотивов. Не то, чтобы он провозглашал Надсона первоклассным поэтом, нет, просто уделял ему больше внимания, чем нужно. Но при этом он был энтузиаст, он призывал всех заниматься русской литературой, читать ее, понимать.

Горак всегда выступал с докладами в связи с Толстым или Достоевским, на торжественных заседаниях. В Народном Музее на Вацлавском Намести, когда было праздничное заседание по поводу 100-летия со дня рождения Толстого и от русских выступал Маклаков, один из лучших, вероятно, русских ораторов, то от чехов выступал Горак. Он также был председателем Общества по изучению Достоевского, много занимался русским фольклором, он вовсе не был, как злословили, мелкотравчатым академиком, а просто имел свои пропорции и свои критерии. У него была богатая фантазия: разговаривая со мной о моей докторской диссертации, он, например, сказал, что следовало бы написать работу о том, как фольклор влиял на русские иконы. Я отнесся к этому осторожно - это была полная ересь и любительское понимание русской иконописи. Но вслух я ничего не сказал, потому что понимал, что он обиделся или огорчился бы, если бы я стал возражать с позиций реальных знаний. Я всегда благодарно вспоминаю его, он помог мне освободиться из советской тюрьмы, сохранив мне жизнь и вернув свободу.

Из русских славистов я прежде всего должен назвать академика. Он был нелегкий человек, как я уже сказал, у него была блуждающая почка, что вдруг вызывало обострение его состояния и резкости, которые он мог допустить без всяких оснований. Похож он был на огромного седовласого кота: у него были чудные волосы, которые производили впечатление

кошачьего меха. Хотелось погладить его по голове. Производил он впечатление собранного и весьма активного человека, каким, по существу, и был. Он замечательно знал чешский язык. Многие чехи даже удивлялись, что он говорит таким изысканным чешским языком, каким они уже говорить не умеют. В 90-е годы он был прислан как студент-исследователь или как доцент в Прагу, и, будучи большим энтузиастом своей профессии, уже как-то зная чешский язык. Он его усовершенствовал тем более, как говорили сплетники, что бесконечно был увлечен чешской дамой, которая вышла замуж за другого, а он остался на всю жизнь холостяком. Он написал несколько основательных работ, широко используя материалы Чешского музея, неопубликованные источники, кроме того, он был крупным специалистом по чешскому литературоведению и, в частности, славяноведению. Естественно, что он получил назначение в Карлов университет и читал там много разных курсов. Я лично не был восхищен им как лектором. Читал он скучно, все время на двух языках: начинал говорить по-чешски, потом переходил на русский, возвращался на чешский, некоторые мысли повторял по-русски, это была мозаика из 2-х языков. Вероятно, он это делал сознательно, потому что аудитория была смешанная, и он иногда повторял отдельные мысли, думая, что это полезно для студентов. Все, что он говорил, было конкретно и солидно, но это было внешнее скольжение. Видимо, Францев полагал, что его студенты, особенно русские, настолько мало знают о Чехии и о славяноведении в Чехословакии, что он ограничивался более или менее элементарными фактами. Позднее я старался не ходить на его лекции, это была трата времени - вы могли взять 2-3 пособия и в 2-3 часа восстановить картину всего его курса. Еще хуже он был на семинарах - он не уважал слушателей, у него не было стремления познакомить с методами подхода к темам.

Он оставался в плоскости комментирования того, что вдруг услышал, причем комментировать мог очень странно, вдруг противоречить докладчику, когда тот еще не высказал своего мнения. Здесь было довольно много прискорбных происшествий. Нужно было ходить на семинар Францева, потому что он был важная фигура, но ходить не любили. Он был занят текущими нагрузками, все время издавал что-то, серьезно относился к своим публикациям, интересным и конкретным. Он больше был исследователь, чем преподаватель. Я сам у него выдвинулся случайно на Грибоедове, потому что в тот день он был более покладист. Когда я читал у него о Хомякове, как мне казалось, интересный доклад, я не смог даже дочитать его до конца, потому что он стал возражать с первых же строк. Потом я сообразил: я допустил ошибку, не начав с ссылки на него. Он что-то напечатал о Хомякове, и нужно было сказать о нем, а я вдруг решил соригинальничать и так и не успел ничего рассказать. Это был урок, я увидел, что с Францевым нужно быть осторожным. Ко мне он относился хорошо и считал меня серьезным студентом, но, хотя я ему давал оттиски своих публикаций, я уверен, что он их никогда не читал, потому что как-то раз он случайно заговорил о моей работе, обнаружив полное незнание статей, о которых говорил. Он благоволил к семинару Кондакова, уважал княгиню, чтил Калитинского и хорошо относился к Толлю, но мы не

приглашали его на заседания, потому что знали: Францев придет и уведет заседание Бог знает куда. У него не было конструктивного подхода. Он дал мне урок, как не надо вести семинары. Второе - к а к нужно заботиться о своих публикациях, которые должны быть обстроены самым тщательным образом. И, в-третьих, единственное, что у него было занятно, это двуязычие на лекциях. У Францева были помощниками доцент Панас и одно время брат В.А.Францева, но он умер раньше, чем Владимир Андреевич. Позднее, когда Францев стал прихварывать, ему все труднее было ходить и он посылал Панаса в типографии и библиотеки. Тем не менее, появляясь в общественных местах, он по-прежнему походил на мурлыкающего кота, который жмурится, и хмурится, а может и царапнуть. Я, например, присутствовал при дикой сцене в Русском историческом обществе. Уже расходились после заседания, и Евгений Францевич Шмурло, председатель общества, член-корреспондент Российской Академии Наук, милейший историк, подавал Францеву пальто, хотя тот всегда говорил: “Я еще сам могу, нет, нет, я сам!”, но тот все-таки подавал. Они разговаривали, и Шмурло назвал его “Владимир Францевич” вместо Владимир Андреевич. Францев вспылил, как фейерверк, и, скрежеща зубами, сказал: “А как Вы отнесетесь к тому, молодой человек, - хотя Шмурло был, вероятно, старше его, - если я вас буду называть Евгений Шмурлович?!” Конечно, Е.Ф.Шмурло рассыпался в извинениях, а все мы, кто стоял рядом, были ужасно сконфужены и поражены вспыльчивостью Францева.

Францев был нелегкий для общения академик. Как мне рассказывали знающие люди, он был в плохих отношениях с Гораком, с Ляцким одно время прекратил сношения, потому что тот что-то не так вел, как хотел Францев. Однажды его позвали по сугубо дипломатическим соображениям на обед в Институт Кондакова: мы время от времени устраивали разные ужины или обеды, главным образом когда шли сессии Института. Как раз приехали Острогорский, Мошин из Югославии, кто-то еще, и решили пригласить Францева. Торжества происходили в комнате Расовского, а если это были блины, то их пекли в нашей комнате и оттуда сразу приносили. Но оказалось, что, во-первых, Францев ничего не может есть и пить, так что это было неудачно, во-вторых, он делал неимоверные усилия, чтобы быть вежливым, а мы делали неимоверные усилия, чтобы ему нравиться! Все прошло более или менее благополучно. И Францева отвезли домой на машине Шварценберга. Это ему, кажется, очень понравилось. Но все вздохнули свободно, когда он наконец ушел. Было страшное напряжение - а вдруг вспылит? И скажет что-нибудь непоправимое. Но все обошлось. Но сам по себе он был хороший человек и уважал настоящую науку. Францев любил быть в центре разговора, это было заметно, когда он был в хорошем настроении, после лекции или семинара, в коридоре, окруженный исследователями и студентами, например, четой Висковатых, которых он очень любил - он русский, она полька, но русской культуры, они готовились к докторату под его руководством. Он всегда начинал рассказывать что-нибудь и не терпел, когда его вдруг перебивали или появлялся другой рассказчик. Другие рассказчики или чужие анекдоты его нисколько не интересовали. Однажды он был в ударе

и остановился на проблеме, почти непреодолимой для славистов: слова в разных славянских языках неприличные с точки зрения русского. Он привел целый ряд потрясающих, совершенно непечатных фамилий, которые, оказывается, существовали в Праге и принадлежали его знакомым - игра природы, судьба близких языков. Он очень много зарабатывал, потому что был и академик, и ординарный профессор, у него была большая выслуга лет. Он был председатель разных комиссий, редакционных коллегий, но когда ему прислали оповещение о повышении налогов, он в общественном месте страшно возмущался, говоря: "Видимо, чехословацкое правительство решило на полученные с меня налоги содержать свою республику!" Это была резкая формулировка, даже не остроумная, а просто злобная. Возможно, в тот момент он был болен. Тем не менее, В.А.Францев представлял собой совершенно своеобразную, абсолютно русскую фигуру. Это была честь - назвать Францева в числе ваших учителей. Однако я полагаю, что его отрицательные свойства упускать при характеристике не следует.

1934 ГОД И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ.

Положа руку на сердце, я наиболее благодарен Евгению Александровичу Ляцкому. До революции он не был университетским преподавателем - заведовал этнографическим отделом Русского Музея Императора Александра III в Санкт-Петербурге. Он ездил в по северу России, и очень остроумно докладывал о поездках в Славянском институте, центральной организации Чехословакии, занимавшейся славянскими проблемами. Кроме того, он принимал участие в так называемых "толстых журналах". Еще в тот период, когда я читал залпом все эти журналы в библиотеке русской школы в Ревеле, я не раз встречал его имя, не предполагая, что буду с ним знаком. Он написал большое исследование о Гончарове, принимал участие в изданиях под редакцией Овсянико-Куликовского и других популярных изданиях. Злые языки уверяли, что он получил материалы о Гончарове в приданое, когда женился на дочери академика Пыпина, и Пыпин отдал собранные им материалы, которые не успел обработать, своему зятю. Так ли это, не знаю, думаю, что какие-то материалы он, возможно, и получил, но это не значит, что они предопределили его работу. Кроме того, он нашел материалы о Чернышевском и опубликовал их. После революции он оказался в Швеции и даже организовал там издательство "Северные огни", выпустившее целый ряд классиков. Русская заграничная школа тогда нуждалась в текстах, и он писал о Гончарове. В конце концов президент Масарик пригласил его в Прагу. Опять злые языки уверяли, что его пригласили, и не только пригласили, но и назначили профессором, и не просто профессором, а ординарным профессором в Карловом университете по русской литературе, в благодарность за то, что академик Пыпин, как и академик Кондаков, в свое время поддержали кандидатуру Масарика в Санкт-Петербургский университет. В мое время он уже был или разведен с женой, или она умерла, и он женился на молодой ассистентке профессора Мурко, Виде Павловне, сербке из Белграда. Между ними была большая

разница, ей чуть ли не 30, ему 58. Те же злые языки уверяли, что он омолаживался и доктор Воронов сделал ему прививки желез. Злословили о нем из-за того, что он был назначен в Карлов университет на очень хорошее место, а многие другие наши академики и крупные ученые оставались только научными работниками, не имея обеспечения. Во-вторых, когда он приехал в Прагу, его назначили одним из директоров большого государственного издательства "Пламя". На этом Ляцкий якобы тоже обогащался, и этого общественное мнение не хотело ему прощать. Говорили также, что он самозванец в известном смысле, потому что не был профессором в России и вдруг за границей он профессор. К нему относились скорее сдержанно-вежливо и враждебно, за спиной всегда поносили. Это было заметно и неприятно лично мне, потому что я видел его в ином свете. Хотя он был чрезвычайно некрасив, но был джентльмен, англизирован по виду и манерой держаться напоминал Павла Николаевича Милюкова.

На его семинаре о формалистах, где я присутствовал, когда читал Ростислав Владимирович Плетнев, Ляцкий показался мне очень значительным человеком. Он был первым профессором, который после доклада моего о Гоголе меня поддержал: давал время от времени работу, за которую платил,- держать для него корректуру, проверять рецензии. Иногда он мне диктовал, это все было спорадически, занимало немного времени, но было полезно. На семинарах он с интересом слушал мои точки зрения, часто примыкал к ним. Ко мне он был очень расположен, интересовался моей литературной деятельностью. И даже, когда я уже получил докторат, говорил: "Знаете, Николай Ефремович, я Вам желаю, чтобы Вы нашли настоящее призвание. Одно из Ваших призваний - быть редактором толстого журнала, потому что Вы разносторонне образованы, у Вас хороший вкус и Вы могли бы быть достойным редактором". Он вообще меня ценил, несколько раз публично хвалил меня за мои выступления. Когда одна из наших гимназических экскурсий, кажется, в 1929 году, приехала в Прагу, они посетили Ляцкого и, разговаривая с Соколовым, с Дормидонтовой и с другими преподавателями и участниками экскурсии, он сказал: "О да, Андреев очень талантливый человек и несомненно далеко пойдет". Благодаря ему я начал печататься в журнале "Славиа", в который трудно было попасть. Но Ляцкий входил в редакционный круг и настоял, чтобы Мурко иногда давал мне книги на отзыв.

У него были и отрицательные стороны. Мы должны были заняться разбором толстовского наследия, которое лежало в Национальном музее на Вацлавской площади. Л.Н.Толстой переписывался с Д.П.Маковицким, словацким врачом, который долго его лечил. Эти письма лежали в папках. Готовился сборник памяти Толстого под редакцией Горака и при участии Ляцкого. Евгений Александрович вызвал меня и попросил поехать с ним рассматривать эти рукописи. Ляцкий отобрал целый ряд неопубликованных писем и сказал мне подготовить их к печати. Задача была очень трудная, потому что рукописи Толстого, как известно, почти невозможно прочесть. Письма были невероятно начирканы, первое впечатление - не понять ни слова. Но потом все удалось прочитать, за исключением о д н о г о слова.

Этим главным образом занимался я, сидел много дней и в конце концов одолел. Я ждал, что когда он будет их публиковать, то назовет меня: я сделал ряд примечаний, подготовил все к печати - кто упоминается, как, какие разночтения. Можете себе представить мое разочарование, когда в сборнике обо мне не было ни слова! Я был ошеломлен. Правда, заплатил он мне очень хорошо, но мою работу присвоил. Я потом это кому-то рассказал, и мне сказали, что это часто бывает в академических кругах, бывает и хуже - историк назначает семинар, студенты работают, а их результаты профессор использует, не называя их имен. Мне пришлось смириться.

Но в целом Ляцкий был для меня положительным явлением: к нему всегда можно было прийти за советом или помощью. С ним было гораздо легче иметь дело, чем с Францевым или даже с Гораком. Горак был любезный человек, но упрямый и не вникал в то, что говорит собеседник. Ляцкий всегда слушал, всегда принимал во внимание точку зрения. Я часто с ним не соглашался в оценках, когда он писал о древней литературе, и он всегда считался с моим мнением и некоторые точки зрения принимал. Время от времени он приглашал меня, и других тоже, на чай. Вида Павловна была любезна, хотя относилась к нам, русским секретарям ее мужа, настороженно -несмотря на то, что она отлично знала русский, это все-таки не был ее язык, и она побаивалась наших критических замечаний. У Евгения Александровича было плохое зрение, он диктовал Виде Павловне текст и спрашивал нас: "Ну, что Вы думаете об этом тексте?" А Вида Павловна иногда делала опечатки или упрощала. Поэтому она нас как будто не очень любила - "нас", потому что у Ляцкого были и другие секретари. Он несколько раз брал Левицкого, кажется, у него раз работал Хохлов, и Расовского он приглашал, чтобы тот прочитал перед сдачей в типографию его "Историю древней литературы". Он пользовался услугами коллег, но всегда их оплачивал. Жил на самом верхнем этаже, надо было сначала ехать на лифте, а последний пролет лифт уже не шел. У него было 4 комнаты. Конечно, множество книг, а в кабинете целые две стены увешаны портретами писателей, большими фотографиями, обычно с теплыми надписями. Их там было очень много: Зинаида Гиппиус и Мережковский, Тэффи, Ремизов, Зайцев, Бунин. Кого только не было: почти весь эмигрантский Олимп. Это была замечательная идея, у меня за всю жизнь не было портрета ни одного писателя, я не умел их собирать, а у него были и Василий Иванович Чириков, и Немирович-Данченко, авторы разного веса и значения, но все русские писатели. Злые языки пели: "А знаете, почему они дарили? Рассчитывали, что он их опубликует в издательстве "Пламя"! Он многих публиковал, это верно: Бальмонта, например, а потом с ним разошелся, у них была полемика по поводу бальмонтовских переводов, у Ляцкого могли быть такие заскоки.

Мне нравилось, что он обращался со мной, как с равным, никогда не давал понять, как Францев, какой ты, мол, невежественный студент. Разговаривал очень вежливо, и, если делал ехидные замечания, то они были утонченно преподнесены, так что вы не могли не улыбнуться или даже рассмеяться над его критическими суждениями, особенно когда он

говорил о других. Он занимался Достоевским, читал о Достоевском, вел семинар по Достоевскому, входил в большой семинар чешского Общества Достоевского, председателем которого был Горак, а секретарем Бем. Как-то объявили открытый диспут. Главный доклад должен был делать Бем, а председательствовать и участвовать должны были Горак и Ляцкий. Ляцкий с большим сарказмом (накануне разослали программы, я как раз был у него) показывает: "Видели повестку, придете завтра на это заседание?" Я говорю, что не могу. - "Знаете, если Вы не придете, то ничего не потеряете: не такой медведь Достоевский, чтобы попасться на рогатину Альфреду Людвиговичу Бему, и не Гораку вести в загон Достоевского, Достоевский от них уйдет!" Я не мог не посмеяться от души, потому что так и вышло - и доклады Бема и Горака, и выступление того же Ляцкого не могли исчерпать Достоевского, его нельзя было исчерпать и даже нельзя было полностью понять.

Хорошее отношение ко мне Ляцкого и других славистов выразилось неожиданным образом в 1934 г., когда меня вызвал Евгений Александрович и объявил: "Я Вам сейчас скажу нечто чрезвычайно важное: мы - Францев, Горак и я - обсуждали, кого выдвинуть доцентом по русской и славянской литературе, когда В.А.Францев уйдет через 2 года, кажется, в отставку. Можете себе представить, мы все сошлись на одном имени - на Вашем". Я был поражен: "Как, я?" - "Да! Вы. И Горак, и Францев, и я согласились, что Вы наиболее достойный кандидат. Сохраните это пока в тайне, но Вы должны разработать тему". В чешском, как и в немецких университетах, была такая специальная работа будущего университетского профессора. "Какую работу Вы можете взять? - и добавляет,- может быть, Аввакума? К Аввакуму возник новый интерес со всех сторон, а Вы хорошо знаете иконы, так что тему можно было бы связать с иконами и затем выявить его литературные приемы. Вы подумайте и дайте мне знать. Мы делаем заявление, и деканат факультета нашу точку зрения принимает". Я поблагодарил Евгения Александровича, это было лучшей демонстрацией дружбы ко мне, и, конечно, побежал сейчас же к Толлю. Николай Петрович пришел в большое возбуждение: "Это замечательно, Вы получите зацепку по чешской линии, Вы, конечно, останетесь в Институте членом, и мы Вас сделаем членом правления, а денежно Вы бы были уже обеспечены". Мы были в полном воодушевлении. Никому из коллег я в то время ничего не сказал. Косте Гаврилову рассказал, и сообщил родителям под секретом, что есть такое предположение, что мою кандидатуру выдвинут на место доцента, потому что я с их точки зрения знаю предмет. Профессор Горак тоже говорил со мной об этом и даже пошел еще дальше, потому что уже имел напечатанный текст от моего имени, по-чешски, где я предлагал свои услуги, выдвигал свою кандидатуру. Он сказал, что полезно иметь его сразу, чтобы пройти без дальнейших задержек. Францев сказал, что он очень рад, что они все трое, далеко не во всем всегда согласные, в данном случае были единодушны, и он надеется, что через некоторое время я буду официально провозглашен кандидатом, напишу требуемую работу и не позднее, чем через год вопрос будет решен. Таковы были перспективы. Я обдумывал материал, и мне представились интересные подходы к Аввакуму,

я действительно обратил внимание на иконы и открыл довольно интересные вещи. Значительно позднее, в 1961 г., в сборнике в честь Пьера Паскаля все это было оформлено в мою статью о взглядах Аввакума на иконопись. Приблизительно месяц, полтора я знакомился с литературой и обдумывал, как повернуть тему, чтобы она была нова для славистов и в то же время интересна для историков. У меня начала намечаться концепция. Я с большим энтузиазмом почти набросал черновик, как вдруг меня опять вызвал Ляцкий. Он был в подавленном состоянии и сказал: "Николай Ефремович, я вызвал Вас по важному вопросу. Я предлагаю Вам снять Вашу кандидатуру на место доцента, которое мы Вам предлагали".

Я решил, что он сошел с ума, и в полном удивлении говорю: "Извините, но я не понимаю, Вы же сами полтора месяца тому назад меня вызвали, у меня даже наброски есть, и я хотел с Вами поговорить на эту тему, а Вы говорите, что я должен снять кандидатуру. Почему?" Ляцкий сказал: "Вы молодой человек, начинающий академик, и в вашем послужном списке должно быть как можно меньше официальных отказов и неудач". - "Позвольте, при чем тут неудачи и отказы? Ничего не случилось, кажется?" - "Да, но случится. Дело в том, что Вашу кандидатуру отводит министерство иностранных дел Чехословакии." - "При чем тут министерство?" - "Представьте себе, Министерство иностранных дел, узнав об этой подготовке, высказало мысль, что нельзя назначать преемником Францева русского эмигранта, а нужно взять советского или чисто чешского ученого, чтобы не было нареканий со стороны советских, что философский факультет обслуживается главным образом эмигрантскими силами". Я в изумлении говорю: "Но это же политическое вмешательство!" - "Да, как Вы знаете, чехи повернули политику и даже признали de jure Советский Союз. Масариковская линия отставлена. Бенеш считается реалистом, и в связи с этим идет перестройка всего. Если Вы не снимете свою кандидатуру, Вас провалят. Ведь это всегда можно сделать: назначат другую комиссию, комиссия скажет, что Вы недостаточно знаете чешский, не знаете того, другого и третьего, что у Вас отсталые взгляды. Бог знает что придумают. Это все войдет в Ваш куррикулум витэ. Этого допустить нельзя, так что лучше снять кандидатуру". - "Кто же будет кандидатом?" - "А кандидата нет, и придется разукрупнить место. Вы могли бы занять место Францева полностью, хотя бы не как действительный профессор, а пока еще доцент, это был бы вопрос нескольких лет вашей практики. Чешские кандидаты не знают достаточно ни русского языка, ни русских предметов". Я был поражен - это была катастрофа. Я лишний раз подумал, как нехорошо делить шкуру неубитого медведя и напрасно я написал родителям и сказал Косте. Это была полная аналогия с историей президента Масарика в Петербурге. Я ее вспомнил и поразился: прошло почти 40 лет, а суть дела та же: Министерство иностранных дел может изменить судьбу ученого. Торможение моей академической карьеры по политическим причинам мне не удалось преодолеть в течение всей моей жизни. Никогда я не смог получить профессорскую кафедру, и в первую очередь по причинам, лежащим вне академического мира. В 30-е годы это было просто неприятно, позднее, в конце моей академической жизни, это было болезненно. Моя

жена, а позднее дочь уверяли, что у меня к этому обостренное отношение, что я должен быть благодарен судьбе - я мог погибнуть в самых ужасных условиях в каком-нибудь советском концентрационном лагере, а я работал в замечательном английском университете. Это все так, но, с другой стороны, несмотря на все данные, которые я имел для того, чтобы естественным образом занять профессорскую кафедру, мне это не удалось, хотя на моих глазах это удавалось самым посредственным людям. После этих трех моих профессоров больше никто уже не заботился обо мне. По-видимому, чтобы не слишком огорчаться, надо предположить, что на это тоже есть предопределение.

На фоне позднейших моих академических контактов я с особенным удовольствием и благодарностью вспоминаю своих пражских учителей: все они были достойные люди, каждый по-своему интересная и академически выразительная фигура. О Ляцком могу добавить, что, несмотря на то, что его критиковали, считали водолеем, дилетантом - много неприятных определений в его адрес гуляло по Праге - он был продукт эпохи и писал так, как ценилось перед революцией. Хотя он отлично знал новейшие теории, но сам себя выражал по-своему, нужно было с этим считаться. Мы не шли по его следам, но то, что он нам давал, формировало наши взгляды. Позднее у нас с ним был даже конфликт: я уже был исследователь, выступал на заседании научно-исследовательского объединения в профессорском доме на Бучковой улице по поводу моих исследований Псково-Печорского монастыря, по-видимому, зимой 1937 г. Было много народа, оппонировал мне Мстислав Вячеславович Шахматов, который порол чепуху: “Вы сосредотачиваетесь, говоря о Псково-Печорском монастыре на XVI веке и поминаете XV, а что же раньше, почему Вы не касаетесь ранних периодов его истории?” На это я мог только холодно ответить: “Монастырь не существовал до 1480-х годов”, - так что он заткнулся. Ляцкий выступил и сказал, что он меня так не учил, я до известной степени оправдываю Ивана IV в связи с историей Псково-Печорского монастыря, считая, что были всякие преувеличения историков. Я ответил, что очень благодарен Евгению Александровичу за критику, но отвожу его главное замечание: было бы очень печально, если бы мы только повторяли наших учителей. Я признателен за то, чему он меня учил, но я иду дальше. Это уже мой путь. Это произвело большое впечатление на аудиторию и на самого Ляцкого, потом он сказал, что надеется, что я не рассердился на его замечание. Обидеться я не обиделся, конечно, мы продолжали общаться, но потом, когда уже пришли немцы, общение стало меньше, потому что все издания закрылись. Мне не пришлось присутствовать на погребении ни академика Францева, ни профессора Ляцкого, я всегда сожалел, что не мог отдать им последнюю честь. Но они сохранились в моей памяти как настоящие руководители, которые хотели сделать для меня как можно больше. Теперь, когда у меня самого очень плохо со зрением и я наговариваю эти ленты, потому что не в состоянии делать ничего иного, я особенно вспоминаю Евгения Александровича, который много лет страдал от плохого зрения, иногда ничего не видел и просил показать, где нужно расписаться - как я сейчас. Может быть, как мне говорили тогда друзья, он

всегда руководился эгоистическими интересами - возможно, и даже вероятно: кто из нас ими не руководится? Но его эгоистические интересы были мне полезны. Мы не говорили с ним на темы вне нашей профессии, мы вели профессиональный разговор. Меня ретроспективно трогает даже то, что он, видимо, сам любил выпить кофе и съесть вкусное пирожное, потому что неоднократно водил меня во всякие кондитерские, куда я сам никогда не заходил и был к ним довольно равнодушен, но Ляцкий приводил, угощал, всегда очень любезно, мы выпивали кофе со сливками и ели какой-нибудь удивительный торт. При этом он всегда вел интересные разговоры. Знал многих людей, вспоминал, и, видимо, немного жалел, что не мог больше принимать участия в современных изданиях эмигрантских толстых журналов - не хватало времени и, главное, зрения. Продукция его была довольно большая: он написал книгу о "Слове о полку Игореве", его точка зрения и некоторые наблюдения были интересны, хотя концепция в целом не была принята другими учеными. В его большой книге по древней русской литературе был целый ряд небесполезных разделов, а для чешских студентов это было просто откровение. Его рецензии, его грамматики, за которые его сильно ругали, по-моему, во многих отношениях были полезны. Например, я всегда пользовался его методом на своих уроках, обращая внимание студентов на чешские слова, звучащие как русские, но имеющие совершенно иное значение. Через его учебники, хрестоматии я узнал о Маршаке. Поэтому я не согласен, что он был человеком негативных академических качеств, как изображали его злые языки. Ляцкий производил большое впечатление в Славянском институте. Он рассказывал о своих этнографических путешествиях, и доходило до того, что он пел образцы песен, которые слышал в свое время. При этом он все читал по-чешски: говорили, что его чешский не так хорош, а у кого был лучше? Только у Францева. То, что он говорил, было интересно и на высоком культурном уровне. Я сохраняю о нем преданную и благодарную память, и когда в Праге отмечалось 100-летие со дня его рождения и профессор Хилл из Славянского отделения Кембриджа попросила меня составить телеграмму по-чешски, я с громадным энтузиазмом сочинил в его честь телеграмму в 100 слов. Надеюсь, она доставила удовольствие его вдове и некоторым друзьям, которые еще были живы.

1934 год ознаменовался целым рядом новых явлений: приход к власти Гитлера в Германии определил настроения в Восточной Европе. В эту волну попал Георгий Александрович Острогорский, у него была еврейская кровь, и ему пришлось искать другое академическое поприще, которое нашлось в Белграде, где ему предложили кафедру византологии. Хотя он не знал тогда сербского языка, он принял это назначение и, кажется, за два года чудодейственно изучил сербский. По дороге в Белград они заехали в Прагу и жили там довольно долго. Очень мне нравилась его жена, может быть, даже чрезмерно пекущаяся о Георгии Александровиче, и их очаровательная дочка Олечка, ей было лет 7, она страшно, даже до смешного, полюбила меня. Позднее, когда умерла его жена Елена Николаевна, через которую он был связан с многими русскими дворянскими семействами, он женился на сербской гречанке.

1934 год заставил меня посмотреть иными глазами на Прагу и на все, что происходило в Чехословакии. Во-первых, я достиг своей цели - я был доктор, во-вторых, потерпел крупную неудачу на дальнейшем академическом этапе, и это располагало к скептицизму и хладнокровию и давало какую-то перспективу. Я вдруг выпал из горячечной спешки, в которой жил с 1928 г., после того, как попал в Кондаковский Институт, и теперь как бы подводил итоги. Я посмотрел на Прагу - и что же я увидел? Надо напомнить, что вся так называемая русская акция в Чехословакии, т.е. конкретная финансовая помощь русской молодежи в первую и ученым во вторую очередь, вся эта страница чешско-русской культурной дружбы проходила под знаком отрицания Советского Союза. Президент Масарик не признавал де юре советскую власть, и так как тысячи, даже десятки тысяч чехов, так называемых легионеров, сами принимали участие в антибольшевистской борьбе на Волге, в Сибири, эти десятки тысяч чехов были настроены против Советов. Вот почему была возможна такая акция - легионеры прекрасно понимали, что Советы не друзья славянам, коммунистическая власть иная, чем национальные правительства, и поэтому, если нужна Россия для того, чтобы на нее могли опираться маленькие славянские государства, то это должна быть антибольшевистская Россия, во всяком случае, не коммунистической. Поэтому в Чехословакии коммунисты были гонимым меньшинством. Сильны были социалистические организации, но социалистические партии были повсюду антикоммунистическими - в гимназический мой период так было в Эстонии, в Польше, в Риге. Вся Восточная Европа была антибольшевистской. В 1933 г., когда я читал лекции в Ревеле, я столкнулся с сильным давлением Советского Союза на культурную деятельность в Прибалтике. Мои лекции "Пути русской литературы после революции" произвели впечатление, и мне звонил из Нарвы Михаил Иванович Соболев, из Юрьева Владимир Сергеевич Соколов, директор Юрьевской гимназии, и из Печор Борис Константинович Семенов, один из инструкторов Союза просветительных обществ, очень просили приехать с лекцией. Но ни одна поездка не состоялась - эстонская политическая полиция не дала мне разрешения. Сергей Михайлович Шиллинг хорошо знал начальника полиции, Ивана Ивановича Кабана, который меня тоже знал, потому что мы с отцом когда-то целую зиму кололи у них дрова, знали его жену, она была русская, а он сам бывший петербургский пристав. Сергей Михайлович учился с ним в средней школе, они дружили еще с юности. Он спросил: "Почему же Вы Андреева не пускаете?", на что Кабан сказал: "Вопрос не во мне, а в Советском Союзе: если Андреев относится к Советскому Союзу положительно, это неприятно эстонцам. Если отрицательно - это еще неприятнее, дипломатические инстанции скажут, что эстонцы позволяют "антисоветскую пропаганду". Вот почему, разрешив в столице эти лекции, они никак не могли разрешить их в приграничных районах и в других городах. Это было убедительно, но поразило меня - получалось, что Прибалтика подпала под советское давление. И Чехословацкая республика по инициативе французов приняла просоветскую линию. Бенеш ездил в Советский Союз, и его принимали с распростертыми объятиями. Он вывез оттуда замечательные

иконы, которые ему подарили, и чехи де юре признали советский режим. Советские появились в невероятном количестве: советская воздушная эскадрилья прилетела как раз в тот день, когда хоронили Николая Ивановича Астрова, последнего свободного выбранного городского голову Москвы, и даже чешские газеты заметили, что когда его везли на кладбище, из Москвы подлетал генерал Уншрифт и с ним целая советская военная миссия. Опыт избрания меня в преемники Францева показывал те же черты страха перед СССР, хотя прямого давления еще не было. Это было первое изменение климата. Антикоммунистические настроения начинали меняться. Появление Гитлера, т.е. антикоммунистического направления, вызывало все больше и больше просоветских настроений - это, мол, славянская держава. Доходило до абсурда, например, чехи в 1938 г. кричали, что Сталин самый великий славянин, который когда-либо существовал! Когда Гаврилов сказал: "Какой же он славянин, у него нет ни капли славянской крови, он грузин!" - нас чуть не побили. Я не застал первой стадии русской акции в Чехословакии, она развивалась с 1921 по 1925 год и потом постепенно пошла на спад, как раз с 1926-27 гг. начались ограничения на приезд русских. Когда я там появился, шаг за шагом шли сокращения. Те 7 лет пражской жизни, которые я до сих пор описывал, были сужением русской акции во всех направлениях. Единственным исключением являлся Семинариум Кондаковианум, который пользовался особым вниманием президента Масарика.

До моего приезда была создана русская "страна" в пределах именно Праги, был целый ряд высших учебных заведений, которые к моему приезду уже закрылись. Это были Русский педагогический институт им. Я.А.Коменского и Русский юридический факультет. Из чисто русских учреждений оставался только Русский институт сельскохозяйственной кооперации и отдельные курсы технического профиля, которые постепенно тоже исчезали. Сеть здравоохранительных учреждений, которые были очень распространены, - туберкулезные санатории, так называемые "оздравовны", т.е. санатории для выздоравливающих - постепенно тоже исчезли. Из средних учебных заведений сохранились две русских гимназии: в Праге и в Моравской Тршебове, обе продолжали пополняться молодежью, которая обычно затем попадала в высшие учебные заведения и получала денежную помощь на продолжение образования. Многие недоучившиеся в России студенты - их, попавших в Белую армию и потому не окончивших своих курсов, было свыше 5 тысяч человек - именно так получили высшее образование и устроились в Чехословакии или уехали в другие страны. Само русское население Праги, мне говорили специалисты, что это около 6 000 человек, продолжало там жить, как бы вошло в пражский быт. Примерно в 1925 г. появилась новая волна студентов, к которой принадлежал и я, - те, кому было тесно и душно в условиях их новых малых государств, полных самодержавного шовинизма, где перспектив для русских было очень мало. Они стремились получить заграничное образование и попасть в культурные центры. Это был скорее инстинктивный, чем сознательный процесс. Я тоже инстинктивно чувствовал, что в Эстонии мне хода нет.


Андреев Н.Е.
96.00 руб.
2 900073 516010